

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

|| 4 ||

НОВОБЫИ МИР

|| 1986 ||

4



1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1986 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЛАДИМИР ЦЫБИН — Из книги «Личное время», стихи	3
ЮЛИУ ЭДЛИС — Антракт, роман	6
СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН — Стихи	78
ВАЛЕНТИН СОРОКИН — Блещут звезды, стихи	81
АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО — Вы его знаете, сатирическая повесть	83
ВИКТОР СМИРНОВ — Тень березы, стихи	123
НОЙ РУДОЙ — Как много связывает нас, стихи	124
Н. ЗАЛКА, М. САПРЫКИН — Испанский дневник генерала Лукача. Фрагменты из повести-хроники о жизни Матэ Залки	125
ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ — Утренник в тридцатых годах, стихи	176
ГЕННАДИЙ ГОЦ — Три стихотворения	177
ПУБЛИЦИСТИКА	
АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ — Ремесло	180
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ТАМАРА ШИЛЕЙКО — Легенды, мифы и стихи...	199
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
МОЛОДЫЕ О МОЛОДЫХ — Елена Стрельцова. Первые страницы главной книги; Андрей Мальгин. «Мы — поколение Нового Арбата...»	213
И. БОРИСОВА — Уроки чтения	232
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i> 243	
И. Питляр. Современные притчи Арво Валтона.	
Валех Рзаев. Слово об огне.	
И. Зайцева. Поэт и его эпоха.	
Дмитрий Урнов. Момент критики.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	
А. Андреев. Сокровищница идей.	
А. Знатнов. «...будем хранить эту красоту...». К 25-летию первого полета человека в космос.	
В. Мшвениерадзе. Тирания отчуждения.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Ал. Романов.— Павел Степовой. Гатов. Роман в двух книгах. ✦	
Сергей Дмитриенко.— Михаил Булгаков. Самоцветный быт. Рассказы и фельетоны. ✦	
Вс. Троицкий.— Ростислав Артамонов. Руки. Стихи. ✦	
Александра Баженова.— Георгий Гулия. Рембрандт. Роман. ✦	
Аркадий Гаврилов.— Александр Мулярчик. Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века. ✦	
А. Ходоров.— Дм. Хренков. День за днем. Лирический дневник критика. ✦	
Виктор Ильин.— Юрий Адрианов. Нижегородская отчина. Книга вторая. Литературные портреты. Страницы лирического дневника. ✦	
М. Вашкевич.— Ф. Поттешер. Знаменитые судебные процессы. ✦	
В. Острогорский.— Д. С. Давидович. Гамбург на баррикадах	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВЛАДИМИР ЦЫБИН



ИЗ КНИГИ «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»



Чего ты, сердце, ждешь гармонии
и песни, вспомнившей меня,
той, что сама из-под ладони
в пургу срывается, звеня?..

Мотиву старой песни грустной,
как это было до сих пор,
охвачен тишью захолустной,
не отзывается простор.

И я среди равнины ровной
боюсь хранить свою печаль,

моей любви беспрекословной
в безвестность канувшую даль.

И, потерявши песню где-то,
я взял навеки из всего
и этот бор, и поле это
на кромке века моего.

Так отчего все больше боли
той, что хочу прочесть в тоске
на этом чистом снежном поле,
как будто в тайном дневнике?..



Вот скрылась высь за облаком во мгле,
о заморозках сообщают сводки,
все ж воскресает небо на земле
в холодной, тусклой лужице на тропке.

Понять мне это диво помогло,
как сдвинута в даль времени граница,
как тень сквозная сердца моего
на тень воспоминания ложится.

И все ж душа еще принять, увя,
не может на холодном перекрестке
последнее молчание травы
и тишину, что гаснет в отголоске.



Раскрылись в осень рощи, отзвенев,
сошел покой к березе и сосне,
лишь паутинки обнаженный нерв
отпрянул, прикоснувшись к тишине.

Вот здесь, где умер тихо листопад,
от века не бывало никого,
как будто лишь мгновение назад
меня придумал кто-то самого...

Нерв паутины — эхо бытия,
в ней есть со мной таинственная связь.
И кажется, что это боль моя
внезапно тишине передалась...

Мои устои

Борису Примерову.

Среди грозных и праведных дат
слышу боль свою в каждом порезе,
но железные ели гудят,
потому что росли на железе.

Как попал я сюда из грозы
в петушинные, серые схватки?
Среди слов, что из сердца росли,
их забудут, как все опечатки.

Вырос я на тяжелой земле,
взял в товарищи только дорогу —
по степному обычаю мне
можно звать лишь ее на подмогу.

Обживают мой возраст года,
високосная песнь,—
оттого-то
завершается в сердце страда,
затяжная пора обмолота.

Край родной провожал меня в путь
и, считая навеки отпетым,
говорил: — Ты вернись, не забудь,
только первым российским поэтом.

Счастлив тем я, что выпало мне
к непреклонной судьбе
причаститься —
на широкой и снежной земле,
на единственной, кровной родиться.

Хоть ни в чем уступать не с руки —
спотыкаюсь средь сломанных веток.
Ах, смешные мои земляки,
здесь поэтов полно и поэток.

И когда станет все невидимым —
боль сама проступает на срезе.
Но железные ели гудят,
потому что росли на железе.

Блик мысли

Лиловый сумрак тонко пахнет мятой,
но мне лишь одиночество дано,
чтобы на ветках чуткий шорох дятлов
протягивали клены мне в окно.

Я жизнь свою прожил под сквозняками,
ни счастья, ни забвенья не моля,
где грузными, мятежными веками
навечно запелената земля.

Надеялся, что, может, жизни хватит
единственной, мгновенной, как роса,
чтоб в шепоте непознанных галактик
поймать миров умерших голоса.

Так отчего среди беззвездной ночи
боюсь услышать мир чужой, иной
и все же жду, что может напророчить
вселенная наедине со мной?..

* * *

Когда над просекою ломкой
встал день средь снежной кутерьмы,
все так же билась под поземкой
душа ледовая зимы.

легли и засветились знаки
тобой не прожитой судьбы,

Ведь даже в хладном бессловесье
в стога уложенных снегов
всего на миг умолкли веси
еще неизвестных миров.

и отчего в разводах рани
в самозабвении тиши
есть тайное предначертанье
родства природы и души?

Откуда здесь, в ледовом мраке,
в изгибах скованной тропы

Мир оттого такой счастливый,
что ты понять сумел теперь,
о чем задумалась над ивой
новорожденная метель...

ЮЛИУ ЭДЛИС

★

АНТРАКТ

Роман

1

На подбородке сквозь белоснежную пену «Флорены» проступила кровь, ярко и молодо алая, и он вдруг поразительно живо, почти въявь, вспомнил один день из своего непостижимо далекого, навеки, казалось бы, утраченного детства и себя самого в этой невообразимой дали: мать сидит с книгой на коленях на его кровати и читает ему сказку, а в окне за ее спиной — зима, полиловевший от низкого заходящего солнца снег и свисающая как бы вниз головой с карниза, объятая этим закатным пламенем, сосулька. И еще он вспомнил сухой жар раскаленной белой кафельной печи, густо, на одной непрерывной басовой ноте гудящий в ней огонь, и, наконец, памятью воспаленного детской ангиной горла — вязкую, липкую сладость гоголь-моголя.

Он застыл с помазком в поднятой руке — с чего это вдруг, в какой связи всплыл тот день из глубин упрямой памяти? И тут же, из тех же тайников, сам собою возник и ответ, объяснение — алая кровь сквозь белую пену — и та давнишняя сказка, он и название вспомнил: «Любовь к трем апельсинам»; принц ел за завтраком не то сметану, не то взбитые сливки, порезал ненароком палец, капелька крови упала в тарелку, и не по годам созревшее высочество мигом возжелал девицу, чье лицо было бы так же бело и чисто, как сметана, а румянец на нем так же ал, как эта капелька крови.

Неужто, усмехнулся он невесело про себя, он так никогда не освободится от памяти о Лере?! Но ведь Лера как раз ничего общего не имела с этой ало-белой, кровь с молоком, девицей из сказки, пригрезившейся ему сейчас ни к селу ни к городу, Лера была черноволоса, смугла, с розоватыми белками темно-карих глаз, полных ожидания и в то же время обещания, маленькая, хрупкая, ничего бело-алого, нордического, скорее тип средиземноморский, то ли итальянка, то ли сербка, если, конечно, отвлечься от того, что она была просто-напросто харьковской хохлушкой.

И — однако...

Впрочем, пока он смывал теплой водой с лица мыльную пену и растирал его прохладно пощипывающим кожу лосьоном, неожиданное воспоминание улетучилось так же легко и разом, как и появилось, и Иннокентьев думал уже привычно-озабоченно о другом, мысленно нанизывая на ниточку дела, которые ему предстояло переделать сегодня. Но от всплывшего и тут же испарившегося из памяти того дальнего лилового зимнего дня на все сегодняшние его мысли как бы легла и не рассеивалась какая-то зыбкая, нежная и тревожная тень.

Он прошел на кухню, достал из холодильника яйца, пачку масла и смерзшуюся в морозилке куском льда докторскую колбасу, зажег

газ, поставил на огонь сковородку, на вторую горелку — медную турку с кофе и пошел в спальню одеваться, хотя знал наперед, что, пока он там будет возиться, кофе непременно выкипит и яичница подгорит, так случилось, собственно, каждое утро. И — лишних пять минут, чтобы оттереть от кофе плиту и отскрести сковородку, неудивительно, что он по утрам всегда опаздывает.

Впрочем, подумал он мельком, натягивая на себя серые, в мелкую клеточку брюки и зашнуровывая туфли, жена Цезаря вне подозрений: с тех пор как он стал ведущим «Антракта» и на телевидение посыпались благодарственные, хоть изредка и грешащие против правил орфографии письма телезрителей, а его собственное лицо стало известно на всю страну и на улице его узнавали и оглядывались вслед, никому в голову не придет попрекнуть его за опоздание.

«Антракт» был его личным, можно даже сказать, единоличным детищем. Он сам придумал эту ежемесячную передачу, сам ей нашел форму, интонацию, сам отбирал сюжеты, сам пробивал ее через все начальственные инстанции. Со временем Иннокентьев изловчился обходиться даже без режиссера, ему достаточно было хорошего оператора и опытной монтажницы.

«Антракт», как он замысливался Иннокентьевым с самого начала, не должен был иметь ничего общего со всеми прочими передачами о театре с их сугубой информативностью. Он свободно и неназойливо — в этом-то и предполагалась его убедительность — как бы вводил далеких от искусства и его повседневных будней телезрителей за кулисы театра, в его кухню: в артистические уборные, на черновую репетицию, в бутафорский или пошивочный цех, в декорационный, в царство осветителей на невообразимой верхотуре над сценой. В антрактах между действиями — отсюда и название передачи — Иннокентьев заходил в гримерные и непринужденно-дружески беседовал с актерами о том, как идет сегодня спектакль, довольны ли они собою и реакцией зала, что думают о пьесе и ее авторе, а также вообще об искусстве и жизни, как дела дома — дети, семья, любимые занятия в часы досуга, и те отвечали ему так же запросто и откровенно. Это давало зрителю полнейшее ощущение, что он и сам вот так приятельски, на равных водится с собственными кумирами, со всеобщими властителями дум, и что нет между ними, как он предполагал до сих пор, непреодолимой дистанции, и это льстило ему и возвышало в собственных глазах.

Иннокентьев и со зрителями беседовал в антрактах прямо в фойе или даже в зале, меж тесных рядов кресел, так же дружески и запанибратски, как и с актерами, спрашивал — без скидок и реверансов — их мнение о спектакле, и это тоже всем нравилось и всех убеждало в непредвзятой правдивости передачи.

Доверительный тон, сдобренный к тому же юмором, ни для кого не обидной дружеской иронией, — вот в чем крылся успех и популярность «Антракта», а заодно и самого Иннокентьева. И мало кто догадывался, как это нелегко ему дается, как много требует изобретательности, труда и энергии.

Не довязав шнурок на левой туфле, он кинулся опростеть на кухню — ему послышалось, что выкипает кофе, но он успел в самый раз: и яичница еще не подгорела, и кофе только начинал пузыриться.

То, что поначалу, в первые месяцы и даже годы после того как они с Лерой расстались и она уехала, представлялось Иннокентьеву почти непосильным — его холостяцкое полнейшее одиночество, — понемногу стало обыденным, привычным и в известном смысле вполне удобным, даже приятным.

Удобным и приятным было абсолютное отсутствие зависимости от другого человека, от забот и обязанностей по отношению к нему, пусть даже ты прожил с этим человеком семь лет кряду и делил с ним не просто общий кров и общую постель, но и собственную твою жизнь, привык к такой общей, одной на двоих, жизни и не мог себе предста-

вить иную. Удобной и приятной была свобода поступать, сообразуясь лишь с собственными желаниями, привычками и вкусами, не поступаясь ими в угоду чьим бы то ни было желаниям и привычкам, всецело, невозбранно располагая собой.

А поскольку сразу же после ухода Леры он нашел прекрасную приходящую домработницу, Антонину Дмитриевну, и большая, просторная его квартира на шестнадцатом этаже высотного дома на площади Восстания была в том же, если не в большем, порядке, как и при Лере, то и эта наиболее уязвимая сторона холостяцкого житья мало его заботила. Он и от нее был совершенно свободен.

Антонина Дмитриевна три раза в неделю приходила убирать и готовить, за бельем приезжали из прачечной, рубашки он отвозил в химчистку на Пушкинскую и на следующий день получал их накрахмаленными и выглаженными, а когда он возвращался вечерами домой, Антонины Дмитриевны уже не было, дом был надраен до сверкающей, правда несколько отчужденно-стерильной, чистоты, оставалось лишь зажечь газ и подогреть ужин.

Вот такой-то удобно-устоявшейся жизнью и жил Иннокентьев — жизнью сорокачетырехлетнего, полного сил и уверенности в себе холостяка, у которого за плечами, в активе, первая половина жизни, одарившая его стойким и хорошо выверенным опытом, твердо установленным и по праву ему принадлежащим местом под солнцем, которое к тому же мыслилось им лишь промежуточной вехой, лишь ступенькой на крутой лестнице, ведущей неуклонно к некоей все еще мнящей его вершине. Добрый малый, в отличной спортивной форме — зимою дважды в неделю сет-другой во Дворце тенниса ЦСКА, летом не меньше четырех раз на открытых кортах на Петровке или в Лужниках, — с висками, чуть тронутыми сединою, лишь оттеняющей постоянный, даже в середине зимы, загар на его моложавом, сильном лице; с кем надо — обаятельный и предупредительный, с кем — деловой и настойчивый и всегда — знающий себе цену.

И лишь когда он возвращался поздними кромешными вечерами в свою пустую, обдающую его холодным, нежилым духом квартиру и шаривал рукою в темной передней выключатель и никак не мог его найти, приходили незванно мысли, на которые не хватает досуга при свете дня.

Например — что дальше?..

То есть что будет, когда все, чего он добивается, сбудется?

Правда, самый этот вопрос казался ему неточно, или, как говорят математики, некорректно, поставленным, потому хотя бы, что ему должен был неминуемо предшествовать другой: а чего он, собственно, добивается?..

Этот второй вопрос был важнейшим по той очевидной причине, что все, что изначально составляло его цель — в юности и на заре взрослой жизни, — всего этого он уже добился, все это уже принадлежит ему. И тогда вновь всплывал тот, первый вопрос: что дальше?..

И вообще, если вычесть из некоей итоговой суммы жизни успехи, добытое годами положение, его вполне налаженный быт, удовлетворенное честолюбие, уверенность в себе — что останется?

А ведь этот остаток, этот осадок на дне, это и есть он сам в том истинном смысле, в каком становится сверхчистым вещество в колбе, после того как из него выпарят все инородное, излишнее, избыточное. Что осталось бы?..

И опять же — что дальше?

Он позавтракал, допил кофе, сложил в мойку грязную посуду, вернулся в спальню, натянул на себя плотный шерстяной свитер, поверх него надел серый пиджак из толстого английского твида, проверил, не забыл ли документы, сигареты и ключи от машины, и, уже выходя за дверь, оглядел себя в передней в зеркале: из неподкупной холодной глубины стекла на него насмешливо и чуть свысока глядел в

упор его верный двойник с седеющими висками, не знающий ни сомнений в себе, ни зыбкости или неопределенности, ни этих вопросов без ответа — день начался, покотился, жизнь продолжается и другой не будет, нет ни минуты лишней, ни секунды на эти безответные вопросы, да и задавал ли он их себе? Полноте, когда? И — он, Иннокентьев?! Извините, вы ошиблись номером.

2

Он просидел все утро в монтажной, дело не ладилось, шло через пень-колоду — материала было отснято втрое против того, что могло уложиться в отведенное для передачи время, и, как всегда в таких случаях, самое мучительное было отбирать и выбрасывать в корзину десятки метров пленки с вполне удавшимися планами, которые никак было не втиснуть в тридцать коротких экранных минут.

Это была утомительная, муторная работа, тут без опытной, съевшей на этом деле собаку монтажницы было не обойтись, а, как на грех, Софья Алексеевна, всегдашняя его помощница, заболела гриппом, вся Москва в гриппе, это надолго, ждать некогда, и ему дали другую монтажницу, молодую и не внушающую доверия, наверняка без году неделя на телевидении, с ней ни посоветоваться, ни поспорить, ни даже сорвать на ней собственное раздражение.

Он сидел у монтажного стола чуть позади новой монтажницы, глядя поверх ее плеча на бегущее рывками по маленькому тускловатому экрану изображение, и краем глаза видел ее затылок с коротко подстриженными, отливающими матовым блеском волосами над тонкой и высокой, с глубокой ложбинкой посредине, шеей, вылезавшей из растянутого ворота свитера ручной редкой вязки.

И этот видавший виды свитер, и тонкая шея с ложбинкой, и стриженный затылок новой монтажницы, и ее руки в грязных белых нитяных перчатках, неумело орудовавшие ножницами и скотчем для склеивания пленки, — все в ней вызывало в Иннокентьеве глухую неприязнь, и, чтобы не дать себе воли, не наговорить грубостей, он молчал, ограничиваясь короткими, сухими указаниями.

Да и она тоже двух слов не сказала за все утро.

Не сделав и половины того, что должен бы, Иннокентьев сдался, поднялся со стула и, не скрывая недружелюбия, кинул в сиротский ее затылок:

— Все, хватит. Идите поешьте, в три часа я вернусь, начнем все сначала. Будем работать до упора, хоть всю ночь, предупреждаю. И постарайтесь к этому времени хотя бы проснуться, что ли, а то прямо зимняя спячка какая-то! — И, не дожидаясь ее ответа, пошел к двери.

Однако она ответила ему, и он впервые за все утро расслышал как следует ее голос — низкий, хриловатый, странно вибрирующий.

— Допоздна я не могу, не надейтесь, моя смена до семи, — сказала она совершенно спокойно и не только не виновато, но, как ему послышалось, даже с дерзким вызовом. — Мне еще домой, между прочим, возвращаться, на край света. Других поищите.

Он рывком обернулся к ней, спросил, едва сдерживая гнев, но у него это получилось — он и сам услышал — не грозно, а скорее удивленно, почти растерянно:

— Как вы сказали?!

— А что такое? — не испугалась она и выпела еще более вызывающе: — Норма-ально!..

Он вышел, едва не хлопнув дверь. Но совладал с собой — незачем, чтобы все знали, что у него сегодня не идет работа и даже с этой наглой девицей он не может сладить.

В последние годы их развелось хоть пруд пруди, раздраженно думал он, идя длинным коридором к лифту, этих новоиспеченных машинисток, после которых печатная страница черным-черна от правки, помощниц режиссеров, от которых толку что от козла молока, секре-

тарш, которые тебя облают прежде, чем ты переступишь порог приемной, прямо стихийное бедствие какое-то!..

Лифт, по счастью, был пустой, и Иннокентьев спустился в полном одиночестве на первый этаж, а уж оттуда лестницей в бар.

Это был, собственно, никакой не бар, а обыкновенный учрежденческий буфет, многолюдный кафетерий, но все в Останкине называли его баром, отдавая дань веяниям времени.

Он прошел во второй, «турецкий» зал — здесь давали не машинный, из автомата-эспресса, кофе, а сваренный на жаровне с раскаленным песком. Он выстоял минут десять в очереди, взял себе бутерброд с некоторым подобием ветчины, марципановую булочку и две чашки кофе. Поискав глазами свободный стол, уселся в дальнем углу спиной к залу.

Кофе был слишком горячий, и он стал рассеянно, вразброс думать о передаче, об отснятом с лихвою материале, который еще предстоит искромсать, отобрать и склеить, чтобы получилось нечто хоть отдаленно похожее на то, чего бы ему хотелось. И чего ждет от него телезритель, разумеется. А также, усмехнулся он про себя, чего ждет от его передачи начальство, об этом тоже нельзя забывать.

И еще он думал о телевидении в широком смысле, о том хотя бы, что всякий отбор — и отбор, производимый самой телевизионной камерой, а еще прежде отбор, диктуемый замыслом будущей передачи, не говоря уж о последующих сокращениях, монтаже и комментирующем тексте, — дает в результате, как ни старайся, не точный и верный слепок с самой жизни какая она есть на самом деле, а лишь слепок с твоего собственного представления о ней — о том, что в ней главное, достойное внимания и фиксирования на пленке, а что второстепенно и незначительно. А если это так, то экран всегда таит в себе опасность выдать твоё представление о правде жизни за всю правду, за самую жизнь, и будет это в лучшем случае всего лишь подобием правды, не больше...

— За ваш стол можно? — услышал он из-за спины.

Прежде чем ответить, он покосился направо и налево — за соседними столиками было полно свободных мест.

— Сколько угодно, — ответил он, не поднимая глаз от чашки с кофе. В поле его зрения был лишь исцарапанный пластик стола да две руки — он невольно отметил про себя, что кисти слишком крупны для тонких, хрупких запястьев, вылезавших из рукавов джинсовой курточки, и что ногти на пальцах коротко, по самые подушечки, острижены, как у профессиональных машинисток или медсестер, — руки поставили на стол бумажную тарелочку с двумя бутербродами с сыром и чашку кофе без блюдца. Чашка дрогнула в руке, и немного кофе пролилось на стол.

— Норма-ально!.. — не огорченно, а насмешливо и весело пропел знакомый уже голос.

Иннокентьев поднял голову и узнал свою незадачливую монтажницу. Вот уж кого меньше всего ему хотелось сейчас видеть!

— Подзаправлюсь. Вы не против? — безбоязненно встретила она его взгляд, и только сейчас он разглядел, какие странные у нее глаза — широко поставленные, с чуть припухлыми веками, но не в этом была их странность, а в том, какое чистое и колючее сияние они излучали — не то серые, не то синие, а из них будто сыплются снопами холодные и вместе обжигающие искры. Может быть, не искры, поправил он себя, скорее острые льдинки. А над глазами, низко падая на лоб, тоже отсвечивающая серебром или, пожалуй, даже тусклой платиной, небрежная челка.

Но зато лицо у нее, одернул себя Иннокентьев, будто уличенный в чем-то недостойном и смешном, лицо у нее самое простецкое, таких на улице тьма-тьмушая, в метро, в очередях, пройдешь мимо — и не заметишь, не запомнишь.

Она удобно уселась за стол, положила один ломоть хлеба на другой сыром внутрь, откусывала не спеша и с видимым удовольствием от этого слишком толстого бутерброда, держа его на отлете в руке с отставленным в сторону мизинцем.

— Приятного аппетита, — только и оставалось ему сказать.

— Спасибо, — ответила она с полным ртом. — А что я вам там, наверху, нахамила малость, так правда же — мне потом ночью ехать к черту на рога, представляете?!

— Я вас подвезу, — ответил сухо Иннокентьев, не глядя на нее, но и не глядя чувствовал, как сыплются у нее из глаз эти льдистые, острые искры. — Сказали бы сразу.

— Подвезете?! — насмешливо поглядела она на него и, чуть выпятив нижнюю губу, сдула легкую челку со лба. — Это в Никольское-то, час туда, час обратно? Как же!..

Он мигом представил себе ночную скользкую дорогу, дождь вперемешку со снегом и тут же пожалел о сказанном горяча.

— Нет уж, спасибо, — как бы подслушав его мысли, без тени благодарности отказалась она, — потом вы бы всю жизнь нехорошо вспоминали меня. Я так сказала, для балды. Там зимой и жить-то нельзя, отопление еще в прошлом году лопнуло, никак мы с сестрой не соберемся наладить.

Ему бы встать и уйти и дожидаться ее в монтажной, но он почему-то не уходил и злился на себя за это. Какое ему, собственно, дело до нее? Сегодня он, кровь из носу, должен разделаться с работой, в понедельник ему сдавать ее начальству, а к следующей передаче Софья Алексеевна наверняка выздоровеет, и он никогда больше эту беспардонную бездумную девчонку и в глаза не увидит!

Но вместо того чтобы встать и уйти, он спросил ее:

— И где же вы будете жить зимой?

— Почем я знаю? — бездумно пожала она плечами, слизывая кончиком языка крошки с губ. — Я вообще наперед ничего никогда не загадываю. Отопление-то и в прошлую зиму не работало. У подруг разных или кто в отпуск уезжает, некоторые даже сами просят квартиру посторожить. Или еще у кого, мне-то без разницы. Главное, зубная щетка всегда при мне, чужими я брезгую.

Она обо всем этом говорила ровно, как о чем-то таком обыденном, что и печалиться стоит ли.

— Возьму-ка я себе еще кофе, а то и правда усну на ходу, вы меня опять ругать будете, а я этого страсть не обожаю.

Она встала и пошла к стойке бара, и Иннокентьев, проводив ее взглядом, впервые увидел, какая она высокая и прямая, тесноватые джинсы и такая же потертая курточка выдавали худобу и легкость ее тела, широкий, свободный по-мужски шаг. Со спины она вообще смахивала на длинного, выросшего из своей одежды подростка. И вместе в ее худобе, в размашистости и свободе походки, в высокой голой шее и по-мальчишечьи коротко стриженном затылке было что-то щемящее и беззащитно женственное.

Если бы ее приодеть, безучастно подумал Иннокентьев, да если бы не ее простоватое, малопримечательное лицо... хотя лицо-то при умелом пользовании тушью и помадой эти нескладехи наловчились изменять до неузнаваемости... Если бы приодеть и навести марафет — она вполне бы отвечала нынешним стандартам женской привлекательности. И усмехнувшись неизвестно чему, заставил себя не глядеть ей вслед.

— Как вас зовут, меж тем? — спросил он, когда она вернулась к столу. В конце концов, словно бы споря с кем-то и оправдываясь, подумал он, им сегодня еще весь день работать, надо же ему знать, как ее зовут!

— Эля, — ответила она и попробовала кончиком языка, не слишком ли горяч кофе. — По паспорту — Эльвира. Больше никакими выходными данными не интересуетесь?

И тут он спросил ее и сразу же устыдился своего вопроса — глупо, еще подумает черт знает что:

— Ну а сегодня, если мы поздно кончим, где вы собираетесь ночевать?

Она рассмеялась, будто ничего другого от него и не ожидала:

— Уже испугались, что пообещали отвезти домой, в Никольское? Так я же вам и не поверила, спите спокойно. Все сначала предлагают, а потом — то машина не в порядке, то звонка откуда-то ждут, то голова разболелась, я уже ученая.

— Кто — все? — задал он уж и вовсе дурацкий вопрос, но она не ответила, только опять безмятежно пожала плечами, и глаза ее внезапно, без перехода, из льдисто-голубых стали густо-синими.

Спросила совсем о другом и без особого интереса:

— А вам не скучно эту вашу передачу из раза в раз снимать?

Вопрос застал его врасплох.

— Почему? Вам что, не нравится?

Она откинулась на спинку стула, сунула руки в карманы джинсов, отчего и вовсе стала похожа на нагловатого мальчишку.

— Да нет... я и смотрю-то через раз, время неудобное — как раз в транспорте трясешься. Да вот хоть сегодняшняя, которую мы с вами режем-клеим... Они же все — ну, артисты разные, режиссеры, все вообще, — они же все до одного выставляются: я и то, я и это... умное лицо делают, говорят совсем не про то, про что их спрашивают... — Но говорила она это ровно, без злобы, как о чем-то мало ее трогающем. — Вот пожили бы они хоть денек у нас в Никольском, в доме, сто лет не топленном, или хотя бы поехали каждый божий день в общественном транспорте — не то бы запели! Они все сейчас исключительно про смешное в кино или по ящику играют, а жизнь-то не вся сплошь смешная, между прочим! — И тут же совершенно неожиданно улыбнулась широко и свободно, глаза опять заголубели. — Хотя вообще-то народ именно про смешное обожает, его кашей не корми, дай животики надорвать, это точно. Так что не обижайтесь, это я так, к слову.

А Иннокентьев, как это ни глупо, именно и обиделся — на кого?! На эту Эллочку-людоедку, на эту языкастую подмосковную деваху с ее всегда наготове зубной щеткой в сумочке, потому что единственное, чем она брезгует, ночуя в чужих случайных домах, в чужих случайных постелях и наверняка со случайными мужчинами — она бы сама непременно сказала не «в постели», а «в койке», и не «с мужчиной», а «с мужиком»! — так это чистить зубы чужой щеткой, это на нее-то ему обижаться?!

Он встал из-за стола, сказал неприязненно, не в силах скрыть идиотскую свою обиду:

— Я жду вас в монтажной через полчаса. И не задерживайтесь, пожалуйста.

Повернулся и пошел к выходу из «турецкого» зала, нисколько не сомневаясь, что она смотрит ему вслед насмешливо и нагловато.

Они кончили работать в одиннадцатом часу, на этот раз все у них получалось легко и складно, раздраженности, с которой начался для него день, как не бывало, передача практически была готова, завтра-послезавтра он еще разок-другой просмотрит и окончательно подчитит, озвучит ее, и в понедельник можно со спокойной совестью сдавать начальству.

Эля его теперь понимала, казалось, с полуслова, ничего не надо было повторять, ничего растолковывать. Он сидел за ее спиной, смотрел в ее стриженный затылок, на глубокую и нежную ложбинку вдоль высокой шеи и уже не вспоминал о многоопытной Софье Алексеевне.

Когда они все смонтировали, Иннокентьев попросил Элю еще раз прокрутить пленку от начала до конца — да, все вроде получилось, все,

кажется, как надо. Он удивился себе — обычно когда он кончал работу над передачей, она, как правило, не нравилась ему, хотелось все переиначить.

— Ну, как теперь? — спросил он Элю.

Она отключила экран на монтажном столе, перемотала пленку и сложила ее в плоские круглые жестяные коробки, похожие не то на древнегреческие олимпийские диски, не то на столовские судки с остывшими щами. За время работы он, сам того не заметив, перешел с ней на «ты». Впрочем, он был на «ты» со всеми своими сотрудниками, для одной Софьи Алексеевны делая исключение.

Но она не спешила ему отвечать. Стащила с рук еще более грязные, чем в начале дня, белые перчатки, бросила их не глядя в корзину с не пошедшей в дело пленкой, разглядывала свое лицо в маленьком ручном зеркальце.

Он удивился спокойствию и будничности своего голоса:

— Поедем, да?..

На что она отозвалась так же буднично и ровно, продолжая разглядывать свое лицо в зеркальце, словно бы не сомневалась, что он ей это предложит:

— К вам, что ли?.. — И заключила, пряча зеркальце в потертую сумочку из потрескавшейся искусственной кожи: — Норма-ально!..

3

Но Иннокентьев повез ее не к себе, а к Глебу Ружину, на Бескудниковский бульвар. Он и сам не мог бы себе объяснить, зачем это сделал.

Ружин, собственно говоря, был никто, но вопреки этому занимал особое место среди множества людей, так или иначе причастных к театру.

Моложе Иннокентьева — ему и сорока двух еще не было, — на вид он казался сильно уже пожившим и до времени увядшим человеком. Таким его делала прежде всего неопрятная сивая борода, разделенная пополам на два редковатых клина. Огромный, под два метра, тучный, с желтоватым и нездоровым, словно побитым оспой, лицом, он был очень некрасив и, при первом знакомстве, даже отталкивал этой своей внешностью, особенно же маленькими, острыми, всегда трезво-беспощадными глазками под тяжело нависающим лбом. Но стоило лишь поговорить с ним, чтобы неминуемо подпасть под власть его сильного, свободного ума, его способности с лета уловить чужую мысль и увидеть ее под свежим и совершенно неожиданным углом зрения, его обстоятельнейшей образованности и почти невероятной памяти на имена, даты, детали, а главное — его постоянной готовности обезоруживающе-доброжелательно тебя выслушать и понять, даже если он был далек от того, чтобы с тобой согласиться.

Некогда, объявившись в Москве не то из Самарканда, не то из Душанбе, Глеб начал свою столичную биографию скоропалительно и с блеском: опубликовал несколько статей о русском театре прошлого века, несколько исследований — он их называл не иначе как эссе — о современной драме, их заметили и специалисты, и просто читающая публика. Даже теперь, спустя без малого двадцать лет, когда называли его имя, то непременно кто-нибудь спрашивал: «Это не тот ли Ружин, что так замечательно начинал когда-то?»

Потому что дальше этого многообещающего начала он не пошел. Он работал — по несколько месяцев, нигде дольше не пуская корней, — в различных журналах, но печататься перестал так же неожиданно, как и взорлил несколькими годами раньше на столичном критическом небосклоне.

Он не любил распространяться на эту тему, но если уж заходила речь, то объяснял свое упорное молчание разочарованием, а коли уж

называть вещи своими именами — отвращением не только к театру и к людям театра, но и ко всяческому искусству вообще.

Это у него не было одной лишь позой, он и на самом деле почти физически страдал оттого, что «мысль изреченная есть ложь», а в запальчивости доходил до того, что, с пеной у рта, и неизреченную тоже объявлял в не меньшей степени ложной. У него была припасена еще одна спасительная цитата, к которой он прибегал, когда его и вовсе загоняли в угол упреками в ничегонеделании: «Кто умножает знание, тот умножает скорбь».

При этом его никак нельзя было заподозрить в меланхолии либо же в потере вкуса к жизни. Дело в том, что истинная причина его бездеятельности заключалась попросту в том, что он был прямо-таки тиранически ленив. То есть он мог ночи напролет читать чужие пухлые рукописи, делая на полях сотни поразительно точных, детальнейших пометок, потом часами втолковывать автору смысл своих замечаний, причем бескорыстная его заинтересованность в том, чтобы рукопись стала лучше, могла показаться со стороны почти тиранической. Он мог целыми днями просиживать на репетициях своих друзей — режиссеров или драматургов и потом до утра обсуждать с ними во всех подробностях будущий спектакль и вообще самозабвенно отдаваться чужим заботам, на это у него всегда хватало и сил и времени. Но как только речь заходила о том, чтобы самому засесть за чистый лист бумаги, он сразу сникал, скисал, вспоминал о тысяче посторонних, совсем не спешных или и вовсе не существующих дел, о многочисленных и, кстати говоря, отнюдь не мнимых своих недомоганиях, становился угрюм, раздражителен и нетерпим.

Со временем он стал чистейшей воды «мастером разговорного жанра», как окрестил его Иннокентьев, застольным витней, проговаривающим за водкой или за кофе все свои мысли и тем самым подсекая под корень самую необходимость их реализации на деле: за разговорами как бы осуществлялся весь творческий цикл — рождение мысли, ее выражение в слове, публичное обнародование, реакция аудитории, удовлетворенное честолюбие. Если другие прожигали свою жизнь или зарывали талант в землю, то Ружин просто-напросто проговаривал его.

Он много пил, но при его великанских габаритах и прямо-таки невероятной стойкости желудка, печени и почек никому не приходило в голову удивляться количеству им выпиваемого и съедаемого, а заказывал он себе в ресторане на обед двойные бифштексы с кровью, почти сырое мясо, а нередко просил официанта и повторить.

И все же как ни безгранична казалась его способность поглощать кофе литровыми кофейниками и выкуривать за день по две пачки «Беломора», как ни непрошибаема была защитная система его могучего и еще молодого в ту пору организма, в тридцать четыре его хватил первый инфаркт, в сорок — второй, после которого он, перепуганный и растерянный, решил начать новую, здоровую, строго по режиму жизнь. Но в итоге ограничился лишь тем, что ушел, теперь уже окончательно, с очередной службы и месяца четыре действительно избегал излишеств. Однако вскоре, оправившись от первых страхов, вновь стал засиживаться за полночь, прикуривать одну папиросу от другой и поглощать кофе в прежних количествах, твердо убежденный, что во вред ему может быть лишь перенапряжение от непосильного труда.

Зарабатывал же себе Ружин на жизнь — жил он совершенно один, никого близких у него не было, мать умерла года за два до его последнего инфаркта, женат он никогда не был, детей не имел, — зарабатывал он себе теперь на жизнь тем, чем прежде лишь время от времени подрабатывал: редактировал кандидатские, а изредка и докторские диссертации по истории и теории театра. Впрочем, слово «редактировал» далеко не полностью отражало его долю участия в работе диссертанта — он вписывал в нее целыми главами собственные, вполне оригинальные

нальные мысли, ничуть не мучаясь тем, что они послужат восхождению на горные высоты чистой науки разнообразнейшим прохиндеям.

Брал он за эту неблагодарную работу недорого, даже про себя не прикидывал, что, напиши и опубликуй он эту же работу под собственным именем, заработал бы вдвое, если не вдесятеро, не говоря уж о корысти тщеславия.

Однако дописывание и переписывание чужих диссертаций не могли обеспечить Ружину систематического заработка, и основным источником его доходов, округлявшим скромное журналистское довольствие, стал преферанс.

Еще в пору своей среднеазиатской юности Ружин слыл одним из наиболее многообещающих молодых дарований в мире завязанных преферансистов.

Перебравшись в Москву, он очень скоро стал своим в тесном мире столичных игроков, чрезвычайно неохотно открывающем свои двери перед зелеными новичками, каковым был Ружин. Поначалу они встретили его снисходительно и свысока, что вообще свойственно москвичам по отношению к провинциальным растиньякам, но вскоре он столь усовершенствовался в этом многотрудном и требующем, по его словам, чрезвычайного умственного напряжения и самодисциплины искусстве, что в короткий срок выдвинулся в ряды признанных мастеров. Сиделись они за пульку в субботу утром и играли до воскресного вечера, чаще всего не расходясь и на ночь. Конечно же, он и проигрывал, как все прочие, но подбивая бабки в конце месяца, он неизменно оказывался в выигрыше или в худшем случае при своих.

Деньги, выигранные за карточным столом, Ружин считал безупречно честно заработанными, и к тому же трудом сугубо умственным, высоким напряжением чистого интеллекта, знающего сладостные взлеты вдохновения и черные бездны отчаяния.

После второго инфаркта он жил, почти не выходя за порог своей крошечной квартирки, но в ней и теперь всегда было полно народу, и Ружин чрезвычайно дорожил тем, что вот — Бескудниковский бульвар, не ближний свет, а друзья его не забывают, стало быть, он хороший человек, потому что только у хорошего человека могут быть настоящие и верные друзья.

Квартира его до того обветшала, что установить, к примеру, первоначальный цвет обоев было совершенно невозможно. Спал Ружин на продавленном узком топчане, покрытом собачьей шкурой, полостью, как называл ее он сам, древней и истлевшей настолько, что на его одежде — а одевался он, изредка выходя из дому, с подчеркнутой и несколько старомодной тщательностью — постоянно поблескивали серебром волоски сухой и колючей собачьей шерсти. Впрочем, новым гостям, впервые посетившим его дом, он выдавал эту собачью шкуру за турию или же, на худой конец, волчью.

Главным же богатством его дома была обширная библиотека, на три четверти состоящая из книг с дарственными надписями авторов. Безмерно гордась этим своим собранием и тем, какое поистине бесценное сокровище оно будет представлять тогда, когда и он, и, разумеется, авторы этих книг и автографов отойдут в мир иной, Ружин тем не менее охотно и безбоязненно давал читать книги даже не очень знакомым людям. Но если взявший книгу не возвращал ее в срок, Глеб ему раз и навсегда отказывал от дома. «Я его отлучил от себя», — говорил он и никогда не отменял своего приговора.

Иннокентьев познакомился и подружился с Ружиным вскоре после его появления в Москве, и хотя сам Борис был в ту пору уже хоть и не очень известным, но, по общему суждению, перспективным театральным рецензентом с наладившимися прочными связями в общем для него и Ружина профессиональном мире, а Глеб еще отдавал провинциальной нерасторопностью и идеализмом — где бы они ни появлялись вдвоем, всем вопреки, казалось бы, очевидности сразу же ста-

новилось ясно, что в этом союзе именно Ружин играет первую скрипку. Но что было и того более странно, Иннокентьев, отличавшийся в отношениях со всеми прочими подчеркнутой независимостью, без борьбы подчинился именно так, а не иначе сложившейся их с Глебом дружбе. Глеб был, собственно, единственным человеком, которого Иннокентьев добровольно признавал умнее и одареннее себя и при этом не завидовал ему.

...Входная дверь, как всегда, была не заперта, Иннокентьев прошел через крохотную переднюю и заглянул в комнату.

— У тебя никого?

— Никого, — ответил Ружин и привстал с собачьей полости, на которой наверняка лежал с самого утра: на нем была лишь драная, на одной пуговице пижама, из-под которой обильно лезла наружу седая растительность на груди. С высоты своего роста он сразу разглядел за спиной Иннокентьева Элю. — Входите, раздевайтесь.

Иннокентьев и Эля разделись в тесной прихожей.

— Сапоги снимать? — вполголоса спросила Эля, но Ружин услышал ее из комнаты:

— Здесь не мечеть, хоть я и наполовину мусульманин.

Ружин был безудержный фантазер и враль, он сочинял о себе совершенно невероятные, неправдоподобные — в них никто и не верил — истории, расцвечивая их настолько достоверными и убедительными подробностями, что вскоре уже и сам не мог отделить правду от вымысла.

Одной из романтических легенд, которые он сложил о своем самаркандском или душанбинском прошлом, была мать — персидская княжна, чуть ли не внебрачная дочь свергнутого в двадцатые годы последнего шаха из династии Каджаров, спасшаяся в советской Средней Азии от преследований кровожадного первого Пехлеви. Для пущей убедительности Глеб и свое имя производил от искаженного восточного Галерб.

Насчет отцовской линии в своей родословной у него тоже была героическая побасенка, а именно: будто его прапрадед был одним из первоартовцев, бросивших бомбу в царя-освободителя, но успевший уйти от погони. Ружин любил говорить о себе без тени улыбки: «Я потомок цареубийцы», однако не переносил, когда при нем били мух.

Иннокентьев и Эля прошли в комнату.

— Это Эля, — представил он ее Ружину с какой-то защитной усмешкой, причем ему самому было неясно, к чему именно относится эта усмешка: к Эле, которая наверняка даже на первый взгляд покажется Глебу смешной и нелепой, или же к самому себе за то, что влип в эту глупейшую историю. — Пока больше ничего о ней сообщить не могу.

— И не надо, — с несколько тяжеловесной галантностью остановил его Ружин, — она и не нуждается ни в каких рекомендациях. Все необходимое мы установим впоследствии эмпирическим путем.

— Что такое — эмпирический? — любопытствовала Эля своим низким, словно бы резонирующим от стен и потолка голосом.

— Потом, — ответил за Ружина Иннокентьев. — Глеб обожают все объяснять, но делает это очень длинно и подробно. А для начала нам бы что-нибудь выпить и поесть.

— Вы в восточном доме, друг мой, — развел перед Элей руками с той же старосветской церемонностью Глеб, — а на Востоке первейший закон — закон гостеприимства. Борис мой кунак, а кунак моего кунака — мой кунак.

— Она скорее все же куначка, — прервал его витийство Иннокентьев, — но все равно голодна. И твой кунак тоже.

— Я мигом, — заторопился Глеб, — можете уже вырабатывать желудочный сок. У меня как раз сегодня полно отличных припасов. — И ушел на кухню.

Там сразу же что-то с грохотом полетело на пол.

Эля медленно обвела вокруг глазами. Тесная комнатка служила Ружину чем-то вроде кабинета, хотя в ней уже много лет как не было написано ни одной строки. Впрочем, именно здесь происходили Глебовы карточные баталии, а к этой стороне своей жизни он относился не менее серьезно, чем к любой другой.

За пыльным, давно не мытым окном утробно урчали грузовики, идущие мимо по Дмитровскому шоссе. В комнате было прохладно и сыро — Глеб никогда не закрывал форточку.

Эля прошла вдоль полок с книгами, разглядывая, сильно наклоня голову вбок, названия на корешках. Потом обернулась к Иннокентьеву, очень серьезно посмотрела на него, ничего не сказав.

Он сидел на ружинской лежанке, чувствовал сквозь тонкое сукно брюк покалывание собачьей щетины.

— Садись, — предложил он, — будь как дома.

— А я всегда как дома, — без улыбки ответила она. — Он что, — кивнула в сторону кухни, — ваш друг?

— Да. Он тебе не понравился?

— На вас совсем не похож. — И спросила в упор: — Зачем вы меня к нему привезли?

— Ни за чем. В гости.

— Зачем вам надо со мной в гости? — Она не сводила с него прямого, недоверчивого взгляда.

— Так ведь надо же нам с тобой поужинать, а сейчас уже ночь, все закрыто, только в гостях и можно поесть. Очень просто.

— У вас все просто... — так же недоверчиво отозвалась она.

— Если тебе тут не нравится, поехали ко мне, а?..

— Так бы и сразу... а то — в гости... — одними губами усмехнулась она. Подошла к двери, окликнула Ружина на кухне: — Вам помочь не надо?

— Никогда! — возмутился тот. — Был бы только свежий продукт под рукой. Кофе или чаю?

— Кофе, — решила она. Подошла к столу, села напротив Иннокентьева, положила руки на стол, сцепивши пальцы.

— Первый час, после кофе не уснешь, — не нашелся он ничего другого сказать. И опять отметил про себя, какие у нее крупные, с длинными, сильными пальцами кисти и ногти острижены по самые подушечки. Он кивнул на ее руки: — Ты что, раньше печатала на машинке?

Эля тоже внимательно поглядела на свои руки, будто изучая их. Но не ответила, спросила о другом строго и требовательно:

— Вы насчет кофе... Разве вы, когда позвали меня с собой, собирались ночью спать? — Но не дала ему ответить, убрала ладони со стола, словно бы устыдившись их. — Раньше печатала. Ногти вообще мешают, я не люблю, когда длинные. А вам бы хотелось, чтоб маникюр? — Посмотрела на него с ожиданием.

Он не знал, что ответить. Он вообще не знал, о чем и как с ней говорить, уж слишком она была не похожа на женщин его круга — актрис, журналисток, редакторш, на жен его друзей. «Вот вытаращили бы все глаза, если бы я где-нибудь с ней появился...» — подумал он без усмешки про себя. А вслух сказал:

— Кофе так кофе. — И не удержался, спросил, хотя знал, что не надо бы: — Ты всегда так, в лоб?..

— Что — в лоб? — не поняла она.

— Ну — спать, не спать?..

Она чуть помедлила, но все же ответила:

— Просто чтоб вы не думали, что я дурочка из переулочка.

— Ты не дурочка... — пожалел он о своем вопросе.

— Зарплата не позволяет, — без улыбки, не сводя с него взгляда, ответила она.

— Я за то, чтоб не спать, — посмотрел он ей тоже прямо в глаза. — Если ты не против.

И вдруг она улыбнулась ему широко и доверчиво, блеснув влажными, очень белыми крепкими зубами, и вновь стала просто шептливой и наивно-прямодушной девчонкой из ближнего Подмосковья, улыбнулась так открыто и мило, будто это и не она только что смотрела на него напряженным и недоверчивым взглядом.

— А я еще не решила. Может, выпью кофе и сразу усну на этой псине. Я хоть ведро кофе могу, а потом сплю за милую душу.

Из кухни вернулся Ружин, неся на большом и не слишком чистом подносе в ярко-красных розах еду и дымящийся кофейник.

— Предупреждаю, — сказал он, ставя поднос на стол, — в этом доме пьют исключительно водку.

— Коран вообще запрещает пить, — повторил Иннокентьев в тысячный раз принятую в их компании шутку насчет Глебова магометанства.

— Да, нравы падают даже среди правоверных, — в тысячный же раз согласился Ружин и с подчеркнутой расположенностью обратился к Эле: — Зато кофе сварен особо. Секрет безвозвратно утерян.

Это была еще одна его вполне невинная брехня — унаследованный якобы от матери-персиянки секрет старинного способа варить кофе по-восточному. На самом же деле он просто сыпал в воду кофе втрое против обычного, вот он у него и получался отчаянно крепким.

По тому, как Ружин за какие-нибудь четверть часа успел распушить до последнего перышка павлиний хвост своих фантастических историй — и насчет матери, внебрачной шахини, и насчет святого закона куначества, и, наконец, таинственного, утерянного во тьме столетий способа варить кофе на особый лад, — Иннокентьев понял, что Эля безоговорочно понравилась ему, хоть и не сказала еще и двух слов. Это было тем более странно, что Глебу редко кто вот так, с ходу приходился по душе.

«Сейчас насчет баскетбола начнет заливать, — предположил про себя Иннокентьев, глядя снизу вверх на Ружина, расставляющего на столе еду: толсто нарезанный сыр, жирную блекло-розовую ветчину, копченую колбасу, масло, хлеб, — голову даю на отсечение».

Словно бы услышав его мысли, Глеб, прежде чем опять уйти на кухню, пояснил Эле:

— На ночь, как известно, есть вредно, но я, знаете ли, полжизни прожил на таком строгом режиме — этого нельзя, того нельзя, о водке и речи быть не могло... Ну а теперь наверстываю упущенное. Дело в том, что я в прошлом профессиональный баскетболист, играл за сборную «Буревестника»...

Однако на фотографиях времен своей не столь уж далекой юности, которые он показывал Иннокентьеву, Ружин был так же грузен и толст, как и сейчас.

Иннокентьев невольно покосился на Элю — что же в ней такого, что с первого взгляда пленило Ружина?

Эля встала и без тени смущения спросила Ружина:

— Мне в туалет надо. Можно?

Иннокентьеву стало неловко за нее перед Глебом:

— В таких случаях принято говорить: где у вас можно вымыть руки?

— Я и руки вымою, само собой, — не обиделась она или просто не поняла его насмешки.

— Там у меня с выключателем неладно, я вам покажу, — кинулся за ней Ружин.

Они вышли вдвоем из комнаты. Глеб ей что-то галантно говорил, она ему, смеясь, отвечала, но Иннокентьев не прислушивался, ломая голову над этой загадкой: чем же это она взяла Ружина?..

Тот вернулся в комнату, стал нарезать проминающийся под тупым ножом свежий батон.

— Ну?.. — не удержался Иннокентьев.

— Ты о ней? — переспросил, не поднимая на него глаза, Ружин. — Не чета всем вашим грошовым бабам, которых на конвейере нынче производят.

— Чем же? — не стал с ним спорить Иннокентьев.

— Настоящая, — не задумываясь пояснил тот. — Без этого ихнего вечного выламывания. — И уточнил: — Штучный товар, редкость по нынешним временам. Едва ли ты потянешь на нее, кишка тонка.

— Откуда тебе знать — настоящая, не настоящая? — разозлился неизвестно на что Иннокентьев. — И насчет моей кишки тоже!

— Кому же тебя еще знать как не мне? — искренно удивился Ружин. — Как облупленного.

Иннокентьев вдруг почувствовал, как адски устал за этот бесконечный, муторный день.

— Глупости — с первого взгляда что-нибудь увидеть...

— Отнюдь! — живо возразил Глеб. — Есть вещи, которые я за версту чую. Где ты ее раздобыл такую?

— Новая монтажница, намыкался я с ней сегодня... Обругала мой материал, камня на камне не оставила... — Иннокентьеву теперь казалось, что так оно и было, хотя на самом деле Эля ничего такого не говорила, просто его обидело ее неприкрытое безразличие к тому, что они вместе делали. — О чем ее ни спросишь, у нее на все один ответ — «нормально».

— Ну ты млекопитающее всеядное, тебе бы только, что плохо лежит. — И, покосившись на открытую дверь, Глеб прибавил вполголоса: — Ты тише, там все слышно.

— Я ей — пойдём, она тут же — давайте... Я говорю: где же ты ночевать собираешься, — она за городом живёт, — а она: не беда, хоть бы и у вас... Говорит, часто в Москве у знакомых остается на ночь, когда на электричку не успеваешь, даже зубную щетку с собой на всякий случай носишь...

— И ты, конечно же, не растерялся, — уперся в него своими глазками-гвоздиками Ружин. — Хорош, ничего не скажешь!

— Когда ты этой святости успел понабраться?!

— А я и на самом деле святой рядом с тобой! — Ружин даже пристукнул рукояткой кухонного ножа по столу. — Я-то один среди всей вашей шатни святой!

Он сел, налил себе водки и не чокаясь опрокинул ее в себя, закусил маринованным огурцом, выловив его пятерней из банки, облил пальцы.

— Да, святой. После инфаркта я стал другим человеком. Более того, с тех пор я только и стал человеком. — Прибавил не без самодовольства: — Чтобы родиться заново, надо сначала умереть. Не каждому дано. — И покосившись опять на дверь, вернулся к прежней теме. — Во всяком случае, она не такая, как все вы и ваши шлюхи. Гляди! — пригрозил Иннокентьеву толстым пальцем с обкусанным по самую мякоть ногтем.

— Что — гляди?.. — Иннокентьев все еще держал на весу невыпитую рюмку. — Выражайся членораздельно.

— Гляди! — с той же угрозой повторил Ружин, но пояснять ничего не стал.

Вернулась в комнату Эля.

— Я голубой полотенчик взяла вытереться, ничего? — Подсела к столу, оглядела еду. — Норма-ально!.. Не хуже, чем в ресторане.

Эля взяла в руку рюмку, оттопырив с неожиданной в ней жеманностью мизинец, поднесла к носу, понюхала, страдальчески поморщилась:

— А воды нету? Я не умею без воды.

— Сейчас, — поднялся Иннокентьев из-за стола, ему почему-то не хотелось, чтобы один Ружин выплясывал перед нею, а сам он сидел как посторонний. Он вышел на кухню, наполнил водой из-под крана большую фаянсовую кружку, вернулся в комнату.

Эля взяла кружку в свободную руку, взглянула на обоих молодо и счастливо, как бы вступая с ними в веселый, озорной сговор.

— С тостом или без?

Ружин смотрел на нее во все глаза и в ответ ей тоже счастливо улыбался. Но сказал вопреки своему обыкновению нечто малоторжественное и еще менее оригинальное:

— За знакомство. И за вас, разумеется.

— Нормально! — согласилась она и залпом, залихватски выпила рюмку до дна.

Иннокентьев ревниво наблюдал за Элей, хоть и прекрасно понимал, как это, должно быть, смешно выглядит со стороны.

Эля выпила, понарошку испуганно ахнула, прикрыв ладошкой рот, потом припала к кружке с водой.

«Хоть пить еще не научилась», — подумал со странным облегчением Иннокентьев и тоже выпил.

— Ешьте, ешьте! — Ружин торопливо придвинул к Эле еду. Иннокентьев давно не видел его таким оживленным и благостным. — Хороший аппетит бывает только у людей с чистой совестью. Неизменный аппетит и отличное пищеварение — первейший признак душевного здоровья.

От выпитой рюмки у Иннокентьева разом стало на душе полегче. Он тут же налил себе вторую, поднес ко рту, но, прежде чем выпить, неожиданно для себя самого предложил Эле:

— За тебя. И — на «ты». Идет?

— Если вы хотите на брудершафт, — смело взглянула она на него, — пожалуйста, я могу поцеловать, только на «ты» все равно не получится. Согласны?

— Хоть надежду оставила... — усмехнулся он, чуть задетый.

Они переплели руки, выпили, Эля первая потянулась к нему и поцеловала, крепко прижавшись зубами к его зубам, и он сам прервал поцелуй, застеснявшись Ружина.

— Нет, — Эля откинулась на спинку стула, — целоваться вы не умеете. — И протянула счастливо и изнеможенно: — А я захмелела!.. — Повернулась неожиданно к Глебу. — А с вами я на брудершафт не буду. Знаете почему?

— Почему? — эхом отозвался Ружин, глядя на нее с бескорыстным восхищением.

— Потому что вы умный, вы ужасно умный, с вами я никогда не смогу на «ты». Я не могу на «ты», кто умнее меня. А вы просто беда до чего умный, да?

— А я, выходит, дурак? — против собственной воли подставил себя под удар Иннокентьев и вдруг ужасно на себя и на них обоих разлился за то, что наверняка кажется смешным и ей и Ружину.

— Вы другое дело, — повернулась она к нему. — С вами я как раз сама хочу на «ты», только не решусь никак. Вас бы я даже могла полюбить, если хотите знать. А что?! Очень даже нормально, и что вы седенький, мне тоже нравится, я люблю, когда с проседью, мужчинам это идет. Очень даже просто могла бы... — И так же неожиданно, как все, что с ней происходило, заключила: — Только не хочу. — Резко, всем туловищем повернулась опять к Ружину. — Ничего, что я при посторонних так прямо про себя говорю? Вы не осуждаете? — Но не дав ему ответить, вновь повернулась к Иннокентьеву. — А я потому так прямо все говорю, что, если хотите знать, я сегодня вполне могла и поехать прямо к вам, и остаться. Только ничего хорошего из этого все равно не получилось бы. Я боюсь вас. Не того, что, если б я поехала к вам, вы бы

непрерывно подумали, что я... Даже нормально, если бы подумали. Вот даже если б я и полюбила вас, все равно бы боялась. Непонятно?

Он почувствовал, как бросилась ему кровь в лицо, сказал как мог ироничнее и спокойнее:

— Нет, извини, не понимаю.

Эля, не сводя с него глаз, по-бабьи горестно покачала головой.

— Где тебе... — И тут же спохватилась: — То есть вам, извините. — Встряхнула падающей ей на глаза челкой, будто отгоняя ненужные, лишние мысли, предложила: — Лучше давайте еще выпьем. За то, чтобы никто никогда никого не боялся! Верно? — И близко, лицо к лицу, наклонилась к Иннокентьеву. — А я ведь раньше и вправду никого не боялась, вы первый! Сама удивляюсь! — Потянулась с рюмкой к Ружину, заулыбалась бесстрашно. — А вас я не боюсь ни самой малой чуточки! Я, если вам очень хочется, могу и с вами поцеловаться, хоть сейчас! Хотите?.. — Выпила залпом рюмку, опять прижала как бы в ужас ладошку ко рту, быстренько запила водой, помотала головой. — А я пьяная, нормально... сами виноваты. Я поплю, ладно? Самую чуточку...

И не дожидаясь их согласия, перелезла через колени Иннокентьева на ружинский топчан, свернулась калачиком, положила обе ладони под щеку и, что-то бормоча про себя, затихла.

Мужчины некоторое время сидели молча, не глядя друг на друга.

— И ничего не поела... — только и заметил погода Ружин.

— Да и мне что-то расхотелось... — Иннокентьев пересел к изножке топчана, чтобы Эле было просторнее. — Ехал сюда, казалось, целого барана сожру...

— Где ты в наше время достанешь барана? — посетовал Ружин. Он взял пригоршней с тарелки несколько ломтей ветчины и, задрав кверху бороду, сунул в рот. Ел он жадно, борода его была в хлебных крошках.

Было неясно — уснула Эля или же только лежит с закрытыми глазами.

— Эля... — тихонько позвал Иннокентьев. — Ты спишь?

Она не шевельнулась.

— Ты спишь? — повторил он и положил руку на ее бедро. Ему показалось, что даже сквозь плотную джинсовую ткань чувствует ладонью молодую, упругую гладкость ее кожи, слышит, как бьется жилка под коленом.

— Оставь ее, — сказал Ружин, — пускай спит.

— Спит, — решил Иннокентьев, — можно разговаривать.

— О чем? — словно бы удивился Ружин. — О ней?.. — Он налил себе и Борису, но пить не стал, задумался, упершись локтями в стол. — Не знаю... — протянул неопределенно, — не знаю...

— И все же ты, как ее увидел, стал сам на себя не похож, — настаивал Иннокентьев, — прямо-таки Версаль какой-то развел...

— Не знаю... — повторил Глеб задумчиво. Чокнулся рюмкой о рюмку Бориса. — Выпили. — Опрокинул содержимое рюмки одним неуловимым движением в широкую, как водопроводная труба, глотку. Ветчину он уже всю съел, принялся тем же манером — всей пятерней — за колбасу. Это было похоже на то, как ест слон с помощью хобота.

Иннокентьев тоже выпил.

— Сапоги бы с нее снять, — неуверенно предложил Ружин, — небось набегалась за день на каблучищах...

Иннокентьев расстегнул «молнию» на Элином сапоге, осторожно потянул за каблук, сапог неожиданно легко соскользнул с ноги. Под ним поверх капронового чулка был надет мужской дешевый нитяной носок, зеленый в белую полоску.

Иннокентьев виновато оглянулся на Ружина, словно бы извиняясь за этот носок.

Но Ружин сосредоточенно расправлялся с колбасой, не до того ему было.

Иннокентьев снял и другой сапог и, не сразу решившись, стянул с Элиных ног и носки, сунул их в голенища.

Эля что-то пробормотала во сне, повернулась на другой бок. Иннокентьев прикрыл ей ноги своим пиджаком, висевшим на спинке стула.

— Умаялась, — умилился Ружин, — ничего даже не почувствовала.

Иннокентьев вдруг ощутил опять адский голод, прямо-таки подвело живот, но тарелка была уже пуста.

— Все сожрал?! — поразился он. — Ну и прорва!

— У меня еще есть, — ничуть не смутился Ружин, — навалом. — И ушел на кухню.

Иннокентьев смотрел на неслышно спящую Элю.

«Ну и имечко...» — подумал он только для того, чтобы о чем-нибудь подумать. Ему пришло в голову, что, не заболев Софья Алексеевна, не пришли ему начальник монтажного цеха вместо нее Элю, он бы никогда, встретясь она ему на улице, в толпе, не обратил бы на нее внимания, не заметил даже.

За эти шесть лет, что он расстался с Лерой, он потратил столько душевных сил на то, чтобы запретить себе думать о ней, что, как ему стало казаться, вместе с этими мыслями и воспоминаниями перегорела в нем, рассыпалась холодным серым прахом и самая способность влюбляться, любить. Сердце продолжало исправно перекачивать кровь, бешено колотилось или покалывало, когда он переутомлялся или переукивал, и этим его функции исчерпывались. Проживем и так, бесильно утешал он себя, так даже проще, никаких тебе забот...

С кухни вернулся Глеб с новыми запасами еды.

— Совсем забыли о кофе, — вспомнил он. — Подогреть или новый сварить?

— И так сойдет, — рассеянно отозвался Иннокентьев, продолжая думать о своем: и вот теперь, пожалуйста, эта девчонка из совершенно чужого ему мира, с длинным, худым и угловатым телом, с остриженными по самые подушечки ногтями, — что ему в ней?! Еще утром она только раздражала его, вызывала едва сдерживаемое желание наорать на нее, выгнать из монтажной, потом бесцеремонно заявила, что все, чем он занимается, — сплошная чепуха, а стоило поманить ее пальцем, не раздумывая согласилась на все, — что ему в ней? На кой она ему, зачем?! А потом он еще неизвестно отчего надумал ее везти к себе, а привез к Ружину — это-то зачем?..

— Знаешь, отчего я бросил раз и навсегда писать о вашем дерьмовом театре? — услышал он сквозь свои мысли голос Ружина.

Иннокентьев удивленно посмотрел на него.

— Это имеет прямое отношение к ней, — ткнул Глеб пальцем в сторону Эли. — Самое непосредственное! — И вне всякой связи потребовал: — Прикрой форточку, надует!

Это уже было слишком! Чтобы Ружин, который по хладололюбию был несомненно помесью тюленя с белым медведем, решился из-за заботы о ком бы то ни было закрыть форточку в собственной берлоге?!

Иннокентьев привстал, дотянулся до фрамуги, захопнул ее.

— Я потому бросил это унизительное для уважающего себя мужчины занятие, — продолжал проникновенно Ружин, одной рукой разливая из кофейника в плохо вымытые чашки кофе, а другою водку в рюмки, — что все это не-на-сто-ящее! Все липа, туфта, суррогат! — В запале он чокнулся с Иннокентьевым не водкой, а чашкой с кофе. — Тьфу! — заметил он свою оплошность, но исправлять ее не стал, залпом опрскинул в себя остывший кофе.

Иннокентьев стал жадно, голодно есть, слушая Глеба вполуха.

Он знал по опыту, что сейчас последует длинный, разрушительно-

саркастический ружинский монолог, беспощадное сведение счетов с немощной, тлетворной фальшью искусства, а заодно и с собственной несостоявшейся судьбой.

Эти извержения неизрасходованной мыслительной энергии находили на Глеба всякий раз, как только представлялся малейший, пусть даже и самый далекий и не идущий к делу повод — Ружин занимался, как таежный сухостой, от первой же искры.

— А она, — ткнул он подбородком в веере редкой бороды в сторону спящей Эли, — она — настоящая!

— Ты ее впервые видишь, — неведомо на что озлился Иннокентьев, — и какое, скажи на милость, она имеет отношение к театру?!

— Вот меня всегда занимало, — Ружин выпятил презрительно трубочкой губы, — как это тебе удастся не видеть того, что и слепому ясно? Ребенку — и то как на ладони!.. Как ты, человек относительно образованный, почти интеллигентный, можешь заниматься тем, чем занимаешься в своем паскудном «Антракте»? И вообще жить жизнью, которой ты живешь?..

— Пошло-поехало... — поморщился Иннокентьев, — нашел время.

— Пожалуйста! — радостно согласился Ружин. — Поговорим о времени!

— О времени и о себе... — попытался Иннокентьев уйти от этого набившего оскомину разговора.

— И о тебе, именно! И не говори мне, что час ночи, что ты не для того пришел сюда с новой юбкой...

Иннокентьев покосился через плечо на Элю и невольно попытался представить ее себе не в джинсах, а в юбке.

— Спит, спит, — махнул рукой Ружин, — и не беспокойся, ничего порочащего тебя лично я обнаруживать не собираюсь.

— Глеб, — Иннокентьев посмотрел на него с трезвой, печальной усмешкой, — через неделю Софья Алексеевна выздоровеет — и все вернется на круги своя. Тем более что ничего, собственно, и не случилось.

— Вот! — со сладострастным торжеством воскликнул Ружин. — Ты в этом весь! Ты и время! Не ты хозяин над временем, а оно над тобой. Вернется твоя Софья Алексеевна — и все опять пойдет как шло, и ты будешь по-прежнему делать свои безнадежно пустые передачи, похожие одна на другую, как дома-близняшки в новых районах, будешь играть как ни в чем не бывало в свой пошлейший теннис, но именно тогда ты будешь спокоен и доволен собой и будешь считать, что все идет как надо. А тут... — он поднял блестящий от жира палец с обкусанным ногтем, — тут вдруг нечто непохожее, не такое, как всегда, и ты спешишь мигом же слинять, уйти в кусты, потому что в этом случае тебе не миновать что-то менять, а перемены-то ты как раз больше всего и боишься. — Он широко расчесал бороду на обе стороны, и казалось, что он это делает единственно для того, чтобы вытереть о нее жирные пятерни. И добавил с безграничным презрением: — Один сплошной антракт!

— При чем тут «Антракт»?! — не обиделся, а еще больше заскучал Иннокентьев. — При чем тут это?

— А при том! При том, что то, о чем ты вещаешь с экрана, и кого приглашаешь, о чем их спрашиваешь и заставляешь говорить, этих сытых и гладеньких баловней моды, — все это из одного корня: не выйти бы за рамки того, что уже имело успех вчера, что уже намертво убито успехом, уже идет у нормальных людей обратно горлом... — Голос его зазвучал беспощадной инвективой. — Ты! Раб успеха и жрец его же! И бог ваш — тот же сальненький, трусливенький успех! — Он вдруг остановился, как человек, бежавший по гладкой, знакомой дороге и неожиданно наткнувшийся на глухую стену. — Да нет, все не то я тебе говорю, совсем не то, что хотел...

— Слава богу, — облегченно вздохнул Иннокентьев, — и на том спасибо, а то меня уже в сон стало клонить.

— Я вот о чем хотел! — нащупал снова свою мысль Ружин. — Вот она, — ткнул пальцем в сторону Эли, — она так же отличается от всех вас и ваших заквашенных на тщеславии баб, как настоящее искусство — от того, чем ты умиляешься в своем «Антракте».

— Я ничем не умиляюсь, — вяло огрызнулся Иннокентьев, — и о вкусах не спорят, начнем с этого.

— Вот именно! А ты как раз и делаешь вид, что твоя передача — тот самый спор о вкусах, в котором рождается истина, на самом же деле если тебе на что и наплевать, так именно на истину. Но и не об этом речь...

— А ты соберись с мыслями, — и на этот раз не обиделся Иннокентьев, — а то все мимо и мимо...

— ...а о том, что ты выдаешь за истину нечто настолько от нее далекое, как... — Он перевел дух и опять перескочил на другое. — А вот она... — поглядел с каким-то детским умилением на Элю, — она-то как раз истинная, самая что ни есть настоящая! Но ты принадлежишь к тому типу нынешних бойких молодчиков, которым не под силу это понять!

— Ну вот, я уже и тип...

Происходило то, что случалось всякий раз, когда Ружин оседлывал своего любимого конька, и, как всегда, Иннокентьев не умел уклониться от этих тысячу раз говоренных между ними разговоров, не находил в себе сил поставить этого краснобая пустопорожнего на место. Этот нескончаемый, бессмысленный спор с Ружиным засасывал его, как в воронку без дна, и в то же время дарил какое-то мучительное удовлетворение, словно бы, не признаваясь в этом даже самому себе, в глубине души он соглашается с Ружиным и с той самой истиной, о которой тот талдычит.

Но, уходя всякий раз от Ружина и садясь в свои «Жигули» с мохнатыми козыми шурами на сиденьях, он тут же забывал и об его попреках, и об его умозрительной, не могущей иметь никакого практического применения правоте. Вольно Глебу растекаться по древу и толковать о несбыточном, забравшись в свои заоблачные эмпирии, вся его проповедь и максималистская крайность суждений яйца выеденного не стоят. А главное, ничегошеньки Ружин — ни труда, ни риска, ни усилия хоть какого-нибудь — на алтарь своих идей не кладет, да и сам на костер не торопится. А филиппики эти — для домашнего пользования, буря в стакане воды.

Но сегодня разговор был какой-то иной, чем обычно. Сегодня и сам Иннокентьев был не такой, как всегда. И он злился на себя больше, чем на Ружина, именно потому, что не понимал, что с ним происходит. Не из-за Эли же, право, не из-за этой же девчонки, о существовании которой он утром еще и не подозревал и о которой завтра же забудет! И уж не оттого, что она так сразу, с первого взгляда, пришлась Глебу по душе, черт побери?!

— Это что, она, — кивнул он на спящую Элю, — вдохновила тебя на красноречие? Я ведь вижу!

— Она?! — возмутился было Глеб, но тут же охотно согласился: — Она, да.

— С чего бы это?

— С чего?.. — Ружин задумался, потом сказал с чувством, почти торжественно: — Эта тебе врать не дала бы. Не такая.

— Какая же? — настаивал Иннокентьев.

— А такая, что вот — ей тридцать почти...

— Тридцать?! — поразился Иннокентьев, он был уверен, что Эле не больше двадцати, ну двадцать три от силы.

— Я спросил, когда показывал, где ванная, не постеснялся, просто не хотелось, чтоб в моем доме растлевали малолетних. На вид, когда вы вошли, я ведь не дал ей и восемнадцати. Тридцать почти, а — ребенок, в этом все дело...

— Ну, этот-то ребенок, — усмехнулся Иннокентьев и тут же устыдился своей усмешки, — судя по всему, прошел такие огни, воды и медные трубы...

— Не старайся казаться пошлее, чем ты есть, — оборвал его Ружин, — и так за глаза хватит! Ну прошла, что из того?! Все равно ребенок, и чистая, и прямая, и я прошу тебя.. Я прошу тебя! — вдруг крикнул он в гнев. — Я тебя предупреждаю!

— О чем? — не отвел глаза Иннокентьев. — И по какому праву?

Ружин не ответил, долго молчал, теребя пальцами бороду и глядя в стол.

— И прошу тебя, — сказал он наконец печально, — я прошу тебя не стать для нее новой водой, огнем и трубами... Не надо. — И подняв на Иннокентьева глаза, теперь не острые и колючие, а просительные, жалкие, негромко повторил: — Я прошу тебя. Ведь она тебя... да, представь себе, она тебя...

— Она меня сегодня утром впервые в жизни увидела! — упрямо вскинулся Иннокентьев. — Не строй прекраснотушных иллюзий!

— Ну и что?.. Она тебя сто раз видела по телевизору, ты для нее та самая несбыточная сказка о прекрасном принце... О том, чего у нее никогда не было, чего она никогда в жизни и не надеялась увидеть и встретить...

— Она не Золушка, можешь мне поверить, а ни более и ни менее как вполне современная Эльвира из подмосковного пригорода, и она-то сама не корчит из себя недотрогу, наивную девочку в голубых лентах! И уж наверняка лучше нас с тобой знает, чего ей от меня надо...

Эля вздохнула и пошевелилась во сне.

— Тише! — перебил его Ружин. — Она же все слышит!..

— И пусть! Разве я сказал что-нибудь обидное для нее? Я только сказал, что ей без малого тридцать лет, и она стреляный московский воробышек, и знает что почем. Наоборот, она бы очень обиделась, если б узнала, что кто-то принимает ее за наивную дурочку.

Ружин горестно покачал головой, не сводя с него глаз.

— Циник же ты, однако...

— Неправда! Просто я тоже вполне современный мужчина сорока четырех лет от роду и тоже успел нахвататься всяческого опыта... Ах, — махнул он устало рукой, — давай уж лучше выпьем.

Он не только не боялся, что Эля его услышит, но и хотел, чтобы она все услышала. Он был уверен, что в этих его прямых и жестоких словах есть какая-то наверняка понятная ей честность, которая более, чем что-либо другое, говорит в его пользу.

— За что только я тебя люблю... — удивленно и покорно произнес Ружин, протянув руку к бутылке и наполняя свою и Иннокентьева рюмки. — Не пойму. Давай! — И залпом выпил.

За окном лил запоздалый, не по времени года бесшумный и скучный дождь, они и не заметили за разговором, как он начался.

Иннокентьев нерешительно подумал вслух:

— Третий час... надо ехать.

— Куда? Дождь ведь.

— Я на машине.

— Тем более — мы же с тобой почти целую бутылку опорожнили. И она спит, жалко будить.

— Можно, конечно, и у тебя заночевать... — безвольно согласился Иннокентьев, — мы с ней здесь, а ты в той комнате... (После смерти матери Глеба во второй комнате-крохотулке осталась неподъемная, старинная, карельской облупленной березы, высокая кровать с продавленным матрасом.) Действительно, я порядком выпил. Ты иди туда, спи, а я посижу пока здесь. Иди.

Ружин ничего не ответил, с тяжким вздохом поднялся, ушел в соседнюю комнату, плотно прикрыв за собой дверь.

Слышно было, как он там чертыхается, раздеваясь и укладываясь, страдальчески застонала под его восьмипудовым телом карельская береза, и уже через две минуты из-за двери донесся надсадный, с всхлипываниями и стенаниями храп.

Иннокентьев долго сидел на краешке топчана рядом с Элей. Ему совершенно не хотелось спать, и думал он тоже ни о чем. Потом он представил себе, как нелепо, должно быть, выглядит это со стороны: чужая квартира, он сидит у ног спящей и совершенно чужой женщины, которую неведомо зачем привез сюда, и совершенно не знает, что с ней делать, и про себя он тоже ничего не знает. И тогда он стал думать — это с ним случалось всегда, когда почему-нибудь не спалось, — о Лере.

Мысли о ней приносили с собой все еще ноющую бессильную боль, но и, вместе с болью и вопреки ей, утешение и убаюкивающую эту боль жалость к самому себе.

На столе остались тарелки с недоеденной колбасой и сыром. Он машинально встал и отнес остатки еды в холодильник. На кухне он долго стоял, прижавшись лбом к холодному стеклу окна, и опять думал о Лере, но сейчас почему-то эти мысли не приносили ни боли, ни жалости, ни утешения.

Вернувшись в комнату, он еще с порога увидел, что Эля не спит, лежит на спине с открытыми глазами.

Он подошел к топчану, опять присел рядом с ней.

— Не спишь?

Она по-детски мелко и часто замотала головой: нет.

— Ты... все слышала?.. — осторожно спросил он.

Она опять так же часто помотала головой.

Он сидел в ее ногах и не знал, что ей говорить и вообще как быть.

— Ложитесь, -- без выражения сказала она, — ведь и вам, наверное, не терпится покемарить, места хватит.

Он нагнулся, расшнуровал ботинки, скинул их с ног, все еще не решаясь лечь с ней рядом, потом все-таки лег, вытянулся на краю топчана.

Нет, он не хотел ее, подумал про себя почему-то в третьем лице Иннокентьев, он ее не хотел и больше всего боялся показаться ей и самому себе смешным.

— Вам удобно? — спросила она шепотом.

— Да... А тебе?

— Нормально. Спите.

И он вдруг после суматошного и утомительного этого дня и половины ночи, лежа рядом с молодой и еще несколько часов назад казавшейся такой доступной женщиной, вдруг мгновенно и легко, как бывает только в благословенном детстве, провалился в счастливый, безмятежный сон.

«Рассказать кому, не поверят, — успел он, прежде чем уснуть, подумать и усмехнуться, — смешнее не бывает...»

А когда он уснул и ровно задышал во сне, Эля тихо встала, неслышно прошлепала в одних чулках по холодному линолеуму пола, нашла выключатель, погасила свет, вернулась к топчану, опять легла, но тут же раздумала, села, подтянув колени к подбородку и обхватив их тесно руками, смотрела не отрываясь на лицо Иннокентьева в колеблющемся, неверном свете электрических фонарей с улицы. Лицо это казалось ей пугающе-незнакомым и чужим, но именно таким оно и должно было быть у него.

Под ним она имела в виду не именно Иннокентьева, а вообще того долгожданного мужчину, который мог лежать с ней рядом и не требовать от нее того, чего надо лишь терпеливо и молча ждать.

Эля его забавляла — пожалуй, именно так Иннокентьев определил бы свое отношение к ней, если бы кто-нибудь пристал к нему с расспросами.

Забавляло в ней все — и мальчишески-длинное и узкое ее тело, и заношенный до белесых пролысин тесный джинсовый костюм, который она называла не иначе как ансамбль, и размашисто-грубоватые, резкие ее манеры и словечки, и прямота, и непредсказуемость суждений, в которых, если вдуматься, была своя непреложная логика и здравый смысл. Он ловил себя на том, что и сам становился с нею иным — проще, что ли. С ней можно было позволить себе роскошь постоянно быть самим собой, а одно это дорогого стоит. А уж если называть вещи своими именами, то объяснение этому тоже было простейшее: наверняка не он один, но и она знает наперед, что их отношениям тянуться недолго, очень скоро им наступит конец, и уж ей-то первой они наскучат, осточертеет ей этот на четырнадцать лет ее старше, седеющий и вечно занятый своими делами и самим собою мужчина, которому всегда недосуг и, если признаться начистоту, не до ее любви. Если, конечно, она его любит, подводил утешительный и, главное, необременительный итог своим размышлениям Иннокентьев.

На людях они никогда вместе не бывали, на работе — Софья Алексеевна вскоре выздоровела, и Эля больше не появлялась в монтажной «Антракта», — если они встречались в бесконечных, похожих на длинные и без выхода подземные тоннели, коридорах останкинского телецентра, Эля называла его на «вы», и не из конспирации, а по внутреннему побуждению, а он ее, разумеется, на «ты». Она ничего ни от кого не скрывала, но и не выказывала, не хвастала, как сделала бы несомненно на ее месте любая останкинская девчонка-секретарша или ассистентка, своими отношениями с Иннокентьевым и даже, как ему казалось, не очень-то тешила ими свое тщеславие.

Он лишь удивлялся, что многие ее смешные или попросту глупые привычки и суждения не раздражают, не вызывают в нем неловкости, как вызвали бы, будь это не она, а кто-нибудь другой. Ну, например, то, что, входя к нему в дом, она, едва переступив порог, тут же разувавалась и ходила в одних нитяных носках поверх чулок, упорно не желая надевать домашние шлепанцы. Или то, как она ела хлеб, откусывая от целого ломтя и держа его на отлете в руке с манерно оттопыренным мизинцем. И даже то, что лак на ее коротко остриженных ногтях — в тех редких случаях, когда она сама себе делала маникюр, — тут же облуплялся, а это обычно вызывало в нем почти физическую тошноту. Не говоря уж о тех немыслимо, на его взгляд, нелепых разговорах, которые она обожала вести в постели, выпростав из-под одеяла свои крупные белые ступни, ей всегда было жарко. Ей не так уж важно было, чтобы он отвечал, ни даже, может быть, чтобы слушал, и иногда Иннокентьеву приходило на ум, не забыла ли она, что он лежит с ней рядом. Впрочем, и он в это время чаще всего думал о своем, не имеющем к ней ни малейшего отношения.

Но при этом он помимо воли все-таки понемногу втягивался в эти ее бесконечные, без точек и запятых, рассказы с ошарашивающе невыдуманными, безбоязненно подсказываемыми памятью подробностями — так ново было все это для него, так далека была эта ее жизнь в Никольском, которое ему представлялось где-то на краю света, такими живыми и совершенно не похожими на его собственное окружение вырастали из ее рассказов люди, которые были для нее не просто соседями, попутчиками в электричках, метро и набитых битком автобусах, а — плотью, воздухом самой жизни, которой она жила без него, Иннокентьева.

Они встречались все чаще, но только у него дома. А утром она убегала на работу, когда он еще спал, и не будила его, и кроме этих

ночных торопливых часов ничего общего у них, казалось бы, и не было. Да и могло ли быть?..

Но со временем ему становилось этого мало. Он посмеивался над собою и только пожимал плечами: что ему в этой девчонке?! — но и это не слишком помогало.

Он упрямо твердил себе: никакая это не любовь, смешно и подумывать, в лучшем случае — слепое физическое влечение, род недуга, одно утешение — скоро пройдет, промелькнет, забудется. Но и это не освобождало от тревожного чувства незащищенности и какой-то собственной вины — в чем, перед кем?!

Он дал ей второй ключ от квартиры, и теперь, возвращаясь поздними вечерами с театральной премьеры или с затянувшейся съемки и заставая ее у себя, он уже не тяготился пустотой и нежилым, бесприютным духом своего дома, как это было все годы после отъезда Леры.

Меж тем слякотная, гриппозная осень сменилась бесснежной зимой, стояли сухие, колючие морозы, но когда в конце декабря заснежило наконец, то уж так обильно и роскошно, что в одну ночь Москва оделась в белое и праздничное, и разом стало светло и на душе.

Иннокентьеву казалось само собой разумеющимся, что он будет встречать Новый год не с Элей, а в обычной своей компании. Сама мысль о том, чтобы взять Элю в эту свою компанию, была бы противостественной и попросту смехотворной. Эля тоже не заговаривала с ним о Новом годе, но в ее молчании, в ее нарочитом безразличии ему настойчиво слышался немой вопрос и нетерпеливое ожидание, и это тяготило его чувством все той же своей мнимой, на его взгляд, вины. А он этого терпеть не мог — чувствовать себя перед кем бы то ни было виноватым. Он не понял Ружина, когда тот сказал однажды:

— Интеллигентный человек прежде всего тем и отличается от жлоба, что испытывает вечное чувство вины.

— В чем? — спросил его тогда Иннокентьев. — И перед кем?

— Перед тем же жлобом хотя бы, — спокойно пояснил Ружин. — За то, что он лучше и выше этого жлоба и понимает это, а жлоб о том даже не догадывается.

— Я же еще должен чувствовать перед ним какую-то вину?! — пожал плечами Иннокентьев.

— Ты?.. — протянул удивленно Глеб, и в его голосе, во взгляде маленьких, острых глазок Иннокентьеву почудилась та насмешливая, высокомерная дистанция, которую нет-нет, а устанавливал между ним и собою Ружин. — Ты — нет. Ты не тот и не другой. Ты на пути от одного к другому.

— В каком направлении? — непостижимо почему не обиделся Иннокентьев. — От жлоба к интеллигенту или наоборот?

— Это не имеет никакого значения, — заключил тогда Ружин, — ибо ни жлобу в интеллигента, ни интеллигенту в жлоба не дано, увь, превратиться, и в этом именно их вечная и незамолимая вина друг перед другом. Но жлоб ее в себе даже и не предполагает, вот и вся разница.

...Но утром в канун Нового года он, неожиданно для самого себя и тяготясь все тем же чувством несуществующей своей вины перед Элей, сказал ей:

— Сегодня уже тридцать первое, а я, к сожалению, не догадался заранее...

— А меня уже пригласили в компанию, — не дала она ему договорить, и по ее поспешности он понял, что она давно ждала от него этих слов, чтобы сразу все поставить на свои места. — Так что ничего не выйдет, извините.

— Я хотел как раз тебе предложить.. — он почувствовал облегчение, хотя то, как она легко и безапелляционно все решила за них обоих, непонятно почему больно уязвило его, — хоть пообедать вместе... едва ли мы уже сможем попасть куда-нибудь на встречу Нового года...

— Вы не сердитесь на меня? — опять перебила она его. — Просто я забыла вам раньше сказать.

— Попытаемся все же, а?.. — И тут же пожалел о сказанном: куда они смогут пойти, не заказав заранее столика? Никуда их и на порог не пустят.

Но она вдруг вскинула на него счастливые, разом поглубевшие глаза.

— Попытка не пытка, верно? Только имейте в виду, я уже не успею домой заехать, в Никольское, времени мало.

— Зачем тебе домой? — не понял он.

— Ну, в смысле — переодеться. Пойду, в чем каждый день, ничего?..

— Нормально, — ответил он ей ее же словом, хотя тут же сообразил, что в ее — одном на все случаи жизни — потертом джинсовом костюмчике не то что в порядочный ресторан, и в самый захудалый кабаk не пустят. А где достать за оставшиеся несколько часов подходящее к случаю нарядное платье?.. И все прочее — чулки, украшения и что там еще полагается у них?.. Туфли хотя бы, он даже не знает, какой размер она носит..

— Тогда я хотя бы отмокну как следует в ванной, — тем же счастливым, захлебывающимся от неожиданного праздника голосом решила Эля, — чтоб хоть в какой-никакой форме быть, верно? Мы ведь не сразу поедим?.. — И не дожидаясь его согласия, стала стягивать с себя одежду. — Чтоб вам со мной не стыдно было от людей..

И ушла в ванную, оставив не знающего, что предпринять, к кому кинуться за помощью, Иннокентьева одного.

И тут ему вдруг пришло на ум — Настя Венгерова. Настя — единственный человек, который может ему помочь в этой ситуации. Во всяком случае, не откажется помочь. И даже то, что еще какой-нибудь год назад их отношения очень походили, по крайней мере со стороны, на вполне серьезный роман, а потом закончились сами собой, без взаимных обид и попреков, даже без выяснения напоследок, кто в том виноват, — даже это не помешает ей захотеть ему помочь.

Настя была первой артисткой театра Аркадия Ремезова — еще недавно, как это называли в старину, властителя дум столичной публики. Правда, в последнее время ему стали ощутимо наступать на пятки режиссеры помоложе, побойчее и с новыми идеями, но тем не менее он и по сей день оставался звездой первой величины на театральном небосводе.

Что ж, кинемся в ноги Насте, деваться некуда..

Не очень уверенный в успехе, Иннокентьев набрал Настин телефон и тут же, после одного лишь протяжного гудка в трубке, словно бы Настя только и ждала его звонка, услышал ее грудной, с чуть манерной модуляцией голос:

— Да?..

— Это я, Борис, не удивляйся, — сказал он и вдруг уверовал, что раз уж он с первого звонка застал ее дома, Настя непременно что-нибудь придумает. — Слушай, Настена, даже не знаю, как начать..

— Так мы ведь сегодня, насколько я понимаю, встретимся, до вечера ты успеешь решить, как начать, если это тебе не очень к спеху, — отозвалась она спокойно, точно самый факт, что они и на этот раз, после всего, что меж ними было, будут встречать вместе Новый год, в порядке вещей. — Как всегда, на даче у Митиных. Правда, на этот раз нас будет не пятеро, а шестеро.

— Кто же шестой? — спросил машинально Иннокентьев.

— Дыбасов, режиссер. Ты ведь с ним знаком? Митин с Ирой, твой Ружин, Дыбасов и мы с тобой. Или что-нибудь случилось?

— Боюсь, что да, — неожиданно для самого себя решил он. — Боюсь, что вас будет, как всегда, только пятеро, на меня, кажется, рассчитывать не приходится. — И не дав ей спросить, что же такое из

ряда вон приключилось, выложил свою просьбу:— Мне нужно платье, ну не мне, естественно, а... Одним словом, нужно. Нарядное и чтобы очень красивое. Ну и туфли и все такое прочее...

— Для кого?— спокойно же и рассудительно спросила она без всякого, казалось, удивления.— Не подумай, конечно же, это не имеет никакого значения —кто, но хоть рост, размер ты знаешь? И что еще важнее — цвет глаз, волос, вообще стиль?

— Цвет глаз?..— задумался он и ответил не очень уверенно:— Скорее всего серебряный...

Ее и это не удивило.

— А волосы?

— Короткая стрижка. В общем, светлые... и тоже, представь себе, какие-то....

— Седые?— не удержалась она от насмешки.— Извини, но ты прогрессируешь как-то слишком стремительно.

— Нет,— пропустил он мимо ушей ее язвительность,— просто волосы... ну, вроде бы отсвечивают тоже серебром, что ли...

— Тогда ей подойдет синее,— твердо решила Настя.— Хотя очень может быть, что и сиреневое. Я могу подобрать что-нибудь из старья,— и тут не удержалась она от колкости, но Иннокентьеву не до того было.— Я имею в виду что-нибудь, в чем я уже разок появлялась на людях.

— Рост твой и фигура тоже. Плюс-минус, разумеется.

— Что ж, ты становишься постоянным, Боря. С годами это со всеми рано или поздно случается,— заключила она сочувственно.— Мне приятно, что я продолжаю служить тебе хотя бы эталоном. А размер обуви?

— Не знаю. Чуть больше твоего, я думаю. Вот что, я сейчас подъеду к тебе, ты ведь никуда уже до вечера не собираешься?

— Приезжай. Красоту я буду наводить позже, только и всего. И зализывать раны тоже. Или следы беспощадного времени, если уж называть вещи своими именами. Кстати, можешь не беспокоиться, ни о чем расспрашивать не стану. Я усвоила — на свете счастья нет, но есть покой и воля.

— Это как раз то, что мне в данную минуту нужно,— не то отшутился он, не то сказал вполне всерьез.

— Поздравляю. Если ты, конечно, не расхвастался.— И, не дожидаясь его ответа, положила трубку на рычаг.

Иннокентьев сидел еще с телефонной трубкой у уха, слушая маленькие, ехидные гудочки отбоя. Потом решительно встал, подошел к двери в ванную и, не заглядывая внутрь, громко сказал Эле:

— Мне надо ненадолго уехать, на часок, не больше. В холодильнике все есть, поешь. Я скоро.

Одеваясь в передней и вспомнив о туфлях для Эли, он взял один ее сапог, сложил голенище пополам и, сунув под мышку, спустился вниз, к машине.

Настя жила недалеко, на Кутузовском, в ее квартире царили всегда тот уют и давнее запустение, свойственные жилищам одиноких актеров, у которых ни времени, ни привычки, ни даже потребности нет в обихоженом житье-бытье.

Она открыла ему дверь и сразу же вернулась к себе в комнату. Иннокентьев разделся и пошел вслед за нею. На диване у стены с вкривь и вкось приклепленными старыми афишами и фотографиями были разложены словно на продажу три вечерних платья— синее, темно-вишневое и бледно-сиреневое, подола их небрежно свешивались на пол.

Настя сидела в длинном, до пят, отливающим тусклым блеском халате за низким туалетным столиком с трехстворчатым зеркалом, внимательно и вместе безучастно разглядывая в нем свое отражение.

Иннокентьев всегда поражался ее лицу, когда она бывала без

грима,— возраст и усталость беззащитно проступали на нем мелкой сеточкой морщинок на висках и под глазами, но, как это ни странно, оно казалось моложе и свежее, чем под привычным слоем тона, от него веяло осенней печалью знающей всему на свете цену и примирившейся с этим горьким знанием женщины.

Иннокентьев мало кого из столичных актрис ставил вровень с Настей и по таланту и по уму — и не только по уму чисто актерскому, скоморошьему, как он его называл, но и в самом простом, житейском смысле слова тоже. Настя была умна почти мужским, трезвым и жестким умом, и при этом ей было свойственно врожденное, не приобретаемое никаким опытом или воспитанием, безошибочное изящество и женственность.

Она не обернулась, когда Иннокентьев переступил порог, а вместо приветствия сказала негромко и без жалобы то ли ему, то ли собственному отражению в зеркале:

— Сорок один, куда не денешься...

— Что? — не понял он. — Ты мне?

— Себе, — и сейчас не обернулась она, — всем другим это и так известно. А я еще играю Нору и Нину Заречную в «Чайке»... Давно пора на роли гран-дам переходить, да вот все духу не хватает... — И так же иронично и устало кивнула в сторону платьев на диване: — Что угодно для души.

— При чем здесь душа? — не понял он опять. — Я тебе сейчас все объясню...

— Не надо, своих загадок хватает, — отмахнулась она. — Это стишки такие детские: «Ленты, кружево, ботинки — что угодно для души». Бери любое, там и бижутерия соответствующая. И не говори про умное и сложное, от усилия мысли я очень старюсь, а мне бы хотелось хоть в Новый год быть молодой и обольстительной.

Он подошел к дивану, долго смотрел в растерянности на разложенные платья и не мог ни на что решиться.

— Я не знаю, — признался он, — помоги мне.

— Ты либо циник, либо жестокосерд, — отозвалась она без улыбки. — Предлагать бывшей возлюбленной выбирать платье для нынешней...

— Она мне не... — начал было он, будто оправдываясь в чем-то, но Настя не дала ему договорить.

— Как и я, собственно, не была. Этим ты меня не удивил. Такой уж ты человек. Вернее, такие уж мы с тобой оба. Или даже, очень может быть, такой уж у нас век на дворе.

Она повернулась к нему, не вставая с низкого пуфа, спросила глаза в глаза:

— Ну и какая же она?.. Прости, но я должна знать хотя бы приблизительно, чтобы не ошибиться, ты бы первый мне не простил.

— Какая?.. — задумался он и, не отводя глаза, без малейшего желания уязвить Настю сказал: — Полная противоположность тебе, начнем с этого.

— Этого вполне достаточно, точнее не скажешь, — без обиды отозвалась она и подошла к нему, встала рядом. — Она молодая? — спросила, глядя в задумчивости на платье.

— Не слишком. Дело тут совсем не в возрасте. Она из Никольского, из Подмосковья, и никогда не бывала нигде, да еще в таком платье, вот что главное. Ни очень молодой, ни красивой ее никак не назовешь, ни даже... — Но не договорил, помолчал и подытожил: — И тем не менее...

— Неужели?! — с недоверием повернулась к нему лицом Настя. — Я-то думала, ты никогда не сподобишься на такое!..

— Я тоже, — кивнул он. — Я это знаю не хуже тебя.

— «И жизнь свою пройдя до середины...», — процитировала она

нараспев и тут же деловито и ревниво спросила:— Ты еще не был на «Чайке», почему?

— Успею,— уклонился он от ответа.— Хочу подождать, пока вы разыграетесь.

— Неправда твоя. Ты лжешь, Иннокентьев,— покачала она головой.— Ты просто боишься снова увидеть меня в ней через столько лет. Боишься, что того, что было тогда, в первый раз, уже не будет. Очень может быть, что ты и прав. А обидеть меня тебе тоже неловко.— Усмехнулась без печали.— Иногда мне хочется знать тебя меньше, чем я тебя знаю, нам обоим было бы проще. Хотя теперь, как ты сам понимаешь, это уже не играет никакой роли.— И без паузы, взяв с дивана жемчужно-сиреневое платье, протянула его Иннокентьеву.— Вот это, я полагаю. Даже в Никольском оно произвело бы просто фурор, не говоря уж о нашей светской черни. Успокой ее — в этом платье, да еще рядом со знаменитым Борисом Иннокентьевым не только свежая и скромная девушка из Подмосковья, но даже я привлекла бы к себе всеобщее внимание. Я за нее даже боюсь — по ее ли это слабым силенкам?

— Как ты можешь, совершенно ее не зная...— вскинулся было он, но Настя перебила его сухо:

— Зато я знаю всех наших. Себя в том числе. И тебя заодно. Иногда мне кажется, что я вообще все знаю наперед. Это называется старость, Боренька, не более того. Можно сказать и — мудрость, но не будем себя жалеть.

— Что это с тобой сегодня? — удивился он.— Такой я тебя никогда не видел.

— Как не видел и в новой «Чайке». Увидишь — все поймешь без слов. Никогда не нужно играть наново старые роли, и не только на сцене. Я это всегда знала, но вот не удержалась...— И подняв на него свои фиалковые, в пол-лица, прекрасные глаза, пообещала без тени насмешки:— А платье ей будет в самый раз, можешь на меня положить.

— Понимаешь,— с опозданием смутился Иннокентьев,— она, представь себе, из Никольского, там дом совершенно не топлён, трубы лопнули, адский холод...

— Ты так говоришь, будто вывез ее из Антарктиды.

— Ты не сердись?— вдруг спросил он, и тут же ему стало стыдно нелепости своего вопроса.

— У нас с тобой всегда все было на «не»,— беспечно отозвалась она,— не сердимся, не тоскуем, не любим, не ревнуем, не нужны друг другу... не, не, не!.. Бери. И гляди не проговорись ненароком, что взял платье напрокат, скажи своей пастушке, что купил специально для нее у Кристиана Диора. Новогодний подарок. С невинными девицами надо быть особенно чутким, не мне тебя учить.

— Ты права.— Хватит с него, решил он, ее язвительности и высокомерия!— Если это барахло тебе не нужно, я куплю его у тебя.

— Отдам не задорого,— ничуть не удивилась и не оскорбилась Настя.— С друзей лишнее брать грех. Я все равно собиралась продавать эти тряпки, надоели. Сочтемся как-нибудь потом, в канун Нового года как-то не хочется говорить о низменном. Хотя я совсем на мели, ты даже представишь себе не можешь.

Он сунул руку в боковой карман, нащупал бумажник, достал из него три двадцатипятирублевые бумажки, положил их на туалетный столик.

— Потом скажешь, сколько я еще должен.

Она взяла безо всякой неловкости деньги, кинула их небрежно в ящик.

— Ладно. Надеюсь, ты не обманешь одинокую, старую женщину.

Они поглядели друг на друга — спокойно, трезво, без упрека, оба

знали, что это-то и есть их окончательное прощание, пусть и запоздалое.

— А туфли? — вспомнила Настя. — Ты спросил, какой она размер носит?

— Ах да! — всполошился он. — Сейчас! — Пошел в переднюю, поднял с пола оставленный им под вешалкой Элин сапог, вернулся к Насте. — Вот...

— Ого!.. — не удержалась она и даже покачала в изумлении головой. — Такого я никак от тебя не ожидала...

Только сейчас, когда Элин сапог оказался в изнеженной, с тонкими, слабыми пальцами руке Насти, Иннокентьев увидел, какой он разношенный, старый, с вытертой на сгибах кожей, и пожалел, что показал его ей.

— Я же говорил — полная противоположность тебе!

— Скорее моему гардеробу. — И на глаз определила: — Размера на два больше моей ноги.. Ты поставил меня в трудное положение, Боря... — И по лицу ее было видно, что она и в самом деле этим огорчена. Потом вспомнила: — Погоди! Мне Света Горяева принесла на днях пару лодочек, последний крик, но мне, как на грех, велики. — Подошла к шкафу, достала из нижнего ящика завернутые в пеструю бумагу туфли, развернула их. — Я думаю, подойдут. Во всяком случае, больше ничем не могу помочь.

Он взял у нее туфли, не глядя завернул опять в бумагу. Единственно чего он сейчас хотел, так это побыстрее выбраться отсюда.

— У меня с собой больше нет денег, — только и выжал из себя.

— Не горит. Ты фирма солидная, за тобой не пропадет. — Вернулась к туалетному столику, вновь уселась на пуф, уставилась в зеркало.

Он было уже пошел к двери, но она его остановила не оборачиваясь:

— Празднуем труса, Борис Андреевич? Отмалчиваемся? Делаем вид, что наша хата совсем на другой улице?..

— Ты о чем? — не понял он.

— Не прикидывайся только, что ты не в курсе!

— Нет, правда, о чем ты?

— Вся Москва об этом трубит, а ты делаешь вид, что ничего не знаешь!.. Ты читал пьесу Митина, ну «Стоп-кадр»?

— Читал, конечно, года два назад, а то и три, я ее уже плохо помню. Ее ставит у вас в театре Дыбасов, так? Я знаю.

— Уже поставил практически. И получился спектакль, которого у нас, в том числе у самого Ремезова, сто лет не бывало. Это событие, понимаешь? Событие, от которого мы давно отвыкли, можешь мне поверить, я не из тех, кто делает из мухи слона.

— В добрый час, я рад за Игоря. И за Дыбасова, разумеется, тоже. Ну и что? — нетерпеливо переспросил Иннокентьев.

— А то, что на прошлой неделе Дыбасов показывал его худсовету и Ремезов заявил, что в этом виде его выпускать нельзя и когда он вернется из Югославии — он поехал туда что-то там очередное ставить, он же эти валютные спектакли печет, как блины, просто повторяет тютелька в тютельку то, что уже поставил дома, — так вот, когда он вернется, он сам подклучится к работе и все поставит с головы на ноги, он так и сказал: с головы на ноги! И это после того как всем стало ясно, что спектакль готов, нужно уже играть на зрителе!

— Это его право. Как-никак главный режиссер. Даже не право — обязанность.

— Да как же ты не понимаешь! Он хочет попросту украсть у Дыбасова спектакль, это же ребенку ясно! И чтобы на афише стояло его имя. Он лучше всех понял, что — успех, а у нас в театре давно успехами не пахнет, такой успех, что все заговорят, все повалят, а кто поставил — Дыбасов?! Вот он и решил присвоить все себе!

— Что ж,— пожал Иннокентьев плечами. Неужели Настя не понимает, не догадывается, что его ждет дома Эля, что через несколько часов — Новый год, что ему сейчас не до Дыбасова и какого-то спектакля, пусть даже речь идет о пьесе его друга Митина!— Что ж, это уже бывало, и не раз, в истории отечественного театра, и ничего — живы-здоровы.

— Так ты отказываешься?!— вскинулась в гнев Настя.— Если уж на то пошло, другого я от тебя и не ожидала!

— Чего не ожидала? — поморщился, как от зубной боли, Иннокентьев.— И от чего я отказываюсь?

— Помочь! Просто-напросто быть хотя бы порядочным человеком! Мужчиной, наконец!

— Не понял.— Иннокентьев на самом деле никак не мог взять в толк, чего она от него хочет.— При чем здесь я?

— Ах, Боря, Боренька!..— вздохнула с усталой усмешкой Настя.— Что в тебе замечательно, так это то, что ты не меняешься, время над тобой не властно. Тебе хоть светопреставление, хоть потоп — ты шагу без расчета не сделаешь. Как это теперь называется? Прагматик? Деловой человек?..— Отвернулась от него, сказала его отражению в зеркале: — А может быть, ты — трус, только и всего? Обыкновеннейший жалкий трус.

— Слушай, Настя!..— Вот уж не ко времени, не к месту этот идиотский разговор!

— Я слушаю тебя. Хотя и того, что ты уже сказал, более чем достаточно.

— Как ты себе это представляешь?— едва сдержался он, чтоб не взорваться.— Ты хоть догадываешься, что такое ваш Ремезов? И что такое мы все, в том числе, представь себе, и я, перед его регалиями, званиями, лауреатствами, связями?.. Тебе ли этого не знать!

— Волков бояться...— начала было она, но он не дал ей договорить.

— Поднатужься, представь себе это реально! Он же всех нас заглотнет, не поперхнетя.

— Значит, ему все можно?— Настя поглядела на него с таким неприкрытым презрением, что ему стоило немалых усилий не отвести глаза.

Но он понимал, что при всем том ей не от кого, кроме него, ждать помощи. «Она бы никогда так не смотрела на меня, с ненавистью и вместе с мольбой,— пришло ему на ум,— если бы речь шла о ней самой, за себя она бы никого не просила, тем более меня. И не за Митина же, не за его «Стоп-кадр» она сейчас молит — когда это было видано, чтобы актеры бросались, зажмурив глаза, на помощь драматургам! Это она ради Дыбасова, единственно, и черта с два я поверю, что дело только в этом спектакле!..». И он невольно опечалился и обиделся: за него Настя никогда бы не стала бросаться грудью на амбразуру, даже тогда, когда, сразу после отъезда Леры, она очень и очень рассчитывала выйти за него замуж — свято место пусто не бывает...

— Потом когда-нибудь ты сам пожалеешь...— не выдержала она молчания.— Да и не так уж страшен Ремезов, он кончился и сам это понимает, иначе не стал бы так рисковать на виду у всех — хвататься за чужой успех как за соломинку. На такие вещи решаются не от хорошей жизни.

— А мы его — по рукам, чтоб скорее ко дну пошел? — усмехнулся Иннокентьев, но про себя согласился с тем, что говорила Настя: Ремезов уже давно существует по инерции, в силу бывших своих побед и прежней, правда все еще живучей, славы. Всему на свете приходит свой час и свой конец, а в искусстве, тем паче в театре, где все так преходяще и скоротечно, это неотвратимее, чем где-либо, и никуда от этого не спрячешься.

Иннокентьев вдруг с удивлением услышал в себе жалость к стареющему, израсходовавшемуся за долгую свою жизнь Ремезову, которого только и остается списать в тираж, занеся предварительно в энциклопедию на букву «р». Это что-то новенькое он в себе обнаружил, подумал Иннокентьев про себя, прежде за собой он не замечал такого — жалости и сострадания к тем, кто сделал свою игру и кому теперь ничего не остается как уйти на покой, в забвение, а затем и в небытие. Иннокентьеву вдруг пришло в голову, что, скажем, киты в таких случаях сами выбрасываются на берег, слоны уходят умирать в одиночестве в чашу джунглей, а вот людям не дана, когда приходит их час, эта страшная покорность судьбе, в которой больше достоинства и величия, чем в жалком хватании за соломинку.

И еще он подумал, что когда-нибудь такой час пробьет и для Дыбасова, но сейчас это ему еще невдомек, до этого еще далеко, а чтобы карабкаться, оскользясь и обдираясь в кровь, на вожделенную, теряющуюся в туманной высоте вершину, человек должен верить, что его-то чаша сия и минет.

Иннокентьев представил себе это так живо и отчетливо, что проникся таким же сочувствием и жалостью к Дыбасову, как только что к Ремезову.

— Иду на вы? — спросил Иннокентьев Настю. — Чего же вы хотите от меня?

— Этого мы еще не решили. Мы хотели как раз посоветоваться с тобой.

— Мы — это кто? Ты, Дыбасов, кто еще?

— Ну, Романа Сергеевича как раз и надо удержать от какого-нибудь опрометчивого шага, он готов на все — уйти, например, вообще из театра, бросить все к черту, сказать Ремезову в лицо все, что он о нем думает... Митин твой — тот всего боится, прямо исходит холодным потом от страха, ему-то ведь главное, чтоб спектакль был поставлен, несмотря ни на что...

— Так... — подумал вслух Иннокентьев, — стало быть, оба они, Игорь и Дыбасов, не столько союзники тебе, вернее самим себе, сколько мешаются под ногами. В таком случае кто же, извини меня, эти «мы»? Кроме тебя, разумеется.

— Глеб, — твердо сказала Настя, — он совершенно убежден, что...

— Глеб! — прервал ее Иннокентьев. — Глеб готов ввязаться в любую свару, благо ничем лично не рискует. Для него это как тот же его еженедельный преферанс — полирует кровь... Выходит дело — ты одна?

— Нет, — убежденно покачала она головой, — весь театр. Конечно, у Ремезова есть свои прихлебатели или такие, которым и так живется хорошо, ничего больше не надо, но большинство готово за Дыбасовым в огонь и в воду, за это можешь быть спокоен.

— И ты тоже — в огонь и в воду? — посмотрел он испытующе ей в глаза. — Тебе-то чего не хватает? Первая артистка, любимица Ремезова, обязанная, не будем забывать, ему всем... Представь себе, как это будет выглядеть со стороны?..

Все это было именно так — не кто иной, как Ремезов разглядел двадцать лет назад в никому не ведомой зеленой выпускнице театрального училища будущую крупную артистку, вылепил ее, можно сказать, собственными руками — и вот теперь, выходит, не успели еще пропеть третьи петухи...

Но она неожиданно решила прекратить этот тягостный для них обоих разговор:

— Ладно, хватит, а то у меня к Новому году морщин прибавится вдвое... Если не сегодня, то уж завтра-то ты, надеюсь, не пренебрежешь традицией, приедешь к Митиным? Вот и договорим, тем более теперь-то уж от этого разговора нам не уйти — карты на стол... — И вновь

установившись на свое лицо в зеркале, сказала то же, что и вначале, когда он пришел:— Сорок один, никуда не денешься...— И, не оборачиваясь к нему, заключила:— Там в передней сумка, возьми. И не очень мни платье.

Он пошел в переднюю, нашел хлорвиниловую сумку, сложил в нее свои покупки, оделся и, уже взявшись за ручку двери, вспомнил:

— Спасибо, Настя.

— Это тебе спасибо,— отозвалась она бесстрастно из комнаты.

— Мне-то за что? — удивился Иннокентьев.

— Хотя бы за то, что ты пришел именно ко мне, а не к кому-нибудь еще...— И было непонятно, то ли иронизирует она, то ли печалится.

Он захлопнул за собой дверь, не стал дожидаться лифта, быстро сбежал по лестнице вниз.

Когда Иннокентьев вернулся домой, он застал Элю спящей на его неразобранной постели, из-под пледа высовывались ее голые ступни. Он прикрыл их, аккуратно развесил на стуле напротив постели только что купленное платье, рядом поставил на полу туфли. Пошел в кабинет, прилег не раздеваясь на диван, несколько минут смотрел без мысли в потолок, потом уснул, будто в черный омут его затянуло.

5

Когда Иннокентьев через каких-нибудь полчаса проснулся, в квартире было так тихо, что первая его мысль была, не ушла ли Эля, ничего не сказав, не объяснив, это было бы вполне в ее духе.

За окном снег валил так густо, что казалось, будто одни и те же крупные, неспешные снежинки пляшут, не опускаясь на землю, в темном квадрате окна, как в давно забытой детской игрушке: когда-то, вернувшись с войны, отец привез из Германии маленькому Боре стеклянный прозрачный шар величиной с кулак, наполненный водой, в нем — сказочный, с островерхими крышами и шпилями замок, и если шар встряхнуть, в нем поднималась туча белых снежинок, снежинки, оседая так медленно, что нетерпеливый ребячий Борин взгляд не мог этого уловить, кружились долго и плавно над замком.

Из-за двери в кабинет пробивался свет. Иннокентьев встал, приотворил ее и увидел Элю, стоящую перед зеркалом в Настином платье с открытой грудью и спиной, на высоченных каблуках, отчего она казалась тоньше и выше, а коротко стриженная голова — неестественно маленькой, совершенно детской.

Она не услышала, как он остановился на пороге, сосредоточенно и чуть нахмурясь изучая в зеркале свое незнакомое, не похожее на нее отражение.

Иннокентьев хотел было выйти и не мешать ей, но она обернулась к нему, уставилась полными ожидания и испуга глазами.

Он понял, чего она ждет от него, не того, ей ли предназначено это потрясное платье — именно так она бы сказала, ему даже почудился ее голос, произносящий это «потрясно»,— она наверняка догадалась, что платье он принес ей, это-то и ежу понятно, нет, сейчас ее волновало и пугало другое: как оно ей? и она сама в этом потрясном платье — какая?..

И он ответил ей именно так, как она была вправе ожидать от него, и тем самым словом, которое ее убедило бы больше, чем любое другое:

— Нормально, вполне.

— Вы считаете? — недоверчиво переспросила она. — Вы лучше рассмотрите, не бойтесь, я не обижусь, если что не так. Я таких платьев сроду не носила...

Он оглядел ее внимательно и придирчиво — в конце концов, ему было тоже не безразлично, как она будет выглядеть в этом наряде с чужого плеча рядом с ним.

Она была нелепа. Она была просто смешна в этом чужом шмотье — это он увидел и понял сразу.

Платье будто с какой-то поспешной злорадностью выставляло напоказ все ее недостатки и несообразности: руки ее стали разом слишком длинны и худы, а кисти их — еще более тяжелы, еще острее выпирали острые лопатки, длинные ноги на высоченных каблуках казались под легкой тканью слишком тощими. И лицо ее будто тоже стало плосче, простоватее — пустили Дуньку в Европу, подумал он растерянно.

Он трезво представил себе, каким смешным и нелепым будет и сам рядом с нею под прицелом чужих недобрых глаз.

Неужто она сама не понимает, как смешна? — думал он, и раздражение в нем росло и росло. Не понимает, что ей нельзя никуда идти в этом идиотском платье? Что ей вообще не надо никуда с ним идти?! Но он только сказал:

— Ты готова? Мы опаздываем.

— Гото-ова,— выпела она счастливо, как выпевала свое вечное «норма-ально»,— вот только марафет наведу, у меня все с собой. У тебя нет каких-нибудь духов, надушиться? Или одеколону хотя бы?

— В ванной на полке,— ответил он сухо.— Только там мужской одеколон, едва ли тебе подойдет.

— Подумаешь,— беззаботно бросила она, направляясь к двери,— если не говорить, так никто не догадается, это же какой нос надо иметь! Настроение у Иннокентьева было испорчено напрочь, ничего хорошего от этого первого выхода в свет с Элей ждать не приходилось!

Выходя из спальни, он взглянул мельком в зеркало и показался себе в нем таким же жалким и смешным, как и она. «Портрет, достойный кисти...»— чертыхнулся он про себя, но отступить было поздно: корабли сожжены, Рубикон перейден и от судеб защиты нет.

Он повел ее в старый «Националь». Он уговаривал себя, что привел Элю именно сюда потому только, что хотел показать ей настоящий ресторан, а не эти модернистские ангары, где чувствуешь себя как в аэропорту в ожидании бесконечно задерживаемого рейса. Но про себя он знал, что потому еще, что в канун праздника он наверняка не встретит там знакомых, которые будут пялить на него и на нее насмешливые или, и того хуже, жалостливые глаза и шушукаться за их спиной.

На дверях ресторана красовалась, как того и следовало ожидать, сакраментальная табличка «Спецобслуживание», и швейцар в почерневшем от времени золотом шитье наотрез отказался пустить их даже на порог. И лишь после того как Иннокентьев грозно потребовал вызвать метра и тот признал в нем известного на всю страну телевизионщика, они были допущены внутрь.

— В порядке исключения,— снизошел к его просьбе метрдотель,— мы уже сервируем к Новому году, одни иностранцы, съезд гостей к двадцати двум ноль-ноль. Так что просьба уложиться до двадцати одного, не позже.

В гардеробе Эля попыталась выпростать с помощью Иннокентьева руки из рукавов своей выдавшей вида шубы из искусственной цигейки, сложность этого маневра состояла в том, что вместе с шубой надо было незаметно снять и шерстяную кофту, которую она надела для тепла под шубу, а сделать это оказалось не просто.

Метр терпеливо и не теряя достоинства ждал в сторонке и потом сам проводил их наверх.

— Спасибо, дальше мы сами,— поблагодарил его Иннокентьев.

Но тот проводил их до самого столика у окна.

Взяв с соседнего стола интуристовский английский флажок, похожий на дорожный знак «остановка и стоянка запрещены», он переставил его на их столик.

— Во избежание,— объяснил он.— Приятного аппетита.— И отошел, указав на них кивком подбородка официанту.

В просторном зале с выходящими на Кремль и Исторический музей широкими окнами, оклеенном бледно-коричневыми, под старинный штоф, обоями, в покойной, густой тишине, в которой бесшумно и ловко двигались, накрывая праздничные столы, похожие на персонажей немомого кино вежливо-надменные официанты в черных смокингах, среди белоснежных скатертей и торчком стоящих клоунскими колпаками накрахмаленных салфеток,—среди всего этого благопристойно-молчаливого безлюдья Эля показалась Иннокентьеву еще более неуместной в его жизни, не совместимой с нею, а сам он — смешным и старым. Он невольно обвел вокруг глазами — не смотрит ли кто на них с откровенной издевкой.

Но зал был почти пуст, интуристы уже, по-видимому, отобедали и разбрелись по своим гостиничным номерам в ожидании новогоднего праздника, лишь в самом дальнем углу трое солидных бизнесменов, из которых один японец, о чем-то оживленно беседовали вполголоса, да еще за одним столом немолодой морской офицер задумчиво глядел сквозь окно на улицу в ожидании официанта.

— Тебе здесь нравится? — спросил он, заранее зная, что она ответит, и уже раздражаясь на этот ее ответ.

Она ответила именно так, как он ожидал:

— Нормально...

— Нормально... Послушать тебя, так мир устроен наилучшим образом, все идет как по маслу...

— Тем более что я тут уже бывала. Не в первый раз.

— С кем? — спросил он как можно равнодушно.

— Мало ли с кем. — Она развернула хрустящий конус салфетки, положила себе на колени, и в том, как спокойно и даже привычно она это сделала, ему почудился вызов. — С разными. Один раз с итальянцем. Нет, даже два. Баскетболист, метр девяносто семь, у меня потом неделю шея болела, так я задираю голову, когда смотрела на него. Бывший. Тоже из команды, но уже массажист. Честный — сам сказал: массажист, а ведь мог наврать, что мастер спорта, как я его проверю? Почти замуж звал. Но это давно было, сто лет назад.

Она отвернулась к окну, и по лицу ее скользнуло короткое, тут же улетучившееся облачко печали. За окном медленно, нехотя плыл крупный, ленивый снег. На Манежной и напротив, в Александровском саду, зажглись огни фонарей, и снег под ними заиграл искрами. «Что там ни говори, а — Новый год...» — подумал Иннокентьев, но сказал совсем другое:

— Это что-то новенькое в твоей биографии — иностранцы.

Она не отрываясь смотрела на снег, на фонари, отозвалась не сразу:

— Старенькое как раз... Глупая, наверное, была. Дура была. — Повернула к нему серьезное лицо, в свете кремового абажура настольной лампы бледное смуглою бледностью, похожей на сходящий к зиме южный загар. — Уже и не помню.

Подошел небрежной походкой официант с блокнотом в руке:

— Я вас слушаю.

— Ты что будешь? — Иннокентьев придвинул к ней меню. — Посмотри.

— Шампанское, — ответила она не задумываясь. — Мы же с вами Новый год вроде встречаем с опережением. Или вы другое что-нибудь хотите?

Иннокентьев почувствовал, как в нем опять — может быть, от каменного равнодушия официанта — вскипает глухое раздражение.

— Шампанского, — не глядя сказал он официанту, — остальное на ваше усмотрение. Ну, новогодний ужин, вы же слышали, сами сообразите.

Официант не удивился, с тем же равнодушным и бесстрастным лицом отошел от стола, но, выходя за дверь, не удержался, обернулся и откровенно ухмыльнулся.

— Когда ты наконец перестанешь с этим твоим дурацким «вы»? — сорвал на Эле раздражение Иннокентьев.— Ты что, стесняешься меня?

— Я — вас?! То есть тебя?! — вскинула она на него удивленные и испуганные глаза.— С чего ты взял?

— Ну того, что...— ему казалось, что все вокруг слышат их и со злорадством ждут, что будет дальше,— того, что я старый для тебя или еще чего-нибудь, не важно чего!..

— Старый?..— еще больше удивилась она.

— Во всяком случае, вполне мог бы прийти к тебе отцом, если бы подсутился вовремя.

— Отца-то я не помню совсем, даже не уверена, был он у меня или не был...— нахмурилась она, отвернувшись от него к окну.— То есть смутно-то помню, конечно...

Официант принес в ведерке шампанское, обернутое в салфетку, отвернувшись от них в сторону, долго откупоривал его, разлил в бокалы.

— Я закуску подам. А горячее вы все-таки сами выберите, чтоб не ошибиться.

— И селедку! — вдруг хватилась Эля.— С картошкой. И водку! Можно? — повернулась к Иннокентьеву.— Или если шампанское, водку уже нельзя?

— Все можно,— ответил за Иннокентьева официант нагло-интимным голосом,— было бы здоровье.

— Желанье дамы — закон! — весело и раскованно крикнула ему вслед Эля.— Тем более под Новый год!

И вдруг Иннокентьев, к собственному удивлению, понял, что просто-напросто ревнует ее — к этому наглому официанту, к собственной ее беззащитно бьющей через край молодости, к ее родному, от него за тридевять земель, за семью морями, Никольскому, к ее баскетболисту-итальянцу, наверняка искателю легкой поживы на «плешке» у «Метрополя»...

— Можно, я незаметно разуюсь, под столом никто не увидит? — невпопад с его мыслями попросила Эля.— Туфли уж больно тесные, прямо невтерпех...— И не дожидаясь его разрешения, сбросила их с ног, каблук стукнулись об пол.

Он вскинул на нее глаза, хотел возмутиться и выплеснуть весь вечер копившееся раздражение, но вдруг увидел ее — люстры в зале были припогашены, отсвет настольной лампы лег на ее лицо, на ее голые плечи, руки, шею, грудь, бледно-сиреневое платье излучало теплый жемчужный блеск, она была так сейчас молода, свежа и чиста, что Иннокентьев глядел на нее во все глаза и виновато дивился себе: как ему могло еще какой-нибудь час назад примерещиться, что она в этом платье с чужого плеча смешна и убога?!

У него даже задрожала рука, в которой он держал шампанское, он поставил бокал на стол, взял ее жаркую, чуть влажную ладонь в свою, сжал так сильно, что ему показалось, он слышит, как хрустнули ее пальцы, сказал не слыша собственного голоса:

— Я люблю тебя, понятно?.. Люблю, тебе понятно? Понятно тебе?! — Разжал руку, откинулся на спинку стула и, поймав на себе случайный взгляд морского офицера из-за дальнего столика, повторил громко и раздельно:— Люблю! Тебе этого не понять, но это ничего не значит, мне плевать, понятно тебе или нет! Просто я хочу, чтобы ты была в курсе.

Официант принес закуску, ловко держа над плечом поднос.

Иннокентьева оглушило собственное признание в любви. Он давно, целую жизнь не говорил этих слов никому. Он вообще за всю свою жизнь дважды признавался в любви и оба раза женился на женщинах, которых любил. А все прочие...— а их перебивало немало в его жизни, особенно за последние шесть лет их набралось более чем предостаточно,— никогда ни одной из них он не говорил «я тебя люблю». И вовсе не потому, что боялся, сказав эти слова, связать себя какими-нибудь

обязательствами или обещаниями, как и не потому, что не хотел лгать, нет — просто язык не поворачивался, просто эти слова все еще принадлежали не одному ему, но и Лере.

И вот теперь он сказал их — и кому?! Если за всю его жизнь и была в ней какая-нибудь женщина, которая меньше всего ему подходила, чтобы сказать ей «я тебя люблю», так это именно Эля. И что самое смешное, самое невероятное — сказав ей эти слова, он не солгал, не слукавил, не ей — себе не солгал. Но вместе с этим чувством удивления самому себе, ошарашенности от того, что с ним неожиданно-негаданно приключилось, он испытывал сейчас и освобождение какое-то, свободу, с неба свалившуюся, волю делать все что хочет, думать все что думается и жить единственно сообразно тому, как он думает и что чувствует.

Он не слышал, о чем говорит Эля, размахивая рукою с вилкой, он прислушивался недоверчиво и удивленно к тому, что происходило в нем самом и что вдруг, одним махом, перечеркнуло и опрокинуло его собственное представление о себе. Он отвечал ей машинально, не вдумываясь в то, что говорит, наливая шампанское, передавал тарелки с едой, а за окном кружилась в радужном сиянии фонарей первая метель.

Он и не заметил, как его отрешенность передалась и ей, и она тоже умолкла, так они в полном молчании доедали свои шницели по-министерски. И лишь когда официант принес счет, с решительным видом положил его на стол и отошел, выжидая, в сторонку, Иннокентьев очнулся и сказал совсем уж невпопад:

— Что ж, а за Новый-то год мы так и не выпили...

Эля поднялась с места с бокалом в руке, перегнулась через стол, он тоже встал и хотел было поцеловать ее в щеку, но она нашла губами его губы и, не прерывая беззастенчиво долгого поцелуя, шептала ему что-то, но он не слышал ее слов, а лишь угадывал их губами. Ей не хватило дыхания, она чуть отстранилась, но глаза ее продолжали смотреть на него совсем близко, в упор, с такой благодарной преданностью, с таким счастьем и мольбой, чтобы он это счастье пощадил и не посмеялся над ним, что ему стало страшно за нее. И за себя тоже.

— Я люблю тебя, слышишь? И это правда. И к черту все! Поедем! Я не хочу больше! — И снова он взял ее руку в свою и сжал изо всех сил, ему и хотелось сделать ей больно, иначе она ничего не поймет! — Ты слышишь?..

А она, морщась от боли, но не пытаясь высвободить свою ладонь из его руки, очень серьезно, на одном дыхании, протяжно выпела:

— Норма-ально!..

Они поднялись к нему на шестнадцатый этаж, Иннокентьев не раздеваясь прошел в комнаты, зажег во всех трех свет, крикнул Эле в переднюю:

— Пусть будет светло! Новый год как-никак. Иллюминация! — Вернулся к ней, чтобы помочь раздеться. — В холодильнике у меня должно быть шампанское. Пить так пить! Иди в спальню, разденься, я принесу шампанское туда.

— В постель кофе по утрам приносят, а не шампанское, — ответила она неожиданно для себя неприязненно.

Пока он доставал на кухне из холодильника вино и откупоривал его, она обошла с напряженным, насупленным лицом его квартиру. Собственно говоря, она впервые вот так, не торопясь, разглядела ее. В прежние ее посещения Иннокентьев нигде не зажигал света, кроме кухни и спальни, а утром она, не дожидаясь, пока он проснется, убежала, опаздывая на работу. В первый раз, правда, он тоже встал, сварил ей кофе, накормил завтраком и проводил до лифта, но так было только в первый раз. Обычно по утрам он крепко спал, и ей было жалко его будить. Так что в другие комнаты, кроме спальни, она и не заглядывала.

Она прошла направо, в просторную гостиную с большим, во всю стену окном, выходящим на площадь Восстания, почти пустую, залитую

ярким светом большой люстры с множеством электрических свечей. Пол был устлан плотным ворсистым ковром травянистого цвета, а мебели только и было что длинный и низкий диван, несколько глубоких, обитых курчавой нежно-кофейной тканью кресел да еще в углу цветной телевизор. Стены тоже были совершенно голые, если не считать двух или трех небольших картин, а вот что было на них изображено — квадраты какие-то, переплетение многоцветных ярких полос и пятен, — Эле так и не удалось разгадать.

Кресла были почти совсем не просижены, ворс на ковре не вытерт — видать, тут никто никогда не обитал. Эле понравилась комната, но так, как может нравиться вещь красивая, но ненужная, без пользы, и к тому же совершенно недоступная. Она поспешно открыла дверь в соседнюю комнату.

Это был кабинет, тесный, заставленный под самый потолок книжными полками, с множеством фотографий и гравюр под стеклом на свободной стене. На гравюрах были изображены старинные города, крепости и географические карты с пестро раскрашенными гербами и надписями затейливым готическим шрифтом.

Позади большого письменного стола, заваленного бумагами, рукописями, открытыми на недочитанной странице книгами, телефонными справочниками, висела большущая голубовато-серая карта или, вернее, план с птичьего полета какого-то незнакомого города. Пепельница на письменном столе была полна окурков.

Эле пришло в голову, что только теперь, попав в кабинет Иннокентьева, она хоть что-нибудь о нем узнает, хоть что-то поймет.

Да, он с первого же раза понравился ей. И пускай его себе воображает, что это она «упала на него», не устояла перед его голубыми рубашками и синими галстуками, от которых и глаза у него становятся такими густо-синими и смелыми, что и заглянуть в них страшно, даже голова кружится, а седые виски кажутся совсем серебряными, пускай. Пусть даже думает, что она польстилась на то, что он знаменитость, нет человека, который бы не кидался опрометью к телевизору, когда показывают его «Антракт», пусть тешится, что она просто-таки сама не своя от счастья и гордости, пусть! — она-то знает, что на самом деле все как раз наоборот, что не она на него упала, а он на нее, она еще тогда, в монтажной, с ходу поняла, что он упал на нее! Она с первой секунды просекла, что его только пальцем помани — и он спекся, готов, как лист перед травой!..

Но вместе с этим победным, мстительным — за что только мстить-то и кому?! — чувством Эля, оказавшись теперь одна в его комнате, где все — письменный стол, заваленный бумагами, фотографии и картинка на стенах, и эта большущая голубая карта, и вытертый зеленый бархат дивана, и даже въевшийся в этот бархат невыветриваемый, стойкий запах табачного дыма, все это вместе и каждый предмет в отдельности и есть он, Иннокентьев Борис Андреевич, — она вдруг до смерти испугалась. Потому что все, что было в этой комнате, каждая самая малая малость, словно бы закричало, завопило со всех сторон, что — чужие они с ним, что, даже лежа с ним в одной постели, она так же далека от него, как и тогда, когда она его только и видела что на экране телевизора, и с этим ничего не поделаешь, потому хотя бы, что ни одной из этих книг, которых у него навалом на полках, она наверняка не читала, ни в одном городе, изображенном на картинках, она не бывала и никогда не будет, ни одного артиста, что на фотографиях, которыми увешаны все стены, она ближе чем из первого ряда кинотеатра никогда не увидит...

И она с неожиданной желчной обидой подумала, что хоть он сам первый — сам, никто за язык не тянул! — сказал ей «я тебя люблю», но она-то, она-то его не любит и никогда не полюбит, она еще такое динамо с ним покрутит, так его «ча-ча-ча» плясать заставит! Плевать ей на все эти его фотографии, картинки и книги, в гробу она их видала! «На тебе сошелся клином белый свет» — вот вам, выкусите!

— Ты где? — крикнул ей Иннокентьев из кухни.— Ау!

На письменном столе она наткнулась на записную книжку в кожаном тисненном переплете — сплошные номера телефонов.

— Прими душ, там голубое полотенце, слышишь?..

Она опять не отозвалась. «Ого,— подумала без зависти,— сколько у него телефонов тут напихано, у меня так на одной бы страничке уместились...» Бросила книжку на стол, увидела опять висевшую на стене напротив карту, подошла к ней вплотную.

Огромный город раскинулся просторно по обе стороны ярко-синей ленты реки. Самое замечательное в этой карте было то, что на ней был изображен с соблюдением пропорций каждый дом на каждой улице, а некоторые, более примечательные, были нарисованы гораздо крупнее остальных. Что это за город, Эля не знала, во всяком случае, не Москва — она не нашла в центре Садового кольца и, внутри его, Кремля с его башнями и соборами. Наткнувшись глазами на изображенную отчетливее всех прочих строений знакомую по французским фильмам Эйфелеву башню, она поняла, что это — Париж.

— Ты уже умылась? — Иннокентьев, без пиджака и рубашки, в одной майке, стоял в дверях.

Она резко обернулась к нему от карты, мгновение смотрела на него в упор, словно не признавая, и кинула хлестко, грубо:

— Зачем?

— Тогда иди ложись,— поторопил он ее, будто она прямо-таки нанялась ему бухаться в койку, как только переступит порог! — Что же ты? — Кайфа нет! — Она его ненавидела сейчас так, что едва удерживалась, чтоб не зареветь.— Не хочу, понятно!

— Я откупорил шампанское...— Впервые за все время их знакомства ей послышалась в его голосе растерянность, но это не смягчило ее, наоборот, ожесточило еще больше.— Пойдем.

— Опять насчет любви трепаться будете? Прямо-таки зациклились сегодня — любовь, любовь!..

— Что с тобой? — не сразу спросил он.— Я не понимаю.

— А потому что с души воротит, когда про любовь начинают ка-нючить!

— Хорошо,— согласился он очень серьезно,— не буду.

— Я домой поеду,— неожиданно для себя самой решила она.

— Не дури!

— На электричку вполне успеваю.

— На что ты злишься? Я обидел тебя?..

— Просто я ненавижу, когда врут!

— Так...— усмехнулся он неожиданно устало, и она вдруг впервые заметила, что — не мальчик уже, что на лбу — морщины и под глазами тоже. Ей стало жаль его, но она не хотела позволить себе этой жалости, она в эту минуту больше всего на свете хотела сделать ему больно, унижить, сбить с него эту его спесь, ухмылочку эту его усталую и гордячку.

— И если вы надеетесь, что лично я вас хоть когда-нибудь...

— Не надеюсь,— оборвал он ее жестко.— Что угодно, только не это.

— ...или думаете, что я согласилась потому только...

— Лучше тебе остановиться,— опять прервал он ее,— потом жалеть будешь.

— Вон у вас по стенам киноартистки висят — «Бореньке на память»... Так вот они пусть и кидаются с ходу в койку, только не забудьте им насчет душа сказать, их, может, только с персолью и отстирывать!

— Дура ты,— сказал он спокойно и без злобы, и то, что без злобы, показалось ей самым обидным.— Убирайся. Одевайся и чтоб духу твоего...

— Норма-ально!.. — протянула она понарошке хамски, зная, что его корежит это ее словцо.— Другой бы спорил!

И пошла к двери, но на пороге стоял Иннокентьев и не думал двигаться с места.

— Пусти! — Голос ее сорвался на крик.— Пусти, идол!

Он крепко схватил ее за плечи, сжал так, что она охнула от боли, и, глядя ей прямо в глаза, отчетливо сказал:

— Я не вру. Не врал. Я давно никому этого не говорил. Ни одной из этих,— он кивнул в сторону фотографий на стене,— ни разу. Но это уже не имеет никакого значения. Ты сейчас уйдешь отсюда и никогда даже звонить не будешь, ясно? Ноги твоей не будет, ясно? Пошла вон! — оттолкнул ее от себя, она больно ударилась локтем о книжные полки.

Он отошел от двери, пропуская ее.

Но она была девочка из тех московских пригородов, где с рождения, с первых шагов научаются не спускать обид и давать сдачи, не отходя от кассы. У нее и голос вдруг прорезался визгливый, каким лают через штaketник соседки или клянут распоследними словами своих мужиков, таща их на своем горбу от пивных ларьков у железнодорожных платформ:

— Да в гробу я тебя видала! Козел! Рóги давно обломанные! Песочек сыплется!

Выскочила в переднюю, схватила с вешалки свою шубу, никак не могла попасть в рукава, кофта мешала, она бросила в сердцах шубу на пол, пихнула ее ногой:

— Пальто подать и то не догадается!

Он поднял с пола шубу, подал ей. Она сунула разом обе руки в рукава, рванулась прочь.

— И проводи! Хотя напоследок будь мужиком! До метро хоть, не переломишься!

Он вернулся в комнату, натянул поверх майки свитер, надел дубленку, про шапку забыл, распахнул входную дверь.

— Иди! И заткнись, соседи спят!

— Детское время! — закричала она нарочно еще громче, голос гулко покотился вниз, в колодезь лестничной клетки.— Пусть знают, кто ты есть!

Он нажал на кнопку лифта, обрамленного в красное дерево и фальшивую бронзу. Они вошли внутрь, лифт, сыто урча и вздрагивая на каждом этаже, пополз вниз.

В огромном, похожем на сводчатый неф готического собора вестибюле свет был уже погашен, только у входа, на столе дежурной лифтерши, горела несильная лампочка, отчего кафедральные своды тонули в таинственной тьме, а витраж над дверьми лифта мерцал загадочно и смутно.

— Спокойной ночи, бабуля! — громко кинула Эля лифтерше, склонившей укутанную в теплый платок голову над книгой.— Извините за поздний час. Но вы не такого еще в этом вашем шикарном доме навидались, верно? Гуд бай!

Лифтерша подняла голову, из-под платка выглянуло молодое лицо в модных дымчатых очках, и тихий, вежливый девичий голос ответил на безупречном английском:

— Ам сори, май леди, гуд найт.

Но Эля уже не услышала ее, вышла на улицу, хлопнув дверью на весь подъезд.

Машину успело занести снегом.

— Погоди, я смету,— сказал он ей и направился к машине.

— До метро два шага, можете не провожать, и так на редкость сегодня вежливые.

— Садись! — прикрикнул он на нее, отпирая дверцу.— Хватит выкобениваться!

— Как вы с девушкой разговариваете, гражданин?! — опять визгливо закричала она, заметив выходящего из-за угла постового. — Если будете выражаться, я милицию позову!

— Дура, — процедил сквозь зубы Иннокентьев, доставая из-под переднего сиденья веник, — шизоид! Садись!

— Товарищ милиционер! — громко позвала она. — Тут оскорбляют! Не прибавляя шагу, милиционер подошел поближе, взглянул на номер и, узнав машину и самого Иннокентьева — он частенько дежурил у высотки, знал всех обитателей в лицо, — приложил руку к заметенной снегом ушанке:

— Здравия желаю. Что, Новый год, видать, уже справляете?

— Лиха беда начало... — не оборачиваясь к нему, ответил Иннокентьев, сметая снег с лобового стекла. — Гуляем.

— Моя милиция меня — что?.. — с вызовом бросила милиционеру Эля, садясь в машину. — Тут на глазах, может, невинности лишают, а ей хоть бы хны...

— Тебя лишишь, как же... — обиделся милиционер и, извиняясь перед Иннокентьевым, опять приложил руку к шапке. — Иногда — никакого терпения...

— Все в порядке, старшина, — успокоил его Иннокентьев, — такой стиль, не обижайся.

— Стиль... — пробормотал милиционер, уходя в снежную мглу, — а схлопотать тоже недолго...

— К тебе по какому шоссе? — спросил Иннокентьев, садясь в машину. Дворники с трудом справлялись с густо оседающим на стекло рыхлым, липучим снегом.

— Какое еще шоссе, — удивилась Эля. — До Курского, там уж я как-нибудь сама!

— По Горьковскому, — вспомнил Иннокентьев, заводя двигатель.

— Ну вы даете!.. — искренне поразилась она. — Если б знала, каждый бы раз шухер устраивала, чтоб потом домой отвозили...

Он не ответил, свернул на малую дорожку, потом на Садовое, в сторону Таганки.

Дорога покрылась скользкой наледью, ехать было трудно, он молчал, напряженно вглядываясь в метель.

Эля тоже умолкла, курила, кислый дым ее сигареты ел Иннокентьеву глаза.

Докурив, она не погасила окурочек в пепельнице, а, приоткрыв на ходу дверцу, выбросила его наружу, сунула сжатые кулаки в рукава шубы, свернулась калачиком на сиденье, отвернувшись от Иннокентьева.

Когда он выехал из города на Горьковское шоссе и спросил ее, как дальше ехать и где сворачивать, она не ответила; спит, решил он.

Но она не спала, чуть погода сказала, не меняя позы:

— Скоро указатель будет — направо и под мост. Потом все прямо.

И после долгого молчания, отчего он опять подумал, что она уснула, спустила ноги на пол, села прямо, закурила новую сигарету. Красный кружок прикуривателя выхватил из темноты ее нос, губы, вспыхнул на мгновение во влажной белизне зубов и в глазных яблоках. Затянулась, выдохнула дым, сказала тихо:

— Не надо было меня отвозить.

— Почему?

Он не отрывал глаз от дороги. Снегопад кончился где-то вскоре за кольцевой, то выглядывала из-за туч, то исчезала в них блеклая луна.

— Не надо, и все.

— Теперь уже поздно.

— Вы довезете и сразу поедете обратно, слышите?..

— Хорошо, — согласился он. И тут же спросил: — Что с тобой?

— Обратно ехать легче, — не ответила она. — Дорогу запомнили? А сейчас опять направо.

В зыбком, то чуть прорежающемся, когда выглядывала луна, то вновь погружающемся в ночь мглистом пространстве выплыла справа скорее угадываемая, чем видимая громада Никольской церкви. Луна вновь зашла за тучи, церковь потонула во тьме, но в глазах еще долго стояло ощущение ее темной, давящей массы.

— Направо... Налево... Опять направо,— подсказывала дорогу Эля, когда они въехали в поселок.

Дорога под свежавывавшим снегом была разбитая, в старых колдобинах, машину бросало из стороны в сторону, то и дело приходилось притормаживать и переключать скорости.

Свет фар уперся в забор, за которым стоял длинный приземистый дом с различной даже в темноте вывеской вдоль карниза: «Продмаг».

— Все, приехали.— Но когда он остановил машину, не шевельнулась, не сделала попытки выйти.

Иннокентьев не стал выключать двигатель, только погасил фары, и сразу вокруг стало непроглядно темно: черный, чужой мир. Слово в батискафе, подумал он, на самом дне.

— Если вам не к спеху, я еще покурю,— не спросила, а сообщила Эля.

Прикуриватель щелкнул, выскочил из гнезда и опять выхватил из темноты ее нос, губы, блеск зубов и глаз.

Иннокентьев выключил двигатель, оставив работать одно отопление. В полнейшей, до звона в ушах, тишине ночи было слышно, как подвывает вентилятор печки, и когда Эля затягивалась сигаретой, казалось, что ухо улавливает, как съедает огонь папиросную бумагу.

Иннокентьев тоже закурил.

Где-то далеко прогрохатывал ночной товарняк, долгим гудком прорезая темень.

— Ну?..— не выдержал наконец Иннокентьев.

Она вышла наружу, сказала:

— Хорошо. Пошли.— И с силой захлопнула за собой дверцу.

Он не удивился. Вслед за Элей вышел из машины, запер ее.

Она сказала на ходу, не оборачиваясь:

— На себя пеняйте.— Оскользясь на свежем снегу, пошла узким проулком мимо магазина.

Иннокентьев, смертельно уставший от неблизней этой дороги по заснеженному шоссе, безвольно пошел за нею, увязая в сугробах.

Она остановилась у калитки, дожидаясь его. Когда он подошел, она было толкнулась в калитку, но та не поддавалась — дорожка, ведущая к едва различимому в глубине двора одноэтажному дому, была занесена снегом по колено.

— Подожди.— Он навалился всей тяжестью тела на калитку. В узкую щель едва-едва можно было протиснуться.

Эля, нашаривая в сумке ключи, прошла первой, Иннокентьев след в след за нею, то и дело проваливаясь в снег.

По ту сторону дома раскачивался на ветру уличный фонарь, тьма то густела, то редела в его блеклом свете.

С дверью в дом тоже непросто было справиться — крыльцо занесло не хуже тропинки.

Войдя в сени, Эля привычно нашла в темноте выключатель. Тусклый, болезненный свет двадцатипятисвечевой голой лампочки казался таким же холодным и неприятным, как и стылая темень на улице.

— Затворите дверь, а то еще сюда наметет,— велела ему Эля, отпирая дверь в комнаты.

Иннокентьев не сразу почувствовал, какой застоявшийся, давний холод царит в доме. Он размотал шарф, стал было стаскивать с себя дубленку. Эля покосилась на него.

— Зря. Тут и в шубе зачоченеешь. Вот,— показала она на стеклянный графин на подоконнике,— смотреть страшно!

Вода в графине превратилась в лед, и по тому, как успела запы-

литься и пожелтеть его поверхность, было ясно, что в доме не топлено бог знает как давно. И все же Иннокентьев снял дубленку и тут же почувствовал, как мороз разом охватил плечи и спину. Он сунул руки в карманы.

— Что, студено? — спросила Эля, усмехнувшись. В родных, пусть и промерзших насквозь стенах она чувствовала себя увереннее, чем у него на площади Восстания. Села за круглый, покрытый вытертой на сгибах клеенкой стол, пригласила и его: — Садитесь. Будьте как дома.

Он сел, не вынимая рук из карманов. Вспомнил:

— Сигареты я в машине оставил...

Над столом висела под матерчатым розовым абажуром с фестончиками такая же, как в снях, тусклая лампочка.

— У меня есть. — Эля встала, подошла к просиженному дивану с подлокотниками валиком и прямой высокой спинкой, нашла в своей сумочке сигареты и спички, вернулась к столу. Ни шубы, ни кроличьего своего треуха она так и не сняла.

Иннокентьев закурил, от кислого дыма «Опала» запершило с непривычки в горле. Эля снова уселась напротив него за стол, положила руки со сцепленными пальцами на холодную клеенку и, глядя в упор на Иннокентьева, спросила на этот раз без усмешки:

— Ну? Довольны?

— Чем? — ушел он от ответа. Его стал бить озноб, мелко дрожали руки, он старался не выдать этого.

Она обвела взглядом комнату, снова остановила его на Иннокентьеве:

— Что сами убедились.

— В чем? — опять уклонился он и в свою очередь обвел глазами вокруг.

Обшитые листами фанеры стены были оклеены выцветшими, в крупный рисунок обоями. Низкий потолок трижды пересекал плетеный шнур электропроводки — от выключателя к абажуру над столом, а уж от него к розеткам на двух противоположных стенах. Кроме дивана, стола с четырьмя венскими стульями вокруг, комната, и сама по себе тесная, была заставлена еще множеством других предметов: ножная швейная машинка, покрытая ситцевым чехлом, двухстворчатый шкаф с потускневшим от времени зеркалом, бамбуковая этажерка, на которой стоял допотопный ламповый радиоприемник «Родина» с незрячим зеленым глазком.

— В чем я должен был убедиться? — переспросил Иннокентьев. Ноги у него, хоть и в теплых меховых ботинках, совсем заоченели.

Она не ответила, смахивала ладонью крошки с клеенки. Только сейчас Иннокентьев заметил, что посреди стола стоит пустая бутылка из-под дешевого портвейна и два граненых стакана, невымытых, в темно-бордовых потеках от вина. В один из стаканов была брошена мятая фольга от плавленого сырка.

Эля перехватила его взгляд.

— Катя. Видать, приезжала без меня. Она пьющая.

— Кто это — Катя?

— Сестренка. — безо всякой неловкости пояснила Эля. — Мы с ней редко видимся. Жалко ее, сестра все же. — Это она тоже сказала ровно и без жалобы.

Иннокентьев жадно курил и когда затягивался дымом, на мгновение казалось, что стужа отпускает.

— Холодно? — заметила Эля. — Я газ зажгу. Чаю хотите?

— Давай! — обрадовался он.

Она вышла в сени, где стояла газовая плита с баллоном.

Иннокентьев надел дубленку, застегнулся, поднял воротник, пожалел, что забыл дома шапку. Казалось, что каждая вещь в комнате — стены, шкаф, этажерка, даже лампа под низким потолком — исходит каким-то вселенским, от веку, абсолютным нулем.

Эля гремела в сенях пустым чайником, цинковым ведром.

Он подошел к окну, поросшему по краям вдоль рамы мохнатой крупной изморозью, приблизил лицо вплотную к стеклу: тучи покрывали сплошь непроглядное небо, луны как не бывало, и длинная, теряющаяся в кромешной тьме улица с тесно скученными низкими домами, словно бы прижавшимися друг к другу в тщетной надежде согреться, со слепыми бельмами схваченных стужей окон, навела на него такую тоску, что, подумал он, повись сейчас из-за туч эта бледная, намертво примерзшая к небу луна, он бы завыл на нее одиноким волком в степи.

Вернулась Эля.

— Хорошо в ведре лед был, кран-то тоже замерз, молчит. Сейчас вскипит, там на самом доньшке.

Иннокентьев отошел от окна, сел на диван, провалившись меж разрозненных, скрипучих пружин.

Эля открыла шкаф, пошарила на полупустых полках.

— Сахар-то вот он, а чаю...— Но, казалось, и это не очень ее огорчило.

— А водки нет ли? — Иннокентьев не узнал свой голос: чужой, осевший.

— Неужели!.. Чтоб после Катьки что-нибудь осталось?!

Казалось, холод ей нипочем. Она еще раньше сняла шубу, была в одной вязаной кофте. Вынула из шкафа жестяную банку с сахаром, поглядела в нерешительности на Иннокентьева.

Он сказал как можно бодрее:

— Будем пить кипяток, как в войну.

— Почему именно — в войну? — не поняла она.

Он сообразил, что она никак не может помнить войну, родилась много позже.

— Одним словом, не беда.

— Сойдет,— согласилась она, убрала со стола грязные стаканы из-под портвейна и пустую бутылку.— Хватило б воды вымыть...— Вышла в сени и вскоре вернулась со вскипевшим чайником и вымытыми стаканами.— На два стакана и то едва наберется. Вам сахару сколько положить?

— Не жалея. Авось не замерзнем до утра.

— А вы решили остаться? — не удивилась она, но и не выказала никакой радости.

— А куда прикажешь в этакий гололед? Правда, у вас тут рядом новый крематорий, большое удобство.

— Что ж...— пожала она плечами,— как хотите.— И как о единственном, вполне естественном выходе из положения:— Вот что... мы лучше давайте ляжем в постель, бабушкина перина жутко теплая, из чистого пуха. А то и я уже сама как ледышка. Ляжем под нее, напьемся чаю, глядишь, отогреемся.

— Хорошая идея, главное, ко времени,— усмехнулся он.

— Да нет,— ответила она без выражения,— раздеваться не будем, только сапоги. Напрасно испугались.

Вышла в соседнюю комнату, позвала его оттуда чуть погодя:

— Идите. Тут, правда, лампочка перегорела, темно. Идите, не бойтесь.

Он встал — ноги совершенно задеревенели,— прошел в крохотную темную комнатку, где едва помещалась большая металлическая кровать, на никелированных шишечках в ее изножье слабо мерцал свет, падающий из дверей. В изголовье угадывалась высокая гора подушек.

Эля переложила подушки на стоящий рядом с кроватью стул, откинула толстую, рыхлую перину.

— Ложитесь, только ботинки снимите. Я чай принесу.— И вышла за дверь.

Иннокентьев жалко усмехнулся про себя в темноте, покорно снял ботинки, лег под перину, провалившись всем телом в другую такую же рыхлую перину под собой.

Эля вернулась, неся в каждой руке по стакану с подслащенным кипятком.

Он взял у нее стакан, ожег пальцы.

— Горячо, черт!..

— Какой нежный, скажите пожалуйста... Остынет — смысла не будет. Пейте.

Присела боком на кровать, отхлебывала кипяток мелкими громкими глотками.

Обжигая губы, он отпил глоток, торопливо отпил еще и еще, ни с чем не сравнимое блаженство охватило его, и все — и дорога эта, и богом забытое Никольское, и этот пустой, промерзший дом, и самая эта стужа вселенская — показалось ему не таким уж страшным и унижительным. Он смотрел снизу вверх на сидящую на краешке постели Элю, едва различая в темноте ее лицо. Выпростал из-под перины свободную руку, нашарил в темноте ее ладонь, взял в свою и чуть было не отдернул — такая ледяная была у нее ладошка. Ему вдруг стало ее до слез жалко, и вместе с теплом кипятка горячая волна нежности поднялась в нем.

— Что же ты не ложишься?

Она не ответила, высвободила руку, неторопливо пила обжигающий кипяток, думала о чем-то далеком и, как ему казалось, не имеющем к нему никакого отношения.

Да и он думал сейчас лишь о том, как бы не допить кипяток раньше, чем успеет как следует согреться.

Эля поставила свой стакан на пол, встала.

— Газ погашу.— И вышла.

Он лежал в темноте, утопая в мягком тепле перины.

Эля долго не шла. Он позвал ее:

— Ты где?

Она вернулась, погасив по пути свет в соседней комнате, и тут же дом залила такая непроглядная тьма, что хоть глаз выколи.

— Зачем? — запротестовал Иннокентьев.— При свете как-то теплее.

Она присела на кровать, стаскивала с ног сапоги. Сняла их, но посидела еще некоторое время молча на краю кровати.

— Подвиньтесь,— попросила негромко.

Он отодвинулся к самой стене. Эля легла, вытянула ноги, укрылась до подбородка периной.

Они лежали молча, лицами вверх, понемногу глаза привыкали к темноте, да и в окно несмело сочился бледный свет то ли луны, вновь пробившейся сквозь тучи, то ли фонаря с улицы.

В тишине Иннокентьев слышал собственное дыхание, а вот Элиного было не различить. Он и раньше, когда она оставалась у него и спала с ним в одной постели, поражался, просыпаясь среди ночи, легкости и неслышимости ее дыхания.

Он стал задремывать, разомлевши от теплого покоя перины. И уже сквозь дрему услышал ее ровный, тихий голос:

— Теперь ты жалеешь, да?..

— О чем? — спросил он сонно.

— Ну... — не сразу отозвалась она, — о том, что сказал мне...

— А что я сказал? — не мог он сразу припомнить.

Она не ответила.

Он опять стал задремывать, и вновь его разбудил ее тихий, без выражения голос:

— Я тоже.

— Что — тоже? — все не мог он взять в толк ее слова.

— Люблю, представь... Очень просто.

— Кого? — никак не мог он проснуться.

— Кого?! — Голос ее упал до шепота.— Ты спрашиваешь — кого?! — Она приподнялась на локте над ним, ее челка упала ему на лицо и забила в рот. — Шутить?!

Он разом стряхнул сон, поняв, о чем она говорит и какие его слова вспомнила — а значит, все это время только о них и думала, ими была полна! — и вновь, как несколькими часами раньше, в «Национале», на него нахлынула, накрыла с головой горячая волна не просто нежности и жалости к ней, а — такой ее необходимости ему, такой благодарности ей за то, что в нем одном она ищет и хочет найти прибежище и защиту.

— Иди ко мне,— позвал он тоже шепотом,— не надо ничего говорить! Не надо! Иди!..

Она склонилась над ним, припала лбом ко лбу, лоб ее был гладок и прохладен, он слышал ее горячее прерывистое дыхание.

— Ты думаешь, я не понимаю?.. Сказал в ресторане — люблю, и забыл, пусть не сразу забыл, так завтра бы, через неделю, нормально... Ну пусть две недели, месяц даже, а потом?.. Не вчера родилась, знаю, чем все кончается, обожглась уже... Ты молчи, молчи, я и то знаю, что ты сейчас скажешь, только не надо!

Он слышал сквозь свою и ее одежду, как загнанно бьется ее сердце, как при каждом вдохе и выдохе входит и выходит с хриловатым свистом воздух в ее легкие. Он обнял ее, обхватил тесно руками, задохнулся от душного, горчащего полынью запаха ее тела, а она все шептала:

— Молчи, молчи, дай сказать...— Подперла подбородок руками, локти больно упирались ему в грудь.— Я ведь что хотела...

— Да, да... да...— только и отвечал он ей,— да...

Она умолкла, потом вздохнула печально.

— Ну вот, перебил меня... я все и позабыла, что хотела...

Он натянул перину ей и себе на голову, теперь они были как в тесном, согретом их дыханием гнезде, нашел ощупью «молнию» на ее платье...

Уже совсем под утро их разбудил — сперва вскинулась Эля, потом уж проснулся Иннокентьев — громкий стук в дребезжащее окно и пьяный, настойчивый голос:

— Катька! Катька, это я, слышь? Да проснись ты, тварь! Я пузырь принес! Катька-а!..

— Кто это? — спросил спросонья Иннокентьев.

Эля закрыла ему рот жаркой, потной ладошкой:

— Молчи! Не отзывайся. Покричит и уйдет. Это Катькин хахаль какой-нибудь. Молчи.

Пьяный за окном не унимался, орал на весь поселок, грязно и скучно матерясь. Потом, отчаявшись докричаться, взобрался на наружную приступку, пытаясь отомкнуть форточку.

Форточка поддавалась, он просунул голову внутрь.

— Катька! Я же не пустой пришел. Я бормотуху на Курском достал!

В откинутую форточку сразу же потянуло лютый стужей с улицы.

— Катька, гадский потрох!..

Эля рывком соскочила с постели и, топя босыми пятками по полу — Иннокентьев совершенно явственно угадал, как леденит ей ступни промерзлый пол, его пробрал озноб при одной мысли об этом, — кинулась к окну, ткнула кулаком в пьяную рожу в проеме форточки.

— Мразь! Линяй, пока я тебе морду не раскровенила, подонок! Никакой Катьки нету! Отвали!

— Катька! — обрадовался заплетающийся голос за окном.— Это же ты! От кого прячешься-то?

— Я тебе дам Катьку! — Эля нашарила на подоконнике какую-то пустую стеклянную банку, ударила с размаху алкаша в лицо.— А ну сгинь!

— Ты что? Ты что?! — заорал тот высоким испуганным голосом, свалившись наземь с приступки.— Ты что, сдурела?!

«Машина,— вдруг пришло Иннокентьеву в голову,— как бы этот подонок не побил машину, и дворники я забыл снять...» И тут же до тошноты устыдился этой мерзкой своей мысли, того, что испугался не за Элю и даже не за себя, крохобор, а за машину...

Из-за окна протрезвевший, удивленный голос спросил:

— Это Элька, что ли? Откуда?!

— От верблюда! — еще визгливее завопила Эля.— Опять в тюрягу захотел?!

— Так бы сразу и сказала,— обиженно ответили из-за окна,— а то в кровь дерется... Смотри, сожгу хату, головешки не оставляю...— пригрозил он без особой уверенности и, матерясь совсем уж невразумительно, пошел прочь.

Эля захлопнула форточку, вернулась к постели, нырнула под перину к Иннокентьеву.

— Мразь подзаборная,— все еще не отошла она,— рванина...

Иннокентьев обнял ее. Тело ее не успело остыть, только пятки стали совсем ледяные.

Она тесно прижалась к нему и вдруг разрыдалась в голос, содрогаясь всем телом, острые лопатки под рукой Иннокентьева ходили ходунгом, а на губах он чувствовал соленые, горячие ее слезы.

Он хотел утешить ее, пожалеть, но она не дала ему говорить, шептала, глотая слова, сквозь рыдания и всхлипы:

— А ты молчи, молчи, ты этого даже понять не можешь... Ты же не знаешь, какая она, Катька, какая она бывает... А я знаю! Ненавижу!.. А она сестра мне, родная сестра, тебе этого ни за что не понять, что значит — сестра! Мы же отца с ней даже и не помним, был, не был, а мать два года как схоронили... Тебе и не снилось такое! Она ж сестра мне, я ее жалею, а удавила бы своими руками, когда она пьяная... И молчи, заткнись, не твоего ума это дело...

Потом она утихла и скоро уснула, и во сне продолжая всхлипать и вздрагивать всем телом, а Иннокентьев до самого рассвета лежал с нею рядом, тихо глядя ее голые, худые плечи, и думал о том, что ему и на самом деле вряд ли понять до конца эту девчонку и ее жизнь...

И еще ему подумалось, прежде чем робкий рассвет стал оттирать темень с оконного стекла, что дороги их, ее и его, друг ли к другу, врозь ли или мимо друг друга — не параллельные ли линии, которым никогда не скреститься, не пересечься?.. Но додумать эту невеселую мысль он так и не додумал, уснул, и во сне нежно и осторожно обнимая ее вздрагивающие плечи, спину с трогательно-беззащитной ложбинкой меж лопаток.

Но когда они утром, в десятом часу первого дня нового года, проснулись и бережно, чтоб не растратить, не уступить стуже нажитого за ночь под периной живого тепла, торопливо оделись и вышли наружу — и утро, и улица, и дома вдоль нее, и штакетник, и деревья за штакетником были так ослепительно и молодо белы, так празднично свежи, снег на всем такой нетронутый, чистый, небо такой невообразимо прекрасной высоты и синевы, а в окнах, мимо которых они шли по безлюдному переулку, увязая в снегу и оставляя за собой глубокие, миглом наполняющиеся густой синей тенью следы, зеленела сквозь стекла хвоя новогодних елок и поблескивали весело игрушки, так ярко и щедро сияло солнце, рассыпав по снегу слепящие искры, что на душе разом стало тоже легко и чисто, и горькие, злые слезы этой ночью, и мат, и вся грязь, все печали и невзгоды, и невеселые мысли о бессилии их судеб пересечься и соединиться — все забылось, растаяло в сиянии нового дня. И жить тоже надо было как-то по-новому, по-иному, чисто и молодо, как это утро и этот снег, чисто, молодо и щедро, как это морозное солнце над густосиними, в золотых крупных звездах куполами Никольской церкви, чисто, молодо, щедро и долго, самое главное — долго...

По пути из Никольского в Москву Иннокентьев твердо решил, что если он поедет сейчас на дачу к Митиным, то непременно — с Элей.

По давней традиции в первый день нового года они съезжались туда всей компанией, даже если новогоднюю ночь проводили врозь, погулять по лесу, надышаться впрок кислородом, пообедать не торопясь, по-домашнему. Жена Митина, Ира, всегда кормила гостей до отвала и так вкусно, что, осоловев от сытости, они не в силах были сдвинуться с места и, как правило, оставались ночевать, а поутру чревоугодие начиналось сызнова, и хорошо, если разъезжались вечером второго дня.

Вот только надо заехать на минутку домой, на площадь Восстания, перекусить на скорую руку, переодеться — не в этом же воздушном платье Эле ехать за город, да и он без шапки, — и он повезет ее к ним ко всем, к кровожадным хищникам в клетку, он посмотрит и посмеется, когда они разинут рты от удивления и шокинга, но только пусть посмеют слово сказать!.. Он с каким-то злорадным удовольствием представил себе это их удивление, их оскорбленное, ханжеское пожимание плечами за его и Элиной спиной, когда он появится там с нею.

Всю дорогу его не покидало легкое, праздничное ощущение полнейшего мира с самим собой и свободного, невозбранного соответствия всего, что он делает и что с ним происходит, с тем, что бы он хотел делать и как бы хотел жить.

Ночной снегопад давно перестал, по обеим сторонам шоссе и потом, когда они въехали в город, на тротуарах снег лежал до рези в глазах ослепительный, пышный, белый, и от этого в особенности чувство покоя, воли и легкости, давно им позабытое и, казалось, уже недоступное, пело в нем до самого дома.

Эля промолчала всю дорогу, и на лице ее, когда Иннокентьев обращивался к ней, было выражение не праздника и легкости, как у него самого, а тревожной, суровой даже напряженности.

Такая же молчаливая и далекая от него, она, едва переступив порог его квартиры, сказала, и голос у нее был тоже далекий и отсутствующий:

— Я замерзла. Можно, я сразу в ванну?..

Тут же в передней торопливо стала раздеваться — ее и вправду бил озноб, и кисти рук по сравнению с молочно-белым телом были пунцовые, и ступни ног тоже.

— Само собой. — Иннокентьев прошел в ванную, пустил горячую воду, потом принес из спальни чистое полотенце. — Иди. Иди же, иди, простудишься, — легонько подтолкнул он ее к ванной и ладонью ощутил, какая у нее иззябшая, в пупырышках кожа.

Войдя в ванную, она не раздумывая с маху ступила в горячую воду, испуганно вскрикнула, ожегшись, и, охая от охватившего тело жара, плюхнулась в нее.

А у него было такое чувство, что никакая она его не любовница, не женщина, с которой он только что провел ночь под одной душевной, свалившейся в плотные, как булжники, комки периной, а — ребенок его, плоть его и кровь, о котором он раньше просто-напросто не подозревал, а вот теперь нашел его и должен отогреть, дать ему кров и защиту и, как приبلудного щенка, приручить. Он усмехнулся про себя — вот уже и дают себя знать эти четырнадцать лет разницы между ним и ею, то ли еще будет!..

Он переоделся в толстый свитер и лыжные брюки, подошел к окну и долго рассеянно глядел на сверкающую свежим снегом крышу «Вдовьего дома», на нехоженые белые аллеи зоопарка и черное, не замерзшее зеркало пруда посредине.

Он слышал, как бежит в ванной из крана вода, как Эля тихонечко напевает там что-то невнятное.

Он не мог бы даже самому себе объяснить, что с ним происходит и что тому причиной. Он давно — а может быть, и никогда — не ощущал на душе вот такое прочное, незыблемое чувство покоя, как сейчас, ему казалось, что неведомым каким-то образом, сам того не заметив, он перешагнул вдруг через некий рубеж, через черту какую-то незримую, и теперь все пойдет совершенно по-другому, по-новому, не так, как он жил до сих пор, а совсем иначе — без ложных и суетных тревог, без торопливости и вечного цейтнота, легко, устойчиво и весело, главное — именно весело, беззаботно, этого-то ему всегда и не хватало.

Он всегда, сколько себя помнил, куда-то торопился и опаздывал, всегда чего-то не успевал доделать, и это постоянно бередило чувством вины перед самим собой, всегда что-то приходилось откладывать на завтра, а значит, и это завтра уже не полностью принадлежало ему. А вот теперь все пойдет иначе, и он сам отныне станет совсем другим: не суетиться, никуда не спешить, ничего не опасаться. И то, что это чувство — ничего не опасаться, не суетиться, никуда не спешить — пришло к нему не извне, а родилось в нем самом, могло значить только то, что оно и всегда в нем было живо, просто он почему-то пренебрегал им, забывал, что оно-то — самое главное, от него зависит все.

И, кстати пришло ему на память, в этой истории со «Стоп-кадром» тоже ведь не просто же о спектакле Дыбасова идет речь, тут тоже дело совсем в другом, тут он вместе с ними со всеми должен драться за что-то гораздо более важное, за некий принцип, некую основополагающую нравственную идею, на которой одной только и может все держаться в этих авгиевых конюшнях театра, которые, если время от времени их не выгребать, не открывать нараспашку все двери и окна, зарастут дерьмом и провоняют так, что не продохнуть. И если надо это дело начинать с Ремезова — что ж, начнем, помолясь, с него, невзирая на все его титулы и заслуги.

И вообще, хватит этих милых, безобидных — прямо-таки дуэт кукушки и петуха! — «Антрактов», от которых никому ни тепло ни холодно, дни уходят, уходят годы, пора, пора заняться чем-нибудь серьезным и основательным! И по душе, вот о чем нельзя забывать, чем-нибудь таким, что имело бы отношение не к одной только профессии, не к одним служебным обязанностям, а и к тому, что только и в состоянии насытить голод и утолить жажду настоящего, истинного служения искусству, уж простите за высокопарность, такие уж у нас пошли дела, что можно себе позволить изъясняться и высоким штилем...

И что самое удивительное — это простое и ясное, как раннее утро, состояние души не удивляло Иннокентьева, не казалось неожиданным, незнакомым или чужим. Удивляло, ставило в тупик лишь одно: неужто все это произошло и происходит с ним и в нем оттого лишь, что — Эля?! Оттого лишь, что в его жизни — вот уж что поистине неожиданно-негаданно! — вдруг объявилась эта, по чести говоря, вполне нелепая, грубоватая женщина-подросток, прямая и бесхитростная до того, что поневоле приходит на ум: а не дурочка ли просто-напросто, не длинноногое ли, с худым мальчишеским телом и челкой, падающей на глаза, чучело, набитое, как паклей, подмосковными выраженьицами, от которых хоть стой, хоть падай, и такой прямоотой и простодушием, что, очень может быть, они могут показаться в наш трезвый, выверенный расчетом век почти родством?.. Оттого лишь?!

Ворота на участок Митиных были широко распахнуты еще со вчерашнего дня, снег с дорсжки, ведущей к даче, недавно сметен, у крыльца стояли впрыток две машины — «Волга» хозяина и многожды битые, все в ржавых вмятинах, старенькие «Жигули» Венгеровой.

Вся компания была в сборе, видно, они недавно только встали ото сна и едва успели позавтракать — низенький круглый стол на теплой террасе был уставлен тарелками с остатками еды. Надо всеми возвышалась горой рыхлая туша Ружина, и судя по тому, что лицо его в крупных

оспинах пылало багровым жаром и глазки лоснились хмельным благодушием, было ясно, что он уже успел порядком поднабраться с утра пораньше.

Помогая Эле снять шубу, Иннокентьев, сухо и как бы наперед отменяя какие бы то ни было недоумения и кривотолки, представил свою даму:

— Это — Эля.

Эля улыбнулась свободно и доверчиво, словно бы давно была со всеми на короткой ноге:

— Еще успеем познакомиться, новый год только начинается.

Настя, приложившись гладкой, прохладной щекой к щеке Иннокентьева, сказала ровно:

— Что ж, я тебе желаю... Может быть, это как раз то, чего тебе не хватало...

У Игоря же Митина лицо было напряженное, встревоженное, словно бы он был не рад гостям.

— Я уже, пожалуй, жалею обо всем этом, — успел он пожаловаться вполголоса Иннокентьеву, пока остальные знакомились с Элей.

— Что назвал гостей? — удивился Иннокентьев, знающий за Митиным широкое, подчас несколько и напоказ, хлебосольство.

— Да нет! — отмахнулся тот. — Просто я не уверен, нужно ли мне связываться в эту историю с Ремезовым... Я не любитель входить за здорово живешь в клетку со львом. А ты как думаешь?.. Я знаю, Настя говорила с тобой, я тебя ждал еще вчера.

Только сейчас Иннокентьев вспомнил, что не одного Нового года ради они ждали его, но еще и с надеждой заполучить его в союзники в предполагаемой войне со всеильным Ремезовым. И разговора об этом теперь уж наверняка не миновать. И принимать решение — тоже. Карты на стол, деньги на бочку, теперь уж не отвертись. Сегодня или никогда, как любит говорить Ружин.

Но ответил он Митину неопределенно:

— Так ведь и ты с Дыбасовым не лыком шиты, вам тоже палец в рот не клади.

Эля, краем глаза отметил Иннокентьев, успела за эти несколько минут вполне освоиться в новом доме и среди новых людей, болтала с ними совершенно на равных, ничуть не теряясь и не смущаясь хотя бы той же Насте — Насте, которой она, должно быть, еще с детства восхищалась по бесчисленным фильмам и о встрече с которой ей бы еще час назад и в голову не пришло мечтать.

И лишь Роман Дыбасов, начинающий режиссер в театре Ремезова, сидел молча на отшибе, не пророня за все время ни слова, с нескрываемой отчужденностью глядя вокруг и как бы выставляя напоказ свою чужеродность этой самодовольной и благополучной публике с ее дачами, машинами и пустой, никого ни к чему не обязывающей светской хлопотливостью.

Было решено, выпив по стопке «для сугрева», пойти, пока во все поднебесье светило щедрое новогоднее солнце, в лес, благо снегу выпало пока не так уж много, по просекам можно пройти и в глубину, нагулять настоящий, до голодной слюны во рту аппетит, а там уж и сесть за стол со всей основательностью.

Выпили стоя, за застекленными стенами террасы стояли высокие ели с пригнувшимися под тяжестью свежего снега лапами, а над ними — голубой сверкающей эмали небо. Стволы двух старых сосен поодаль были облиты густым солнечным медом.

Когда они выходили всей гурьбой из дома, Настя взяла под руки Иннокентьева и Дыбасова, сказала небрежно, как бы не придавая своим словам и призывая и их не придавать им никакого особого значения:

— Роман Сергеевич... мы собирались поговорить с Борисом Андреевичем...

— Мы?! — с преувеличенным удивлением перебил Дыбасов. — Я тут совершенно ни при чем, это вы с Митиным все затеяли. Увольте,

Анастасия Константиновна! — И, высвободив локоть, ушел один вперед.

Настя проводила его взглядом, вздохнула:

— Совершенно не от мира сего... Сорок лет уже, а он с его-то талантом и прямо-таки нечеловеческой работоспособностью все еще не имеет своего театра, зависит от какого-то Ремезова...

Настя была одета так — толстые, будто их накачали воздухом, ярко-красные сапоги-луноходы, стеганая спортивная куртка и такие же брюки из синтетической ткани, издающей при каждом шаге как бы насмешливый свист,— словно собралась на фешенебельный горнолыжный курорт. А вот Дыбасов, это было видно по его зябко ссутулившейся спине, мерз на ветру в своем осеннем полупальто на рыбьем меху — он вообще всегда одевался нарочито небрежно и даже бедно, как бы подчеркивая тем свою автономность в мире удачливых баловней судьбы с их шубами, дубленками и пыжиковыми шапками. И выражение его лица тоже было всегда под стать одежде — хмурое, свободолюбивое и словно бы всех в чем-то обличающее.

Короткая улочка с почти не тронутым следами снегом упиралась в опушку леса, и, войдя в него, они окунулись с головой в нечто и вообще непостижимое для городских их глаз, слуха, обоняния. Краски — насыщенные, плотные, чистые: белое, зеленое, синее, голубое, медно-рыжее, медвяно-желтое — не толклись по-летнему тесно, кичливо крича каждая о себе, а жили спокойно и молчаливо, будто с них довольно было и этого их чувства собственного достоинства.

Тишина тоже стояла недвижимая, хрупкая, и дробный перестук далекой электрички был словно бы нежно обводящим ее легким пунктиром.

Но что было поразительнее всего, так это — запахи. Пахло не снегом, не сосной, не еловой хвоей, не морозом даже — пахло просто небом, простором, тишиной, собственной твоей неожиданно нагрянувшей вновь молодостью. Это было похоже на то, как, проснувшись ранним утром от скользнувшего по твоему лицу луча солнца, ты счастлив, а отчего счастлив и что сулит это счастье — тебе и дела нет.

Так, по крайней мере, подумалось Иннокентьеву, когда он вошел в лес. Нет, поправил он себя: под сень леса.

Тропинка была узкая, видно, ее только вчера или даже сегодня утром протоптали в новом снегу, идти можно было только по двое, и рядом с Иннокентьевым оказался Дыбасов. Он шел, зябко ежась и рассеянно загребая снег стоптанными, вытертыми до залысин замшевыми башмаками.

Иннокентьев не знал, о чем с ним говорить, но идти рядом и молчать было неловко.

— Красота-то какая,— сказал он первое пришедшее на ум.

— Да, снег...— рассеянно отозвался Дыбасов.— Тут как-то года три назад итальянцы приезжали, привозили Гольдони, кажется — «Перекресток», там у них тоже все белое, сугробы... Из чего только они сделали снег — ума не приложу, блестел и переливался, как настоящий. Вы не видели?.. У нас об этом и мечтать не приходится.

Это было все, что вызвал в нем этот заснеженный, чистый новогодний лес.

И тут же он перешел без обиняков к делу:

— Я знаю, Настя с вами вчера говорила. Я не хотел сюда приезжать, никогда не умел никого ни о чем просить, терпеть не могу меценатов и покровителей.— И, резко, как-то по-петушину вывернув шею, посмотрел сбоку на Иннокентьева и бросил, не скрывая недружелюбия: — Я и сейчас никого ни о чем не прошу, имейте в виду. Это Венгерова настояла, чтобы я приехал, и вообще все это затеяла. Хотя Ремезов, несомненно, подлец и вор. Но это, я думаю, касается только меня. Вам-то что, собственно?! — Он говорил так, будто уличал в чем-то постыдном собеседника, а не Ремезова.

За высокомерием Дыбасова нетрудно было услышать почти детскую растерянность и мольбу о помощи. Да он и был похож, особенно

рядом с рослым, спортивным Иннокентьевым, на до времени состарившегося мальчика — щуплого, с осунувшимся хмурым лицом, с сутулой слабой спиной. Иннокентьеву он был неприятен, что-то в нем вызывало недоверие и казалось опасным. Хотя справедливости ради, подумал про себя Иннокентьев, не зря же осторожная, осмотрительная Настя готова, как она сама сказала, за ним в огонь и в воду. Да и Митин, далеко не самого смелого десятка человек, тоже решился ради него на эту небезопасную свару с самим Ремезовым.

— Я никого и ни о чем не прошу, — повторил так же непримиримо Дыбасов. — В том числе и вас, Борис Андреевич.

— Мне надо перечитать пьесу, — напомнил тот, как бы выговаривая себе право на свободу выбора. — И само собой, посмотреть спектакль.

— Спектакль еще не готов! — гневно выкрикнул Дыбасов. — Нет еще никакого спектакля!

— Значит, репетицию, — как можно спокойнее ответил Иннокентьев. Дыбасов раздражал его все больше, и у него было такое впечатление, что тот именно этого и добивается. — В любое время, как позовете.

— И пьесу вы тоже читали уже, — не сдавался Дыбасов. — Напрасно вы отнекиваетесь!

— Это было черт знает когда, года три назад. Я ее помню, конечно, но уже не так, чтобы...

— Пятого в одиннадцать утра — устраивает вас? — не дал ему договорить Дыбасов и согласия его тоже не стал дожидаться: — Если вы заняты, другого дня назначить я не могу, так что...

— Я приду, — оборвал его в свою очередь Иннокентьев. Он подумал, что Дыбасов добьется-таки своего и вызовет такую к себе неприязнь, что ни о каком союзе меж ними и речи быть не сможет. — Но я не думаю, что вы избрали самый убедительный тон даже со мной.

— А я никого ни в чем убеждать и не собираюсь! — опять выкрикнул фальцетом Дыбасов, капюшон его полупальто съехал ему на лоб, и теперь его лица и вовсе не было видно.

Ружин и Митин ушли вперед, меж заснеженных елей маячили их большие, грузные фигуры, время от времени издали доносился рыкающий бас Глеба. Женщины поотстали, шли втроем позади, увязая в снегу. То ли Настя услышала выкрик Дыбасова, то ли чутьем угадала, что меж ним и Иннокентьевым грозит произойти, и встревожилась, но она догнала их, взяла под руки.

— Уже договорились обо всем, мальчишки? — спросила нарочито бодреньким голосом, каким говорят тюзовские травести, играющие примерных пионеров.

Иннокентьев не ответил, оставив это право за Дыбасовым.

Но тот остановился, выдернул свой локоть из руки Насти и сказал неожиданно капризным тоном:

— Я замерз! Терпеть не могу зимы!.. Вы уж как-нибудь без меня. Тем более я в таких делах, извините, не мастак, только буду мешаться под ногами. — И повернул назад.

— Возьмите у Иры ключ! — крикнула ему вдогонку Настя. — Дача-то заперта, наверно!

Но он и не оглянулся.

— Что между вами произошло?! — спросила встревоженно Настя.

— Он что у вас, сумасшедший? — вспылил Иннокентьев. — Ему мало Ремезова, он и меня хочет записать во враги?!

— Не сумасшедший, — покачала головой Настя и добавила убежденно: — Он просто гений.

— Кто? — даже остановился Борис. — Кто-кто?!

— Гений, — повторила она твердо. — Моцарт, понимаешь?

— Что ж, стало быть, святое дело — его травить, а уж за Сальери дело не станет, — не удержался Иннокентьев от язвительности.

— Просто мы отвыкли от гениев, — спокойно ответила Настя и

вздохнула.— Нам бы всем чего-нибудь попроще, в этом все несчастье.
— Чем богаты,— пожал Иннокентьев плечами.— Но имей в виду — на безрыбье и рак рыба, я этих гениев на час, на один спектакль, слава богу, насмотрелся.

— Сам увидишь, убедишься. Он тебе сказал — пятого в одиннадцать? Не опаздывай, он этого не любит.

— Чего он еще не любит, этот ваш Вольфганг Амадей? — вышел из себя Иннокентьев.

— Многое,— опять вздохнула Настя, и в голосе ее была искренняя печаль, которую она вовсе и не собиралась прятать.— В том числе и меня.

— Тебя?! — вновь остановился пораженный Иннокентьев.— Тебя, которая...

— Меня, которая,— покорно подтвердила она.— То есть как сторонника и даже, кажется, как актрису он меня ценит, а вот...

— Вот оно что...— Иннокентьев почувствовал вдруг что-то похожее на ревность.— Опять влипла?

— Опять?..— подняла она на него глаза. На ее непокрытую голову, на длинные, до плеч, не то пепельные, не то чуть тронутые уже сединой волосы садился пушистый легкий снежок, неслышно сдуваемый ветром с еловых лап, и не таял.— Нет, Боренька, не опять, ты уж не обижайся. Смешно сказать, но, кажется, такого со мной еще не случилось. Влипла, да.

— Потому что — гений? — не удержался от ревливой насмешки Иннокентьев.

— И потому тоже,— задумчиво отозвалась Настя.— И еще потому, наверное, что ужасно жалко его. Нет, не из-за этой истории с Ремезовым, он сильный, все равно своего добьется, сам в кровь разобьется, всех вокруг замучает, а добьется. Он не жалок, нет, наоборот. Он сильный, а все равно из тех мужчин, которых до слез хочется пригреть, утешить...— И совершенно неожиданно спросила, но в ее вопросе не было желания свести с ним счеты:— Знаешь, почему я так и не смогла тебя полюбить, как ни старалась? Все эти наши с тобой полтора года?.. Да и вообще, почему тебя, уж извини за прямоту, но мы ведь с тобой такие старые друзья, нам все можно,— почему тебя вообще женщины не любят? Во всяком случае, не любят долго и рабски?.. Ты не обидишься?

— Нет,— усмехнулся он, ему и самому это приходило в голову: почему?— Говори, кому же еще не знать пощады...

Она шла с ним рядом, приравливаясь к его широкому шагу, отвела все с той же задумчивой печалью:

— Я ведь старалась тогда тоже из жалости, Боренька... Ты был такой потерянный, несчастный, когда от тебя ушла Лера, такой неприкаянный. Но скоро я поняла, что ни жалость моя, ни любовь тебе не нужны, ты и сам справишься. А восхищаться тобой, падать ниц... для этого, извини, в тебе чего-то не хватает.

— Недостаточно гениален? — попытался он вновь отшутиться, но подумал о другом: вот — Эля, за что его любит Эля, если, конечно, любит, а не ошибается, как ошиблась Настя?.. Из жалости или из телячьего восторга и поклонения? Или же, может быть, она другая, чем Настя и все женщины Настинного и его привычного круга? Просто любит, и с нее этого довольно, для этого ей не надо ни жалеть, ни восторгаться, она и вопросов-то таких себе не задает... А главное — за что его любила Лера, если и она на самом деле любила его, а тоже не ошибалась, не обманывалась? Или же — не обманывала его?..

Но ответил на удивление спокойно:

— Что же я могу тут поделать...

— Для него? — истолковала его слова по-своему Настя.— Для Дыбасова? И можешь и должен, Боря. Ты один, пожалуй, и можешь. Если захочешь, разумеется. Если не струсишь.

— Предположим, и захочу и не струшу. Что именно? Ведь вы наверняка составили для меня всем скопом подробнейшую диспозицию.

— Конечно,— не стала лукавить она,— Ружин проиграл все варианты. Так что можешь быть совершенно спокоен.

— Я спокоен. Раз уж вы все рассчитали за моей спиной, даже не спросив, согласен ли я на эту авантюру... Я совершенно спокоен. Как я понимаю, я вам нужен лишь в качестве технического исполнителя вашей стратегии, которую мне, как выясняется, и постичь-то не дано, где уж мне до Вольфганг-Амадеев, в лучшем случае я Сальери, от которого только и требуется что подсыпать синильной кислоты в стакан Ремезову, всего и делов. А если я скажу «нет»?

— Ты не скажешь «нет», Боря. И вообще это неправда, что тебе нет до всего этого никакого дела, не прикидывайся. Если мы победим, то это будет и твоя победа, а уж ты-то, Боренька, опять не обижайся, из своих побед умеешь выжать все до последней капельки.

Сзади послышался голос Иры Митиной:

— Подождите, куда вы несетесь, мне вас не догнать!..

Они оглянулись. Ира со сбитой на затылок огромной волчьей шапкой, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, спешила за ними, неуклюже мяся рыхлый снег расшитыми пестрым бисером эскимосскими унтами, привезенными ей мужем не то с Таймыра, не то из Канады.

— Все меня бросили! — пожаловалась Ира, догнав их.— Эля с Дыбасовым замерзли, повернули назад, вы бежите невесть куда сломя голову, Митин вообще непонятно где... А я есть хочу! Наготовила горы еды, все утро от плиты не отходила, а вы схватили по грибочку — и в лес... А у меня на воздухе такой жор открывается...

И словно бы телепатией какой-нибудь учуяв, что на повестку дня поставлен вопрос о еде, из-за поворота просеки объявился Ружин, за ним плелся с мрачным, обреченным лицом Митин.

— Кормить нас когда-нибудь будут?— просипел еще издали осевшим на морозе голосом Глеб.— Назвали в гости, а сами морят голодом! — Огромные его ножищи в растоптанных широких ботинках разъезжались на снегу, чтоб не упасть, он широко раскинул в стороны руки без перчаток, с красными озябшими пальцами.— Знаете, как хозяйка в Одессе потчует гостей? «Будемте ужинать или лучше посидим на балконе?..» Либо вы кормите меня, как было условлено, либо выдаете сухим пайком — и я отчаливаю домой!

— Действительно,— мрачно проворчал Митин,— лично с меня этих ваших зимних пейзажей предостаточно...

Они повернули назад, к даче. Ружин не умолкал ни на минуту, говорил исключительно о еде, о том, как кормят на убой в его родном не то Самарканде, не то Душанбе, и так подробно и смачно, что все невольно прибавили шагу.

На даче было тепло и пахло разогревающейся в духовке рождественской — так окрестил ее Глеб — индюшкой, чесночным острым соусом, кинзой, но все перебивал праздничный хвойный дух разодетой, под самый потолок елки. Из окна виднелась снаружи еще одна ель, живая, тоже в крупных ярких шарах и золотых бумажных цепях, но самое на ней праздничное и веселое были не шары и игрушки, а ослепительно горящий на солнце снег на широких сочно-зеленых лапах.

Эли с Дыбасовым не было ни на террасе, ни в столовой, Иннокентьев их обнаружил в самой дальней комнате. Приоткрыв дверь, он увидел в щелку Элю, сидевшую с ногами на низеньком диванчике. Дыбасов шагнул из угла в угол, подавшись на ходу вперед, словно рассекая тшедушным своим телом встречный ветер, и что-то настойчиво говорил, а Эля не сводила с него восторженных и вместе с тем испуганных глаз. Она и не услышала, как Иннокентьев открыл дверь, ей было не до него.

На душе у него вдруг погасло то праздничное и безоблачное, которым он жил все это утро. «Этого-то она полюбит не из жалости, наоборот...» — подумал он невольно и, по-прежнему не замеченный ими, тихо притворил опять дверь.

Расположились вокруг большого круглого стола на террасе, еда

действительно удалась Ире на славу. Ели неторопливо, похваливая стол и хозяйку. Ружин утирал пальцы о собственную бороду. Все разомлели, подобрали, говорили смешные и трогательные тосты, смеялись беззлобно и от души, и только с лица Дыбасова не сходило выражение собственной особенности. Да еще Эля сидела хоть тоже улыбочивая и смеющаяся каждой остроте, но — молчаливая, и временами Иннокентьев ловил на себе ее вопросительный, словно бы ищущий помощи и защиты взгляд.

К концу обеда, когда Ира подала на французский манер кофе, коньяк и сыр, за окнами уже загустела стеклянная синева сумерек, и лишь на заснеженных верхушках сосен еще теплился напоследок багровый жар уже невидимого солнца.

Митин предложил нехотя, словно бы подчиняясь неизбежному:

— Ладно, дамы пусть идут почивать, а нам надо поговорить о деле.

Женщины встали из-за стола и направились в комнаты. Настя осталась в дверях, спросила у Дыбасова:

— Я — не нужна?

Он не ответил ей.

Мужчины остались вчетвером на террасе, потягивали коньяк, дымили сигаретами, помалкивали, ожидая каждый, чтоб разговор начал кто-то другой.

Ружин осоловел от тяжелой сытости, время от времени погружался в благостную полудрему.

Первым не выдержал затянувшегося молчания тот же Митин, кивнул на растекшуюся квашней в кресле тушу Глеба.

— Ему нельзя столько есть, он тут же впадает в спячку, как удав, переваривающий кролика. Теперь от него никакого толку.

— Я не сплю,— Глеб выпростал из-под тяжелых желтых век свои глаза-буравчики,— я думаю. Всю жизнь мне приходится думать за всех вас. Что бы вы без меня делали?..

— Что же ты надумал за нас?— спросил Иннокентьев. На террасе было так накурено, что дым ел глаза, висел недвижными слоями в воздухе.— Поделись.

Дыбасов вскочил с места, заходил нервно из угла в угол, будто все это ему осточертело до смерти, ни с какого боку его не касается, и он не понимает, зачем он здесь.

Митин с беспокойством следил за ним глазами.

Ружин выплеснул из чашки остатки остывшего кофе, налил в нее коньяк, подумал, держа бутылку на весу, и долил до краешка, одним движением влил коньяк в глотку, и — о чудо! — сонливости и благорасположения в нем как не бывало, глазки засверкали азартным и недобрый огнем, борода встала дыбом.

— Дело надо делать, дело! Настоящее, а не погрязать в этой вашей мышинной возне!

Эти слова были просто смешны в его устах, Иннокентьев даже поморщился — сколько же можно обманывать себя и других?! Ведь именно отказ от какого бы то ни было дела и составлял основополагающий принцип ружинской жизненной позиции, предполагающей не собственные усилия и поступки, а усилия и поступки других, которых к тому же он еще и осуждает за бездействие. Он, Иннокентьев, именно что делает дело, работает в поте лица, и польза от этого не ему одному, иначе они не позвали бы его сейчас, чтоб молить о помощи и поддержке. А Ружин только и знает что полеживать целыми днями на вылезшей собачьей полости, трепаться часами по телефону, витийствовать в пространство, только бы не сесть за письменный стол. И все его, Ружина, никого и ничего не испепеляющие громы и молнии — залпы из елочных хлопушек...

Глеб меж тем разразился очередной филиппикой:

— Да! Никому не дано знать в жизни ли, в вашем ли поганом искусстве, что — настоящее, что — подделка, вранье. Знать не дано, умом или ученостью этого не объяснить, не доказать, для этого совсем другое

нужно — глаз, ухо, душа... именно душа, открытая и отзывчивая, как душа ребенка. Чистая и бескорыстная — это в первую очередь!.. — Мысли его шли вразброд, он наверняка забыл, для чего они тут все собрались и чего ждут от него. Он вдруг стукнул красным кулаком по столу так, что задребезжали пустые рюмки. — А я не хочу! Увольте! Без меня, сделайте одолжение!.. В этом вашем собачнике, на этой ярманке, где берут обыкновенный грошовый воздушный шарик, дуют в него до посинюхи и объявляют стратостатом, дирижаблем, и самое смешное, самое гадкое — сами в это верят и готовы пуститься на нем в кругосветное путешествие... А когда дирижабль этот, шарик этот жалкий, лопается, вы же и бросаетесь топтать его ногами, рвать в клочья — мы говорили, мы предупреждали!.. И тут же, будто для ваших легких нет работы важнее и осмысленнее, кидаетесь надувать новый шарик... Не хочу!.. И стоит кому-нибудь сказать слово поперек, увидеть, как тот мальчик из сказки, что у короля-то задница наружу, как вы тут же объявляете его ретроградом, ипохондриком или в лучшем случае... — Он не находил нужного слова, пыхтя от натуги и дергая себя за бороду.

— Конформистом, — подсказал Иннокентьев и подумал, что Глеб, собственно говоря, нарисовал беспощадно и верно свой собственный портрет.

— Конформистом, именно! — обрадовался Ружин.

— И я, по-твоему, и есть образцовый конформист, — подлил масла в огонь Иннокентьев.

— В худшем смысле слова! — перегнувшись через стол, прошипел у самого его лица Ружин. — Потому что ты не только участвуешь в этом всеобщем собачнике, а сверх того еще и заставляешь верить в эту мусть миллионы невинных людей, которые смотрят за неимением лучшего твою поганую передачу!

— Далась тебе эта передача! — взмолился Митин. — Мы же сегодня собирались совсем о другом...

— И потому еще, — не свернул со своей любимой дорожки Ружин, пожирая Иннокентьева остренькими глазками, — что ты-то как раз в отличие от всех этих пикейных жилетов с замаранными от восторженного ужаса подштанниками имеешь полную возможность сказать все, что знаешь и думаешь. Ведь захоти только, наберись только духу — и никто не посмеет схватить тебя за руку!

— Ну знаешь... — пожал плечами Иннокентьев, — что-то не замечал я в тебе прежде этого донкихотства... И если уж на то пошло, что же ты сам этого не сделаешь? — спросил и наперед знал, что услышит в ответ.

— Я?! — буравил его злыми глазками Ружин. — Я?..

— Ты, да. Ты.

— А я — молчу! Я замолчал! И мое молчание, будь уверен, услышано! Те, кто надо, очень даже слышали мое молчание! Можешь не сомневаться!

— Молчу — значит, существую? Что-то новенькое...

— Бывают обстоятельства, когда молчание...

— Ну да, — не дал ему договорить Иннокентьев, — Толстой — «не могу молчать», а ты — «не могу не молчать». Лихо придумано. По крайней мере, очень уютно. Молчу, чтоб слышали...

— Господи! — взмолился вконец истомившийся беспокойством и неизвестностью Митин. — Не о том же речь! Мы же хотели — как быть? Что делать?..

— Извечные российские вопросы без ответов... — пробормотал про себя из угла Дыбасов. — Еще надо бы — «кто виноват?»...

— Хватит! — завопил Ружин во все горло и вновь стукнул кулаком по столу. — Хватит!

— Посуду не бей, — безнадежно вставил Митин, но Глеб его не услышал.

— Хватит бояться собственной тени! Исходить потоком благородных слов и молча терпеть, когда все эти ремезовы и иже с ними залезают к нам в карман! Рвут подметки на ходу!

«Опять за свое принялся,— вчуже подумал Иннокентьев,— его кашей не корми, дай повоевать с ветряными мельницами... Ему-то как раз в карман никто и не залезет по той простой причине, что все знают, что у него давно за душой ни гроша. А решительные поступки он совершает только тогда, когда ходит с десятки бубен или объявляет пас. Но мы все равно внимаем ему как зачарованные, и без него, пожалуй, почувствовали бы себя казанскими сиротами...» А вслух сказал нетерпеливо:

— Это все мы уже сто раз от тебя слышали. И насчет Ремезова мнение у всех достаточно единодушное, можешь не стараться. Игорь прав — что делать? Что каждый из нас может сделать?

— Вот именно! — подхватил с облегчением Митин. — Что мы можем?

— Вы хотите сказать — ничего?! — выскочил из своего угла Дыбасов. Слабые, хилые его ручки были сжаты в кулаки, и на них вздулись жесткие жилы. — Тогда зачем весь этот огород смехотворный городить с этими вашими страданиями, воплями, с этой жратвой, от которой дуриешь только?!

И опять забегал из угла в угол.

Митин смотрел на него затравленными глазами, и Иннокентьев подумал: «Что, если я все же откажусь от участия в этой катавасии со «Стоп-кадром»?.. А ведь они, и Дыбасов в том числе, Дыбасову это нужнее, чем всем остальным, только на меня и рассчитывают, один я могу попытаться что-нибудь сделать, — интересно, что он тогда запоет, этот доморощенный гений, Вольфганг Амадей этот со стиснутыми от бессилия кулачками, с него мигом слиняет вся его спесь...»

— Можно! — протрубил иерихонской трубой Ружин. — И должно! Надо только, чтобы эти двое виновников торжества, — он повел всклокоченной бородой в сторону Митина и Дыбасова, — не наделали в последнюю минуту в цитаны. Не говоря уж о тебе, — покосился на Иннокентьева. — Больше ничего от вас всех и не требуется.

— Ну знаете! — бросил возмущенно на бегу Дыбасов.

Митин никак не реагировал, только устало прикрыл глаза ладонью.

— Так, — пресек краснобайство Глеба Иннокентьева. — Вопрос о полках, так сказать, правой и левой руки можно считать решенным — от них требуется всего лишь стоять насмерть, гвардия умирает, но не сдается. Насколько я понимаю Глебову диспозицию — в центре боя предполагается стоять мне. Так?

— Дмитрий Донской... — недовольно пробурчал Ружин, явно раздосадованный, что у него перехватили из рук верховное главнокомандование.

— Итак, что требуется от меня? — спросил его Иннокентьев в упор.

Дыбасов прервал свой беличий бег в колесе, кинул худое, костистое тело на стул у дальней стены, мрачно молчал, всем своим видом показывая, что лично он ничего хорошего от этого совета в Филях не ждет, и что бы они ни порешили, он оставляет за собой свободу действий.

— Есть лишь одно бесспорное средство, — ответил за всех Ружин.

— Бесспорное... — недоверчиво пожал плечами Митин и отвернулся к окну. Там уже стояла полная темень, и лишь фонарь, висевший на крыльце, празднично выхватывал из нее наряженную елку.

Слышно было, как смеются за затворенной дверью женщины, громче всех Эля, и Иннокентьеву пришло на ум — какого черта он сидит здесь и обсуждает до бесконечности то, до чего ему, честно говоря, нет никакого дела, вместо того чтобы быть с ней, любить ее и оберегать? А ведь именно о помощи и защите молили ее глаза, когда она за обедом встречалась с ним взглядом... Помощи — в чем? Защиты — от чего?..

Он плохо слышал, что говорил, рокоча басом, Ружин:

— ...кстати говоря, мне бы это и в голову не пришло, не я это придумал, а Настя, только женский ум мог до этого додуматься. И все оказалось предельно просто.

— Просто...— опять простонал Митин, уставясь за окно.

— Ремезов вернется из Югославии не скоро, пока его нет — руки у нас развязаны...

— У нас, это значит — у меня? — Иннокентьева злило, что они обо всем договорились без него и за его спиной, ему отводилась всего-навсего роль послушного орудия.

Ружин будто и не услышал его.

— Тут главное — не терять ни минуты. Ты,— ткнул он указующим перстом в Иннокентьева,— снимаешь для своего «Антракта»...

— Вот и мой «Антракт» пригодился...— усмехнулся тот, но и его усмешка была тоже оставлена без внимания.

— ...снимаешь репетицию «Стоп-кадра» и берешь у Дыбасова и у артистов интервью, из которого ясно, что Ремезов к спектаклю не имеет ни малейшего отношения. Черным по белому! И после того как передача выйдет в эфир и факт будет раз и навсегда засвидетельствован, он сможет нам только соли на хвост посыпать — поезд ушел. Все проще пареной репы!

Наступило долгое молчание. Иннокентьев понимал — они ждут, что скажет он.

А он не знал, что сказать. Нет, его отношение к тому, что собирался Ремезов сделать со спектаклем Дыбасова, было недвусмысленным, в этом он с ними со всеми нисколько не расходится, и план, сочиненный Ружиным — или Венгеровой, это ничего не меняет,— действительно разумен и прост. Но в отличие от них всех Иннокентьев знал, что это только со стороны план этот прост и немудрящ, а на самом деле между тем, чтобы снять любой сюжет для «Антракта», и тем, чтобы выпустить его на экран, дистанция не в дни, а в недели, даже в месяцы, а за это время Ремезов успеет не только вернуться в Москву и обо всем узнать, но и нажать на все кнопки, зазвонить во все колокола, сил и связей у него предостаточно, чтобы постоять за себя и стереть в порошок не только Дыбасова, но и Митина. И его, Иннокентьева, в придачу. Его-то прежде всех остальных — хотя бы потому, что именно его, Иннокентьева, руками они и собирались загрести жар.

Но с другой стороны, ситуация слишком вопиющая, слишком взбудоражившая всю театральную Москву, чтобы Иннокентьев без ущерба для своего доброго имени мог себе позволить умыть руки и отойти в сторонку. Да и Ремезов не может этого не понимать, он стреляный воробей, он ведь тоже не поперет на рожон за здорово живешь...

И он сказал:

— Что ж... волков бояться — в лес не ходить.

И по тому, как вскочил на ноги и тут же опять рухнул на стул Дыбасов, он понял, с каким нетерпением тот ждал его решения.

Ружин же отозвался небрежно и как о чем-то само собой разумеющимся:

— Наконец-то...

И только Митин заерзал в кресле и посмотрел на Иннокентьева с такой укоризной, словно бы надеялся и ждал от него совсем другого, а тот не понял и предал его.

Из двери выглянула Ира.

— Ну? Кончили совещание? Вы о нас совсем забыли! Новый же год!

Следом за ней вышла на террасу Настя, спросила с тревогой у Дыбасова:

— Все хорошо?

Дыбасов не ответил. Тогда она еще более нетерпеливо спросила у Иннокентьева:

— Все хорошо?..

За ее спиной в дверях появилась Эля. Иннокентьев встретился с ней взглядом и ответил не Насте, а ей:

— Все хорошо. В смысле — море по колено.

На Элином лице мигом разлилась такая счастливая, такая радостная улыбка, что он с внезапной подозрительностью подумал — ей-то что во всем этом?..

Эля села рядом с ним, положила без стеснения ему голову на плечо, переспросила шепотом:

— Обо всем договорились, Боря?

Так вот о чем они с Настей и Ирой говорили так дружески и доверительно там, в лесу! Настя зря времени не теряла — и Элю завлекла в свои сети, лишний союзник на всякий случай!.. Какого рожна Эля лезет не в свое дело, в авантюру, которая ее не касается ни с какой стороны?! Не рановато ли?..

Едва сдерживая раздражение, спросил как можно безразличнее:

— О чем мы должны были договориться?

— Они все говорят, что, кроме тебя, никто не может ему помочь...—

Она не подняла головы с его плеча.

— Кому — ему?! — Он резко убрал плечо.— И не лезь, куда тебя не просят!..

Женщины потребовали внимания к себе, настроение у всех — да и Иннокентьев скоро отошел, смешно, право же, злиться на Элю, да и, собственно, за что? — опять поднялось, языки вновь развязались, Дыбасов неожиданно для всех стал изображать общих знакомых, показывать, тоже очень смешно и похоже, различных животных — верблюда, жирафа, пантеру, мула, — он обладал, оказывается, редким пластическим даром.

Включили магнитофон. Иннокентьев вдруг подумал, что он еще ни разу не танцевал с Элей, поднялся было пригласить ее, но Ружин, словно бы угадав его намерение, опередил его:

— Не соблаговолите ли, барышня...

Эля вопросительно взглянула на Иннокентьева, он улыбнулся ей и одобрительно кивнул. Она вышла из-за стола и подождала, пока выберется следом за ней неповоротливый, толстый Ружин, которому везде и всегда было непросто развернуться.

Однако, танцуя, Глеб совершенно преображался. Танцующий Ружин был несомненно одним из семи чудес света. Грузный — все сто двадцать с лихвою кило живого веса, — неповоротливый, неловкий, в танце он становился прямо-таки женственно-изящным и таким неистощимо изобретательным на немыслимые па, что трудно было узнать в нем того, кто обычно, кряхтя и отдуваясь, с трудом одолевал ступени лестницы.

Эля танцевала совсем не так, как он, — в ее движениях, резких и смелых, угадывалась угловатая, немудрящая манера подмосковной танцплощадки, тело ее послушно, сильно выгибалось, руки, поднятые высоко над головой, жили как бы своей отдельной, независимой от тела и ног жизнью.

За окнами стояли в вышине крупные, колюче-яркие звезды, на улице снег молодо и свежо поскрипывал под ногами гуляющих мимо дачи, вокруг фонаря на крыльце недвижно стояло радужное облачко изморози, с соседних дач слышна была музыка.

Когда, под утро уже, пришло время укладываться спать, Ира предложила не очень уверенно, боясь попасть впросак:

— Мы с Игорем ляжем у себя в спальне, в кабинете — Эля с Борей, а Роман и...

— В кабинете будем спать мы с Элей, — пришла всем на выручку Настя, — мы уже с ней договорились.

Митин посмотрел на жену с неммым укором.

Ира была глуповата, все знали это и сочувствовали Митину, но тот любил ее покорно и преданно, и было ему с ней, как уверял он себя, хорошо. «Каждый народ достоин того правительства, которое имеет», — не уставал говорить по поводу четы Митиных Ружин. Впрочем, стоило Ире хоть самую малость выпить, как она мигом превращалась в про-

стю и шумливую девчонку из Черкизова, какой она и была до того, как благодаря своим умопомрачительно длинным ногам стала манекенщицей Дома моделей, где ее и откопал в начале шестидесятых годов как раз в ту пору входивший в моду и начинавший преуспевать Митин. Она давно уже не работала манекенщицей, стала женой и хозяйкой, а друзей Игоря вполне примирили с ней отличная и обильная стряпня, радужное гостеприимство и почти иступленная, надежная, как круговая оборона, ее любовь к мужу.

— Тогда так, — нашлась она, — Настя и Эля в кабинете, Глеб и Роман — в столовой, там как раз два дивана, а Боря тут, на террасе. Можно и иначе — Боря с Глебом, а Роман..

— Нет уж, — запротестовал Иннокентьев, — Глеб храпит, как паровой молот, уволь, Ира, с ним и под одной крышей-то не уснешь.

— Я не храплю, — всерьез оскорбился Ружин, — я просто дышу по системе йогов.

Когда расходились по своим комнатам, Иннокентьев попросил Митина:

— Дай чего-нибудь почитать, иначе я не усну.

— Бери, на полках в кабинете полно.

— Нет, — решил Иннокентьев, — ты мне дай свой «Стоп-кадр», освежу в памяти на сон грядущий.

Митин поглядел на него подозрительно, но пошел в кабинет, вернулся с хлорвиниловой папочкой:

— На пьяную-то голову..

Иннокентьев долго лежал, так и не раскрыв пьесу — женщины то и дело пробегали в ванную, там шумел душ, гудел газ в колонке. Эля подошла к нему и, молча наклонившись, поцеловала, но не в губы, а в щеку и в лоб, и так же молча ушла, а он подумал: довольна она, что спит от него отдельно, или обиделась, что он не настоял, чтобы она легла с ним, испугался, что его все осудят за это?.. Настя тоже подошла попрощаться, обдала, наклонившись, запахом крема, сказала:

— Спасибо. Ты и не знаешь, как я тебе благодарна. Ты просто большой молодец, Боренька. — И бесшумно ушла, прикрыв за собой дверь.

Вскоре все притихли, и только за окном гудели на низких басах сосны — видно, под утро поднялся ветер.

Сон не шел, и Иннокентьев принялся за пьесу Митина.

Года три или четыре назад, когда Игорь дал ему прочитать рукопись безо всякой надежды, что она когда-нибудь будет поставлена или напечатана, пьеса не слишком понравилась Иннокентьеву. Первое его чувство было недоверчивое удивление — всю жизнь, а были они дружны с Игорем без малого двадцать лет, Митин принадлежал к тем благополучным и удачливым драматургам, чьи сочинения, крепко и ладно сбитые, были, по меткому определению того же Ружина, «дамами, приятными во всех отношениях». Все в них было очень похоже на правду жизни, но правдой не было по той простой причине, что знание ответа как бы предшествовало, предвосхищало самый вопрос, вопрос подгонялся под уже готовый ответ, и потому они скорее утешали и укрощали беспокойную, изжаждавшуюся истины мысль, нежели будили ее. Но поскольку правдоподобие всегда удобоваримее правды, готовый ответ уютнее безответного вопроса, сочинения эти были обречены на неизбежный успех у публики и признание критики. Так было покойнее и удобнее для всех.

И вдруг Митин разрешился вот этим самым «Стоп-кадром», и все вокруг, в том числе и Иннокентьев, более того — даже Ружин с его безошибочной способностью угадывать раньше других все свежее и новое, развели в недоумении и недоверии руками: с чего это он? и откуда это в нем взялось?! Не говоря уж — зачем ему это?!

Митин не стал даже носить в театры и журналы новое свое дети-

ще — он и сам пребывал в не меньшем недоумении и растерянности, чем все остальные. И безмерно удивился, когда года через два к нему пришел Дыбасов, попросил рукопись и на следующее утро позвонил и сказал, что будет ее ставить. А уж когда и сам Ремезов поддержал эту идею и включил пьесу в репертуар — тут-то все и заговорили о втором дыхании Митина.

Иннокентьев теперь уже плохо помнил пьесу и открыл ее в тайной надежде, в которой не признался бы и самому себе, — что она и сейчас ему не очень понравится.

Но с первых же страниц его захватило странное ощущение — и как он этого не вычитал, не понял три года назад?! — будто речь в этой пьесе идет о нем самом, о том, каким он был когда-то, и каким стал теперь, и что с ним случилось за эти годы. Нет, в ней не было ничего такого определенного, конкретного, что бы совпадало с событиями его собственной жизни, да и событий реальной биографии самого Митина в ней тоже вроде бы не угадывалось, но в интонации пьесы, в самом ее воздухе, что ли, ненавязчиво, но совершенно явственно и узнаваемо присутствовало то, что сделало их, Митина и Иннокентьева, тех почти позабытых уже, канувших в забвение шестидесятых такими, какими они стали теперь, в середине восьмидесятых. Иннокентьев поразился, как безбоязненно и не таясь Митин выносит на всеобщее обозрение, на всеобщий суд свою душу, смятение, недоумение свое перед жизнью, которая на поверку всегда и у всех не такова, какой мы ее ожидаем и какой ее себе наперед пророчим. И как он настойчиво, мучительно ищет в себе ответы на эти свои недоуменные, на семи ветрах, вопросы, и суд его над собой нелицеприятен и не принимает в расчет смягчающих обстоятельств. Над собой, но и над ним, Иннокентьевым, над их общим временем и ему, Иннокентьеву, тоже велит ничего от себя не утаивать, не знать пощады...

Скрипнула дверь, и на террасу вышел босиком и в пижаме Митин.

— Извини, старик, так объелся, что...

Потом Митин долго мылся, отфыркиваясь и тяжело пыхтя. Вернулся на террасу, хотел было пройти в спальню, но передумал, присел на диван рядом с Иннокентьевым.

— Не спишь?

— Просвещаюсь.— Иннокентьев отложил в сторону рукопись.

— Знаешь, если уж совсем положила руку на сердце...— начал было Митин, но замолчал, отвернулся к темному окну, в котором оба, он и Иннокентьев, выхваченные из темноты светом настольной лампы, отражались в черном стекле, и это было похоже на старую, потемневшую от времени картину — «Драматург Митин у постели умирающего критика Иннокентьева».

— По-моему, все пока в порядке,— успокоил его Борис,— я уже прочел порядочный кусок.

— Я не о том! — нервно вскинулся Митин. Босые ступни его стыли, и он растирал их ладонью.— Тебе я могу признаться: я просто-напросто боюсь. Я-то знаю Ремезова, обиды он никому не спустит. Да и в конце концов, честно говоря, мне нужно что? Чтобы поставили — не важно кто! — этот проклятый «Стоп-кадр»! Ремезов, Дыбасов — какая разница? Если отвлечься, конечно, от всякой этической чепухи... Так они-то нас чаще всего и предают, режиссеры, у них руки у всех по локоть в нашей крови!

— Но поставил-то не Ремезов, а Дыбасов,— не столько возразил, сколько подумал вслух Иннокентьев.— Хотя, с другой стороны, не благослови Ремезов своим авторитетом эту затею...

— То-то и оно! — подхватил, словно несказанно обрадовавшись этому обстоятельству, Митин.— То-то и оно! Этого тоже нельзя сбрасывать со счетов!

— Но поставил все-таки Дыбасов, тут уж тебе отступить некуда. Вся Москва уже гудит об этом.

— То-то и оно...— повторил Игорь, но уже не радостно, а с такой беспомощностью, что Иннокентьев невольно рассмеялся.— Мне спектакль, спектакль нужен! — почти простонал Митин.— А поссорюсь с Ремезовым, никакого спектакля не будет...

— Зато ты будешь жить с гордо поднятой головой,— не удержался от иронии Иннокентьев.— Это тоже на дороге не валяется.

— Слушай...— неуверенно сказал Митин после молчания,— а нельзя как-нибудь так, чтобы я... ну, одним словом, чтобы все это как бы помимо меня?..

— Выход есть.— Иннокентьеву неожиданно захотелось показать Митину, каков он сейчас со стороны: ведь не его бы пьеса — никакой этой сомнительной истории и не было бы, а теперь первый уходит в кусты!..— Выход есть, и очень простой: забираешь из театра пьесу. Правда, в этом случае наверняка никакого спектакля не будет. Хозяин-барин.

Митин посмотрел на него с таким ужасом, что Иннокентьев пожалел о сказанном.

— Волков бояться — в лес не ходить.

Но эта расхожая истина едва ли могла утешить Игоря. Он и не отозвался на нее, промолчал, потом сказал негромко и не глядя на Иннокентьева:

— А мне ведь не того, Боря, страшно — поставят, не поставят... Я ведь и не к таким камуфлетам приучен, хоть и, с другой стороны, жаловаться грех... Поставят, не поставят «Стоп-кадр» в театре — так ведь все равно он уже написан, и это не кто-нибудь, а я его написал, вот ведь что главное... А страшно мне, если уж говорить правду, совсем другого...— Он обвел глазами вокруг.— Вот этого всего, вот чего!

— Что ты имеешь в виду? — не понял Иннокентьев.

— Этого всего! — вдруг с тоской и ненавистью простонал Митин.— Благополучия своего, вот чего! Дачи этой, Иры с ее светской дурью, сытости, после которой, вот как я только что, блевать тянет, того, что я уже не представляю себе, как можно передвигаться по земле не в собственной машине... Привычки своей к благополучию, к комфорту не одной только утробы, но и души, черт вас всех побери!.. А ведь на это благополучие, которому на самом деле грош цена, надо вкалывать, как ломотовая лошадь, писать раз за разом дешевку какую-нибудь на потребу, дрожать от страха, как бы все это в один прекрасный день не вылетело в трубу... Себя мне, если уж начистоту, страшно, того, который об одном только и пекся всю жизнь, сколько себя помню,— об успехе, о деньгах, о том, чтобы не оказаться ненароком у разбитого корыта, чтоб не дай бог не записали меня в неудачники, шел с протянутой рукой на поклон к режиссерам, к публике: чего изволите? что пользуется спросом в нынешнем сезоне? над чем прикажете посмеяться, над чем слезу пустить?.. Прямо служба быта какая-то, фирма «Заря»!..

Иннокентьев даже испугался внезапной, на ровном, казалось бы, месте, бессвязной исповеди Митина.

— А вот теперь — этот «Стоп-кадр», будь он неладен! — лихорадочно шептал, чтобы не быть услышанным из-за двери, Игорь.— И ведь это я сам его написал, никто за рукав не тянул! И что бы ты или все вы ни говорили, а я знаю — это первая моя настоящая вещь!.. И вся беда в том, что теперь, после того как я ее написал, я уже никогда не смогу ни идти на поклон, ни врать, ни прикидываться, ни подделываться под общие вкусы... А публика-то проклятая обожает, чтоб потрафляли ей, пятки после обеда почесывали... Вот в чем дело-то! Вот чего мне страшно, Боря!.. Лучше бы уж я и вовсе не писал этой пьесы. Или пусть не поставят ее, вроде бы ее и нету, никогда не было, может, я и сам о ней позабуду, если поднатужусь... И опять стану жить, как жил до сих пор, опять сочинять всякое дерьмо на продажу, а?..

Ветер за окном разгулялся вовсю, сосны уже не просто гудели, а трещали под его напором, бессильно стонали.

Приоткрылась узенькой щелкой дверь, в нее выглянуло Элино лицо.

— Ой!.. — испуганно вскрикнула она и хотела было прикрыть дверь, но Митин опередил ее, встал.

— Ладно, извини... Утро вечера мудренее. Извини. Спокойной вам ночи.— И притворил за собой дверь.

Эля тоже была босиком, в длинной, до пят, прозрачной ночной рубашке — Ириной, вероятно.

— Просто так вдруг захотелось к тебе... Ты не сердисься?

Он откинул одеяло.

— Иди.

— Нет, что ты!.. — испугалась она.— Услышат, тут же не стены, одно название... Да и Игорь меня увидел, неловко получится.

— Иди! — потянул он ее к себе за руку.— Плеваты! Холодно, замерзнешь, иди.

— Я на минутку только... — слабо сопротивлялась она, — мне вообще в кухню надо было.

Он бережно прикрыл ее одеялом. Ступни у нее были совсем ледяные, как тогда, в Никольском.

Он выдернул штепсель из розетки, и сразу терраса погрузилась в непроглядную тьму, гул и скрип сосен за окном стали громче, тревожнее.

— Врешь, — он нашел в темноте ее губы своими, — ты не в кухню, ты ко мне шла. Зачем ты врешь?..

— Зачем спрашиваешь, — в перерыве меж поцелуями шептала она, — если сам знаешь?.. К кому же еще?..

— Соври еще, что любишь меня... — Он прижался к ней всем телом, нежности и умиления в нем было сейчас больше, чем желания.

— А вот и люблю, — очень серьезно отозвалась она в темноте, — что тут такого?.. Нормально.

— За что? — пытал он ее, обнимая еще нежнее.

— За что?.. — Она лежала на спине, уставившись глазами в темноту, словно бы раздумывая над его вопросом.— Не знаю... Нет, знаю, за что сегодня! За то, что ты не отказался.

— От чего? — не понял он.

— Я так труханула, что ты не захочешь... ну, помочь ему.

— Дыбасову?.. — догадался он и невольно ослабил объятия, отодвинулся от нее к стене.— Так ты из-за него?!

— Нет! — испугалась она и сама тесно прижалась к нему.— Нет!..

Он просто такой... такой, не знаю, как сказать, несчастный, неприбранный какой-то, никому не нужный... и ручки, кулачки у него такие крохотуленькие, ну прямо ребенок... — И совершенно неожиданно тихо заключила: — И такой страшный...

— Страшный?.. — Он вспомнил ее испуганные глаза, когда, вернувшись из леса, открыл дверь в кабинет, где она была с Дыбасовым.— Ты боишься его?

Она ответила не сразу:

— Не его... Просто когда он говорит и глазки у него как двустволка делаются — вот-вот выстрелит! — страшно... Не его, а... не знаю, как и сказать... Не страшно, а... я, когда с ним вдвоем осталась, только и думала — скорее бы ты пришел, думала, еще немножко, и если ты не придешь...

— Что тогда? — спросил он и знал наперед ответ, которого сама Эля еще не знала, не догадывалась.

Она только еще теснее прижалась к нему...

Утром Иннокентьев проснулся оттого, что бушевавший всю ночь напролет ветер внезапно стих и все смолкло, словно вымерло.

Эли рядом не было.

За окном было уже совсем светло, но сумрачно и серо — за ночь ветер успел нагнать во все небо низкие тучи и стряхнуть с деревьев вчерашний праздничный снег, они стояли голые и пасмурные, хвоя их казалась почти черной, дорожка, ведущая от крыльца к воротам, поразившая вчера Иннокентьева трогательной белизной, была усыпана осыпавшимися от ветра иглами, и теперь снег был неряшлив и тосклив.

И давешней легкости и праздничности на душе у Иннокентьева тоже как не бывало. «Вот еще один Новый год... — подумал он. — А давно ли прошлый встречали?..»

За стеной послышался душераздирающий, из самых недр легких, утренний кашель Ружина.

7

Эля, не спрашивая согласия Иннокентьева, словно так и было условлено между ними, с самого утра засобиралась за ним на репетицию в театр, хотя ей там совершенно нечего было делать, да и само ее появление ставило его в неловкое положение: как ее представить хотя бы?.. Но он ей ничего не сказал.

В то утро ему пришло в голову несколько вычурное и рассмешившее его самого сравнение, этакий гиньоль: он — как старый выезженный цирковой конь, всю жизнь бегавший по кругу манежа, и которого нежданно-негаданно выпустили из конюшни, где у него было вдоволь душистого сена и свежего овса, на волю, на зеленый простор, под голубое небо, — и он разом захмелел от этой зеленой и голубой нестреноженной воли, голова пошла кругом, солнце слепит глаза.

Он не удержался, спросил себя чуть ли не вслух:

— Уж не счастлив ли ты, черт тебя побори?!

В служебном подъезде театра их ждала помощник режиссера, немолодая женщина, обвязанная вокруг талии серым оренбургским платком, провела пустыми, тускло освещенными коридорами из фойе в зал, у входа в который на низенькой, крытой истершимся синим бархатом банкетке сидела, дожидаясь Иннокентьева, Настя Венгерова. Увидев его, встала, быстро пошла навстречу.

— Здравствуй, Боря, — коснулась вскользь прохладной щекой его лица, — к сожалению, я не смогу сидеть с тобой, у меня другая репетиция. Но самое ужасное, что весь театр уже знает, что ты здесь, у нас ничего нельзя утаить... Герасимов уже закатил Дыбасову истерику — как посмели без его разрешения...

Герасимов был директор театра, но он ничего не решал, единовластным хозяином был сам Ремезов. Директор смертельно боялся его и — это было известно всем и каждому — только и ждал, чтобы тот на чем-нибудь споткнулся. Герасимова можно было не принимать в расчет — если он и не возьмет сторону Дыбасова в этой ситуации, то и не слишком будет стоять на страже интересов Ремезова.

— Я очень на тебя надеюсь, Боря, — говорила Настя вполголоса, словно боясь быть подслушанной кем-то, хотя, кроме них двоих да еще Эли, никого в темном фойе не было. — Тебе наверняка понравится, ты все поймешь и сделаешь как нужно... — И так же торопливо, не попрощавшись, ушла. Элю она будто и не узнала, не увидела.

Иннокентьев вошел вслед за помрежем в пустой и едва освещенный, отчего он казался гораздо обширнее, чем при полном свете люстр, зрительный зал. Сцена и вовсе тонула в зыбком полумраке. Единственным ярким пятном светилась лампа на столике режиссера в среднем проходе партера, но за столиком пока никого не было. Лишь в задних рядах угадывалось несколько разрозненных фигур, размытых темнотой.

Еще со студенческих лет, когда он, проходя на старших курсах практику, изо дня в день просиживал часами на репетициях в различных театрах, Иннокентьев полюбил напряженную тишину этих предрепетиционных минут, ожидание и смутное волнение, перед тем как на полюсвещенную сцену выйдут актеры — еще не загримированные, с буд-

ничными лицами, в мятых, затрапезных джинсах и свитерах, с тетрадиками еще не выученных ролей в руках, рабочие, тихо переговариваясь, еще устанавливают и передвигают выгородки и мебель, реквизиторы в войлочных тапочках бесшумно расставляют бутафорские цветы и тарелки с муляжными куропатками, осветители в ложах верхнего яруса, перебрасываясь вполголоса репликами через весь зал, устанавливают свет, проверяют свою аппаратуру радисты, и душа твоя полнится предвкушением тайны и чуда, когда все это — свет, звуки, голоса и лица оживут, сольются воедино, обретут высший, небудничный смысл и ты подчинишься ему с покорностью и восторгом: «...над вымыслом слезами обольюсь».

Как почти все профессионалы, Иннокентьев репетиции любил больше, чем спектакли с их аплодисментами и раздражающим шуршанием конфетной фольги, с торопливо убегающей, не дожидаясь последней реплики — и так все ясно! — в гардероб за пальто публикой. Репетиция — это и есть театр, его истинная, открытая только посвященным жизнь, искания, промахи, истерики и счастливые и редкие обретения.

Когда-то, в дни молодости и славы Ремезова, на его репетиции сбегалась вся театральная Москва: артисты из других театров, студенты, критики и просто «болеельщики», — и то, что в последние годы зал на его репетициях был пуст, более всего прочего свидетельствовало, что время его ушло.

Они прошли почти на ощупь в зал, уселись в нескольких рядах позади режиссерского столика. Из-за кулис доносились чьи-то приглушенные голоса.

— Темнотища какая!.. — испуганно прошептала ему на ухо Эля, но шепот ее, подхваченный чуткой тишиной, был слышен во всем зале. — Так полагается?

— Тише, — предупредил он ее, — на репетициях еще полагается сидеть молча.

— Страшно... прямо аж жуть!..

— То ли еще будет, — рассеянно отшутился он.

В зал быстрыми, нервными шагами вошел Митин, остановился в светлом проеме двери, привыкая к темноте.

— Игорь! — позвал его, обернувшись, Иннокентьев. — Я здесь!

Митин подошел к нему, шаркая по полу ногами, чтобы не оступиться, сел в кресло позади.

— Сейчас начинаем, — сказал он, позабыв даже поздороваться. — Роман дает последние указания артистам. Кстати, Герасимов тебя не перехватил на ходу?.. Он еще со вчерашнего дня — кто-то, естественно, настучал ему — впал в полное беспомыслие от страха. Может быть, — предположил Митин с надеждой, — он просто не пришел сегодня в театр, решил умыться руки?.. У него ведь тоже свои счета с Ремезовым.

— А вы не бойтесь! — опять слишком громко, так, что ее услышали и в задних рядах, прошептала, обернувшись к нему, Эля. — Что вы прямо-таки, Игорек, всего на свете боитесь!..

— Ничего я не боюсь! — отмахнулся тот от нее и раздраженно упрекнул Иннокентьева: — А ты к тому же пришел еще и не один!..

Со сцены по крутой приставной лесенке сбежал в зал, словно возникнув из сумрака кулис, Дыбасов, решительно прошел к своему столу, свет лампы выхватил из темноты его лицо — теперь на нем не было и тени растерянности или брюзгливого высокомерия, оно выражало лишь волю, сосредоточенность и власть.

Он даже не оглянулся на сидящих за его спиной Иннокентьева и прочих, они для него сейчас просто не существовали, он жил в ином, отдельном от них и недоступном им мире. Отчетливо и твердо сказал в микрофон:

— Начинаем! Прошу всех приготовиться! Все на местах? Надежда Ивановна, вы меня слышите?

Из-за кулис выглянула та самая женщина, обмотанная оренбургским платком, которая встретила Иннокентьева на служебном ходе.

— Я слышу, Роман Сергеевич. Все готовы.

— Андрей! — требовательно и властно выкрикивал своих помощников Дыбасов.

— Порядок, Роман Сергеевич! — ответил ему с верхнего яруса осветитель.

— Петя!

— Здесь! — отозвался усиленный динамиками голос из радиорубки. — Можно, Роман Сергеевич, я вступление для верности прокручу, вчера переписал на новую пленку?..

— Раньше проверять надо было! — жестко оборвал его режиссер. Вдруг Иннокентьев услышал у самого уха чей-то настойчивый шепот:

— Борис Андреевич, вас очень просят пройти прямо сейчас к директору. Иван Федорович сказал — непременно. Я вас провожу.

Иннокентьев повернул голову — рядом, наклонившись к нему, стояла какая-то девушка, лицо которой он в темноте разглядеть не мог, вероятно, секретарша Герасимова.

Но самое странное было то, что ее шепот расслышал и Дыбасов за своим столиком. Он приказал в микрофон голосом, не терпящим возражений:

— Начинаем! Откладывать репетицию не будем ни на минуту. Дирекция пусть занимается своими делами, нас это не касается. Надежда Ивановна, начинайте. Полная тишина. Вырубите свет!

Зал погрузился в совершеннейшую темноту, и стало так тихо, что Иннокентьев услышал, как бьется его собственное сердце.

И вот в этой-то тишине Митин настойчиво зашептал ему в ухо, и шепот его, конечно же, был слышен всем:

— Пойди! Я прошу тебя, пойдя! Пока не поздно!..

Иннокентьев встал — Митин был прав, не время дразнить гусей. Попросил девушку:

— Давайте вашу руку, я ничего не вижу. Идемте. — Нашел в крошечной тьме ее руку, пошел за нею к едва теплившейся красными угольями надписи «Выход» над дверью, на пороге оглянувшись: на сцене угадывалось молчаливое движение актеров, сдерживаемое их дыхание. Одинок горела в темной пустоте зала пригашенная козырьком лампа на столе Дыбасова.

Когда они вышли в коридор, прикрыв за собою дверь, Иннокентьев повернул было направо — он знал, где расположен кабинет директора, — но девушка остановила его:

— Не туда. Иван Федорович ждет вас в верхнем фойе.

И первой пошла вверх по лестнице.

В обширном и пустом фойе, сумрачном оттого, что высокие окна были забраны плотными шелковыми портьерами, мелкими, семенящими шажками ходил из угла в угол в совершеннейшем одиночестве невысокий и плотный человек в тяжелом драповом пальто, размахивая на ходу рукою с зажатой в ней меховой шапкой. Подойдя вплотную к стене, он резко останавливался, упираясь взглядом в тесно развешанные на ней фотографии артистов, словно видел эти лица впервые, и внимательно изучал их, затем так же резко поворачивался на каблуках и быстро шел к противоположной стене, чтобы вновь впериться глазами в портреты других актеров.

Секретарша окликнула его:

— Иван Федорович!

Прежде чем подойти к Иннокентьеву и поздороваться, он коротко велел ей:

— Идите, Нина, и если мне будут звонить — меня в театре сегодня вообще не было, поняли? — И только после этого протянул руку Иннокентьеву. — Простите, что я на ходу, не в кабинете, Борис Андреевич,

но так лучше, вы сейчас поймете...— Огляделся вокруг, ища глазами, на что бы присесть, но в фойе не было ни одного стула или банкетки. Герасимов огорчился, развел руками.— И даже сесть не на что, придется на ногах, уж извините.

Иннокентьев пожал ему руку, но сказать ничего не сказал — Герасимов сам вызвался на этот разговор, вот он-то пусть первый и начинает его, торопиться некуда, разве что на репетицию, хотя едва ли Дыбасов, несмотря на свою угрозу, начнет, не дожидаясь его, Иннокентьева.

— Давненько к нам не заглядывали, Борис Андреевич, за весь сезон ни разу, а тут вдруг на репетицию, а?..— И вопросительно посмотрел снизу вверх на Иннокентьева.

— Служба,— пожал плечами тот,— каждый вечер какое-нибудь событие, разве поспеешь за всем?

— А сегодня? — не удержался Герасимов, но тут же поспешил разъяснить свою позицию:— Право режиссера — приглашать на репетицию кого угодно, тем более вас. Но я как директор...— Однако не договорил, перескочил на то, что, по-видимому, волновало его больше всего.— Я к одиннадцати тридцати вызван в министерство, в театр заехал совершенно случайно, даже не собирался, так что мог бы и не знать, что вы здесь...— И опять покосился на собеседника.

Ему надо помочь, бедолаге, подумал про себя Иннокентьев, вон как холодным потом исходит от растерянности, не знает, на чью сторону встать, что ему выгоднее... Протянем же руку утопающему.

— Что ж,— сказал он вслух, ободряюще улыбнувшись Герасимову,— будем считать, что мы и не встречались. Действительно, что это за разговор — на ходу, на бегу?.. Тем более что я сегодня с неофициальным, как говорится, визитом — просто Дыбасов хотел посоветоваться по старой дружбе, только-то.

— Да и Ремезов в отъезде, а без него, без Аркадия Евгеньевича, вам и самому, наверное, неинтересно...— И опять не удержался, спросил с надеждой:— Вы ведь без аппаратуры приехали, снимать сегодня не собираетесь?.. А то без Аркадия Евгеньевича...

— А я вообще пока не знаю, буду ли снимать этот спектакль.— Но добавил со значением, не надеясь на сообразительность Герасимова:— Хотя, если по правде, все ждут с нетерпением этого опуса Дыбасова.— И особо выделил фамилию режиссера.— Так что рано или поздно...

— Конечно, конечно,— заторопился Герасимов,— хотя все пока сыро, у Аркадия Евгеньевича еще перед отъездом были соображения, замечания, а как вернется, его слова,— засучит рукава и...

— Естественно,— подхватил на лету его мысль Иннокентьев,— главный режиссер, кому как не ему помогать молодым встать на собственные ноги?! Святое дело.

— Святое дело?! — вдруг вскинулся, забыв об осторожности и дипломатии, а также о только что вымоленном у Иннокентьева алиби на случай гнева Ремезова, пошел пятнами Герасимов.— Это для Ремезова-то?! Не смешите! Да он всех молодых — под корень, под корень, никто больше одного спектакля не успевает поставить! А если к тому же успешно, так наш Наполеон — его в шею, да еще таких собак навешает, что ого-го!.. Он их только в подмастерьях и терпит, а потом приходит за две недели до премьеры, пройдет рукой мастера, наведет блеск, и все в один голос — Ремезов, Ремезов!.. А уж критики, прости господи,— не примите, конечно, на свой счет — прямо-таки на цырлах ходят, стоит Ремезову чихнуть, как готово: новое слово, корифей сцены!.. А нахлебались бы они этого самого корифея изо дня в день, как я... И все как с гуся вода — Ремезов есть Ремезов, талант, а таланту все позволено, если талант, так ему, видите ли, море по колено, нишкни... Так он и даст вашему Дыбасову зеленую улицу, ждите! Да и со мной, вы думаете, он стесняется? Да если он узнает, что вы были на репетиции и что я с вами вообще разговаривал...

— А мы с вами и не разговаривали, Иван Федорович,— успокоил Иннокентьев расходившегося — видно, уж так-то накопело на сердце у бедняги, уж так-то допек его Ремезов,— вспотевшего от собственной слепой храбрости Герасимова,— вы же с утра были в министерстве. Да и репетиция давно началась, а меня в зале и нет, так что... Вы не опоздаете к начальству, Иван Федорович? Двадцать минут двенадцатого...

Герасимов, вдруг ужаснувшись всему им заплаканному, просто-таки на глазах изменился в лице.

— Вы правы, вы правы... И вообще... Да и при чем тут вы, при чем я?! Это их дела, Ремезова и Дыбасова, своих забот у меня, что ли, не хватает?! — И, сунув Иннокентьеву горячую ладошку, понесся прочь, на ходу приговаривая:— Только этого мне не доставало!..

Иннокентьев спустился вниз, подошел к дверям зала, прислушался: Дыбасов сдержал свою угрозу — репетиция шла полным ходом.

Слов из-за двери было не расслышать, и, может быть, именно поэтому интонации актеров, их голоса — мужской и женский — казались Иннокентьеву такими искусственно, неотразимо правдивыми, каждое слово рождалось мыслью, искренним чувством и в свою очередь рождало ответную мысль и чувство, и это давалось им непросто, оплачивалось сердцем, верой, болью, неутолимой жаждой выговориться до конца, докопаться до истины...

Иннокентьев подумал, что, стоя за дверью, он как бы подслушивает чужую живую жизнь, становится невольным свидетелем того, что ему заказано, что принадлежит только тем двоим за дверью, и знай артисты, что кто-то их подслушивает, они не стали бы говорить так откровенно, замолчали бы...

И вдруг ему до галлюцинации отчетливо послышался из-за двери его собственный голос, его и ее, Лерин, это они, он и она, тогда, той осенней ночью, говорят и никак не могут выговориться и примириться с неизбежным, потому что в обоих еще не совсем погасла надежда, что все еще можно поправить, повернуть вспять, все можно еще простить и начать сначала...

Он рывком открыл дверь и, как в ночную реку, погрузился с головой в темноту зала. Он не стал пробираться на прежнее свое место, сел в ближайшее от двери кресло.

Нет, это были всего-навсего актеры, искусные скоморохи, калифы на час, на один вечер...

Не отрываясь он с жадностью смотрел на сцену, послушно покоряясь тому, что на ней происходило, и вместе другой, трезвой какой-то мыслью думал о том, как хрупко и непрочно их искусство, как бrenно, коротко: сойдет спектакль, выкинут его из репертуара — и забудется, испарится из памяти, как не бывало...

И еще он вспомнил — давнее, чудом всплывшее со дна памяти: пятьдесят седьмой год, первый Московский фестиваль молодежи, он еще желторотый студент-первокурсник, через всю Москву, от ВДНХ до Парка культуры, протянулось пестрое карнавальное шествие — скоморохи, ряженые, жонглеры, акробатки в коротеньких юбочках; слоны под бархатными чепраками, верблюды, ослики с высокими султанами из перьев, медное ликование оркестров. На огромных платформах — гигантские муляжи, картонные клоуны-великаны, рыжие, зеленые, небесно-лазоревого, оранжевого, с застывшими на лицах веселыми, во весь рот, улыбками, на их могучих плечах из папье-маше били в бубны, плясали, пиликали на скрипочках настоящие, живые клоуны с такими же застывшими от уха до уха страдальчески-смешными ухмылочками, что и у картонных их собратьев.

На следующий день после закрытия фестиваля Иннокентьев бог весть какими судьбами оказался в Сокольническом парке, с ночи моросил несильный дождик, в воздухе пахло близкой уже осенью, неожиданно, за одну ночь, проглянули в зелени деревьев первые желтые листья, он вышел Майским просеком на небольшую поляну и увидел их,

недавних весельчаков, ушлых картонных великанов: их свезли сюда, свалили в кучу — ненужных, отсмеявших свое, они лежали вповалку в неловких, унижительных позах, дождь смывал с них румяна и позолоту, по поблекшим щекам стекали ручейками мишурные слезы. Их даже не вывезли на городскую свалку — о них просто забыли, и им самим, наверное, теперь казалось, что не было никогда веселого карнавала, не было бубнов и гармоник, слонов и наряженных осликов — ничего не было, да и были ли они сами?..

— Антракт! — громко объявила из-за кулис Надежда Ивановна и, наполовину высунувшись оттуда, спросила Дыбасова: — Перерыв полчаса, Роман Сергеевич?

— Нет, отпустите всех! На сегодня хватит, всем спасибо! Все работали на совесть, спасибо! Замечания завтра перед репетицией. Все свободны.

Надежда Ивановна отозвалась послушным эхом:

— Все свободны, товарищи!

На сцене появились монтировщики, стали молча и споро разбирать оформление, устанавливать декорации вечернего спектакля.

Иннокентьев пересел на прежнее место, рядом с Элей.

Дыбасов встал из-за своего столика, на ходу сказав громко для тех, кто сидел в глубине зала:

— Извините, но посторонних прошу выйти. — Сел в кресло в одном ряду с Иннокентьевым, по другую сторону прохода.

Эля тоже хотела было выйти из зала, но Дыбасов остановил ее:

— Вы останьтесь, что за дела! Мне как раз интересно, что вы скажете.

Она послушно опустила в кресло.

За спиной Иннокентьева нервно ерзал Митин.

Никто не начинал разговора. Первым не выдержал Игорь, взмолился:

— Ну? Что ты тянешь резину, Боря!

Его перебил Дыбасов, и Иннокентьев поразился спокойствию и твердости его голоса, словно бы речь шла вовсе не о его спектакле и ему наплевать, что о нем скажут:

— Начнем с Эли, как говорится, глас народа — глас божий. Она здесь единственный нормальный зритель, для которого мы, собственно говоря, и стараемся. Валяйте, Эля, невзирая на лица, мы с Игорем не обидимся.

— Я?! — испугалась она. — Смеетесь, что ли?!

— Нимало, — настаивал Дыбасов. — Как на духу, ладно?

Все молчали, ждали, что она скажет: Дыбасов очень серьезно и спокойно, Иннокентьев — с неожиданной для него самой тревогой, Митин — едва совладав с досадой.

Она ответила, за бойкостью скрывая замешательство:

— А не то скажу, еще обидитесь... — И тут же спросила не то с удивлением, не то жалостливо: — Как это вы только можете?..

— Что именно? — строго настоял Дыбасов.

— Ну... вот так про себя... вот так прямо?.. Ладно сейчас пусто, никого в театре, а потом-то народ придет, тыща человек набьется, а вы перед ними — вот так нараспашку...

— Неплохо для начала, — поощрил ее Дыбасов. — Но почему ты решила, что — про нас?

— Про всех, — ответила она тихо, так, словно бы рядом никого не было. — Может, даже и про меня тоже...

— Что именно? Про тебя хотя бы — что?

Она ответила не ему, а самой себе:

— Всем чего-то не хватает, чего-то нужно, а — чего?.. Разве про это словами можно? А вам все равно — вынь да положь... — Помолчала, потом добавила задумчиво: — Про то, что нельзя врозь, поодиночке, — верно?.. — И посмотрела на них на всех с ожиданием, словно бы от того,

угадала она, чего от нее требуют, или не угадала, зависит что-то очень важное для нее, и если угадала, то и все остальное станет понятным и простым и, значит, больше не будет пугать неопределенностью.

— Вот так-то! — выдохнул с облегчением Дыбасов и повернулся вполоборота к Митину. — Чего тебе еще надо?!

Но Митин не поверил Эле:

— Тебе не было скучно?.. Или неинтересно? Ты говори все как есть!

Она опять ответила не ему, а как бы самой себе:

— Вообще-то я люблю, чтоб — музыка, ритмы, звезды эстрады... а тут... Даже сама не знаю. Прямо сердце до сих пор не на месте!..

Дыбасов встал, пробрался к ней по тесному проходу меж кресел, взял ее руку, поцеловал, сказал без тени иронии:

— Жаль, тут не развернуться, а то бы я и на колени встал. — Сел рядом, не выпуская ее руки из своей, спросил Иннокентьева: — Глас божий мы уже услышали, теперь дело за критикой.

— Вы хотели сказать — за дьяволом? — попытался выиграть время Иннокентьев. То, что ему показали сегодня Митин и Дыбасов — ему, прожженному профессионалу, съевшему на этом деле собаку скептику, которого ничем, казалось бы, уже не удивить, не сбить с толку! — он увидел такими же свежими, не замутненными долгим опытом глазами, услышал таким же не защищенным всезнанием слухом, как и далекая от театра, ничего в нем не смыслящая Эля. И — теперь твердо знал он — это-то и было самое главное, самое дорогое в пьесе Митина и спектакле Дыбасова.

Эля по-своему истолковала его молчание и, словно бы испугавшись, быстро убрала свою руку из руки Дыбасова, откинулась на спинку кресла, как бы уйдя от них совсем и оставив их только втроем.

Молчать дольше было нельзя, и Иннокентьев сказал лишь то, ради чего, собственно, его и позвали сюда и чего от него ждали.

— Короче говоря, я — с вами. Игра стоит свеч. Повоюем. Как, каким образом — подумаем, сообразим. Но то, что этот спектакль нельзя никому уступить, в этом, Роман, — он и сам не заметил, как в первый раз за все время их знакомства назвал Дыбасова по имени, — в этом вы можете быть уверены. Я, во всяком случае, уверен. И, как говорится, прочь сомнения. И страхи заодно, это я уже тебя имею в виду, Игорек. Дело стоящее, без обмана.

— Что ж... — сказал после молчания Дыбасов, — спасибо. — И, без усилия над собой, тоже впервые назвал Иннокентьева по имени: — Я рад, Борис, что вам это показалось. А как и каким образом...

— Ну уж хотя бы об этом давайте не здесь! — спохватился Митин. — Тут не то что у стен, у каждого кресла такие уши, что... И так вон Герасимов уже в курсе, а то, что он тут же сообщит Ремезову...

— Так Ремезов-то ваш в Югославии или где там еще... — робко встала Эля.

— А хоть в Антарктиде! — замахал руками Митин. — За этим дело не станет. Поедемте ко мне или еще куда-нибудь, не важно, только не здесь.

— А давайте к Глебу, — предложила Эля. — Тем более он ведь тоже собирался сегодня сюда, а не пришел, может, случилось что-нибудь? По-моему, нормально, а?..

Отсутствие Глеба на репетиции объяснялось очень просто — Иннокентьев высказал это предположение еще по пути на Бескудниковский бульвар: весь вчерашний день и всю ночь он играл в карты, неожиданно составила серьезная пулька с настоящими — мужскими, как выразился ничуть не мучимый угрызениями совести Глеб, — ставками, не по мелочи. На столе и на полу валялись лоснящиеся лаковыми рубашками новенькие карты — Ружин и его постоянные соратники неизменно играли, как он сам это называл, по-гусарски, то есть перед каждой пулкой распечатывали новую колоду.

По дороге они заехали в Елисейский, настроение у всех было приподнятое, даже Митина отпустили его вечные сомнения, даже всегда надушенный Дыбасов отошел, помягчел.

Тем угрюмее выглядел рядом с ними еще не пришедший в себя после бессонной ночи и крупного проигрыша Ружин.

Но при виде неожиданной выпивки и в предвкушении, стало быть, верного повода повитийствовать и воспарить мыслью он просветлел, пошел в ванную, принял ледяной душ, надел свежую сорочку и вышел к гостям, готовый начать жизнь сначала.

— Ну-с, как произведение? — спросил он, выходя из задней комнаты, тоном совершенно деловым и требовательным, но по тому, как плотно потирал руки, было ясно, что, прежде чем он выпьет и закурит, ни о чем постороннем и речи быть не может.

Эля принесла с кухни дымящуюся кастрюлю густого, как деготь — по ружинскому «персидскому» рецепту, — кофе. Глеб, утоливший жажду и умиротворенный, дал наконец волю своему красноречию:

— Не то удивительно во всей этой истории, что Игорь позволил себе в кои-то веки написать стоящую, серьезную вещь. А вот от чего действительно только и остается что развести руками, так от того, что нашелся режиссер, который это усек и подхватил на лету. Я-то был убежден по горькому опыту, что эти прохиндеи — не принимай на свой счет, Рома, — эти бойкие мальчики на все руки не скоро сообразят что к чему. Ведь если уж называть вещи своими именами — извини опять, Рома, — так хуже режиссеров в пьесах, да и вообще в печатном слове, разбираются разве что записные критики.

— В том числе и... — не удержался Иннокентьев.

— И ты, — не дал ему договорить Ружин. — Ты-то у нас критик действующий, даже, прямо скажем, с избытком. А я вот вовремя бросил это позорище.

— Кстати, — вставил Митин, — то ли по-сербски, то ли по-старославянски театр так и называется: позориште.

— Наши предки были не дураки, — ухватясь за его слова, взмыл в поднебесье Ружин, — если уж припечатывали словом, так насмерть. Именно что позорище! Этой публике, режиссерам, ведь что маслом по сердцу? Либо то, что как две капли воды похоже на нечто, что уже имело успех вчера, либо такое, на что критики объявили моду на нынешний сезон. Мода — вот на что у них чутье срабатывает безошибочно. В этом сезоне носят мини, в этом макси, для молодежи — джинсы-бананы, для пенсионеров — бабий или там вдовый платочек. Всем сестрам по серьгам, эту истину они усвоили на всю жизнь, как таблицу умножения. А разглядеть, распознать новое, свежее, над чем еще надо голову поломать, — увольте!

— Это правда, — очень серьезно подтвердил Дыбасов. — Такое оно и есть — позорище. И его надо постоянно, ежечасно жечь с четырех сторон!

— Странно это слышать именно от вас, — не поверил ему Иннокентьев. — Если это не кокетливая поза, конечно. Мне казалось, вы как раз из тех, кто свято предан театру.

— Предан, — кивнул согласно Дыбасов. — И предан и м, сверх того. Простите за дешевый каламбур. — Но ничего объяснить не стал.

— А я вот до-олго любил театр... — ностальгически протянул Митин. — Собственно говоря, я ничего, кроме театра, и не любил. Хоть и унижений от него натерпелся — не счастье...

— Чтобы хоть что-нибудь в театре сделать, хоть чего-нибудь добиться, его надо ненавидеть! — неожиданно вскинулся опять Дыбасов. — Ненавидеть люто, до головокружения! — Он встал из-за стола, подошел к окну, говорил, стоя к остальным спиной, и то, как он это говорил, с какой холодной, давно выношенной яростью, — в этом не было ни позы, ни лжи. — Можно любить только тот театр, который ты сам строишь, который будет когда-нибудь потом, после тебя, может быть. А то, что

сегодня само дается тебе в руки и не требует ни жертвы, ни сомнений, — это нельзя любить. Упиваться успехом, обольщаться похвалами дам-критикесс в седеньких кудельках — тут тебе и крышка! А еще менее любить надо публику! Стоит тебе поверить ей, захотеть ее любви и признания — ты уже не на себя будешь пахать, не на театр, каким ты его хочешь, а на нее, и стоит ей только это в тебе учуять, эту твою слабину, — тут уже она твой полный хозяин, твой деспот и тиран, тут-то уж она тебе ни за какие коврижки не простит, если ты вдруг изменишь ей, то есть захочешь измениться сам, если осмелишься предстать перед ней не таким, к какому она привыкла, притерлась, какой ты ей приятен. Тут она пощады не знает! — Помолчал недолго и сказал спокойнее, но и горше, трезвее: — Это ведь далеко не одно и то же — публика и народ...

— А где та черта, по-вашему, где кончается публика и начинается народ? — спросил с внезапным раздражением Иннокентьев и тут же пожалел о своем вопросе: у кого он есть, ответ на это?..

Но Дыбасов молча глядел в окно.

— Странное у тебя настроение, Роман... — сказал после паузы Митин, оглянувшись на остальных и ища у них поддержки. — Именно сегодня, когда все так хорошо... когда Борису вот понравилась репетиция... Откуда в тебе именно сейчас эта, извини меня, мировая скорбь?

— Конечно! — выпела своим низким, хрипловатым голосом Эля, и все удивленно оглянулись на нее, но она ничуть не смутилась, словно эти их мужские дела теперь касаются ее не меньше, чем всех остальных. — Ведь все так замечательно нормально!..

— Я понимаю Романа, — важно вставил Ружин. — Чего и надо бояться умному человеку, так это своих побед. Поражение ни к чему не обязывает, можно плюнуть на него и начать все сначала. А вот победа — хотя до полной победы вам, господа хорошие, еще ого-го как далеко! — победа неумолимо навязывает тебе роль победителя, а с победителя совсем другой спрос, теперь-то он уже не принадлежит самому себе.

— Не будем об этом и заикаться! — поспешил Митин. — Я суеверен. — Трижды постучал костяшками пальцев по столешнице. — И вообще, не будем делить шкуру неубитого медведя. Тем более такого, как Ремезов. Вы что, сбросили его со счетов?

— Какая там победа... — тихо и как бы самому себе сказал, глядя в окно, Дыбасов. Потом повернулся к ним, и лицо его было усталым и изможденным. — Поздно... Все приходит слишком поздно. Пока будет тянуться неделями, месяцами эта глупая возня, пока я буду бороться с ветряными мельницами, мне этот проклятый спектакль успеет осточерть, встанет поперек горла. Пока он увидит свет божий, сам-то я переменюсь, изменюсь, да так, что и сам себя не узнаю. Мне захочется совсем другого, как вы не понимаете?! Все мы меняемся день ото дня... Когда выйдет этот спектакль, все меня увидят в нем таким, каким я был полтора года назад, когда начинал его, а я уже сейчас стал совсем другим. Мне уже стоит невероятных усилий не послать все к чертовой матери, зачеркнуть и забыть, как наивный детский лепет, и начать все сначала! Но именно этого-то я и не могу себе позволить, никто мне этого не позволит. Ни дирекция, ни артисты, ни даже вот он. — Дыбасов ткнул рукой с худыми, костлявыми пальцами в сторону Митина с такой ненавистью и злобой, что тот невольно отклонился, как от удара. — Не могу! Не смею! Потому что театр давно уже не храм изящных искусств, не жертвенник Аполлона, а — про-из-вод-ство! Неповоротливая, скрипучая машина вроде паровоза или колесного парохода общества «Кавказ и Меркурий», который тащится вразвалочку от одной деревянной пристани к другой и вечно запаздывает, вечно приходит не вовремя или просто садится на мель, но из капитанской рубки неизменно гремят бра-вурные марши... Они, — он опять ткнул пальцем во встрожеженного не на шутку и ничего не понимающего Митина, — они, писаки, нас постоянно обгоняют, хоть сами об этом и не подозревают, потому что мы вру-

ченной нам властью работодателей внушили им, что это они от нас безнадежно отстали, а мы-то идем впереди и все знаем, все видим, все умеем... Воспитали в них это их рабское подобострастие и покорность.— Махнул безнадежно рукой и закончил без запала:— И если у «Стоп-кадра» и будет успех, так тоже запоздалый, это будет не сегодняшний, а уже безвозвратно вчерашний успех. И не мой, потому что я-то уже буду другой. А жизнь, позволю себе заметить, проходит.

— Несколько эгоистичный взгляд на искусство,— заметил Митин.— Жизнь коротка, верно, но...

— Но искусство вечно?! — прервал его Дыбасов с прежней яростью.— Черта с два! И что мне в нем, если я не успею сделать то, что хочу и могу? Дорого яичко ко христову дню.

— Жизнь тоже вечная,— опять совершенно неожиданно вмешалась Эля, о которой за спором все забыли.— Она очень быстрая, но пока до финиша доберешься... Иногда даже кажется, что это один и тот же день такой длинный, никак не кончится. Все нормально, мальчики! — И словно испугавшись этого нежданно вырвавшегося у нее «мальчики», она виновато взглянула на Иннокентьева.— Вы еще все такие молодые, хоть и седенькие, такие умные... Так чего же вы все боитесь?! Будто напугали вас в детстве букой, и вы до сих пор темноты боитесь, обязательно вам надо, чтоб вас за ручку держали и жалели.

— Да,— улыбнулся ее словам Дыбасов и стал похож, как тогда в лесу, на беззащитного мальчика с непослушным вихром на макушке.— Вот именно — нам очень нужно, чтобы нас жалели. Или хотя бы любили. Без этого нам никак нельзя.

— Только не надо при этом жениться,— совершенно ни к селу ни к городу пожаловался на что-то свое Митин.— Женатому никакие такие мысли и в голову не придут. Они приходят только на голодный желудок... А моя Ира так меня закармливает... — махнул белой, мягкой кистью.

Тут Ружин и дождался своего часа, он дал им, малым сим, выговориться, нагородить сентиментальной чепухи, теперь пришел его черед — подбить бабки, подвести черту и обнародовать высшую и непогрешимую истину.

— Искусство,— начал он издали, и в его голосе с первых же слов зарокотали громы всезнания, пронесся ветер горних высей,— искусство — единственный доступный человеку язык для разговора с богом. Но поскольку все мы, увы, заматерелые атеисты, то скажем проще: с вечностью. А стало быть, и театр — храм, как ни пошло и фальшиво это слово в наших устах, тем не менее храм. И, что важнее важного — тут я совершенно согласен с Романом,— храм, из которого надо сейчас и беспощадно изгнать меня и фальшивомонетчиков. А их там всегда была тьма-тьмущая, как клопов в старой кровати. И тут-то, как это на первый взгляд ни парадоксально, происходит нечто совсем уж неожиданное и комичное — сами того не замечая, мы все наши силы, всю короткую жизнь тратим на то, чтобы изгнать из храма меня и торгашей, а вовсе не на то, чтобы делать единственно живое и необходимое дело, то есть приумножать сокровищницу его нашими, как бы это сказать попроще... одним словом, плодами нашего вдохновения, трудами души нашей. И вот мы воюем, бряцаем собственной нетерпимостью и принципиальностью — что, кстати, далеко не одно и то же, замечу на полях,— обличаем, дерем глотки и сами того не успеваем увидеть, как становимся такими же торгашами, такими же продавцами оптом и в розницу нашей собственной непогрешимости и ортодоксальности, как и те, кого с такой праведной страстью изгоняем из храма. Но и этого мало! Мы и того в своей ярости крестоносцев не углядели, что, пока мы воевали и разили святотатцев, храм по нашей же вине опустел, заглох, паутина висит по углам, мыши сожрали святые лики. И вдруг приходит позднее прозрение — не воевать нам надо бы, не словесные громо-

кипящие постулаты нужны, а — работа! Работа в том простейшем, обыденном смысле слова, который вкладывают в него нормальные трудяги, хлебопашцы, которые свою ниву потом поливают и пекутся об урожае, о жатве, а не о том, чтобы сосед на своем поле сеял и жал в точности так, как они. Вот чего им надо!..

— Но и это тоже слова, слова, слова... — поморщился, как от зубной скучной боли, Дыбасов, — мазохизм какой-то все...

— Нет, а вправду, Боря, — вне связи со всем только что говоренным вспомнил о своем кровном Митин, — тебе на самом деле спектакль показался?.. Тут все свои, режь правду-матку!..

— А мне плевать, что он скажет! — выкрикнул вдруг злым фальцетом Дыбасов. — И что все остальные — тоже! Я делаю то, что умею, и так, как умею! И никакого спектакля нет, конь еще не валялся!..

— А я бы хотела работать в театре... — негромко, словно бы самой себе, сказала Эля. — Честное слово! Не артисткой, куда там, но что-нибудь такое делать, помогать... Я бы смогла! Как раз в жилу бы было, нет?.. — И отвела глаза от удивленного взгляда Иннокентьева.

— И очень просто, — бросил равнодушно Дыбасов, — как раз Надежда Ивановна, помреж, в конце сезона уходит на пенсию, место свободно, охотников за сто рублей ломаться с утра до ночи немного. Приходите, возьмем. Если не передумаете, конечно.

И вдруг Иннокентьев с трезвой ясностью понял, что на самом деле он не хочет победы Дыбасова, что хочет он, наоборот, его поражения, унижения и краха. Но еще — так же трезво и непреложно — услышал в себе и то, что вопреки своей неприязни к Дыбасову, вопреки жажде увидеть его униженным и поверженным в прах он сделает все, чтобы помочь ему, встанет грудью на его защиту, хоть и твердо знает наперед, что поражения не миновать. Может быть, потому-то он и будет ему помогать и стоять с ним заодно до конца, ни шагу назад, что знает: поражения не миновать.

(Окончание следует)



СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН

★

* * *

Вечерней дохнет резедой,
аукнется девичьим смехом...
Спасется ли мир красотой
иль станет безжизненным эхом?

Вопрос, поначалу простой,
становится истиной веской...
Спасется ли мир красотой? —
о том тосковал Достоевский.

Уйдет, как вода в решето,
оставив пустыню нагую?..
Спасется ли мир красотой?
Я тоже об этом тоскую...

Спасется ли мир от ракет —
от рева атомного века?
Иль только пронзительный свет
останется от человека?

В житейской смурной суете,
в погоне за мясом и водкой —
а ты ей помог, красоте,
в стремительной жизни короткой?

И сердце пронзает печаль,
что в жизни прекрасного мало,
и собственной участи жаль:
ей так красоты не хватало.

Распята она на кресте
трагических противоречий...
А ты ей помог, красоте,
ты к ней устремился навстречу?

И в сумерках русских берез
начертан резною листвою
великий и вечный вопрос:
спасется ли мир красотой?

Спасется ли мир навсегда
иль в бездне обугленной канет?
...И веет впотьмах резеда,
и тьма безответная ранит...

Березовая баллада

Сажают березы, где было болото.
Березе в болоте расти неохота —
и чахнет она,
но снова сажают вторую и третью,
чтобы поднялась на исходе столетья
хотя бы одна.

И вот вырастают в Урае березы,
и это под осень волнует до дрожи —
парит над бедой,
над судьбами века светло и бессонно
меж улочек типа барако-бетона
сквозняк золотой.

Под утро особенно: в мороси синей
от серых березок потянет Россией —
забудь, что, жесток,
распался окрест нефтяными дымами,
пушной валютой, сибирскими тьмами
морозный Восток.

Листва золотая — как будто наитье.
Березы шумят под окном общежитья.
Строители спят.
Могуче храпят молодые шоферы —
так, что просыпаются даже вахтеры
и дремлют опять.

Качнутся березы — захочется к маме
бетонщице Клаве, а мама в тумане
заснула давно
и спит вечным сном под березкой рязанской,
такой же, как та, что ладонью крестьянской
стучится в окно.

Ах, Клава, ты что запечалилась, Клава?
Проходит земная и тленная слава
под этой луной,
проходят века, и проходят державы,
но вечно шумят под окошком у Клавы
деревья листвой...

В душе защемит — и слеза навернется,
и Клава смущенно от нас отвернется,
рукою махнет
и вся просветлеет, любви не скрывая:
ах боже, какая родная — кривая
береза растет...

* * *

А ты художник городской,
но полнятся тоской полынней,
какой-то горестно-повинной
твои признания порой...

И хочется смотаться в лес,
где нет среди тропинок вольных

вестей почтово-телефонных
и нет неискренних словес.

Смотаться в лес, весенний весь! —
и потянуться всей душою
к тому, что стала синь живою,
что лес воистину воскрес.

Воскрес, восстал из белизны
последней мартовской метели,
грачи седьмого прилетели
над тихим шелестом весны.

Как эта верба хороша,
как коготки ее мохнаты, —
оттаивает от досады
и ото всех кручин душа.

А после крепкий дух сосны
над оживающим пространством
впитается в потемки станций,
ворвется в городские сны...

И ты, художник, оживи,
как оживают в марте вербы,
когда — ладони, ветви, нервы... —
живое тянется к любви!



ВАЛЕНТИН СОРОКИН



БЛЕЩУТ ЗВЕЗДЫ



Та молодость моя с твоею вместе,
Та наша жизнь — она не сгинет вскоре.
Зарей весны, грозокипящей песней
И морем будет шириться в просторе.

Мы правоту восторженного хмеля
Попробовали искренне и смело.
Навстречу нам черемухи шумели
И облака толпились онемело.

Твоя любовь родною синевою
Клубилась, надвигалась и безгласно
Закутывала прямо с головою
Меня во сне и сладостно и властно.

Но по утрам желаньями героя
Скакать, гореть я был тревожим снова.
Мир сказкой цвел, надеждами, игрою,
Звездой в твоих устах сияло слово.

Я целовал тебя, и стоном длинным
Над берегом, над скалами седыми
Неслось на крыльях ветра по долинам
Одно, как весть томительная, имя.

Я целовал тебя, и руки нежно,
Дрожаще по моим плечам летели.
И ропот волн, упрямый и мятежный,
Вдруг утихал ребенком в колыбели.



Под ветром мятежным мятежное поле молчит.
Беззвездное небо до кладбищ забытых прогнулось.
Зачем же так сердце свободно и нежно стучит,
Как будто опять ты ему, лишь ему улыбнулась?

Родная моя, как береза на взгорье одна,
Святая и в думах моих и в полночных страданиях,
Я верю, на радость нежданно ты мне отдана
В моих мировых неусыпных и грозных скитаньях.

Я вздох твой, я стон твой и слышу и рьяно ловлю,
Взойди надо мною ты, тонкая, русская очень,

Как смертник звезду, я тебя беззаветно люблю,
Тоска по тебе ядовито мне душу источит.

Взойди надо мною. Ты слышишь — в снегах соловьи,
И стаи черемух, за ними — ромашки, ромашки...
Склонись, поцелуями горе мое напои,
Ладонью потрогай распахнутый ворот рубашки.

Я тело твое, как цветок, высоко возносил
И клал его тихо на все межпланетные травы.
И месяц огонь до утра на земле не гасил,
И дали кружились, и рдели луга и дубравы.

* * *

Столько пламенной жизни и света,
Ветер мчит от холма до холма,
Это осень прощается с летом,
И аукает в далях зима.

Это я разрываю с тобою
Золотую, искристую связь.
Пусть дорогой летит голубую
Та печаль, что давно родилась.

Я не знаю, по чьему велению,
Но везде на ладонях версты
То рыданьем, то вздохом, то пенем
Только ты появляешься, ты.

Будто взор на тебе остановлен,
Слух прикован и чувство к тебе.
Но тяжелый нам путь приготовлен
Возвращения не вместе к себе.

В мире нашем, на щедрость нешибком.
Где-то там, под грядущим дождем,
Мы друг друга с тобой по ошибкам,
По мгновениям счастья найдем.

Плещут листьев багряные свивы,
И над купами древних дубрав
Реет полдень, как беркут красивый,
Чуть крылом доставая до трав.



АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО

★

ВЫ ЕГО ЗНАЕТЕ

Сатирическая повесть

1

Проснувшись и медленно обретая ясное сознание, Буркало по своей всегдашней и непрременной привычке вслушался в самого себя: легко ли дышится, не покалывает ли сердце, не тяжелит ли желудок... Мягкая, теплая томность грела все его упругое, веское тело, оно словно бы розово светилось под одеялом, и Буркало не удержался от подступившего к горлу довольного хохотка: «Бур-ла-ла! Не жалуешься, значит? Одобряю!» Он был уверен: у него, как и у каждого смертного, множество разных болезней, но ему они неопасны, потому что он бдит — лечит, подпитывает, оберегает Органом (так уважительно он называл свой организм), ибо в нем помещается главное — сама неповторимая, живая сущность его, Буркало. «Одобряю!» — подтвердил он, крепко потер широкими ладонями жесткий живот, кхекнул, отбросил одеяло и упруго вскочил.

Из другой комнаты, цокая когтями по паркету, приковыляла толстая, кривоногая такса, пискнула угодливо хозяину, аккуратно, чуть коснувшись языком, лизнула ему руку.

— И тебя с добрым утречком, Клара! — потрепал Буркало вислые уши собаки. — Откроем окно, включим радио, займемся ритмической, полезной зарядкой. Бурр, какой воздух бодрительный!

Буркало приседает, взмахивает руками, балетно вскидывает то одну, то другую волосатую ногу, под вокально-инструментальную музыку трусцой бегаёт вокруг стола, пыхтит, покашливает, выдыхая из легких ночной, застоялый воздух. Клара тоже разминается, старательно поспешает следом, виновато лова мокрыми шариками глаз волевые взгляды хозяина: мол, извини, живее не могу, опять у меня живот тяжел. Буркало поддает ей слегка под хвост.

— Шевелись, Кларка! В интересном положении очень полезна гимнастика!

Такса хрипло взлаивает, и ее глуховатый лай напоминает предовольное бурканье: Клара явно подражает говору и голосу хозяина.

Омывшись сперва теплой, затем холодной струей под душем, Буркало растирается махровым полотенцем от пальцев ног до кончиков ушей, облекает освеженный, почти невесомый Органом в плотное шерстяное трико, идет на кухню. Здесь у него уютно, опрятно и современно: обои — «красный кирпич» подвальчика-харчевни, люстра — фонарь «летучая мышь», по стенам — связки красного перца, белых грибов, чеснока и травы пижмы. Для интерьера (а пижма вроде бы мух отпугивает). Над столом облупленная иконка скорбящей богоматери, доставшаяся Буркало от прабабки, — места другого не нашлось, да и видел он как-то у одного интеллектуала Иисуса Христа на кухне, доктор наук шутя даже крестился на него перед едой. Шкафчики под березо-

вое дерево, посуда фаянсовая и фарфоровая, бочонок натуральный для специй, большущий, этакой белой глыбой холодильник «ЗИЛ», набитый, конечно же, добротными продуктами.

Буркало жарит ветчину с яйцами, режет помидоры и репчатый лук, заваривает кофе, подогревает молоко, чистит два больших яблока. Но сперва выпивает полстакана лечебного настоя из трав бессмертника, тысячелистника, зверобоя — настой проверенный, лично для себя составленный Буркало. Пища радует его своим видом, запахами, еще более веселит, перемещаясь в его объемистый желудок, и Буркало, порывивая и мыча от наслаждения, умиленно жалуется собаке, жертвуя ей кусочки со своего стола:

— Люблю же я, Кларочка, попитаться вкусно. Слабость такую душевную имею. А пора сокращать калории, лишний вес — дуракам радость. Или, как правильно выражается один умяга, лишний вес — не прогресс.

Он неспешно моет посуду, натирает ее до блеска, каждой чашкой поигрывая на свету, ставит в просторную сушилку. Из прихожей слышится поскуливание, такса зовет его гулять.

— Ну, неси ошейник, дама брюхатая.

Ошейник не нравится Кларе, она нехотя волочит его, позвякивая шестью собачьими медалями. Буркало всякий раз кажется: Клара понимает, что медали не ее, хозяин навешал их для солидности и красоты, и это смущает смышленную собаку.

— Дура, — успокаивает ее Буркало, — у тебя ж благородная родословная! Тебе бы с десятком нацепили, если бы я таскал тебя на эти дерьмовые собачьи выводки!

Но Клара еще ниже опускает голову, точно понимая, что и родословная не ее, какой-то другой, чистопородной таксы. Это уже слегка раздражает Буркало: «Людей не боюсь, а животное ушастая передо мной нахальничает!..» Он резко дергает поводок, и Клара выскакивает из квартиры.

Бульвар у дома, где живет Буркало, старинный, исторический, с кряжистыми вязами, липами, прочей зеленой уютностью, посыпанными мелким песком аллеями и дорожками; стриженные газоны везде, цветочные клумбы, киоски — газетный, табачный, пепси-коловый (как и полагается в столичном центре). По обе стороны бульвара промелькивают бликами-вспышками автомобили, шипят резиной по пробензиненному асфальту, а здесь укромно, отдохновенно, старушки благостные сидят, мирно ожидая своего упокоительного часа.

Одна, усохшая, как перечный стручок, с белым пушком волос и черной щетинкой усов, так и не проснулась однажды, пригревшись на солнышке. Буркало вызвал «скорую помощь», поддержал носилки, когда старушку переносили в машину. Говорили, она лично была знакома с каким-то большим писателем прошлого века, играла какую-то героиню в какой-то его пьесе. Буркало это не запомнил, но о старушке думал хорошо: «Ну, артистка заслуженная! Сто лет бодренько трепыхалась себе на здоровье и умерла, как легонькую роль сыграла в детективе по телевизору».

Буркало то бежит вслед за Кларой, то останавливается, когда Клара приседает или кокетливо обнюхивается со знакомыми псами. Вот открылась лужайка, небритый мужик в мятом картузе и синем комбинезоне таскает по ней стрекочущую тачку-косилку, стрижет траву, пороша срезанной мелкой зеленью. Запах — голова туманится, в глазах всполохи зеленые! Буркало раздувает ноздри, Клара радостно чихает. Черт его знает что! Сколько ни живи среди милой душе и телу городской культуры, все равно вот так вот вдруг застолбенеешь перед скошенной зеленой травкой — и тоска и радость затеплятся в каждой твоей живой жилке: сильна тяга земли, сильны, необоримы гены твоих сельских неисчислимых предков!

Это приятное его сокрушение нарушил хриплый голос, прозвучавший громко и рядом:

— А Кларочка опять на сносях? Как, хозяин, произведем приплод в дело?

Буркало поднял голову. Чуть сбоку от него стоял небритый, пахивающий застарелым портвейновым духом мужик, опираясь руками в сатиновых рукавицах на рукоять заглохшей косилки. Да, именно этот гражданин выгодно перепродал собачникам с Птичьего рынка шестерых Клариных кутят прошлогоднего оцена.

Однако Буркало не нравилось, когда такие вот потертые личности узнавали его, он, если была у него нужда, в разовом порядке пользовался их услугами, но общаться — извините, товарищи алкоголики, слишком большой роскоши желаете! Сейчас же и раззнакоимся вежливо и поучительно.

Буркало на мгновение отворачивается, вынимает из кармана кое-какую бутафорию, лепит, прилаживает к лицу, вновь показывает себя настырному мужику и видит с удовольствием: рачьи глаза цирюльника газонов часто мигают, сигарета в подрагивающих губах едва держится, от пугливого изумления все обвисло на мужике, даже картуз кокемитовый вроде великоватым стал. И понятно: перед ним был не гладко выбритый молодежавый мужчина, а седоусый, в очках с золотой оправой, строго насупленный пожилой интеллигент, которого наглово побеспокоили во время молчаливой прогулки.

— Извиняюсь, как говорится... — вымолвил, поперхнувшись сигаретным дымом, мужик. — Обознался, кажись.

— Бур-ла-ла, синус, косинус, вас не просимус. Когда кажись — тогда крестись.

Клара твякнула на мужика с вонючей машиной-трещоткой, подтвердив умное возмущение хозяина, и Буркало спортивно потрусил дальше, слыша позади:

— Иностранец, мать его...

Любил Буркало этак вот озадачить кого-либо в нужный момент, ловко и мгновенно переменяв свой облик. У него имелись различные полезные вещички: бороды и бородки нескольких расцветок, парики, бакенбарды, даже нос он мог сделать любой величины. И потому на бульваре едва ли кто помнил его по внешнему виду, всякий раз он выглядел иначе, другою была и одежда, сообразно погоде; настроению, а то и необходимости.

Минут через сорок они вернулись в квартиру. Клара принялась жадно лакать воду, Буркало выпил пару стаканов холодного молока. И настроились они еще более весело: такса, вывалив язык, хитровато и угодливо улыбалась хозяину, Буркало подмигивал ей, гоготал, говоря:

— Как мы его, цирюльника этого небритого с бензомоторной бритвой! Проехался бы ею по своей физиономии. Щенята, видишь ли, понравились твои. Будто сами в дело не произведем. А травка зеленая все-таки как пахнет! Детством человечества, когда оно еще на природе обитало. Может, в деревеньке какой тихой пожить нам?.. Не согласна, вижу. Там собачки грязные, удобств коммунальных никаких, и тетка старая щи будет варить в грязном чугуне. Бурр!

Клара тоже брезгливо фыркает. Буркало треплет ей уши, проводит ладонью по широкой лоснящейся спине от загривка до хвоста, подталкивает слегка:

— Ну иди, иди, охраняй кабинет хозяина. И чтоб ни одна чужая нога туда не сунулась. У нас своя среда обитания, городская, мы тут в родной стихии бултыхаемся, всяк свой корм по личной способности добывает.

Буркало неторопливо обходит, озирает квартиру, вспоминая уже без волнения: нелегко она досталась ему, пришлось инстанции потревожить, нужных людей подключить. Вторую комнату выхлопотал исключительно для библиотеки, доказав где следует, что книги выживают его из тесной однокомнатной квартиры, к тому же он серьезно интересуется живописью, нужна мастерская... Все на месте, все протерто,

ухожено в его уютно-элегантном современном гнезде-жилище. Гляньте в туалет, ванную — голубое, розовое, мягко-зеленое, зарубежное радует и веселит; пол, естественно, паркетный, из карпатского дуба, потолок — не белый бетон с тараканьими дорожками, а натуральная карельская береза без подкраски, мебель — ретро антикварное, по моде ультра, как у видных творческих личностей. Живи, и чтоб другие знали, что ты живешь!

Он замечает — половик у порога не свеж, осторожно скатывает его, идет через кухню на балкон и старательно трясет; всплескивается упруго ковровая ткань, пыль облачками спархивает вниз, рассеиваясь по широкой кирпичной стене; половик чист и своей просветленностью словно бы благодарит хозяина за внимание. Буркало набирает в пластиковое ведерко воды, через библиотечную комнату выходит в просторную лоджию, обильно поливает ухоженный цветник, зелено затенивший весь просвет, будто по ту сторону лоджии не стены и крыши города, а глубокая парковая аллея. Вода льется на ярусы нижних лоджий.

Вскоре звучит ожидаемый телефонный звонок.

— Товарищ Буркало,— слышит он в трубке,— это вы опять трясли половик? Безобразие какое!

— Безобразие,— подтверждает он.— Но обращайтесь этажами выше. «Люблю грозу в начале мая», а сейчас, видите ли, «лето, ах, лето» на дворе. И вообще... вам надо жить на острове Капри в личной вилле, а не в современном городском многоквартирном. От нервов советую аэробiku три раза в день.

Спустя минуту раздается второй звонок:

— Товарищ Буркало?

— Допустим.

— Это от вас сейчас вода лилась? Нельзя ли поаккуратнее?

— Можно,— соглашается он.— Только звоните на вышестоящие этажи. Бурр! Беспокоите занятого нервного человека.

— Извините...— заикается в трубке женский голос.

— Временно извиняю ради приятного соседства с вами. Пейте буркалунум — настой из тысячелистника, зверобоя, бессмертника. Прочивете сто лет, и все красавицей.

Буркало садится в глубокое атласное кресло (вполне вероятно, украшавшее некогда царские палаты), склоняет голову к плечу и, уставя ухо в потолок, прислушивается. Сперва проникает из квартиры этажом выше возбужденный говор, затем слышится одышливый старческий крик; а вот озвучилась следующая, над нею, квартира, там тоже возмущаются. Выше и выше оживает голосами дом. Буркало добродушно похихикивает:

— Живите весело, граждане и гражданки!

2

Гараж у Буркало во дворе, в тридцати двух шагах от подъезда — точно отмерено, не первый год считает он эти шаги, и ближе ему не надо; ближе — площадка детская, скверик для доминошников, старушки дышат на скамейке, как-то хитро выцеживая кислород из глубинно столичного воздуха. Нужно ведь и народу где-то помещаться.

Под старыми липами три гаражных вместительных блока с бетонированной площадкой и асфальтовой дорожкой к воротам. Разумно упрятаны, не портят интерьера коммунального двора. В двух блоках — машины строительных начальников, третий занимает Буркало. Именно занимает. Начальники сунут «Жигуленки» на ночь, утром укажут (теперь мода такая — каждый сам себе шофер), колеса сполоснуть им некогда; блоки годами не мыты, не чищены. Зато у Буркало и шик и блеск. Поуютнее, чем в квартирах иных жильцов. И «Волга» его — что тебе барыня ухоженная, не бензинный перегар вдыхает, а липовый запах, сейчас вот, скажем, в летнюю пору: отлично вентилируется гаражный блок. «Волга», конечно же, черная, другого цвета

Буркало не признает; несерьезны веселенькие цвета, для автомальчиков разве что. Цыганочкой нежно называет он свою машину.

Буркало поворачивает тяжелый ключ в скважине замка с секретом, сделанного по спецзаказу, открывает двустворчатую, обитую железом дверь и минуту стоит, давая своей хозяйской душе нарадоваться. Почтительно примолкает и умная такса Клара; она уже обнюхала ближние декоративные кусты, пометила их и успела стать у ног хозяина, чтобы вместе с ним угодливо обозреть светлый уют его гаража, сощуриться от черно-лакированного блеска машины; Кларе не шибко по нутру металл, синтетика, бетон, но Цыганочка (к этому слову она хорошо привыкла) — верная поездка за город, в леса, на дачу, где много веселого воздуха, запахов, съедобного пырея и... проживает ее давний кавалер Бобби.

Собаке, понятно, собаچه. Однако и она соображает, что гараж у хозяина — серьезное место, чуть не туда шагни, хвостом ударь не по той стенке — зазвенит, зазуммерит со всех сторон, шерсть дыбом встанет на загровке. И это так: блок с наружной и внутренней хитрой сигнализацией. Но Буркало мало доверяет звонковой охране, и потому в машине противоугонное устройство с выходом на сирену да баранка стальным стержнем примкнута к тормозной педали; другое также не оставлено без внимания, на особых винтах, замках — колпаки колесные не снимешь, фары не отвинтишь, бензина не отольешь. По-современному продумана, продублирована охранная техника. Модной, правда, становится электронная сигнализация, но к ней надо разумно присмотреться — так ли уж она надежнее вот этой, грубоватой, однако отлично проверенной автохозяевами.

Буркало садится за руль, впускает на заднее сиденье Клару, заводит мотор и, чутко прослушивая поначалу захлебистый говорок поршней, ощущает еще какую-то, дополнительную радость. И догадывается, конечно: под деревянным полом гаража вроде бы погукивает просторным объемом бетонный подвал с вентиляцией, электричеством, белеными стенами, полками, закромами. В нем Буркало хранит овощи, всяческие продукты, настаивает отличный яблочный кальвадос, в нем можно пересидеть пожар, стихийное бедствие, атомную войну.

— Бур-ла-ла!.. — напевает он, выводит свою Цыганочку наружу, закрывает блок и едет со двора мимо скамеечных старушек, кивает им вежливо, и старушки почтительно машут ручками, желая доброго пути солидному, уважительному человеку.

Эх, «какой же русский не любит быстрой езды?». Вдохновительно звучит. Но, во-первых, Буркало точно не знает своей национальности, по крайней мере не ощущает ее внутренне; во-вторых, только лупоглазый идиот в джинсах любит скорость больше, чем свою машину, личную репутацию, не говоря уж о риске, авариях, проколотых талонах, неприятных беседах с госавтоинспекторами. Иные времена, иные материальные и прочие ценности. Но не всеми и не сразу это усваивается. Теперешний интеллигент, скажем, испытывает наслаждение не от быстрой езды, а от вождения изящной, как часики, исправной машины — чтоб лишь мягко пощелкивали переключатели, вполсвета помигивали лампочки, вползвука звучала музыка и в салоне пахло хорошими духами. Машина черная, все другое светлое, вождение четкое. Разве инспектор задержит такой транспорт? Да и грубовато — транспорт. По блеску столичных улиц скользит, еле покачиваясь, плывет радующий прохожих (и внушающий почтение) лимузин, от него — сияние, от него — особое излучение уверенности и неприкосновенности.

Буркало минует стеклянно-небоскрежный, гулко запруженный машинами и народом, обирающим магазины, индустриальной архитектуры Калининский проспект, пересекает старый Калининский мост, втягивается в правый автомобильный поток на Кутузовском грузно-угрюмоватом, с высотно-громоздкой гостиницей «Украина» проспекте, кивает чуть панибратски регулировщикам на перекрестках, постовым у обочины, минует Кунцево — тут он обычно добирает в магазинах нужные

припасы, если намеревается побыть сколько-то дней дачником, — и вот оно, просторное Минское шоссе; здесь можно набавить скорость до 80 км, разрешенных дорожными знаками, что и делает с удовольствием Буркало, не рискуя, конечно, ни единым лишним, пижонским километром скорости.

Через час ровно он подъезжает к даче, сигналист; открываются ворота, он лихо вкатывает Цыганочку под навес плотных еловых ветвей, выпускает Клару, буйно взлаявшую, легко выпрыгивает сам.

Клару встречает старый ленивый Бобби, а его — еще более старая Полина Христофоровна; она молча, почтительно кланяется на старинный манер, приглашает в дом, уважительно отведя костистую длинную руку и пропуская Буркало впереди себя. Он приостанавливается, озирает двор, сплошь занятый цветочными грядками, благоухающий и слепящий пионово-ромашковым разливом, выкрикивает негромко, с понижением:

— Одобряю! Эдем, рай, сам бы здесь обитал, да совесть не позволяет! А как мои старички?

— Чего им? Живые, — отвечает нехотя и скрипуче Полина Христофоровна. — Трепыхаются. А скандальничать начнут — разнимаю, успокоительными травами отпаиваю.

— Они такие у меня, ученые шибко, знают всего много, вот и устанавливают меж собой взаимопонимание. Мыслители! Не зря же я их так называю. Ладно, пошли.

В большой белокирпичной даче с мезонином Полина Христофоровна занимала крохотную угловую комнатку, где едва помещался ее скудный скарб: железная жесткая кровать, столик пластиковый на алюминиевых скрещенных ножках, вешалка под занавеской, она же и гардероб, шкафчик в простенке для кое-какой женской мелочи, табуретка и венский спрятый стул, выгладевший здесь нагловатым чужаком; да и был таковым, ибо принадлежал лично Буркало и только на него он садился, навещая Полину Христофоровну.

— Надо жить с интересом и удовольствием, не так ли, старушка трудящаяся? — говорил, присаживаясь, Буркало. — А значит, чайку мне с дороги крепенького, с медком можно, чего-нибудь сдобного самую малость — для приятности исключительно, а не наращивания товарного веса. Вижу, согласна. У тебя вовсе никакого веса — кости да жилы. От тела вовремя избавилась. Оно ведь для бабьей красоты, а какая красота на восемьдесят первом году? Но интерес имеем к жизни, правда? Удовольствие некоторое, особенное — тоже. Верно рассуждаю?

Полина Христофоровна щербато щерится, рот ее западает, маленькие зенки непонятного цвета теряются в морщинах-рубцах, из-под надвинутого на лоб темного платка выпирают лишь нос и подбородок с волосатой бородавкой. Своим обликом напоминает сейчас Полина Христофоровна старую, хищную, но еще очень сильную и цепкую птицу, хоть и с ошипанными крыльями, позабывшую о небесах, однако умеющую добывать себе свежую пищу.

— Я недавно узнал: оказывается, акулы никогда не болеют. И знаешь почему? Все время двигаются, добывают пропитание. Им, оказывается, нельзя не двигаться: жабры имеют неподвижные, и, чтобы дышать, надо хвостом и плавниками постоянно работать. Вот и не болеют и долго живут. Жизнь — движение, ученые установили. Но это ученые, понятно. А как же ты сама до такого додумалась? Инстинктом дошла? Ты же акула, только сухопутная, хотя и на птицу похожа. Ты вот перестанешь хлопотать, работать — помрешь сразу. А так ни болезней у тебя, ни психических стрессов, десятков лет запросто прибавишь к своим свежим восьмидесяти годкам. Чему я рад, конечно. Где мне найти такую хозяйку, повариху, управительницу?

Хрипло, одобрительно похихикивая, покашливая, Полина Христофоровна приносит из кухни чай, мед, теплые ватрушки, ставит перед Буркало на лаковом палехском подносе, садится поодаль, оставив дверь

в кухню открытой — чистота там, сияние от кранов, мойки, газовой плиты, посуды. Кухня просторнее ее комнаты, за кухней — еще более вместительная столовая, где за общим обеденным столом собираются жильцы дачи Буркало.

Он неспешно отхлебывает чай, смакует свежий липовый мед, сладко нюхает и ест ватрушки, обстоятельно расспрашивая свою управительницу о различных дачно-хозяйственных делах. И понимает: порядок у него тут прямо-таки наглядно-показательный, желать лучшего просто бессовестно. Находка бесценная эта Полина Христофоровна, иначе о ней не скажешь. Откуда она у Буркало, как ему доводится? А никак и почти из ниоткуда.

Лет десять назад или около того заметил он рослую, кряжистую, угрюмоватую старуху; жила то на одной, то на другой даче, нанимаясь нянькой, поварихой и огородницей, присмотрелся — так ведь редкой натуры работница беспризорно мыкается по чужим людям, не знаящим ей настоящей цены! Пригласил Полину Христофоровну к себе, сказал, что берет ее навсегда, осведомился о плате. Старуха — она, конечно, и тогда уже была старухой, но смекалистой — расспросила, где будет жить, чем заниматься, и неожиданно, указав на запущенный дачный участок Буркало, сказала: «Отдай мне в пользование, цветы стану разводить, более ничего с тебя не возьму». Ну Полина Христофоровна, ну хозяйственно-экономическая голова! Буркало кое в чем далеко до нее. Буркало тогда решил: везение, бесплатно достается работница. Но вскоре, увидев весь двор вокруг дачного дома, от дальнего забора до ворот, засаженным цветами, ступить негде, понял: старуха свое возьмет! И взяла и берет уже десять лет. У нее научно налаженный цветочный конвейер: начинает торговлю подснежниками, маками, пионами — кончает астрами, георгинами, хризантемами. Весь вегетационный сезон используется. Капитал наверняка сколотила! Хоть проценты бери. Но уговор, как известно с пещерных времен, дороже денег. Нельзя нарушать уговор, нельзя ущемлять человека в его жизненном интересе. К тому же Полина Христофоровна главные свои обязанности выполняет безупречно, старички-дачники, проживающие у Буркало, довольны ею — поварихой, горничной, управительницей.

— Значит, трепыхаются мои мыслители? — спрашивает Буркало, допивая чай, приветливо глядя на Полину Христофоровну, и, как всегда, не выдерживает взора ее мизерных, блескучих, точно наэлектризованных глаз («Ну ведьма, ну страхина, куда же ты денешь свою кубышку, или гроб золотой заранее себе отольешь?»), отворачивается к окну и любителю идилической, словно на экране телевизора, картиной: три старичка и две старушки рядком сидят под черемухой, в конце единственной дорожки, оставленной им Полиной Христофоровной для прогулок, в окружении копыстного чащобника ранних гладиолусов самых невероятных расцветок — подходит время гладиолусов — и мирно беседуют, то нарочито хмурясь, то веселясь. — Вижу, бодренькие мои одуванчики. Одобряю и благодарю, Полина Христофоровна. В порядке их содержишь. Не зря у тебя отчество христовское. И я их сердечно люблю. В убыток себе, а люблю.

— Душа, знать, добрая, — говорит старуха свои обычные слова, те, которые и хочет слышать Буркало в такие вот умиленные минуты, но говорит безучастно, давно не веря хотя бы в малое бескорыстие хозяина, и если бы Буркало пригляделся внимательно, заметил бы, как едко подрагивают, усмехаясь, иссушенные, древесно-сморщенные губы старухи. — Ясно, душа... — повторяет она еще более безучастно, хрипло и еле слышно.

— Ладно, иди, — не выдерживает ее присутствия рядом Буркало.

— И то. Полдник скоро, чай подавать этим вашим ругливым мыслителям.

— Ну-ну, поласковой!

Оставшись наедине, Буркало вновь и охотно веселится, после чая и

меда в теле его приятное горячение, он вспоминает, что приехал по делу но не торопится пока, не очень и серьезное оно, это дело, хочется во так посидеть у открытого окошка, надышаться цветочным воздухом, насытить глаза зеленью деревьев, голубизной неба; да и старички сейчас будут заняты чаепитием, важным для них занятием, надо посмотреть на них. Вон уже Полина Христофоровна вынесла раскладной столик, установила его рядом со скамейкой, старички загомонили, сдвинулись плотнее, положили руки на пластиковую столешницу, как послушные ребятишки в детсаде. Следующим разом ухватистая управительница принесла чайник, блюдо с ватрушками, чашки. Разлила молча чай и удалилась к своей цветочной плантации.

Чаепитие на воздухе, среди цветочного благоухания — в каком санинтории увидишь подобную благодать? Где престарелым более покойно, отдохновительно? И сколько Буркало берет за проживание на своей даче в отдельных комнатах (да, в отдельных, разгородил дом на комнаты), при четырехразовом питании? Лучше не говорить — никто не верит. Не верят и старичкам его, когда те говорят. Ничего не берет. То есть и рубля дохода не имеет. Его жильцы оплачивают лишь свое питание, кое-какие коммунальные услуги — газ, свет, вода. И все. Сущие пустяки. Не более семидесяти рублей в месяц тратит каждый, а пенсии у них солидные. Ну и по желанию — подарки Полине Христофоровне к Новому году и на Восьмое марта. Только добровольно. Ибо управительница, она же повариха, она же горничная, числится на содержании у Буркало.

Рядом чистая речка, недалеко столица, электричка за ближним лесом. Зелено, духовно.

3

Для кого устроил Буркало такой экономичный пансионат?

О, это прозрение, гениальный замысел Буркало! В суть его проникла разве что Полина Христофоровна, и то, пожалуй, неглубоко.

Старички-то подобраны непростые — думающие, уважаемые, влиятельные. Приглашаются на чтение лекций, печатают научные и популярные труды. Редкие по теперешним временам старички — беспроблемники: или дач не нажили, или не ужились с дочками и сынками, завладевшими и квартирами и всем прочим. Словом, возжаждавшие тишины, внимания, человеческой любви и нашедшие все это у Буркало.

Однако самые возвышенные чувства, как убедительно доказано сейчас, не бывают вовсе уж бескорыстны. Они требуют ответных чувств.

И старички платят кое-чем.

Скажем, вон тот, длинный, сухой, прозванный Буркало (для себя, конечно) Коршуном, помог приобрести престижную черную «Волгу»; работал в министерстве, доктор экономических наук; написал записку кому следует и куда следует — уважили персонального пенсионера. С жесткой бородкой дедок, прямой весь, негнувшийся, характером — точный коршун; не первым поселился у Буркало, но быстренько отворовал мезонин, чтоб, значит, сверху на природу поглядывать, и все другие дачники подчинились ему, вроде негласно старостой выбрали. Коршуна даже Полина Христофоровна почитает, завтрак в мезонин носит, ибо доктор любит услаждаться чайком на маленьком балконишке, в одиночестве наблюдая утреннюю благодать. Большой экономический труд пишет он, много всяческого материала, брошюр, документов ему нужно, и Буркало возит, добывает, а то и у букинистов выторговывает нужное. Доволен им Коршун. И сам по воле душевной оформил бумагу, в которой решительными словами означено: он, доктор наук такой-то, отдает половину гонорара будущей книги товарищу Буркало. Волевой старик, умный. Истина для него важнее какой-то денежной суммы. Он и чашку с чаем вон как держит — чуть на отлете, будто угрожает ею, и сидит в центре скамьи, два старичка и две ста-

рушки суетятся по обе стороны от него, слегка отстранившись, охотно прислуживая ему.

Известно, в старости люди делаются похожими кто на птиц, кто на иных разных животных. Но не каждый видит это со стороны, у Буркало же точный глаз. Когда к нему определился дачником профессор-лесовод, толстенький, с одутловатыми щеками, мокрыми глазками и вздернутой губой, открывавшей два желтых резца, он сразу сказал себе: «Бобр!» И характер у профессора оказался бобровый — сонноватый, мирный и трусливый: едва учует неприятность какую — прячется в свою комнатку да еще на ключ запирается.

Лесовода Бобра пришлось снабжать не только нужными брошюрками, но и возить по окрестным лесам, помогать коллекционировать срезы деревьев, считать ели и сосны на холмах и у речек, брать пробы дерна, трухи гнилых пней... Буркало кое-что и свое подсказал профессору. Например, тот не знал, что, спилив сосну, хитрый вор переносит на свежий пень муравейник и так скрывает порубку; или есть такой способ: молотком обивают по кругу кору дерева, оно усыхает — и его как бы уже законно спиливают. Свой труд об экологии пригородных лесов Бобр написал быстро, всего за два года, и солидно оформленный том издал под двумя фамилиями. Да, взял Буркало в соавторы, будучи искренне благодарным за помощь, к тому же с радостью узнав, что Буркало когда-то мальчишкой года полтора учился в лесном техникуме.

Бобр поднимается из-за стола, мелкими шагками, помахивая лапками, уходит к даче, а вслед ему что-то выкрикивает легонький старичок с румяно пропеченной на солнце лысиной и такой морщинистый, что казалось — лицо его скроено из обрывков, мелких клочков сыромятной кожи. Едкий дедок, суетноглазый, все дела знающий, все пронохивающий своим хрящеватым, свисающим к подбородку носом и метко прозванный Лисом. Прозвали его так дачники, с чем охотно согласился Буркало. Лис побаивался только Коршуна да хозяина «пансионата» и коварен был невероятно.

Имея большие связи в торговых организациях, он всякий раз, выслушав какую-либо просьбу Буркало, не торопился выдавать записку, а норовил поторговаться: то в его комнате переклей обои, «очень же цветистые», видите ли, то краник на умывальнике смени — «покапливает же средь ночи», — то прикажи Полине Христофоровне подавать и ему завтрак в комнату (злостно посягая этим на привилегию Коршуна). Или уж совсем нечто гаденькое придумает: «Вы имеете интерес, голубок, я тоже желаю иметь свой интерес, а потому как я от жизни имел большой интерес, желаю иметь для души интерес: ласкайте мои старые уши приятными словами — какой я уже для вас добрый, хороший, важный». Иногда Буркало исполнял его мелкие просьбы, но чаще, не имея времени на нюни-слюни, просто прикрикивал: «Выпишу, пойдешь жить к дочке в Строгино, там тебе внуки еще глаже лысину отполируют!» И Лис быстренько сочинял нужную бумажку.

За столом поредело. Коршун, не слушая Лиса, ушел на цветочную плантацию помогать Полине Христофоровне пропалывать грядки — был, значит, в возвышенном душевном настроении. Лис все еще что-то наговаривал, вращая подо лбом горячие, глянцевиные шары глаз, кивая носом, а старушки успокаивали его: одна, Цапля, совала ему в рот ложку с накапанным корвалолом, другая, Кукушечка, вытирала платочком его взмокшую лысину. Старушки не ладили меж собой, но сразу же по-сестрински объединялись, если надо было помочь захворавшему или, как вот сейчас, психически расстроенному дачнику.

И как им ладить? Вернее, кто мог бы ладить, дружить с Цаплей, этим сухопарым, вымуштрованным солдатом в юбке? Для нее все без различия полов — рядовые, офицеры или генеральские чины. Цапля не ходит — вышагивает по-строевому, озирает видимое окружение хмуровато и подозрительно, словно выискивая, к чему бы придраться; знакомясь с кем-либо, непременно спрашивает, в каких войсках служил,

гд: воевал. Кукушечка вышучивает ее: «Разве вы баба, вы прапор — олчать, я вас заставлю говорить!»». Служила Цапля больше при штабах, вышла на пенсию полковницей и пишет сейчас мемуары, так как повидала многих известных военачальников. Первую книгу уже издала, конечно, с помощью Буркало. Большой помощью. Пришлось искать для нее литературного обработчика, маститого, ибо «с орфографией и пунктуацией, как сказал этот литраб, у полковницы такие же нелады, как у меня в любви с молоденькими девочками». Поупиралась и много Цапля, когда о гонораре Буркало заговорил, нет, не из жадности — по строгости военной, чтоб законно все, не выглядеть одурачливой, — но пришлось полностью уступить гонорар: поняла — творчество дороже. А уж он сам разумно поделился с жохом обработчиком.

Напившись чаю, Кукушечка, румянощекая, обмахиваясь платочком, которым только что отирала лысину Лиса, плавными, бережными шажками направилась к себе в комнату — переждать на диванчике жаркие часы дня. Самое время навестить ее, ведь именно к ней Буркало приехал сегодня.

Но прежде надо несколько преобразиться: у Кукушечки какие-то приятные кавказские воспоминания, она ужасно радуется, когда видит Буркало усатым, и сперва смеется до коллик в животе, а насмеявшись, делается сговорчивой, мягкой, хоть ватрушки из нее лепи. Буркало наклоняет черные мощные усы и кустистые брови, покрывает свой короткий ежик жестковолосым, с легкой проседью париком, идет через кухню, столовую, коридор в гости к Кукушечке.

Увидев его на пороге комнаты, она вскидывает пухлые руки, вроде бы чуточку пугаясь неожиданному появлению мужчины, но сразу же радуется, предчувствуя веселые минуты для себя.

— Буркаладзе! Милый, дорогой, пришел?! А я вижу — машина ваша. Почему, думаю, мой Буркаладзе не приходит? Он ведь такой чуткий, обольстительный. Или нет? — Она виснет у него на плечах, целует обе щеки, ловко увертываясь от усов. — Ах, какие усищи! Как у витязя в тигровой шкуре. Или нет? Были у витязя усы, а? — Она гладит мягкой ладошкой жесткие волосы парика и искренне верит, что это настоящие волосы Буркало; именно сейчас верит, в минуты восторга, потому что ей хорошо известно: нет у него усов, таких бровей и шевелюры. — Садитесь, милый мужчина, вот сюда, рядышком со мной. — Она не выпускает его рук, поглаживает, холит их. — Говори — не болеешь? Может, в клинику устроить на обследование, ваш Органом подчитать? Или нет? Понимаю, вы по зимам обследуетесь. Лето — для удовольствия, зима — для здоровья, так? Хочешь рюмочку коньяка?

Буркало радостно улыбается, показывая Кукушечке завидно белый набор зубов, лучась глазами, и молчит. Говорить рано, Кукушечка ничего не услышит, пока сама не выговорится. И вообще она мало кого слушает. Читает лекции — ее слушают, дает консультации — ловят каждое ее слово. Такая вот она — и доктор, и профессор, и в заграницах бывает, и пенсионеркой стала только в шестьдесят лет, да и то по собственному настоянию, и здесь, на даче, не дали бы ей покоя, узнав, где она прячется, — такая вот она медицинская звезда. Одно, пожалуй, не удалось в жизни Кукушечке — не свила семейного гнезда, прокуковала весело свои молодые годы, занимаясь наукой и содержательной жизнью. Но сохранилась удивительно, будто эликсир молодости для себя изобрела. Выведать бы у нее. И женщина вполне еще. Даже терпкий, ученый всяческой жизнью Буркало чуть не попал к ней в любовники, едва усидел вот на этом диване. Натренированная воля спасла, жесткое правило тоже: или дело, или любовь! А пофлиртовать, погешить неустаревшие чувства Кукушечки — пожалуйста. Он поглаживает ее плечо, вздыхает сладостно и тяжело, как бы немо говоря: вполне твой, видишь, едва удерживаюсь от объятий, но... есть причина, важная, тайная и пока неодолимая, подожди немного, авось уладится все в нашу пользу. Кукушечка быстро протягивает руку к окну.

— Смотри, смотри! Кларка играет с Бобби, а он — точно как ты,

змурится и полеживает на травке. Или нет? Ну я задам этому лентяюге!

Четкая рама окна словно бы вычерчивала из всего наружного пространства часть крыльца, кусты сирени и лужайку с двумя таксами — менее породистым Бобби и более породистой Кларой, которая, одолевая свою затяжелелость, прямо-таки танцевала перед Бобби, вскидываясь, припадала к земле, тыкалась носом в его нос — посмотри же, какой у меня живот, там столько твоих хорошеньких щенят! Бобби, едва повиливая хвостом, сонновато шурился, а то и отпугивал Клару рыком, не понимая ее радости, видя ее неуклюжей и безобразной.

Пес был любимчиком Кукушечки, купила она его за какую-то большую сумму, не ведая, что нагло обманута, просила, настаивала, чтобы у Клары щенята плодились только от него, и Буркало приходилось сбывать беспородный приплод через нетрезвых собачьих перекупщиков.

— Какой ему интерес в ней сейчас? — сказал Буркало, посмеиваясь в яркое окно. — Лезет дуреха, когда не нужна.

— Вы, может, на меня намекаете, Буркаладзе? Или нет? Если на меня — зарезу немедленно скальпелем и сама повешусь. Да!

Он стал божиться, прикладывая руку к сердцу, что нет, нет и нет, но эту свою оплошность искупил лишь, тем, что уселся за стол, покрытый дорогой французской скатертью, выпил дорогого «Наполеона», закусил не менее дорогими черной икрой, семужкой красной, карбонатом мраморного оттенка. Конечно, смакуя все, нахваливая щедрую хозяйку.

Кукушечка вознамерилась выгрузить из личного холодильника и другие деликатесы отечественного и зарубежного производства, но Буркало, проявив «кавказскую» твердость характера, сурово поднялся и прямо сказал, зачем пожаловал в гости.

— Санаторий надо? Ну я же сразу догадалась, милый. Или нет? В какой хочешь?

— Хороший.

— Позвоню. Попрошу для своего Буркаладзе.

И опять были поцелуи, вздохи, всхлипы и слова, слова... Все выдержал Буркало. Чего не сделаешь ради собственного здоровья? Зато уж мчался домой с таким ветерком и облегчением, что в одном месте, где-то на Кутузовском, едва не протаранил красный сигнал светофора.

Черную «Волгу» с интеллигентным седоком не задержали.

4

Раз в неделю Буркало ездил на свидание.

Неподалеку от входа в Измайловский парк он ставил машину, сидел, ожидая, минут пять—десять, затем видел — позади, легонько притормозив, возникали из сутолоки людского и машинного движения белые «Жигули», останавливались неподалеку от его «Волги». Так повторялось каждую пятницу без малейших изменений.

И сегодня Буркало, неспешно выйдя из машины, размеренно отпечатал несколько шагов к «Жигулям», отворил дверцу; поклонившись выпорхнувшей на волю крупной брюнетке, он сказал с басовитым рокотом в голосе:

— Здравия желаю, Вероника Олеговна!

— О мой генерал, этого же и вам! Вы, как всегда, бодры и элегантны!

Он берет молодую женщину под руку, и они, поигрывая первыми, случайными, ничего не означающими словами, идут в парк примечательной для публики парой: она — в удлиненном строгватом платьечкимоно из японского шелка, он — в генеральской форме.

Да, в генеральской, но с небольшим набором орденских колодок, с чуть видимой сединой висков под новенькой раззолоченной фураж-

к ий, короткими усами щеточкой; щегольски опрятный, этакий моложавый генерал-майор, явно не фронтового поколения, некой особой выслуги и потому вдвойне загадочный.

Так уж получилось: случайно познакомившись с Вероникой Олеговной на Центральном рынке и узнав, что она генеральская вдова, Буркало немедленно назвал себя генералом по внутреннему наитию, многоопытному подсказу: «Не упusti роскошную даму, как-нибудь выкутишься, вдруг она мечта всей твоей жизни!» Посуетился потом Буркало, добывая мундир, генеральские регалии, тренируясь в осанку, военной лексике. Чего не сделаешь ради личного счастья! Зато теперь вполне свободно чувствует себя не только с Вероникой Олеговной — публики не стесняется, любой генерал примет его за слугаку кровного, но генералов, понятно, лучше на «Волге» объезжать.

Они ушли подальше от детских площадок и аттракционов, сели на свою скамейку под липами — подышать, поговорить. И было о чем.

В последнюю встречу неделю назад Буркало предложил Веронике Олеговне, как выражались прежде, руку и сердце, не забыв разъяснить: «Руку — для опоры, сердце — для любви». Обычно безунынная молодая генеральша сразу приутихла, даже погрузстнела: ее маленькое округлое личико потеряло румянец и вроде бы вытянулось безвольно, е обтекаемое тело русалки (сверхженственное, по определению Буркало) вдруг расслабилось, точно Веронику Олеговну из свежей воды бассейна выплеснули на теплый воздух. Она ничего не сказала, поднялась, молча пошла из парка, села в «Жигули», медленно поехала. Буркало долго сопровождал ее на «Волге»: две машины, черная и белая, почти впритык неразлучно и невесело катились по столичным улицам. Лишь у своего высотного дома, подворачивая к стоянке, Вероника Олеговна вскинула ладошку, едва заметно улыбнулась ему. Буркало понял это как просьбу подождать ответа.

И вот она опять весела, рассказывает смешную историю, приключившуюся по вине ее восьмидесятилетней бабушки, бывшей актрисы:

— Понимаете, Буркалаев, бабушка называла нашего лифтера каждый раз другими фамилиями, именами и отчествами, и все из пьес Островского, в которых она играла многих героинь, даже Кручинину, ну и Кабаниху тоже, когда постарела. А лифтер, еще старше ее, слушил когда-то половым, стал обижаться, написал жалобу на бабушку — умышленно, мол, оскорбляет его. Разбирался участковый, предупредил бабушку, а она опять ошиблась, назвала лифтера Шмыгой, потому что перед этим «Без вины виноватых» по телевизору смотрела. Представляете, не вынес лифтер, уволился.

Вероника Олеговна беззвучно смеется, притеняя длинными ресницами карие влажные яблоки глаз. Похихикивает и Буркало, но по другой причине. Чуть коснувшись руки Вероники Олеговны, лежащей на колене, туго обтянутом платьем, он восклицает:

— Совпадение! Наша лифтерша тоже ушла! Говорит: не могу жить в одном доме с генералом!

Перестав смеяться, Вероника Олеговна с обидчивым недоверием оглядывала Буркало, а он не мог удержаться от веселья, припоминая, как напугал лифтершу Архипову. В тот день он впервые нарядился генералом и решил немедленно проверить, внушительно ли смотрится с этой стороны: накинул поверх мундира плащ, спустился в подъезд (было самое тихое, послеобеденное время), подошел сзади к дремавшей у стола Архиповой, кашлянул и сбросил плащ; очнувшаяся старуха увидела перед собой генерала в полной парадной форме, но... с личностью Буркало. «Батюшки, да это же мне мерещится, черти дурют!» — зашептала старуха, крестя себя и генерала. А Буркало вынул бутанорский пистолет, стукнул им по столу, рывкнул: «Чтоб честь отдавала согласно рангу и чину!» Прикрылся плащом и уехал на свой этаж. Через три дня лифтерша исчезла, отказалась служить в доме, «где черти в генералов обращаются». Наговорила, конечно, всем и всякое. Теперь не могут найти замены.

— Бурр! — хохочет Буркало. — Не понимают люди шуток, скучно живут! — Но замечает наконец, что его соседка внезапно погрузилась, даже кончики девически свежих губ у нее привяли, словно бы водоем вокруг русалки начали понемногу осушать, и Буркало, вскочив, вытянувшись во фронт, скомандовал себе (и тем, кто заведовал «водоемом»): — Отставить! Если дама генерала в печали, генерал объявит войну всему человечеству или... или упадет пред нею на колени. Приказывайте, Вероника Олеговна!

Буркало тянется к ее руке, чтобы поцеловать кончики пальцев — от них всегда будто некий ток исходил, и утоляющее тепло обычно пронизывало его (о, биополе у этой женщины наисильнейшее, она не ведала своей исключительности!), — но Вероника Олеговна отдергивает руку, сощуренно, остро, долго смотрит на Буркало, лоя его ускользающие глаза непонятного серо-коричневого, а может, желтоватого цвета, медленно выговаривает слова:

— Буркалаев... я... вам... не... верю...

— Одобряю, Вероника Олеговна. Женщина не должна верить, особенно такая, как вы. Пусть мужчина заставит поверить.

— ...не верю, что вы генерал.

— Молодой, да? Не воевал? А для способного всегда война найдется. Особая.

— Вы обманываете меня.

На мгновение Буркало пронзил иной ток — зябкой растерянности, — однако мощная энергия его тела подавила все иные психические и нервные ощущения, и он с почти искренней обидой и вполне искренним волнением заговорил:

— Милая женщина, мы знакомы уже больше трех месяцев, а руки вашей коснулся я только четвертого июня, при шестой встрече, помните, мы ужинали в ресторане «Седьмое небо», тогда вы первый раз поднялись на Останкинскую телебашню. В «Арбате» двадцать девятого июня вы позволили поцеловать вас в щеку. В «Руси» взяли на память сувенир — золотую цепочку с медальоном «Овен», вашим знаком зодиака. В Царицынском парке у пруда, перед резным деревянным мостиком, помните, девятого июля, вы сказали, что я вам нравлюсь. А девятнадцатого августа вы пригласили меня к себе домой и приняли от меня букет, о котором сказали: «Так ведь здесь миллион алых роз!» — и познакомили со своей умницей бабушкой и симпатичной мамой, мы пили шампанское, «новосветское коллекционное», слушали рок-музыку, и вы... вы, провожая меня до лифта, поцеловали в губы. Теперь скажите, милая женщина, вы встречались, проводили время, целовались с мундиром генерала или с человеком?

Буркало вскочил, зашагал вдоль скамейки, круто разворачиваясь и глядя себе под ноги, унимая самое настоящее возмущение, от которого непривычно ощутилось сердце в левой стороне груди и глаза заплыли горячим влажным туманцем.

Вероника Олеговна молчала не то оглушенная речью Буркало, не то вовсе не слыша его, занемело глядела в зеленую сумеречь парка, где вдаль на освещенной солнцем аллее бегали и, казалось, немо кричали дети. Лишь спустя несколько минут она еле слышно, точно для самой себя, вымолвила:

— Я любила мужа.

Едва не выругался Буркало, услышав это признание, но интеллигентно сдержал себя, ускорив шаги. Душа его кипела и негодовала, он даже пощупал пульс на левом запястье — не менее ста биений. «Дура генеральская! Допустим, невозможно сильно любила — так и ложилась бы с ним в гроб двуспальный. Небось жить осталась, по всему видно — жизнь красивую больше любила, чем своего опочившего старика. Да и кто поверит в твою эту возвышенную любовь? Тебе двадцать семь было, ему — шестьдесят шесть, познакомились в бассейне «Москва», куда генерал приезжал закалять дряхлеющее тело, а ты

там детишек тренировала, к этому времени разведясь с мужем, тоже бывшим пловцом и каким-то чемпионом (сама шутила: «Пара была брасс-баттерфляйская»). Сошлись вполне на разумной основе: генерал — спортивная молодка для тонуса, молодке — генеральские деньги, квартира, дача. Кто осудит? Не каждому же на БАМе добывать свое счастье. Ну, повозмущалась, конечно, старушка-генеральша, однако утешилась пенсией и внуками. Словом, жизнь налицо, полнокровная, со всеми вытекающими из нее последствиями. Блага — как влага: сколько перепадет, сколько выжмешь. Не любишь жить — не живи. И наоборот. Но правду жизни признавай, вокруг правды хвостом не верти. Хочешь, настаиваешь — пожалуйста, поверю, что до смерти любила генерала (до его смерти, ха!), почему не поиграть такой русалкой, не поплескаться в теплой водичке красивых чувств. Поддержу, сам играю для пользы и разнообразия. Однако согласимся с народной мудростью, той, что популярно учит: делу время, потехе час. И займемся сперва делом. Узаконим брак, после которого вместе посмеемся над моим генеральским мундиром, переселим твоих бабулю и мамулю в мою двухкомнатную, — Буркало-Буркалаеву ужасно хочется пожить в каменной высотной громаде исторического значения, — а на уютной даче устроим второй пансионат для полезных выдающихся старичков. Как? Доходит? Ты ведь экстрасенсорка, только сама этого не знаешь. Я раскрою твои способности, людей исцелять будем, просявимся на всю страну. Миллион заработаем, твой генерал в дубовом гробу от зависти закричит (он ведь и не догадывался, что был уловлен твоим биополем). А там... люби или не люби, сбежать можешь, а яволь с тобой, если кого шибко уж полюбишь. Главное, дело будет сделано. Люди умирают — дело живет. Ну и это не последнее — ты женщина редкостной породы. Детишек пару-тройку произведем, по согласию, конечно. Высшей расы. Облагородим род человеческий. А то — любовь, любовь... от нее и детей не бывает, для баловства она, правильное в народе к ней отношение. Пустышкой жила со своим бросовым «брассом», а потом с дряхлым генералом. Все у меня. И я уже не сержусь на тебя, своей речью себя успокоил, и за «дуру генеральскую» прости, потому что вижу: ты поняла, прочитала мои мысли, их поглотило твое биополе. И смотришь веселее, и чуть улыбнулась мне, вокруг тебя опять разливается прохладная вода безбрежного бассейна жизни. Говори».

— Вы талантливый негодяй, Буркалаев, — сказала Вероника Олеговна, незло усмехаясь. — Советую разжаловать себя в рядовые, немедленно оставить меня, и... и не попадайтесь мне на глаза, даже в своем черном автомобиле. Не то... знаете, кто вами займется?

— Бур-ла-ла! Как это нехорошо!

— Если еще пробурчите хоть одно слово... — Вероника Олеговна горко и спокойно поглядела вдаль — на освещенной солнцем аллее, где недавно еще бегали дети, прохаживался, точно вызванный ею, рослый милиционер. — Я вам простила, поняли? Сама не знаю почему. Может, жаль первых дней нашего знакомства. Может, в сверхнахальстве какая-то сила есть, и оно неуязвимо пока... Уходите!

Буркало как шел вдоль скамьи, так и зашагал дальше не оглядываясь, в противоположную от милиционера сторону, прибито ссутулясь, ощущая затылком, всей спиной усмешливые взгляды Вероники Олеговны, и находчиво юркнул в первую же поперечную аллею, по которой едва не вприпрыжку, забыв о своей генеральской форме, выметнулся из парка, завел «Волгу», прикрылся плащом, вырулил на улицу и спасенно ринулся в автомобильный поток. Лишь у стеклянных башен измайловской олимпийской гостиницы он выпрямил спину, уравновесил кое-как дыхание, огляделся — не катят ли где поблизости белые «Жигули»? — выругался, мучительно одолевая гложащий стыд унижения:

— Стерва! Что-то разузнала, затаилась, «мой генерал» — встре-

тила... А я.. нет, «ты», «ты» надо говорить себе! Ты, Буркало, ты на кого был похож? Алкаш из пивбара достойнее уходит, когда его пустой кружкой по физиономии двинут. Не мог пару веских слов оставить на память коварной вдовушке, одурачившей генерала, обобравшей его семейство. Кого испугался? Да у тебя все в порядке, по закону. А мундир — шутка, друг из киностудии одолжил, так бы и сказал ей, расхотавшись: мол, поиграл липовый генерал с соломенной вдовушкой. Пусть бы себя считала одураченной. Ах, черт! Первый раз со мною такое. Всякое бывало, понятно, и улепетывать при случае приходилось, но так... Есть в ней, есть что-то аномальное, мысли читает — точно. Я ведь это сразу заметил, нет чтобы насторожиться. Хорошо хоть местожительство свое не показал, неспешность моя уберегла меня.

К дому Буркало подъехал почти успокоенным. И пока ставил машину в гараж, включал сигнализацию, запирали ворота, шел мимо приветливых старушек-скамеечниц, будто всегда тех же самых и не стареющих, обрел прежнюю невозмутимость, а с нею и трезвые суждения и мог уже сказать себе со вздохом: «Все-таки, все-таки какую женщину потерял — как ценная часть жизни с нею пропала! Не судьба, значит». Но сразу и примирился, утешив себя шуткой одного своего приятеля: «Судьба не женщина, дважды ее не используешь».

5

После рюмки посольской водки, легкой закуски из икры, сырокопченой колбасы, осетрового балычка и двух чашек крепкого кофе на десерт Буркало захотелось потворить — так он называл свое особое художественно-живописное увлечение. Нарядившись в свободную полотняную блузу, прикрыв беретом с помпоном голову, он прошел в кабинет, предвольно оглядел книжные стеллажи, почти сплошь занявшие стены просторной квадратной комнаты. Да, стеллажи и книги, но... рисованные. Масляными красками. Рельефно. Неотлично от настоящих книг.

Пожалуйста, осмотрим для примера собрания сочинений классиков: десяти томник Пушкина — в красновато-вишневом тоне, с точным воспроизведением рисунка на корешках; светло-зеленый Гоголь; под серую кожу Достоевский; опять же красноватый, но гуще, с паточным отливом четырехтомник Даля; шевроновый Толстой; медово-желтый Альфонс Доде... А как Буркало сотворил «Библиотеку всемирной литературы» — двести томов один к одному вескими кирпичиками стоят, каждый хочется пальцами потрогать! И подходи, трогай — вряд ли догадаешься, что рисованные; конечно, если выковыривать не станешь, да и то покажется — слишком плотно напичканы. А эта библиотека всемирная в букинистических магазинах за три с половиной тысячи продается. Покупают отдельные личности. Ненормальные. Или не знают, как деньги выгодно потратить, или интеллигентность замутила: дома, можно сказать, пол-автомобиля на полках пылится, а ему ноги в метро оттаптывают.

Рассуждения эти, естественно, всего лишь по поводу. Главное же для Буркало — творчество. Вдохновение. Пусть кто попробует так гениально воссоздать стеллажно-книжный интерьер. Каждая доска полочная живым деревом светится!

Берет он палитру, выдавливая на нее краски, смешивает их кистью, подбирая нужные тона, и запах олифы, предчувствие самозабвенной работы делают его счастливейшим на всей многолюдной планете. Буркало рисует трехтомник Василия Жуковского, изданный к двухсотлетию со дня рождения поэта, теперь, говорят, окончательно признанного великим. Великих, понятно, надо уважать. Ни единым штришком не исказить. Образец, взятый из районной библиотеки, перед Буркало на мольберте, — светло-фиолетовый томик оттенка зреющего

ба, лажана нравится ему: и классик еще один будет, и в интерьере фиолетового цвета прибавится.

Буркало, однако, не только мастерски копирует, порой и фантазии дает разгуляться — сам придумывает оформление для некоторых второстепенных писателей, как бы издавая их на свой вкус и по своей воле. Герберт Уэллс, например, весь в серебряных космических трассах и метеоритах на аспидной черноте (знатоки удивляются — не видно и такой библиографической редкости), Мельников-Печерский — бело-кружевной и колюче-темноелочный... Зато уж Брокгауз и Ефрон у него о натуральные, можно сказать, тут Буркало поступился творчеством ради величия этих энциклопедистов, хоть и едва удержимым был собою корешки внушительных томов на стену в нужном, почетном месте интерьера. Корешки продал ему один книжный жучок из букинистического магазина; срезал, подлец, и еще подхихикнул: мол, Брокгауза да с Ефроном вместе ободранного купят. Купили, конечно, трех дней не минуло.

Имелись у Буркало и настоящие книги, он приобретал различные справочники по лечебным травам, альбомы зарубежные, детективы дефицитные, выписывал «Крокодил» и «Вечернюю Москву». Издания эти лежали стопками на полу как малоценные, не поместившиеся среди серьезных. А край его кабинетного стола был загружен отдельными томами известных современных авторов, и книги живо, естественно советались с теми, что на стеллажах, словно бы недавно снятые оттуда. Иллюзия полная, видимость реальная. Свой кабинет Буркало считал шедевром современного стиля.

Он вдохновенно дорисовывал третий том Жуковского, когда залаяла Клара, выбежала в прихожую, вскинулась лапами на дверь и заскулила, виляя хвостом: значит, кто-то свой припожаловал. Веря собаке, Буркало не глянул в глазок, отщелкнул три мощных замка с секретам, распахнул гостеприимно дверь и увидел Капитолину, смущенно теревшую кончики капронового платка, подаренного ей на день рождения Буркало. Она вымолвила, потупляя глаза:

— Извините... Я просто так... Сижу и думаю: надо пойти к вам... будто вы зовете меня.

— Одобряю, Капочка, сердце твое — вещун! Денек у меня был тяжеленький сегодня, я и вспомнил тебя: пришла бы Капа, что ли, утешила, примирила своего возлюбленного с жестокосердным человечеством. Ну раздевайся, давай-ка я тебя поцелую в губки. Вот и зацвела, как розочка. Бутон ты мой с огородной грядки!

Поняв, что нужна и ожидаема, Капитолина расторопно, уже не стесняясь, сняла легонький плащик, туфли, босиком прошла на кухню, выложила из сумки сладкий сырок с изюмом и два песочных пирожных, любимых Буркало. Спросила, сияя серенькими, мокрыми от недавнего волнения глазами:

— Что прикажет приготовить мой господин Буркалдинов?

Капитолина была наполовину татарка, и Буркало придал своей фамилии татарское звучание. Какая разница? Кто без подмеса на круглой Земле? А девушке приятно, она нежно и с удовольствием называет его только по фамилии. Удивительное существо Капитолина — подарок от милостивой к нему судьбы. Познакомились они и не придумаешь как необычно, хоть сюжет для кино продавай: на ветеринарном пункте, куда Капитолина привезла жирного кота Барсика, а Буркало — Клару. Он предложил ей проехаться в машине, она из благодарности позвала его на чашку чая (вполне вероятно, надеясь, что он откажется), но Буркало умеет ловить ценные мгновения жизни, и Капитолине пришлось знакомить его со своей девяностолетней двоюродной бабушкой, которая вызвала ее из волжской деревни в столицу, прописала на свою однокомнатную жилплощадь как опекуницу. Старуха оказалась сущей ягой, служила когда-то давно надзирательницей в Бутырской тюрьме, до сих пор

в каждом видит уголовника и все шипела на Буркало, ядовито-желто, по-кошачьи зыряка, а потом спросила: «Ты давно освободился?» Он со смешком ответил, что вообще не сживал. Старуха будто не услышала этих его слов, прошепелявила: «Надо бы еще тебя подержать годочков с пяток». Вспотев от чая и такой «содержательной» беседы, Буркало, наскоро простившись, выметнулся из сумрачной квартиры, заставленной комодами, цветками в горшках, пропахшей кошачьим духом. Но о «ценном мгновении» помнил, телефон записал и утром следующего дня позвонил Капитолине.

— Ничего готовить не надо, — сказал восхищенный Буркало. — Ты мне себя приготовила. — Он обнял Капитолину, привычно и нетерпеливо тиская ее маленькое упругое тело, словно проверяя, в прежнем ли оно порядке, повлек Капитолину в гостиную, бывшую у него и спальней.

Спустя какое-то время — Капитолине казалось, долгое — она лежала, мутно глядя в обитый некрашеными плашками потолок, улавливая взглядом коричневый большой сук, казавшийся ей глазом отца, колхозного механизатора, добрым глазом, вовсе не осуждающим ее, а просто грустным: отец хотел сына и не хотел, чтобы Капитолина ехала в Москву. И еще будто бы она слышала его тихий, прокуренный дешевыми сигаретами голос: «Раз уродилась девкой да из дому убежала — всякого натерпишься». Капитолина работала приемщицей белья в бытовом комбинате, видела, с какими ухажерами пивбарными дружат кое-какие девушки, приятельницы по комбинату, и Буркаллинов был для нее выдающимся человеком, истинным интеллигентом, хотя она не знала, чем именно он занимается и сколько ему лет. «Сорок, наверное, пожилой, — рассуждала Капитолина, все более обретая свою утерянную цельность, — и не женится на мне, конечно, что я ему — бывшая доярочка, раз в неделю квартиру убираю, пятерку платит, стыдно, а беру — умеет внушить, подчиняюсь... С ним город узнала. И не уйду пока. Главное — не забеременею, он умный, знает, как уберечься». Правда, стыдные для нее эти убеждения, но он говорит — так и другие делают, в постели ничего стыдиться не надо, книжку французскую давал читать...

— Капа, Капка! — наконец пробился к ней голос Буркаллинова. — Начисто отключается. Ну чувствительная! Ну бабенка со временем зреет! Жалко в люди отпускать — дураку какому-нибудь достанешься!

— Вы радуетесь?

— Радуюсь и печалюсь. И спросить хочу: ты читала похождения бравого солдата Швейка?

— Не проходили по литературе.

— Зато Швейк все прошел. Знаешь, почему он с господ офицеров за необразованных девиц дороже брал? Нет, понятно. Простые больше удовольствия доставляют.

— У меня десять классов...

— И одиннадцатый — ферма с коровками. Но ты бутон, я же сказал. Расцветешь — кандидаты наук за тобой набегаются. Вставай оформляйся, давай примем по рюмочке, восстановим потраченные на удовольствие силы. Загадка природы человек — на все силы свои драгоценные тратит. На вкусную еду даже. Теперешний человек гибнет не за металл, а потому, что лишнее в себя заметал. Бур-ла-ла! Какой я остроумный. Ну, бегом в ванну, красotka, а я приготовлю а-ля фуршет.

Настроение у Буркало, облегченного положительными эмоциями, было возвышенное, вдохновенное, он начисто позабыл о генеральской вдове, ибо счел себя, вполне убежденно уже, глупо обиженным ею: ведь хотел угодить, понравиться, потрясти своей исключительностью. Буркало не любил, чтобы его не любили или хотя бы не уважали. Он, например, сумел подружиться даже с двоюродной бабкой Капитолины, потихоньку угощая наглого Барсика валерьянкой; вытаскивает пузырек, накапает на пол, кот лижет, трется возле его ног, выпрашивает еще, а потом свалится, опьянев, и вальяжно помахивает хвостом, сонно мурлычет.

Старуха долго не верила этой нежной привязанности нелюдимого Барсика, слепо присматривалась, тупо приноживалась, наконец сказала Буркало: «Знать, на пользу пошла тебе отсидка, Барсик только шибко честных жалует, сам лучше любого человека». Правда, какое-то время спустя прибавила: «Поправить бы тебя надо еще, шибко глаза бегучие». Но это лишь рассмешило его и Капитолину, которую он мог обнимать и целовать при неприступной, казалось ранее, родственнице: яга была сломлена морально и духовно.

Он делал бутерброды, открывал банки, украшал блюда зеленью, все поторапливая Капитолину:

— Скоро ты, доярочка молочно-парная? Коньячок прокиснет!

А Капитолине нравилась просторная голубая ванна, в ней столько нежной воды, что можно было лежать на спине, не касаясь краев, и вообще — вся ванная комната сияла, как в заграничном кинофильме, цветным кафелем, никелем, эмалью, а в зеркале смотрела себя хоть во весь рост. Здесь Капитолина восстанавливалась и чувствовала себя почти той же девчонкой, которая только что приехала из деревни.

Проходя мимо кабинета, она глянула в открытую дверь, прочла знаковый плакатик на стеллаже: «В доме без книг, как без окон, темно. Пословица», заметила недорисованный, будто попорченный, том Жуковского.

— Смотрите, Буркалдинов, у вас одна книга снизу порвана.

Буркало умиленно простонал, не будучи в состоянии расхохотаться — таким восторгом переполнилась его душа: Капитолина не подозревала, что вся библиотека нарисована! Это не просто утверждало его редкий талант, это признавалась его гениальность.

— Починим, Капочка, источник знаний. Книга не человек. Человеку лучше не жить, чем капитально ремонтироваться. Значит, лечись смолу. И учишь жить с пеленок, а то дураком помрешь.

В гостиной Капитолина занемела от удивления: на ковре около растеленной, уставленной тарелками скатерти величаво восседал человек в азиатском халате, с тонкими, хищно свисающими усами, жиденькой бородкой, раскосый, с бровями, стрелами разлетающимися к вискам. Он властно повел рукой, указывая ей место напротив себя, сказал голосом Буркалдинова:

— Мы приглашаем тебя откусать с нами.

— Ой, вы на кого-то очень похожи!

— На Чингисхана.

— Точно!

— Вот и подгибай ножки, садись за ханский дастархан, сегодня ты первая жена в его гареме.

— Как вам удается так изменяться?

— Чтоб собой оставаться.

— Вам бы на коня...

— Мне бы с ордой хорошей по Европе погулять. Ха-ха и бурр-ла-ла!

Они смеялись, ели. Потом он сказал, что современные ханы любят эстрадную музыку, и поставил диск с Челентано. Аппаратурка у него импортная — стерео, видео, quadro. Вся гостиная из дорогой красной мебели, одна люстра хрустальная тысячу рублей. В ценных вещах Капитолина уже разбиралась. Буркалдинов умел интересно рассказать даже о своей французской зубной электрощетке.

— Почему задумалась, Капитолина-ханум? «Меравиль-озо» — прекрасно поет итальянец. А знаешь, что такое «аморэ»? Любовь. Везде любовь, во всех народах. Один умный классик сказал: человечество спасется любовью и красотой. Ты красивая и любишь меня. Я спасен...

— До новой любви?.. — спросила, испугавшись своей смелости, Капитолина.

— Любовь всегда новая, — не заметил ее смущения Буркалдинов. — Старыми бывают люди. Вот твоя двоюродная бабка всегда была старая. Она бы все человечество за решетку посадила и стерегла со своим подлым Барсиком. Яга и вправду его выхолостила?

— Чтоб не бегал, всегда около нее был.

— Да. А тебя гоняет каждое утро за свежей речной рыбкой и телятинкой для него. Эх, люди! Ради своего пещерного удовольствия самих себя выхолостят.

У Буркалдинова слегка увлажнились подглазья от искреннего огорчения, и черная тушь чуть расплылась, уменьшив раскосость глаз; он пригубил рюмку с коньяком, так, на один мизерный глоток, чтобы притупить нервы; повздыхал, ласково оглядывая Капитолину в легоньком ситцевом платье, босоногую, с тонкой ниткой стеклянных бус на шее.

— Приодеть бы тебя надо. У твоей бабули деньги есть, но не даст — Барсику отпишет. Когда умрет, под матрацем у нее завещание найдешь... Сразу опекуншей кота запишись. Потом мы его придушим.

— Жалко, живой же.

— Ну, какой-нибудь змей-горыныч тоже живой, так и его пожалеть, чтоб людей глотал?

Капитолина промолчала — Буркалдинов знал много всего и разного, и она стеснялась своей деревенской темноты, хотя и замечала все чаще: говорит хорошо, а делает как ему лучше.

Ее школьные познания казались ей ни на что не пригодными, но все же она спросила Буркалдинова однажды — не поступить ли ей в торговый техникум? Рассмеялся, ответил: «Поступай да еще за студента замуж выйди, комсомольская свадьба, ребеночек через девять месяцев, выяснение отношений — кому пеленки стирать и те пе». Капитолина не поняла его толком, однако догадалась — не советует, не хочет ее отпустить. И сама, поразмыслив, решила: работать в бытовом комбинате, за бабкой ухаживать, учиться — не справится. Может, женится на ней Буркалдинов? Ведь она вся для него. Она была бы такой женой, каких теперь не бывает: послушницей при господине. А если... если прямо сказать ему?

— Капитолина! — услышала она выкрик Буркалдинова. — Ты опять задумалась? У тебя даже мордашка перекосилась, как у спортсменки на дистанции. Женщинам вредны всякие перенапряжения, кроме любовных. Впрочем, мужчинам тоже. Глянь на часы — без пяти четыре. Время моего послеобеденного отдыха. — Буркалдинов легко вскочил, заторопился в ванную снимать, смывать все чингисхановское. — Не могу нарушать режим, врачи запрещают. Быстренько убери посуду!

Перемыв, протерев тарелки и чашки, прибрав в кухне, Капитолина на цыпочках, слыша сочное похрапывание Буркалдинова, вышла из квартиры и осторожно прикрыла дверь.

6

Буркало, пощелкивая изящной ореховой тростью, идет сосновой аллеей санатория, дышит, сонновато оглядывает декоративные насаждения вдоль газонов, щедро обласканные полуденным солнцем, — совершает свою обычную послеобеденную прогулку: он убогостепенно спокоен, с наслаждением ощущает, как тепло перевариваемой пищи растворяется по всему упругому телу, даже кончики пальцев на рукояти трости поигрывают от сытости. Буркало, конечно, получил отдельную комнату в тихом коттедже у пруда, там и «Волгу» поставил напротив окна, под старой широкой елью. Утрами, босиком сбежав к пруду, он прыгает в студеную воду... Бурр! — удовольствие неопишемое!

Его догоняет лысый костистый старичок с заложенными за спину руками, страдающий, вероятно, хроническим остеохондрозом, вскидыва-

ет седобородую юркую головенку, явно желая поговорить о политике, но для начала вежливо осведомляется:

— Не скажете, который час?

— Не скажу,— отвечает Буркало, слегка кося глаз на старичка и не нарушая четкости твердых шагов: цок-цок — отсчитывает трость.— Зачем мне часы? Имею в виду здесь, в санатории. Живу биологическими ритмами Органома: прием пищи, процедуры, прочие мероприятия. На природе останавливаю часы. Расслабляюсь. И вам того желаю.

— А время, время...— подскакивает как припеченный в пятки старичок, забегаёт вперед, распаляясь полемическим задором.— Время везде идет! Надо шире смотреть!

— Лучше глубже, чем шире,— говорит леновато Буркало.

— Ядерная война, можно сказать, назревает! — выкрикивает старичок, суетясь около Буркало, как мелкое суденышко у борта океанского корабля.

— Назревать может только фурункул. Имейте в виду, один нервный дедок помер от фурункула.

— Как вы смотрите на Рейгана? — не позволил себе вникнуть в пустяковый ответ старичок.

— Кто такой?

— Президент американский.

— У меня хороший знакомый был, Севка Дрейган, закройщик из ателье «Силуэт», умный парень, глубоко смотрел. Может, он выбился в президенты?

— Шутите? — Старичок, не веря услышанному, опять вырвался вперед и, пятясь, оглядывал Буркало горящими нездоровой краснотой глазами.

— Зачем шутить? Президентом всякий может быть, по бумажке речи зачитывать. А вот костюмчик приличный сшить редко кто умеет. Гляньте на мой — летний, спортивного покроя, что вид, что качество... То-то же!

— Да, костюмчик... — сбился на минуту старичок.— Но обстановка, извините, сверхсерьезная: человечество на грани ядерной катастрофы.

— Похоже, Севкины делишки. Как-то развивал свои мысли: если б мне в президенты — напугал бы так прогрессивное человечество, чтоб только борьбой за мир и занималось. И вело себя прилично. Никаких забастовок, поиска колбасных изделий.

— Да вы издеваетесь, гражданин, это... это оскорбительно, вынужден прямо заявить вам! — Старичок в перевозбуждении цепко схватил Буркало за рукав пиджака.— Я — личность с именем, наградами...

— Ну подержись и успокойся,— разрешил Буркало,— навязался и психуешь... Хотя один знакомый мне рассказывал: сильно перенервничал — от радикулита излечился. Он, понимаете, в своем «Жигуленке» перевернулся, пролежал вверх колесами часа полтора, вытащили, рванул в город и до сих пор бегаёт, никаких ущемлений седалищного нерва. Но это когда сильное потрясение, да в среднем возрасте. Вам советую попринимать буркалоум — состав из трех лечебных трав, по моему личному рецепту. Успокаивает, укрепляет, тонизирует.

Старичок фыркнул как-то по-кроличьи, сгорбился и упрыгал вперед, толкнув двух пожилых женщин и едва не врезавшись в живот тучного парня с одутловатым лицом.

Буркало покрутил головой, искренне сочувствуя старичку: «Приехал лечиться, гнутый, кореженный, душе в исхудалом тельце негде помещаться, вот-вот отлетит куда-то. Эх, суслики, юмора не понимают! А позаботиться о себе и вовсе не умеют».

Буркало, скажем, дважды в году бывает в санаториях; летом предпочитает подмосковные, с умеренным, привычным климатом, зато осе-

ню — непременно Крым или Кавказ, как говорится, кому бархат, кому бархатный сезон, но лучше иметь то и другое, в широком смысле, конечно... Однако и прибыв с путевкой, владей ситуацией, если ты не министр или, по крайности, не директор большого универсама, ибо затеряешься в молчаливой массе. Понятно, кому как нравится, только Буркало обижает такая безликость. Здесь, в этом санатории, например, не все поначалу ладилось: получил он комнату в лучшем коттедже, устроился, а пришел на врачебный прием и видит: принимают два терапевта, народу к ним — человек тридцать. Ясно, день нового заезда. Прикинул Буркало — часа два высидеть придется. И не растерялся (известно: находчивость облегчает жизнь), заметил молодежливую, опрятненькую, скромно подкрашенную дамочку, стоявшую третьей от двери кабинета с номером один, уверенно подошел к ней, улыбнулся, напористо проговорил: «Я ведь за вами занимал?» — и чуть нахмурился: мол, попробуй отказаться, кое-что другое услышишь... Дамочка лишь слегка покраснела от неожиданности просто, мигом сообразила что к чему, а главное, пожалуй: вот и мужчина знакомый будет, да еще какой внушительный, в первый санаторный день! — и закивала, защебетала, умно поглядывая на Буркало и дурача очередь: «Да, да... он просил занять... его директор санатория по какому-то делу пригласил...» Буркало одобрительно улыбнулся дамочке: ну, особа глазастая, и это приметить успела, придется зачислить в актив — для прогулок развлекательных!

А дальше неприятность случилась, хоть и пустяковая вроде. Кто может сказать, что абсолютно защищен от неприятностей? Просто надо всегда и ко всему быть готовым. Вошел Буркало к врачу, подал свое медицинское направление и вскоре понял: этот молодой очкастый блондин пришел в мир не лечить — совершенствовать человечество, он и малого представления не имеет о такой вечной истине: у человека столько болезней, сколько он сам их насчитывает. Приказал очкарик-инфант раздеться, слушал, мерил давление, крутил, краснел, бледнел, тер задумчиво переносицу и наконец осмелился изречь: «Вы здоровы, как...» Но Буркало решительно прервал его: «Если доскажете — как, оскорбите личность больного, привлеку». Блондин тряхнул белым колпаком на юношеской шевелюре, зарозовел нежными щечками, что-то живо смекнул («Во, — отметил Буркало, — жизнь учит находчиво мыслить!»), проговорил, отворачиваясь: «Так вам что, болезни нужны? Тогда не ко мне. Болезни выдают напротив, в кабинете номер два».

В кабинет напротив Буркало прошел без очереди, как направленный, а войдя, он возмущенно выкрикнул рыхлой женщине с подсиненными юркими глазами, черными усиками, склеротически-багровыми скулами любительницы рюмочки-другой хорошего вина: «Что за сосунок понасажали определять наше самочувствие! Постукал, понюхал — выходи здоровым, «как бык». Мою собаку ветеринар серьезнее лечит! У меня шесть болезней: гайморит, радикулит, колит, гастрит, хроническая ангина, невроз!» Женщина пухлой рукой молча погладила плечо Буркало, усадила, ласково улыбаясь фарфоровой вставной челюстью, и через пятнадцать минут он вышел с десятью болезнями — четыре от себя набавила! — бодрый и довольный, получив самые лучшие процедуры (и душ Шарко, конечно), самую калорийную и полезную диету.

Все уладилось по-разумному, индо Буркало и не потерпел бы. А за волнение непредвиденное решил отругать после Кукушечку свою заслуженную. Недоработала докторица легкомысленная — надо сразу предупредить, в какой кабинет, к кому стучаться. Ведь компьютеры, лазеры, прочие достижения человеческого ума пока не отменили кабинеты.

— Комар на задних ножках! — говорит Буркало сожалеючи вслед костистому старичку, усиленно убежавшему от него, хотя и был уже едва различим в конце длинной аллеи с гуляющими санаторниками.

Встречные мужчины и женщины улыбаются Буркало — одни скромно и сочувственно, другие смелее, с пониманием: пристают к ин-

телигентному, занятому своими размышлениями человеку, а подшутит, чтобы вежливо отстраниться,— шумят, нервничают. Его сразу заметила санаторная публика и согласно, кроме разве десятка очень важных чинов, выделила из своей массы, на него показывали, о нем что-то говорили. Это было привычно для Буркало, лишь в таком внимании он чувствовал себя комфортно, ну, скажем, как золотая рыбка среди прочей мелкой живности в зеленом, свежем, насыщенном кислородом аквариуме.

Он гуляет ровно полчаса, затем спит, после отдыха подсаживается к пишущей машинке и работает часа полтора; на ужин идет чуть припоздав, потому что ему не надо толкаться у «шведского стола», нагребать овощи — все нужное заранее приготовит ему подавальщица Люся, которая уже получила от него знак внимания — пробные духи «Контакт».

Буркало посадили, конечно же, не в душном зимнем зале столовой, а на веранде, за двухместный столик, у открытой створки широкого окна, с дальними и близкими видами июльской подмосковной природы. Его соседом оказался, как информировала Люся, редкий специалист молочно-сыроваренной промышленности, нестарый еще, весь круглый, багровый и тяжеленький, точно бурячок только что отваренный, и строгости, суровости невероятной: в первое утро он так возрился на Буркало, словно ожидал, что тот непременно сунется отнимать у него вторую котлету или сборный гарнир из картофеля и тушеной капусты, и тогда он даст ему по рукам, разорется на всю столовую и потребует, чтобы Буркало лишили двухместного стола как недостойного ни по годам, ни по заслугам. Но и большой сыроваренный специалист день спустя уважал Буркало, приметив рядом с его прибором бутылку прописанного боржома, а вечером — белковый омлет на сковородке, который Буркало, прикрыв тарелочкой, бережно унес в свою комнату: полагалось съесть ровно в двенадцать ночи, лечебно подпитав организм для дальнейшего глубокого оздоровительного сна.

Специалист ринулся требовать и себе диету по высшей категории, «престижной», однако получил лишь боржом, и то через день бутылку, а белковый омлет ему решительно отказали — ни колита, ни гастрита, и лишнего веса килограммов двадцать нагулял Специалист возле молока и сыра.

Признав Буркало за равного, Специалист начал доносить его разговорами «касательно экономических проблем»: два дня втолковывал ему, что молочный обрат преступно перебивать, необходимо свежим доставлять на свинофермы, тогда и привесы будут более полноценными; затем переключился на сыроваренную технику. Буркало быстро сообразил, как усмирить настырного Специалиста: надо давать его тугой голове мыслительную пищу для серьезного переваривания. И каждое утро стал сообщать сыроварщику нечто потрясающее его сознание. Рассказав о восточном календаре, например, Буркало предложил соседу вычислить, под знаком какого животного тот родился. Оказалось — быка. Специалист весь день ходил задумчивым, даже аппетит слегка потерял. Буркало пожалел его, объяснил: бык покровительствовал многим великим людям, передавая им, конечно, и некоторые черты своего характера — упрямство, вспыльчивость, желание идти напролом, — зато это животное трудолюбивое, не меняет своих привязанностей, склонно к философии. Просто надо помнить о быке в себе и укрощать нечеловеческие инстинкты. В другой раз принес Специалисту перепечатанный на машинке абзац из литературоведческой книги и попросил разобрататься в содержании: «Он не ограничивается построением структурных противоречий, но подключает к фабульной семантике обобщающие рефлексии авторского мира, намеренно сознавая полную семантическую неопределенность, призванную отобразить такое же свойство универсума». Специалист, польщенный вниманием «писателя» — он считал соседа по столу личностью исключительно творческой, — ходил в библиотеку, лис-

тал словари и когда наконец расшифровал, то от восторга, гордости за себя, причастившегося к литературе, угостил Буркало рюмочкой коньяка.

Вчера он думал о восстании полинезийцев на острове Новая Каледония: удастся ли французам усмирить их? Правда, полинезийцы оказались меланезийцами, как было установлено Специалистом, но день прошел в полезном мыслительном напряжении.

Сегодня, не успев сесть на свое место за столиком, Буркало сообщил:

— Невероятно, а факт: Швейцария каждый год уменьшается на два сантиметра!

Сыроварщик занемел с непрожеванным куском манного пудинга и, панически сокрушенный, только помотал головой: мол, пощадите, невозможно поверить!

— Да,— слегка печалась, подтвердил Буркало, пробуя салат из капусты, моркови, свеклы, обильно политый Люсей растительным маслом.— По радио услышал. Значит, такая ситуация: земная кора в том месте сжимается. Альпы-то, оказывается, морщины от этого сжатия. Представляете, положеньице? Мирная маленькая страна, нейтральная во всех отношениях, конференции там важные происходят, а ее территория уменьшается. Будто соседние государства отвоевывают. Справедливо это, скажите, тем более что Швейцария никогда не воевала? Может, надо было воевать, заранее наращивать землю? Ну, это я так, полемически, для развития мысли. Главное — ситуация непоправимая. Пройдет сто лет? А миллион?..

Проглотив с тяжелой икотой пудинг, Специалист часто замигал беслыми воловьими ресницами, невидяще уставился в тарелку, как бы обреченно принимая на себя вину за невероятно наглое поведение земной коры и потому совестясь не только соседа по столу, но и всего санаторного люда.

— Миллион... миллион...— бормотал он,— два миллиона сантиметров... Сколько выходит километров?..

Буркало неспешно поужинал, взял белковый омлет и кефир, подмигнул молоденькой Люсе, неспешно пересек тесный, душный столовский зал и вышел в свежий, зеленый, вечерний простор.

7

Вечером он работал еще часа полтора — перепечатывал на машинке второй том «Экологии пригородных лесов», законченный лесоводом Бобром и отданный ему с наказом отвезти непременно «грамотной машинистке». Для Буркало это означало — сделать работу самому, к тому же и особая причина была: во-первых, он соавтор Бобра, а значит, должен ознакомиться с текстом экологического трактата; во-вторых, безделье вредит здоровью и разлагает морально человеческую личность; ну и в-третьих, машинопись теперь хороших денег стоит, и пусть эти хорошие переместятся в его карман.

Машинка у него фирмы «Эрика», стучать по клавишам и видеть, как стариковские каракули лесного доктора превращаются в изящные слова и строчки на бело-глянцевой бумаге,— истинное удовольствие. Буркало печатает без ошибок, конечно, профессионально на редкость, его работы изумляют капризных мыслителей, они требуют, чтобы им печатала только «грамотная машинистка Буркалинская» (надо же было как-то назвать несуществующую профессионалку!), а настырный Коршун пожелал однажды лично познакомиться с этой дамой. Пришлось урезонить: машинистка из особого учреждения, почти засекреченная. Что ж, старичков понять можно: они прежнего закваса, не терпят работы абы какой и шалеют от жизнерадостности, когда ви-

дят, что и в период всеобщего технического прогресса кое-кто умеет работать.

В девять вечера Буркало надевает легкие вельветовые брюки, бежевую японскую куртку, на голову — замшевый берет и выходит гулять.

Еще светло, дни июльские тихи и долги, в природе покой и благоухание, где-то за большими лесами погукивает гроза, и оттуда вроде бы по оврагам, речкам проскваживает дождевая прохлада.

Санаторники, естественно, дышат, нагуливают сон; тучные, усиленно двигаясь, сгоняют граммы лишнего веса; тщедушные посиживают на скамейках, накапливая недостающие килограммы. Вон мужичок астраханский, из потомственных рыбаков, кряжистый, вдумчиво-обстоятельный и всегда с газеткой. Заговорил с ним вчера Буркало: «Как ни увижу вас — все читаете». «Привычка, — ответил, — дома пять газет выписываю, шестую Фаина приносит, она в киоске работает». «Зачем же так много?» «Наивно вы рассуждаете, товарищ, — насупился мужичок. — Непосредственно навязываю себе. Районку, областную, рыбацкую надо? А пару ответственных центральных? Файка «Футбол — хоккей» приносит, это для развлечения». «И успеваете читать?» «Официально просматриваю», — серьезно ответил мужичок и углубился в просмотр «Недели».

— Привет рыбакам! — сказал, проходя мимо, Буркало. — Непосредственно, ответственно, официально! — И приподнял берет.

Мужичок глянул из-под газеты, проговорил вполголоса любопытно вскинувшей головку соседке-толстухе, сидящей рядом:

— Столичная штучка. Все во все стороны знает. Тоже, видать, из рыбаков, тех, которые в мутной воде ловят.

Буркало услышал, рассмеялся. Настроение так и подпрыгнуло вверх на несколько положительных эмоций. Он четче, шире замахал тростью.

У поворота аллеи его окликнули с боковой тропинки:

— Вечер добрый, Буркалис. Вы, как всегда, точны и элегантны. Привычка делового человека, да?

Это была Светлана Сергеевна, та дамочка, с догадливого согласия которой Буркало без очереди попал на прием к врачу. Она, кажется, взялась подавливать его: почти всякий раз заговаривает на прогулках, да как-то придиричиво, вроде с обидой даже, будто жизнь ему спасла, а он, видите ли, не благодарен ей. За услугу, между прочим, Буркало расплатился услугой — попросил кого надо, и Светлане Сергеевне прописали душ Шарко. «Мало? Нужны более нежные отношения? Но, уважаемая мадам, вы же видите, я не намерен в санатории заниматься чем-либо иным кроме лечения. Не совмещаю два Л или два П, как остроумно выражается мой приятель, популярный литератор: лечение с любовью, полезное с половым. Оглядысь — и найдешь профессионального совмещителя. Одного подводил, знакомил. Так нет — нужен ей Буркалис. Зря, пожалуй, назвался прибалтийцем. Иные образованные дамы прямо-таки кидаются на «иностранцев»...».

— Подайте хоть руку! — сказала женщина. — Неужели у вас в Риге все мужчины невнимательные? А я мечтаю посмотреть вашу европейскую культуру.

— Мы суровые, море у нас холодное, — ответил Буркало и так дернул поданную ладонь, что Светлана Сергеевна, перелетев кювет, едва не плюхнулась на асфальт подломившимися коленями.

— Ну и сила у вас! — восхитилась женщина, не заметив грубости. — Я вот все думаю — кто вы, чем занимаетесь?

— Художник кисти и слова. Наукой тоже интересуюсь.

— Размах, однако же!

— Член нескольких творческих союзов.

— Так и думала: два интеллигента, а там, у врачебного кабинета, сценку разыграли. Пройдохи и проходимцы позавидовали бы. И вот это

еще — душ Шарко. Я ведь вас не просила, просто сказала — может, и мне полезно будет? Вы быстро устроили. Неужели здесь такой почет творческим работникам?

— И здесь. Народ должен любить, лечить и хорошо содержать своих художников.

— Вот как? Вы не шутите?

— Нэт,— сказал Буркало, вспомнив, что надо говорить с прибалтийским акцентом.

— А мне стыдно. Я учительница, преподаю как-никак справедливость... Со мной впервые такое. В вас что-то есть, вы берете уверенностью, внушаете свою волю, что ли... Возле вас делаешься робкой, аж мурашки по коже. И хочется, извините, с вами спорить, не соглашаться.

— А уйти не хочется, правда?

— Пожалуй.

Светлана Сергеевна примолкла, задумавшись. Размышлял и Буркало, определяя более четкое свое отношение к этой настырной учительнице.

Он делил женщин (для себя, конечно) на четыре категории: мисс — девушка, познающая жизнь до замужества (Капитолина, например); леди — развлекательная вдовушка с видами на выгодный брак (такова Кукушечка); мадам — замужняя образованная женщина, мечтающая о поэтической серьезной связи; и матрона — семейно-детная особа, выпавшая из любовного обращения. По этой шкале «ценностей» получалось: Светлана Сергеевна — мадам. Самостоятельная, с принципами, в браке равная мужу, а то и главенствующая; она сама решает, как ей вести себя на работе и дома; она не против интересного знакомства, но чтобы... (смотри, как говорится, выше). С такими вот и случаются «солнечные удары», такие по запальчивости бросают мужей и быстро разочаровываются в любимых. Словом, категория женщин, совершенно не интересующая Буркало. Он зябко передернул плечами, представив себя уламывающим Светлану Сергеевну (явно не сотрясенную «ударом») на близость,— измучила бы сомнениями, страхами, беседами о возвышенном... Иной девице легче с невинностью расстаться, чем такой мадам со своими книжными принципами. Зачем Буркало эти взаимоотношения? Какая награда за них? Мадам наверняка и в постели будет анализировать свои и его поступки. К тому же он верен юной Капитолине. Через день-два она навестит своего Буркалдинова в санатории, продаст Клариных щенят на Птичьем рынке и приедет; кое-что деликатесное прихватит для чингисхановского дастархана. А тут со знакомствами навязываются. Заметит Капитолина — обидится. Ему же и малым чем-либо не хочется обидеть ее: не свинья он какая-то, пока любит — не изменяет.

— Странная у вас философия... в словах, поведении... — сказала Светлана Сергеевна, глядя себе под ноги и что-то додумывая.

— В здоровом теле здоровая философия,— ответил примирительно Буркало.

— А говорят, вы сильно больны, десять болезней у вас будто бы нашли?

— У вас двадцать найдут, если поищут.

— Как понимать, извините?

— Понимайте так: требовать надо. Человек молчит — общество не разумеет. Врачи тем более.

— А насчет отдачи как?

— Отдавайте, если у вас есть лишнее и хорошее.

— Как понимать?

— Как сказано. Вам все нужно разъяснять, будто не вы учительница. Иной отдает, а многие другие думают: лучше бы при себе свое оставил.

— Пожалуй.

— Вот и я не стараюсь отдавать. А вам приходится.

— Это часто мучает меня.— Светлана Сергеевна вынула из сумки платочек, провела им по лицу, словно намереваясь смыть с него невеселое выражение.— Но ведь учить кому-то надо... А по призванию — единицы.

— В том и беда человечества. Да вы не печальтесь! Вы, как все, в потоке, вины у вас — никакой. Хотите, я угадаю ваши духи? «Снежные», правда? Вот, угадал! Расшифрую: «Фантазийного направления, с сильной зеленой нотой на оригинальном прохладном фоне». Точно по рекламе. А вон та дама, в соломенной шляпке и красном сарафане, «Настроением» душится — «оригинальный аромат обогащен пудровой нотой, нюансами цветов ландыша и флердоранжа». Могу проинформировать: в этом сезоне модны цветочно-фантазийные ароматы с оттенками зелени, белых цветов, например гиацинта, жасмина, туберозы. Как, нравятся вам мои познания в отечественной парфюмерной продукции?

— Потрясающе!

— Великодушно делюсь. Невредные для общества сведения.

— С вами не скучно, только как-то...— Светлана Сергеевна не договорила, вернее голос ее растворился в грохоте и свисте турбин пролетевшего низко над лесом самолета, и она, чуть морщась, спросила: — Вы любите летать?

— Летаю в фосте, как говорит один мой приятель, корреспондент.

— В хвосте?

— Да. Самолет падает — фост всегда остается.

— Вы очень заботитесь о себе.

— А кто обо мне позаботится? Отца и мать не помню, дедушка с бабушкой наследства не оставили. Кто мне создаст комфорт? Без комфорта сейчас не жизнь для цивилизованного человека. Искусство и то комфортное создают.

— Ну, вы такой... Могли бы заботницу найти.

— Ищу. И понял: любовь не запонка, которую можно найти, если потерял, да и то в квартире. Любовь сама тебя найдет, она находит достойных ее, просто живи, ходи, дыши... Хорошо живи, конечно, жизнь сама по себе любовь к тебе.

— Интересно рассуждаете, но как-то ужасно эгоистично. Самодовольно, что ли. Вы, Буркалис, такой благополучный, такой импозантный, здоровый на вид, что...

— Можете не договаривать, огорчите меня и себя. А мы на лечении и отдыхе. Сам о себе скажу: я нужен. Именно таков, каков есть. Вы правильно определили. Люди должны видеть здоровых, импозантных, довольных. Так им интереснее жить. Я экспонат, наглядное пособие для подражания. Эта моя философия успокоит вас?

Светлана Сергеевна пугливо зыркнула на Буркало, чуть отшагнула, точно опасаясь неких заразительных токов, исходящих от него, но губы ее решительно сжались, у переносицы нанухла волевая складочка — так, вероятно, она ведет себя с наглыми учениками, и Буркало понял: сейчас он услышит длинную, резкую, аргументированную речь учительницы, в которой она осудит его и ему подобных как нежелательное, даже вредное явление в нашей жизни, с коим надо непримиримо бороться, и т. п. Назревал явный перебор дружеских отношений, милды прогулка могла превратиться в ненужную им обоим вражду среди такой природной и комфортно-санаторной благодати. Буркало решил оборвать дальнейшее совместное нагуливание здоровья, да и пора было говорить друг другу вежливое «спокойной ночи вам».

Он отвернулся, сунул руку в карман куртки, а когда вновь глянул чуть свысока на Светлану Сергеевну, женщина с испугом отстранилась: рядом шел белобородый, очкастый, невероятно носатый старик... Она ойкнула, потерянно спросила:

— Кто вы, откуда?..

Буркало хрипло закашлял, сиганул через кювет и скрылся в тихих сумерках вечернего леса.

Вскоре он подходил к своему коттеджу у синего, парившего туманом пруда, легко посмеиваясь, примирительно думая: «Суслики, птички, комары на задних ножках — плазма жизни! Живите весело и не сбивайтесь».

— Бур-ла-ла!

8

Буркало нравились фруктово-овощные рынки, народ разнообразный торгует, просторны, веселы прилавки; подходи, спрашивай, откушивай; вон усатый кацо кавказской национальности громко расхваливает персики, здесь калужская молодка, похохатывая, предлагает пучки редиса и моркови: «Каротелька, кому соченькой каротельки?» Рядом с нею хитроглазая старушонка-дачница петрушку и укроп выложила, а из дерматиновой сумки синенькие выглядывают — наверняка магазинные, на спрос. Дальше медовые, ягодные, грибные, картофельные ряды. У стеклянной витражной стены цветочницы выставились, оттуда прямо-таки сияние бело-сине-розовое. Где еще купишь таких сахаристых помидоров, тугой картошечки-синеглазки, окропленного водичкой лучку-пороя, курского штрифеля, полтавской вишни?.. Фруктами и овощами Буркало питается исключительно рыночными.

Торговый зал кругл, его стеклянная сфера насквозь пронизана утренним светом; снаружи машинная и людская теснота, воздух горчит асфальтовой пылью и бензиновым перегаром, а здесь свежесть поля, сада и огорода.

Буркало ходит вдоль прилавков по кругу, приценивается к товару, заговаривает, пошучивая, с торговками и непременно пробует на вкус малосольные огурчики, пластинки редиса, ломтики помидоров красных, розовых, желтых, бросает в рот вишни; поддел горсточку черной смородины; у кацо скусал дольку персика, похвалив тонкий аромат южного фрукта... Прошел по рядам дважды. Решил в третий раз насладиться торгово-рыночной щедростью, допробовать кое-каких деликатесных солений и маринадов. Он знает, что своей внешностью, строгим и чуть ироничным поведением выделяется в покупательской толпе, заметен продавцам, которые обычно уже через десять—пятнадцать минут начинают подозревать в нем ревизора или, самое малое, общественного контролера, и не стесняется лично для себя сбивать цены почти на все покупаемое: упорный взгляд, мягкое, с намеком покашливание, мелкая придирка, скажем к недостаточной белизне халата,— и расторопные руки по ту сторону прилавка отмеривают, отвешивают с припуском, благодарно принимая копейки и рубли, определенные самим Буркало.

Свой третий заход он начал с грибков, прищелкивая языком, схрумкал пару маринованных белых, затем у соседки поддел щепотью и отправил в рот квашеной белокачанной капусты, щедро приправленной тертой морковью и тмином, а когда передвинулся к боюнку соленых помидоров-сливок под дубовым и смородиновым листом, услышал вдруг позади возмущенный ропот грибницы и капустницы; он удивленно повел медленным взглядом на них, покачал головой пристыжающе, но ропот внезапно, как невидимое пламя, перекинулся дальше по рядам, а вот уже слышатся наглые выкрики: «Кто он такой? Почему все лапает руками?», «Знаем его, пока не нажрется — не купит!», «Хам какой-то!», «Документы надо проверить! Позовите милиционера!..» И еще что-то еле уловимое, скандальное. Буркало отошел в сторону, чтобы его видели и чтобы самому лицедреть всех возмущенных, сдвинул со лба замшевый берет, чуть распахнул полы кожаной куртки, показывая орденские колодки и университетский ромбик, поднял руку, как бы угрожая и заодно прося слова. На какое-то вполне осязаемое мгновение торговцы примолкли, их замешательство стало •обращаться в обычное покорное до-

чтение к нему — это явно уловил Буркало, — но из толпы покупателей вдруг прокричал молодой бородач студенческой внешности:

— Да это Буркалович! Я его знаю, на «Мосфильме» мимансом снимается. Смотри, какой любитель разносолов! Начальство из себя разыгрывает перед колхозницами!

Рынок загудел смехом, руганью, улюлюканьем, казалось, вся огромная окружность зала отозвалась стеклянным звоном, зеркальными бликами, в которых Буркало тысячи раз отражался, запечатлялся, уничтожался и мог вообще исчезнуть в ревушей, глухо замкнутой сфере из стекла и железа.

Он пригнул голову, огляделся проворно, ища глазами дверь и наиболее свободный проход, шагнул, чтобы немедленно покинуть пустое пространство вокруг себя, и не смог: кто-то крепко ухватил его под руку. Глянул. Около него стояла женщина в синем халате и такой же шапочке — работница рынка. Она резко помахала над головой свернутой газетой и, когда гомон немного поутих, выкрикнула:

— Чего разорались, оглоеды? Вот ты, ты, ты... — Женщина тыкала газетой в сторону ближних торговых, сразу пригнувшихся за своими весами. — Я вас не знаю, да? Обидели вас, ограбили, спекулянтов проклятых? Ну, кто недовольный, иди сюда!

Молчание установилось всеобщее, ближние торговки смущенно заулыбались: мол, прости, начальница, виноваты, ошиблись; дальние торговцы принялись деловито, как вовсе не причастные, продавать свои фрукты-овощи; даже покупатели, точно их могли прогнать от прилавков, благоразумно и поспешно начали наполнять товарами свои сумки; исчез, уничтожился, сгинул ученый бородач.

Женщина повернулась к Буркало и, не выпуская его руки, спросила:

— Оскорбили?

Он молча кивнул.

— Такого человека... Да мы их с землей сровняем! — У нее появились крупные слезинки под глазами от едва одолжимого негодования. — Да я им потроха выпущу. Пошли!

Она вела Буркало к выходу, чуть пожимая ему руку, и говорила взволнованно, что давно уже заметила его, поняла, какой он особенный, ни на кого не похожий человек, всякий раз, когда он появляется здесь, она издали любит его, но не осмеливалась подойти, и все ждала, ждала — вот что-нибудь случится и она подойдет к нему, скажет, как он ей нравится — ну каждым своим взглядом, осанкой, походкой, одеждой и она знает, что он приезжает на рынок то бородатым, то очкастым и большеносым, это тоже до головокружения восторгает ее; раз видела его с молодой девушкой и девушку эту полюбила, потому что она рядом с ним, нужна ему и, значит, хорошая... А сегодня такое событие, сама судьба помогла ей приблизиться к нему, даже защитит от наглой толпы.

Возле черной «Волги» они остановились. Буркало посмотрел женщине в глаза. И увидел себя в доверчиво раскрытых серых овалцах дважды отраженным, словно повторенным и с легким страхом почувствовал: горячие, резковатые глаза женщины понемногу вбирают в себя душу его. Вот он почти опустел, ощущает лишь свое отяжелевшее, как бы ненужное тело, ему теперь нельзя, невозможно уехать ополовиненным, без своей внутренней сути. А женщина не отдаст, не сможет отдать взятую часть его души, ибо, он хорошо видит это, она сама навсегда опустеет, ей не по силам теперь вернуться к себе прежней, она просто откажется дальше жить.

Буркало открыл дверцу машины, сказал:

— Садитесь.

Проехали одну, другую улицу, и он не раздумывая повернул в сторону своего дома, ясно осознав: нечто живительное и радостное исходит от рядом сидящей женщины и так будет всегда, потому что она — та

единственная, явившаяся в жизнь только для него и ради него. Они могли разминуться, но мудрая судьба свела их.

Открыв квартиру, Буркало пропустил женщину вперед. Она оглядела прихожую, осторожными шагами прошла в гостиную, постояла, затем глянула в кухню и кабинет, вернулась к нему, изумленно сказала:

— Все, все мне нравится! — И погладила умную таксу Клару, покорно сунувшую голову ей под руку. — А нарисованная библиотека — это же нигде не увидишь. Вы такой умничка!

— Один вид книги устраняет печаль сердца, — пошутил Буркало когда-то вычитанной арабской пословицей.

— Ой и правильно! Зачем их покупать, если на них в основном смотрят. Вон мои торговки, редкая без книжки домой едет, а зачем они им, этим оглоедкам? Для форсу только.

— Вы кем на рынке?

— Заведую холодильником.

— О-о!

— Они у меня вот здесь все! — Женщина показала Буркало стиснутый кулак, тугой и шершавый от грубоватой работы и силы уверенной, прирожденной.

Он помог ей снять форменный синий халат, она причесала у зеркала короткие, как и полагается деловой женщине, волосы, повернулась к нему, подала ему тяжеленькую руку, он повел ее в гостиную, усадил в кресло, спросил:

— Чем вас угостить?

— Ничего не надо. Я с вами — и ничего не надо. И не зови меня «вы». И садись вот сюда, рядышком. И слушай. Я тебе вот что скажу. У тебя, вижу, нет жены, нет детей. У меня муж, но, считай, тоже никого. У таких семей не бывает. Такие, если не найдут друг дружку, одинокими живут. Мы особенные. Только один для другого. И любить мы никого не можем. Только самих себя. Да еще я — тебя, ты — меня.

— Да, да, — согласился Буркало, непривычно волнуясь, ощущая нежное и горячее биение своего сердца, глядя в теплые, немигающие глаза женщины и вновь видя себя заключенным в серые резковатые овалца. — Да, все точно, правильно, ты умница, ты... Как тебя звать, скажи, пожалуйста, я хочу сердцем своим принять всю тебя и твое имя.

— А тебя, любимый?

— Буркало. Не очень красиво, да?

— Что ты! Все твое прекрасно. Я буду Буркалка. Твоя Буркалка. И никаких имен не надо. Что было до тебя, пусть там и останется.

— О-о... — простонал Буркало, почти теряя сознание. — Откуда это? Почему? За что?.. Я ведь во сне видел — у меня жена Буркалка. — Он упал на колени перед женщиной своих мечтаний, стал целовать ей руки, и первые слезы за долгие годы одиночества, слезы умиления, восторга, невыплаканных обид и предчувствия небывалых радостей полились из размягченных глаз Буркало на руки единственной теперь для него женщины, а затем он уронил голову в ее колени, бормоча: — Это ты, я чувствую, знаю. Почему так долго шла ко мне? Почему я тебя не искал?..

Буркалка гладила жесткий ежик Буркало, прижимала его голову к своему животу — успокаивала, как успокаивают родного, понятного до малейшего всхлипа ребенка, — а когда он притих, словно бы задремав, легонько подняла его голову, склонилась, поцеловала в лоб, в каждый глаз **отдельно**, в губы и сказала твердо, внушая ему свою решимость:

— Будем жить вместе.

— Вместе! — подтвердил Буркало, вскочил, распростер руки. — Все здесь твое! Прикажешь — добуду, куплю, вырву все, что пожелаешь!

— Добудем! — сказала Буркалка и сжала шершавый кулачок.

Буркало тоже поднял тугой кулак. Так они постояли несколько мгновений — и начали жить.

Осмотрев еще раз квартиру, Буркалка убрала в шкаф кое-какие вещи; фартук, халат, тапочки Капитолины аккуратно сложила в прихожей, сказав: «Не беспокойся, сама отдам». Переставила по-своему кое-что из мебели, повосторгалась кухней под ретро и принялась готовить обед, удивительно ловко и догадливо находя нужную посуду, беря продукты, всяческие приправы. И все весело, легко, с песенкой «Миллион алых роз», а Буркало поглядывал на нее, присмиренно радовался: так, именно так и быть должно, ведь он, устраивая свой быт, покупая вещи, думал о Буркалке — придет, воскликнет: «Все, все мне нравится! Ты такой умничка!»

Потом они навестили рынок, где Буркалка, грозно пройдя по рядам и подставляя сумки, изобильно нагрузилась лучшими фруктами, солениями, маринадами для свадьбы, и весь рынок, не исключая продавцов кавказской национальности, почтительно приветствовал молча шагавшего бок о бок с нею Буркало.

Свадьбу праздновали вдвоем. Видеть никого не хотели в день своего счастливого соединения: кто их поймет? кого они могут понять? Запускали стерео и quadro, танцевали, пели и плясали, дразнили таксу Клару, и она выла, истерично лаяла. Им стучали в стены, пол и потолок соседи, звонили по телефону.

— У нас свадьба! — сообщал Буркало.

А Буркалка, заостря серые блестящие овалца глаз, выкрикивала:

— Оглоеды! Я вас научу уважать моего Буркало, вы у меня по ночам будете всакивать и боженьке молиться! Суслики, птички, комары — плазма жизни!

Вскоре они уехали на «Волге» в свадебное путешествие. По курортам Южного берега Крыма.

9

В этот подмосковный, неведомый для него дачный поселок Буркало приехал один. И по очень важному делу.

Он медленно вел машину, оглядывая дома, теремки, хоромы... Улица именовалась Отрадной, и все здесь смотрелось мирным, прочным, тихо-отрадным, хотя и была невеселая пора поздней осени. Во дворах опрятные, разумно выращенные сады, строения с водопроводом, газом, центральным отоплением — в стиле полезных достижений научно-технического прогресса. Нужную дачу он нашел почти на краю Отрадной, у соснового бора, за которым ясно посверкивала пустынная сейчас речка. Место было уникальное, и это особенно порадовало Буркало.

Дача едва виднелась, скрытая высоким забором, ворота окованы железом, узенькая дверца с глазком, на ней, конечно, вывеска: «Во дворе злая собака!» Есть и кнопка звонка. Буркало усмехнулся: никакой, даже дохлой собаки там нет, а проникнуть в эту крепость с помощью звонка пусть пытаются дураки. Он достал увесистый, штучной работы ключ, сунул в скважину замка на дверце, и она услужливо пропустила его внутрь.

Хозяин, сухой и сутулый, в потертых джинсах, заношенной куртке из болоньи и вязкой мятой шляпе, сгребал железными граблями опавшую листву под деревьями. Вошедшего он не заметил, и когда Буркало, приблизившись вплотную, нарочито громко кашлянул, хозяин резко передернул плечами, но не повернулся, как сделал бы кто-либо другой, а только скосил желтоватый глаз, насторожил свой плоский, носатый, заросший седоватой щетиной профиль, точно ожидая немедленного удара по голове. Жалкий вид хозяина кирпичной, дорогой, с верандой и мансардой дачи, крытой оцинкованным железом, едва не рассмешил Буркало: ну художественные парадоксы на улице Отрадной!

Покашляв мирно и деловито, он слегка приподнял в руке новенький «дипломат», сказал:

— У меня дело к вам, товарищ Ковалов.

— Говорите, слушаю, — с хрипотцой вымолвил тот, все так же держась в профиль и до красноты напрягая глаз: ему, пожалуй, не верилось, что рядом с ним живой человек, — не мог он проникнуть во двор дачи, а если проник, значит, умеет летать. Ведь ворота, дверца надежно закрыты, поверх забора — колючая проволока. — Говорите... Как вы сюда попали?.. Кто такой?

Буркало заметил: Ковалов до судороги сжимает костистые пальцы на металлической рукоятке граблей и желтый глаз его набухает опасным блеском, — понял, что дальше пугать Ковалова рискованно, треснет железякой промеж ушей, и беседуй тогда с ним о гуманности, нашем главном принципе — человек человеку друг, товарищ и брат.

— Я от вашей бывшей жены, — сказал решительно Буркало, следя за граблями.

— Да?.. — еле слышно изумился Ковалов и повернулся, как бы открыв лицо, которое, впрочем, ненамного стало шире, будучи от природы заостренным, по-ястребиному хищноватым. — Где она? Что с ней? Как вы вошли? Что вам надо?

— Важное дело, повторяю. — Буркало постучал кончиками пальцев по боку «дипломата». — Не здесь же вам докладывать, ведите в дом, хозяин.

— Нет, нет... не верю! — чуть отодвинулся Ковалов.

— Ну вот, сцену из кинофильма разыгрываем. Пора бы догадаться — она мне дала ключ. И второй есть, от дачи, может, показать?

— А-а,— неопределенно, что-то усиленно обдумывая, вымолвил Ковалов и направился к приоткрытой двери веранды, волоча за собой грабли.

У ступенек крыльца он остановился, вновь одолеваемый сомнениями, но Буркало вежливо вынул из рук его грабли, грубовато подтолкнул в спину. Ковалов покорно пошел, неосмысленно наговаривая:

— А-а, значит, так. Она, значит, Настасья... А где сама? Не понимаю...

На просторной веранде был низенький стол и два плетеных кресла. Ковалов указал на них рукой, приглашая.

— Ведите в дом, — потребовал Буркало (ему не терпелось увидеть расположение комнат, мебель, прочее убранство). — Здесь холодно, бурр!

Комнат было четыре, да прихожая, да кухня метров на десять и мансарда, должно быть, просторная — туда лестница в старорусском стиле; мебель хоть и потеряла изрядно, однако благородного дерева, а кабинетный гарнитур так и вовсе редкостное ретро. Основательно здесь устраивалось гнездышко! Буркало хотел осмотреть и мансарду, уже вцепился руками в красные перила, но услышал частое клеканье жидкости, хриплый зов Ковалова:

— Прошу к столу... прошу за знакомство.

В стакане мутно розовел дешевый портвейн, именуемый его ревностными пригубителями не менее чем десятком нежных названий — от бормотушки до скуловоротки. Буркало немо замотал головой, скривил губы, показывая, сколь неприятен ему этот ширпотребовский напиток, к тому же он за рулем, и был удивлен, как безразлично-охотно Ковалов согласился с ним, поворчал незло на колеблющийся в руке стакан, выпил, мучительно перекашивая лицо, мыча и постанывая, заел наугад взятым кусочком сыра и замер в отдохновенной расслабленности, ожидая, вероятно, внутреннего бодрительного тепла.

Резной, зеркально полированный стол покрыт рваными газетными клочьями, завален невытой посудой, обедками всякой всячины: бутербродами с красной икрой и кусками зачерствевшей вареной колбасы, обрезками дорогой осетрины и ополовиненными банками килек и быч-

ков в томате; под столом десятка три пустых бутылок; окна наглухо закрыты, полузанавешены; воздух, отравленный табачным дымом, винными испарениями, запахами несвежей еды, казалось, так уплотнился в дачной немоте, что сам по себе не выйдет в открытые окна или дверь, его нужно пластать на куски и выбрасывать во двор. Любой догадался бы, увидев, ощутив этот разгром: хозяин дачи тяжело, опущенно пьет.

Буркало сочувственно и брезгливо спросил, когда Ковалов поднял голову и уставился на гостя вполне разумными, как бы отогретыми с осеннего холода глазами:

— И давно вы уже?..

— Давно, давно,— неожиданно живо ответил Ковалов, подавшись к сидевшему в низком кожаном кресле Буркало.— Как Настенька ушла.. потерялась. Жду, коротаю время.

Посомневавшись минуту, выгодно ему или, напротив, опасно такое вот горестное состояние этого человека, Буркало все-таки решил действовать, и напористо, ибо неизвестно, сколько придется ждать протрезвления бывшего мужа Буркалки, да и сможет ли он выздороветь без медицинской помощи. Буркало развернул и подал Ковалову листок бумаги, попросил прочесть.

Ковалов оседлал сизый нос тяжелыми очками, интеллигентно отстранил бумагу, но тут же качнулся в кресле, дрожащей рукой сдернул и вновь кинул на переносицу очки.

— Письмецо от Настеньки? О, благодарю, благодарю... Как она? Жива, значит?— И начал читать вслух забывчиво и поспешно:— «Здравствуй мой бывший муж Ковалов. Пишу тебе так как я вышла замуж за любимого мной горячо человека. На этом основании прошу тебя...» Ага, без знаков препинания письмецо, надо вникать, значит, «...прошу тебя Ковалов как любившего меня горячо продать мне вторую половину дачи а первая мне по закону полагается так как я бывшая твоя любимая жена. Не сопротивляйся Ковалов хуже будет. Ты меня хорошо узнал за семь лет совместной обеспеченной жизни. Тебе за это оставляю двухкомнатную городскую квартиру со всеми удобствами. Последний раз воздушно целую если ты будешь умничка. Мой горячо любимый новый муж Буркало (можешь сверить его фамилию по паспорту) все тебе расскажет слушайся его а то душевно пожалеешь. Расписываюсь два раза чтоб ты хорошо узнал мою подпись».

Опустив на колени письмо, Ковалов тихонько рассмеялся, помотал головой, словно не желая до конца усваивать прочитанное, потом, дважды глотнув из стакана розовой жидкости, глянул поверх очков на Буркало, спросил:

— Она, она... такая безграмотная, оказывается?

— Не в этом счастье. Она талантливая.

— А кто же, кто ее горячо любимый новый муж?

— Плохо читали письмо. Вы его видите перед собой.

— Передо мной некто... как вам сказать?.. Некто из проходимцев, пройдох и...

— Не договаривайте,— остановил его поднятой ладонью Буркало,— чтоб душевно не пожалеть, как умно пишет вам Буркалка... то есть Настасья. Говорите прямо— согласны продать вторую половину дачи?

Ковалов ухватился дрожащей рукой за стакан, качнул его, но пить не стал, хищно ссутулится, шепотом, косясь на дверь, осведомился:

— Сколько... сколько предлагаете?

— Десять тысяч.— Буркало ударил ладонью по «дипломату».— Деньги здесь.

У Ковалова поверх правого окуляра выполз и занемел желтый водянистый глаз.

— Ага, ага... так и знал... дача стоит минимум пятьдесят тысяч... десять — это лишь бы что-то сунуть... да и за полную стоимость не продам... у нее любовь горячая, выходит, а я совсем один.

Буркало предвидел, конечно, что торг будет нелегким. Кто поступится своим кровным, тем более из таких вот бывалых махинаторов, как этот престарелый Ковалов? Приоткрыв «дипломат», Буркало нащупал и вынул аккуратную красную папочку, положил ее на стол перед Коваловым.

— Что, что здесь?— брезгливо отстранился тот.

— Ознакомьтесь. Накладные, поручения, чеки, записки, прочие документы, разоблачающие ваше строительство дачи. Вы тогда работали директором большого хозмага и дачку соорудили не дороже чем за двадцать тысяч. Преступно комбинируя, понятно.

— Откуда? Где взяли?..— Глаз Ковалова приблизился, как бы наплыл крупным планом на Буркало.— Неужели она...

— Угадали. Настасья собрала, сохранила.

— Нет, нет, не верю...— Глаз замутился, из него выкатилась большая слеза, подержалась на сизом вспухшем подглазье, жутко увеличенная окуляром, и прочертила блескучую дорожку по небритой щеке Ковалова.— Такая подлость... Это вы, вы ее совратили!

— Ошибаетесь. Любовь взаимная. Настя первая мне объяснилась.

— Врешь!— истерично выкрикнул Ковалов, вскопчил, плеснул в лицо Буркало вино из стакана, схватил красную папку, убежал в кухню и заперся там на задвижку, хохоча и выкрикивая: — А мы эту папочку в огонек! А мы эту подлюю подождем!

Буркало отерся платком, смахнул капли вина с куртки, благо она не промокаема, слегка пожурил себя за расслабленность: всякое случилось в его энергичной жизни — били, ругали, хватали за глотку, — а вино плеснули впервые. Каким все-таки неинтеллигентным оказался этот Ковалов! Придется более серьезными доводами привести его в здравое сознание. Буркало подошел к запертой двери кухни, сказал:

— Зря вы так не уважаете нас с Настасьей. В папке копии документов. Убедитесь и выходите для дальнейшего собеседования.

— У-у!..— завыл Ковалов.— Гад ты, Буркалов, тебя убить надо! Не выйду, напущу газу, устрою пожар, сгорю и дачу сожгу.

— Неумно придумали. Бурр, как неумно! Вызову милицию — и вас засадят в психбольницу. Тогда, сами понимаете, и покупать нам не придется, наследница одна. Ну разве что опеку возьмем над вами исключительно из гуманных чувств... А пока перебью ваши бутылки с портвейном, обеспечу вам страдательное похмелье. Мучения плоти очищают и возвышают душу.

Дверь резко откинулась, из нее вырвался Ковалов с металлической решеткой от газовой плиты. Буркало успел отстраниться, Ковалов пронесся до стола, обернулся и, пригнувшись, медленно пошел на него, держа решетку над головой.

«Так, хозяин дачи в явном и опасном перевозбуждении, надо спокойно рассчитать действия, и первое — отнять у него железяку, лишить оружия, так сказать, потом основательно встряхнуть, чтоб голова хоть немного просветлилась... Подступает по-шакальи, будто принохиваясь, сейчас кинется... Сделаем вот что...» Буркало поднял стул, кинул на встречу Ковалову, а сам спрятался за кресло. И когда тот вместе со стулом завалился в угол между сервантом и телевизором, Буркало надел сверху, вырвал у Ковалова и сунул под сервант решетку, скрутил ему руки на груди, успокаивая:

— Нехорошо, не одобряю, вы же с высшим экономическим образованием, а ведете себя неэкономно, подвергаете престарелый организм молодежным стрессам. Теряете, можно сказать, личность и даже человеческий облик.

— Ладно, ладно, отпусти,— просипел, задыхаясь, Ковалов.— Поговорим давай.

Буркало слегка приподнялся и сразу же был наказан за излишнюю доверчивость — получил меткий и довольно сильный удар снизу в подбородок, отлетел спиной к столу и, пока Ковалов взгромождался на

ноги, поглубже заполз под столешницу, спасительно осознавая: сотрясенной голове можно будет дать минуту-другую отдыха.

Обозрев комнату и не найдя гостя-врага, Ковалов решил, вероятно, что тот вообще покинул дачу, жадно налил и выпил подряд два стакана вина, плюхнулся в кресло, с хохотом наговаривая:

— Как я его!.. Настенька, видите ли, полюбила такого нахала! Да она одним воздухом не будет дышать с таким террористом, девочка моя...

Буркало ухватил штанины обеих ног Ковалова, резко потянул, Ковалов легко сполз на пол и не успел сообразить что к чему, как Буркало надежно оседлал его, удивленно спрашивая:

— Ты, гад, спортсменом был, что ли?

— Был, был... А она мне девушкой досталась, девушкой!

— Что вы говорите?— искренне изумился Буркало и, опасаясь плевка, прижал голову Ковалова щекой к полу.— А я простыню вывесил на балконе после первой ночи, чтоб все видели — на девушке женился.

— Врешь, врешь...— застонал Ковалов.— Семь лет девушкой была, да?

— Ничего удивительного, женщины чего не могут, если не любят. Надо читать художественную и научно-популярную литературу. Ведь не забеременела от вас, а? А мне сразу двойню принесет — врачи определили. Тяжело ходит. Сразу девочку и мальчика. Потому и не приехала она для личного контакта с бывшим, нельзя. Одним словом, дурачила вас моя Буркалка, время надо было переждать, пока я появлюсь.

— У-у...— выл не переставая обессиленный Ковалов.

— Ах, как вас ревность некрасиво корежит, дрожите и мокнете, как ощипанный бройлер.

— Сволочь ты, сволочь!

— Впервые слышу. Негодяем называли, но при этом добавляли — талантливый. Грубиян вы. Я, пожалуй, срежу вам сумму выплаты за дачу. Могу и рассердиться — передам бумаги в прокуратуру, будет показательный суд, все недвижимое опишут, вам — отсидка, дачка — государству.

Ковалов притих, вероятно прислушиваясь к словам Буркало.

— А я ведь не себе это райское место отвоевываю. Пансионатик для старичков заслуженных открою, будут они тут дышать, творчеством полезным для народа заниматься. А вы, эгоист, в таких хоромах один спиваетесь. Проявите сознательность — комнатку выделю, в интеллигентном обществе будете стареть, как уважаемая личность.

Ковалов плакал, у щеки его текла лужица слез, был он обреченно вял и беспомощен.

— Ну вот и хорошо,— сказал успокоительно Буркало, медленно отпуская его руки.— Разум в человеке иногда сильнее потребностей. Я сейчас встану, приготовлю документы и приглашу вас расписаться. Готовьтесь морально.

Поднявшись с большим усилием, покачиваясь, Ковалов шагнул к столу, и было нелегко угадать, как он поведет себя дальше, но Буркало предостерегающе покашлял. Ковалов глянул на него и занемел с отвисшей вставной челюстью, с паническим страхом в глазах: у стола сидел бородатый, седоволосый, в золоченом пенсне человек.

— И... кто вы такой?— еле внятно вымолвил Ковалов.

— Представитель. Исполнитель. По поручению,— сказал Буркало голосом утомленного и строгого чина, ударив ладонью по бумаге.— Распишитесь вот здесь, здесь и здесь. Где галочки поставлены.

Буркало встал, чуть отшагнув в сторону. Ковалов послушно склонился над столом. Буркало, следя за ним, пошел вокруг стола. И когда вновь приблизился к онемелому Ковалову, почему-то не ставившему третью роспись, тот увидел перед собой лысого, морщинистого, черную...

сого старика с подозрительно спрятанными за спину руками и криво усмевающегося.

— А вы, вы откуда?—еще более пригнулся Ковалов.

— Оттуда же!

Ковалов быстро расписался и протянул дрожащую руку, намереваясь схватить «дипломат».

— Похвальное желание, хоть и запоздалое!—желчно рассмеялся лысый старик, убирая со стола бумаги.— Могли бы и не отдать вам денежки, но мы справедливые. Берите!— И лысый вытряхнул перед Коваловым тяжеленькие пачки.— Десять, в каждой по тысяче, прячьте.

Ковалов проворно стал расссывать пачки в карманы, несколько штук кинул за ворот расстегнутой, с оборванными пуговицами рубахи. Старик выждал, одобрительно сказал:

— Купля-продажа состоялась, будем считать, полюбовно. Теперь слушайте дальше. Я пойду и скажу Буркало — пусть подгонит к порогу машину, а вы живо соберите свои вещи, личные, конечно, и поедем в город.

— А здесь мне нельзя?

— Не имеете права. Бутылки можете взять. Раздел мебели произведем позже согласно одной из бумаг, подписанной вами.

Пока Буркало вкатывал во двор «Волгу», а затем грузил вещи, Ковалов осилил еще бутылку портвейна, и в машину пришлось погрузить его тоже как вещь — на заднее сиденье, тяжелым, угловатым мешком, тошновато пропахшим алкоголем. По дороге в столицу Ковалов немного проветрился, начал слезливо хныкать, однако, припугнутый вырезвителем, замолк и на своей улице позволил переместить себя в квартиру без скандала.

Ехал домой Буркало утомленный и жизнерадостный: хорошее дело было чисто сработано! Но жизнь непрерывно радует только дураков, потому что они не ведают обид и оскорблений. Для всех разумных у нее разные неожиданности приготовлены, особенно когда их не ждешь, в минуту возвышенной одухотворенности. Как вот сейчас. Подогнав машину к своему гаражному блоку, Буркало прочел на дверных створках крупно выведенное мелом: «Буркализм — позор нашей жизни!»

Он увидел у подъезда дома Буркалку, позвал ее. Подплыла что тебе уточка гладкоперая, придерживая лапками округлый, тяжелехонький живот, покачиваясь, будто на плавных волнах, и головкой поводя что тебе та же уточка. Буркало молча показал ей надпись.

Лишь на мгновение Буркалка вроде бы опечалилась, но тут же решительно трянула рыжими завитыми кудряшками, подняла обломок мела, стерла первое слово, заменила его другим и кликнула старушек-скамеечниц. Те незамедлительно явились, прочитали: «Пенсионизм — позор нашей жизни!» — и загалдели, разгневавшись на «хамское хулиганство», позвали коменданта и еще более расшумелись, требуя, чтоб в их образцово-показательном дворе не было больше никогда такого оскорбительного безобразия. Договорились меж собой выследить этих нахальных диссидентов.

Буркало и Буркалка, строгие и довольные, удалились к себе в квартиру.

10

Буркало проснулся в широкой, обволакивающе мягкой кровати, на тонком, нежащем кожу индийском белье, под мохеровым пледом, невесомо облекавшим его теплым облаком; проснулся сразу, как истинно здоровый человек,—словно всплыл из небытия на солнечную поверхность жизни и, еще не осознав себя полностью, тихо, медленно, беспричинно улыбнулся: так свежо, радостно было его телу. И все-таки, повинаясь привычке, Буркало прислушался к себе: не покальвает ли где, свободно ли растекается по жилам и мышцам кровь? Органом был от-

лажен, как электронный механизм со знаком качества, что и не удивительно вовсе: питала его, содержала в холе и уюте заботливая Буркалка.

При мысли о жене Буркало проснулся окончательно, уже осмысленно радуясь майскому свету из окна, покою в квартире, осторожному позвякиванию посуды на кухне... Милая Буркалка! Она поднялась пораньше и неслышно, чтобы приготовить завтрак ему и их маленьким детям. И так каждое утро.

Буркало нажимает спрятанную за спинкой кровати кнопку (у него все на электронике и сигнализации), в детской комнате чуть слышно тренькает музыкальный звонок. Буркало ныряет под плед, слышит частый топоток, и в спальню врываются буркалята — Буркальчик и Буркалочка. Они взвизгивают от не сдерживаемой радости, впрыгивают на кровать и тормозят, тузят крепенькими кулачками папу Буркало: это им разрешается, когда папа позовет звонком, ведь такая утренняя разминка полезна им всем для бодрого начала дня.

— Бур-ла-ла! — защищается Буркало-старший, пускает буркалят в тепло под плед, притискивает, успокаивая.

О, какое наслаждение осязать эти упругие, с бьющимися сердчиками, молочно дышащие комочки жизни, горячие сгустки-частички твоей плоти! А они, буркалята, отталкивая друг дружку, стараются теснее прижаться к отцу.

— Сказку, да? — спрашивает Буркало.

— Сказку, сказку, папочка... — шепчут, замирая, Буркальчик и Буркалочка.

— Про что мы вчера говорили? Ага, правильно. Про то, как умный Копило на рынок ходил, все пробовал, пока не наелся, а потом справился о ценах, припугнул жадных торговков и дешево накопил себе самого лучшего. А вот как Копило гарнитур мебельный домой перевозил. Ну, шофера и грузчики народ нахальный, всем известно, десятки, а то и четвертные лишние из кошельков покупателей запросто вылущивают, многим бы здоровякам в колхозах пользу приносить, но им и тут выгодно. Копило про них, конечно, все знает, образованный. «Грузите, — говорит, — молодчики». С намеком вроде бы говорит. Погрузили, привезли, носят старательно на седьмой этаж. А когда старший позвал Копило рассчитаться, тот вышел в форме полковника милицейского и так вежливо спросил: «Сколько сегодня, ребята, левых рейсов сделали, почему старушку у мебельного магазина до слез довели — стоит полдня и плачет возле своей раскладной мини-кушетки? А?!» — гаркнул полковник, и шофер с грузчиками выскочили в коридор. Копило им вслед кричит: «Деньги-то за работу возьмите!» Куда там, на лифт — и сбежали. Копило скинул мундир, сел в новое кресло, расхохотался. Вот какой он справедливый и умный, Копило!

— Умный, умный, — соглашаются буркалята, а Буркальчик просит: — Еще про Копило.

— Будет еще. У меня столько сказок о Копиле, хватит на все время, пока будете расти. Завтра расскажу, как Копило на автомобиль деньги копил. А сейчас встаем. Быстро. Мамочка нас заждалась!

Они выбегают в гостиную, буркалята становятся против Буркало, и все вместе приступают к утренней гимнастике — отец в полосатой большой пижаме, дети в маленьких, тоже полосатеньких. Приседают, взмахивают руками, сгибаются и разгибаются. Старательно, без шуток и улыбок — полный комплекс по журналу «Здоровье». Потом шагают на месте, поют:

В здоровом теле
здоровый Буркало,
здорова Буркалка
и буркалята!

Мать стоит в двери, сияя раздуманным лицом, держа руки под белым фартуком на высоком животе, молча ждет. Зачем торопить, если

по всей квартире гуляют запахи ветчины с яичницей, поджаренных хлебцев, зеленого лука, первых дефицитных огурчиков?.. У буркалят и без того едва хватает терпения, чтобы не броситься к столу, но они, вышколенные отцом, послушно идут умываться, чистить зубы; выйдя из ванной, подставляют матери свежие мордашки для поцелуя.

И вот все за столом. Разве есть что-либо приятнее семейной трапезы, когда хозяйка любима, дети радостны и каждый кусочек пищи, поглощаемый ими, доставляет главе семейства невыразимое удовольствие? Буркало понимает: только теперь он живет со смыслом. Годы одиночества кажутся ему временем неодушевленным, из полутьмы которого он долго пробивался к теплу и свету. А ведь — жутко подумать! — мог и затеряться, сгинуть в той жизни... Буркало приобретает Буркалку, как бы проверяя, рядом ли она, не мерещится ли ему все это в прекрасном сновидении.

— Здесь, здесь я, — длинно смеется Буркалка, легко понимая мужа.

— Еще бы! — восторгается Буркало, незаметно для детей поглаживая ее живот, туго-тяжелый, округло-выпуклый, точно в нем вызревала целая неведомая планета: Буркалка на восьмом месяце и врачи опять обещают двойню. — Ты у меня весомая. Одобряю! Даже если полчеловечества исчезнет, ты заново родишь людей. — Буркало крикает предовольно, вообразив, как по многим земным континентам живут буркалята — напористый народец, и, глядя на деловито подчищающих тарелки детей, говорит: — Вот такие вот. Они наведут свой порядок, научат «разворачиваться в марше».

Буркалка улыбочиво кивает, дает сыну и дочери по шоколадной конфете «Мишка косолапый», буркалята разом поднимаются из-за стола, в один голос благодарят: «Спасибо, папочка! Спасибо, мамочка!» — и маленьким строем, Буркальчик впереди, Буркалочка следом, уходят в детскую комнату.

Двоим они неспешно пьют крепкий кофе со сливками, затем Буркалка убирает посуду, а Буркало здесь же, в кухонном тепле и уюте, просматривает утреннюю почту.

— Непосредственно и официально, — шутит он. — Американцы готовятся к ядерной войне, но мы им тоже врежем так... их высокий уровень в небо взлетит и радиоактивными осадками по всей земле развеется. Между прочим, скажу тебе, милая, наш бетонный подвал в гараже не уступит их бункерам, посмотрим еще, кто надежней выживет... А вот письмецо из пансионата твоего имени — «Буркалка речная», пишет управительница, милая леди наша Мешкова, которая — бурр! — только одно начальство на земле почитает: тебя, моя Буркалка. Так вот, эта бандитка улыбочивая просит сменить у кинорежиссера эстамп на стене — не нравится старичку мексиканский ковбой среди прерий, хочет чего-нибудь российского, в крайнем случае крымский пейзаж с магнолиями. Как, удовлетворим?

— Оглоеды! — благодушно ругается Буркалка. — Балуешь ты их. Хотя этот режиссер роли тебе дает в своих картинах, и членский билет киношника ты получил. Купим ему акварельку какую-нибудь. Или сам намалюй. Ты же умничка — все умеешь. Не просить же его соседа по комнате, живописца народного, тот большие полотна создает, обидится.

Буркало соглашается, радуясь житейской сообразительности жены, такой нужной им обоим. Они ведь и в ее даче открыли пансионат для старичков, сдали все четыре комнаты: художнику, писательнице, кинорежиссеру и композиторше. Гуманитариям. Которые не менее полезны обществу, чем доктора наук. Так решили. Ну и эти заслуженные пенсионеры зажили среди цветов, конечно, от весны до поздней осени, опекаемые молодежкой Мешковой, очень современной пенсионеркой на «Москвиче», прямо-таки выдающейся деятельницей — без выгоды для себя атмосферным воздухом дышать не позволит. И работать, понятно, умеет, старички у нее ухоженные, как детки в ведомственном детском саду. Она куда попроворнее жуткой старухи Полины Христововны, дрях-

леющей понемногу. Однако и вместе им не сравниться умом с его Буркалкой, коммерческой хозяйкой обоих пансионатов.

— Прцветают, значит, «Буркало лесной» и «Буркалка речная», а? Поэтично мы назвали свои дачки. Скольکو народу ошастливили! И обиженных — ни одного. А Ковалов, твой бывший муженек, как доволен... — Буркало от умиления смигнул две маленькие слезинки, согнутым пальцем утерев подглазья. — Пить перестал. Другие бы прогнали, как пса... Принимает буркалиум, занимается йожкой. Преобразился!

— Ты у меня такой душевный — никого обидеть не можешь. А я что? Я слушаюь тебя.

Буркало разрешил Ковалову построить флигелек на дачном участке за сиреневыми кустами, в райском, можно сказать, месте: уютно и малоприметно. Благодарный Ковалов взял под свой опытный надзор все пансионатское дворовое хозяйство, его завхозовского глаза побаивается сама леди Мешкова. И сердобольным, нежным оказался Ковалов — полюбил, как дедушка родной, буркалят, нянчится с ними, сказки рассказывает про умного Копило, азбуке учит. Раз только воспротивился бывший владелец участка, когда Буркало позволил Мешковой вырубить фруктовые деревья и засадить полезную землю цветами. Пришлось устыдить: кто же теперь заботится о фруктах? Человечеству цветов не хватает. Красота спасет мир, сказал один большой классик. Улавливать надо новые веяния!

И Капитолину не обидел Буркало: нашел ей мужа — ассистента кинооператора, приехавшего из Казани. Способного парня. Капитолина довольна, и он прописался в столице. Дочку чернявенькую породили. А еще раньше Буркало помог Капитолине похоронить двоюродную бабушку, получить ее наследство, избавиться от кота Барсика. Звонит иногда — задыхается от благодарности. Но они не встречаются, им это не нужно: каждый нашел свое.

Не забыл позаботиться Буркало о докторице Кукушечке — подыскал ей друга с кавказской фамилией. Помог бы уладить личную жизнь и Веронике Олеговне, молоденькой генеральше, но бывшие спортсменки, вероятно, до конца своих дней к чемпионству стремятся: или рекорд им, или ничего не надо. Оттого и гордые, охлаждают любовные страсти в бассейнах.

— Ну, есть такие, кто недоволен Буркало? Если не мелочиться? — спросил он громко, с напором, в забывчивости и горячности. — А кто он, Буркало? Никто, можно сказать. Его в детприемник подкинули несмышленым, с одной фамилией на бумажке. Может, и фамилию придумали, чтоб не искал потом своих родителей, пропавших без вести. В народ подкинули. На воспитание. И он выбился, другим теперь помогает. А путь был суров и долог, как в песне поется. — Буркало задумчиво усмехнулся, добрея и успокаиваясь, сказал: — Что-то я расчувствовался. Надо бы поработать, кое-что перепечатать для писательницы-деревенщицы, изучающей жизнь на даче, да и над своей лесной диссертацией поразмышлять. Или отдохнуть сегодня, чем-нибудь более приятным заняться?

Жена сияет блескучими овалцами глаз, всем своим радостным существом выражая свое полное согласие, всегдашнее единодушие.

Буркало проходит в кабинет, названный им комнатой психологической разгрузки, усаживается за массивный, инкрустированный перламутром стол, придвигает бумагу, несколько минут смотрит на солнечновесенние стены и крыши несчетных домов по ту сторону наполненного голубизной окна, думает, что очень хорошо ему в этом огромном, понятном городе, затем пишет:

«Дорогая редакция! Обращается к тебе твой давний народный корреспондент Вездесущий. Разрешите сообщить поучительный факт из нашей общественной жизни. Гуляю недавно по бульвару около своего дома и вижу такую печальную картину: мужчина интеллигентной наружности и молодого телосложения пытается привести в чувство бледную

старушку на скамейке, потерявшую сознание. Многие благополучные граждане равнодушно проходили мимо, хотя заботливый мужчина звал их помочь старушке. Наконец он вызвал скорую неотложную помощь по телефону-автомату, а сам вернулся к старушке и бережно так, по-сыновьи поддерживал ее седенькую головку. Но было поздно, старого одинокого человека спасти не удалось. Скорая неотложная увезла ее труп. А старушка была историческая, знала лично многих великих писателей и композиторов. Я увидел на глазах сильного молодого мужчины слезы и подумал: как нам не хватает простой сердечности ко всему живому в окружающей среде обитания! Решил подойти, поблагодарить душевного человека с большой буквы, узнать его фамилию. «Буркало», — просто ответил мужчина.

Дорогая редакция! Прошу серьезно отнестись и напечатать этот факт большой воспитательной силы.

Твой неусыпный Вездесущий.

PS. В гонораре не нуждаюсь, прошу перечислить его в фонд мира».

Буркало перечитал заметку, она ему понравилась, он размножил ее на машинке, решив послать сразу в три газеты. По вдохновению сочинил еще пару писем: одно о том, как Буркало спас тонущего мальчика на пляже в Серебряном бору, другое — как защитил несовершеннолетнюю девушку от пьяных хулиганов, угрожавших ей перочинным ножом: применил самбо, разоружил, сдал в милицию. Эти «поучительные факты» он тоже размножил. Надписал конверты, изменив свой почерк, положил корреспонденцию на край стола — Буркалка возьмет и отправит с какого-нибудь соседнего почтового отделения.

Он поднимается из-за стола, делает несколько приседаний, сильно разводит и сводит руки: отдых, психологическая разгрузка удалась — ум светел, тело наполнено мускулистой бодростью. Теперь пора погулять, освежиться майским воздухом. Он нажимает кнопку на боковой стенке стола, по квартире разносится музыкальный перезвон, напоминающий мелодию «Главное, ребята, сердцем не стареть», и выходит в прихожую.

Дремавшая такса Клара с тьявканьем метнулась ему навстречу, отлично поняв звонки хозяина, в детской комнате завизжали от радости буркалята, из гостиной вышла Буркалка проводить семейство на прогулку. Он надевает мягкие, пружинистые сандалии, легкую куртку, берет тяжеленькую трость — для осанки. Ожидает. Квартира в легком заполохе и шуме. Просторная квартира. Он прирастил к ней соседнюю однокомнатную с большой кухней, которая стала детской. Пришлось навести старичков-пансионатников, побеспокоить инстанции. Кому и что просто так, за имя и отчество, дается? Хочешь комфорту — подмажешь и черту, как находчиво выражается один хамоватый приятель из фирмы «Заря».

Буркалка целует буркалят. Буркало командует: «А ну-ка, парни!» — и напористая группка вырывается на волю.

Майский бульвар призрачно затенен молоденькой листвой, точно длинное пенное облако накрыло его зеленой дымкой, влажной и травянисто-пахучей, воздух легок, и люди в нем, как рыбы на дне водоема, медленно плывут среди растений или, затаившись в сумеречных местах, сладко дышат открытыми ртами.

Буркало неспешно шагает, усмиряя поводком Клару, буркалята бегут впереди — головастенькие, тугие, стремительные, словно две одинаковые торпеды, начиненные взрывчаткой; отклоняются влево, вправо, исчезают за кустами и опять буравят воздух главной аллеи неразлучной парочкой, точно магнитно сцепленные; вот они встретились с мальчишкой постарше возрастом, Буркальчик толкнул его плечом, Буркалочка засмеялась ему в лицо, мальчишка взмахнул оскорбленно рукой и мгновенно оказался сидящим на мокром песке аллеи, ловко сби-

тый и растерянный, а буркалята несутся дальше, умело лавируя среди прохожих.

Придержав рвущуюся за ними таксу, Буркало заботливо наставляет мальчишку:

— Ну, герой, где твоя сила, напор, смекалка? Тебя учат — учись. Не то просидишь с детства до старости попой на сырой земле.

А буркалята уже вертятся вокруг небритого мужика в кожемитовой кепке, стригущего газон трескучей мотокосилкой, что-то кричат ему, держат за рукава, хватают и развенвают по газону пучки скошенной травы. Мужик дико сзирается, протирает тыльной стороной ладони красные глаза, ему, вероятно, мерещится: буркалята множатся, меняют лица, пестрят, цепко виснут на нем... Выключив косилку, он юрко бежит прочь с газона под смех и острые словечки гуляющей публики.

Увидев Буркало, мужик пугается еще больше, по-птичьему прячет голову в худые плечи и все-таки, приостановясь, жалуется:

— Как жить, хозяин?..

— Не любишь жить — не живи, — улыбочиво советует Буркало, ускоряя шаг вслед за собакой.

Идет напористо. Туда, где таранят аллею буркалята. И доступно распахнуто пространство жизни.



ВИКТОР СМИРНОВ

★

ТЕНЬ БЕРЕЗЫ

* * *

Ясно понял однажды
У какой-то межи:
Если умер для правды,
То родился для лжи,
В этом люди едины.
Выбор острый, как нож.
Золотой середины
Днем с огнем не найдешь.

Правде с ложью — не слиться:
Их, поодаль держа,
Разделяет граница,
Как два поля — межа.
Чувство чести и долга
Вместе с кривдой в душе...
А не слишком ли долго
Я стою на меже?

* * *

Они проснулись на рассвете чистом,
Проснулись, точно блики на волне,—
Часть страшной правды, что таится в листьях,
Часть вечной жизни, что звенит во мне.

Но через миг я был единоверцем
Всего, что луч высвечивал в пути:
Ведь солнце лишь мое искало сердце,
Чтоб опереться — и в зенит идти.

* * *

Я наблюдал в молчанье одиноком
Под сонное мычание коров,
Как в материнском доме стекла окон
Рассвет зарей наполнил до краев.
Я видел в этом верное спасенье
От бед, замкнувших свой угрюмый круг:
Следить, как птицы по заре осенней
Перетекают с севера на юг.
Но мрак тогда лишь был из сердца изгнан
Слепою мукой, мукой без конца,
Когда от крыльев, как от весел, брызги
Багрово долетели до лица.

НОИ РУДОИ



КАК МНОГО СВЯЗЫВАЕТ НАС



Руку, занесенную над веткой,
Над гнездом, где затаилась птица,
Над былинкой, над живою клеткой,
Удержи, не дай ей опуститься.
И пускай твой голос стерегущий
Слышит каждый, кто проходит мимо:
«Помните — природа всемогуща
И до безграничности ранима!»



Мы прожили немало лет.
Казалось, не пора ли
Стать пронизательней? Так нет,
Мы зрячими не стали.
По взгляду, тону, по словам,
Бывает и поныне,
Обиду мы находим там,
Где нет ее в помине.
А ведь шумим на все лады:
Мол, одного мы рода,
Мы люди и не для вражды
Нас создала природа.
Так можно ли забыть хоть раз
(А так не раз бывало),
Как много связывает нас?
Как разделяет мало?

Н. ЗАЛКА, М. САПРЫКИН



ИСПАНСКИЙ ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА ЛУКАЧА

Фрагменты из повести-хроники о жизни Матэ Залки

В 1986 году прогрессивная общественность всего мира отмечает пятидесятилетие создания интербригад в Испании — первого международного отряда пролетариата и интеллигенции, вставшего на пути фашизма.

«Человечество! Человечество! Зову тебя! Зову вас, люди Европы и Америки, на помощь Испании! На помощь нам! На помощь вам самим!.. Если вы будете молчать, завтра ваши дети, ваши жены, все, что вы любите, все, что делает жизнь прекрасной и священной, погибнет в свою очередь!» — писал в те дни Ромен Роллан.

На призывы компартий и демократических общественных организаций, на призыв своего сердца, которое не желало мириться с несправедливостью, откликнулись десятки тысяч антифашистов из многих стран мира. Преодолевая полицейские рогатки и таможенные кордоны, созданные в буржуазных государствах для изоляции Испанской республики, они прибыли на Пиренейский полуостров, чтобы принять участие в национально-революционной войне на стороне народа.

«Движение интернациональных бригад, как и вообще движение солидарности, позволило народам осознать, что борьба с фашизмом — это не только национальная задача испанского народа, но и задача международная, что от ее решения зависят судьбы всего человечества», — пишет советский историк М. Т. Мещеряков.

В этом году 23 апреля исполняется девяносто лет со дня рождения венгерского и советского писателя, революционера-интернационалиста Матэ Залки, который под псевдонимом Пауля Лукача принял участие в создании интернациональных формирований в Испании и в боях против регулярной армии Франко и его итало-германских союзников. Генерал Лукач командовал сначала Двенадцатой интербригадой, а затем — 45-й республиканской дивизией.

В 1937 году, когда Залка-Лукач сражался в Испании, «Новый мир» (в № 3, 4, 5) опубликовал его роман «Добердо» — самое сильное антивоенное произведение писателя. Но Матэ Залка не успел увидеть роман на журнальных страницах. Он погиб 12 июня 1937 года под Уэской.

В сегодняшнем, четвертом номере «Нового мира» публикуются фрагменты из повести-хроники о жизни Матэ Залки «Человек из Матольча», которая готовится к печати в издательствах «Советский писатель» в СССР, «Зрени» и «Кошут» в ВНР. Авторы повести, дочь Матэ Залки Наталья Матвеевна Залка и внук журналист Матвей Петрович Сапрыкин, на основе архивных материалов — дневниковых записей писателя, его переписки, прессы и документов той эпохи, а также воспоминаний соратников Лукача — день за днем восстановили его боевой путь в Испании: с того момента, как у него созревает решение ехать на помощь Республике, до трагической гибели.

«Судьба Матэ Залки прекрасна, потому что писатель и человек в ней слиты, потому что она — путь смелого художника и достойного сына нашего грозного века», — писал Илья Эренбург. При всей необычности личной судьбы Матэ Залки путь, приведший его в Испанию, характерен и в некотором роде типичен для интернационалиста XX века.

Вот почему «Новый мир» рассматривает эту публикацию как дань памяти всем известным и неизвестным героям-интернационалистам, сражавшимся в Испании. Как дань памяти движению интербригад. Как страницу той летописи трехлетней героической борьбы испанского народа против фашистской агрессии, которая до конца еще не написана.

О событиях в Испании Залка узнал душным июльским вечером, когда соседский паренек принес с почты газеты.

Все это лето, лето 1936 года, писатель работал над новым романом, книгой о первой империалистической войне. Но это были не воспоминания старого солдата, очевидца минувших событий. Это был роман-предупреждение против новой войны, которая, как чувствовал писатель, уже готовилась.

Еще два года назад в одной из своих статей он писал: «Как раз сейчас происходит одна из бесчисленных конференций Лиги Наций, созданной якобы для предотвращения войны. Дипломатия революции шокирует дипломатию всего мира открытой прямою своих диагнозов и предложений... Для всех ясно, что война грозой нависает над миром... Об этом с полным цинизмом заявляют фашисты»...

Совсем недавно, в феврале 1936 года, Матэ Залка с радостью узнал о том, что на выборах в Испании одержал победу Народный фронт — блок левых партий, в который входила и коммунистическая. Из тюрем были выпущены политические заключенные, была объявлена программа реформ: тысячи гектаров земли, принадлежавшей ранее грандам, раздавали крестьянам.

И вот теперь генералы-заговорщики открыто выступили против Республики и ее завоеваний. Впрочем, очень скоро Залка убеждается в том, что речь идет не об изолированном выступлении кучки зарвавшихся генералов. В игру вступили Гитлер и Муссолини. И для него становится ясно: фашизм выбрал новую цель, первый удар уже нанесен.

Значит, Испания...

В украинском селе Белики, отстоящем за тысячи километров от охваченной гражданской войной Испании, все дышало тишиной и покоем. Но этот покой не радует больше писателя. Не может он любоваться размашистыми и яркими беликскими закатами — они напоминают ему пожараща войны.

«С того дня, как Матэ прочел о мятеже в Испании, кончилась для нас тихая, безмятежная жизнь, — вспоминала Вера Ивановна Залка. — Матэ стал плохо спать, ворочался, вздыхал. Нервничал, пока не приносили газеты. Часто, не дождавшись, сам бежал на почту...»

Писатель лихорадочно работал, иногда по десять — двенадцать часов в сутки, торопясь закончить роман «Добердо». Как всегда, ему приходилось делать двойную работу: утром писал, после обеда диктовал секретарю перевод на русский уже законченных глав. Вечерами просматривал расшифрованные стенограммы перевода, вносил поправки...

А вести из-за Пиренеев становились все тревожнее. На «юнкерах» и «савоях» Франко удалось перебросить в Испанию ударные части мятежников: иностранный легион и марокканских наемников. Они захватили южную оконечность Пиренейского полуострова. Несколько провинций на севере страны также оказались в руках другой группировки путчистов. Приказам мятежных генералов подчинилась большая часть кадровой армии. И они наступали, наступали на юге, наступали на севере.

В немногословных военных сводках, которые М. З., поспешно открывая «Правду», проглядывал в Беликах, замелькали названия, заимствованные, казалось, из средневековых хроник: Саламанка, Малага, Гранада, Бадахос. В последнем из этих городов, население которого оказалось мятежникам особо стойкое сопротивление, франкисты согнали рабочих и захваченных в плен бойцов народной милиции на арену для боя быков и штыками и навахами перерезали их.

В эти дни в дневнике писателя появляется короткая запись — воспоминание о родине: «Вспоминаю небо Матольча...»

Семнадцать лет назад на его родине происходило то же, что сегодня реакция творила в Испании. То же офицерство, поддержанное феодалами и духовенством, задушило в Венгрии революцию. И там иностранные интервенты оказали им помощь. И там расправы над защитниками венгерских Советов были зверскими и кровавыми.

«Я начинала догадываться: Матэ задумал ехать в Испанию, — рассказывала о последних днях этого лета Вера Ивановна Залка. — Он не из тех, кто может за чашкой кофе читать в газетах о таких событиях. Фашисты разрушают мирные города, убивают женщин и детей, а он будет спокойно спать? Этого он не мог. Я чувствовала, что он собирается. Я не спрашивала, и он ничего мне не говорил. Но мы оба знали...»

Действительно, всеми своими помыслами Залка уже в Испании. Доказательством этого являются, в частности, последние, заключительные слова романа: «Вперед, лейтенант Матраи! Ты объявил войну войне и теперь идешь, чтобы организовать легионы друзей и товарищей и призвать их повернуть дула своих винтовок против тех, кто затеял эту бойню!»

Дело в том, что в 1916 году в австро-венгерской армии не было ни легионов «друзей и товарищей», ни организации, способной сплотить их для борьбы против «тех, кто затеял эту бойню». Зато в 1936 году они уже были: из Испании поступают первые сообщения о прибытии туда добровольцев-антифашистов из многих стран мира...

Москва, 29 сентября — 15 октября 1936 года.

Залка вернулся с Украины к именинам своей жены — 29 сентября. «30-го, как всегда, я утром получила от него большую корзину цветов и подарки, — вспоминала Вера Ивановна. — Вечером были гости. Он веселился, танцевал румбу...»

Жена не подозревает, что веселость эта была наигранной — чтобы не портить ей праздник. На душе у Залки скверно, тревожно. Об этом свидетельствует дневниковая запись, переведенная его родными лишь сорок пять лет спустя (дневник он, естественно, вел на венгерском):

«29 сентября, Москва. Весь день хожу как в воду опущенный. Стесненное положение наших испанских друзей становится все более очевидным. Два разбойничьих фашистских государства держат весь цивилизованный мир в когтях террора».

Сразу же по приезде в Москву Залка пишет письмо в Исполком Коминтерна, который располагался тогда на Моховой улице. Зная, как остро республиканская армия нуждается в командирских кадрах, он просит оказать ему содействие в выезде в Испанию. И сразу же получает ответ.

«7 октября 1936 года. Как просто. Вызвали на Моховую и беседовали в течение 5 минут, — записывает он в своем дневнике. — Говорите ли вы на каком-либо из романских языков? Совсем немного. Ну, не беда. А как у вас дела с военными вопросами? Как здоровье? И вот через четыре-пять дней уже надо отправляться — вот это темп! Пятнадцать лет мирной жизни, и теперь вдруг — снова... Моя жизнь делает новый поворот. Теперь я должен буду руководить. Я должен буду доказать, что не терял времени даром... Я отдаю себе отчет в трудности поставленных задач — но сознаю также, что мне оказана большая честь...»

Своим домашним М. З. сказал о предстоящем отъезде всего за три дня до отбытия в Испанию.

Н. Залка. Помню, как он позвал нас с мамой, усадил, обнял, как серьезно и ласково просил понять, что иначе поступить не может... Показал нам паспорт: «Пауль Лукач, чехословацкий гражданин, 38 лет, холост». Мы посмеялись над этими данными.

Он заранее просил нас не ходить на вокзал. «Простимся здесь, дома, — сказал он. — Да и ехать мне надо незаметно». Просил не плакать, а улыбаться при прощании, чтобы он мог увезти с собой наши улыбки. По русскому обычаю, присели на секунду. И мы с мамой стали улыбаться. И улыбались до тех пор, пока не закрылась за ним дверь...

Позднее выяснится, что еще два человека знали о предстоящем отъезде Залки — два писателя, два его друга. Одним из них был украинский поэт Савва Голованивский — в те дни он ненадолго приехал из Киева в Москву и жил в гостинице «Москва».

«Как-то в середине дня раздался стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Залка, — вспоминал Голованивский. — Я слегка упрекнул его: мол, тебя совершенно невозможно стало поймать. Не отвечая на упрек, Матэ сказал:

— Знаешь, Савва, я скоро уезжаю.

Залка не дал мне времени для оценки его слов. Он предложил сходить с ним в кино — завтра с самого утра, в десять.

Зал стереокино, куда мы явились, был совершенно пуст, никого, кроме меня и Залки, будто кто-то устроил просмотр специально для нас двоих. На экране происходили военные маневры — тактические учения стрелковых частей. После какого-то кадра Залка вдруг крикнул киномеханику:

— Стоп! Повторите это место!

И механик остановил киноаппарат и показал снова уже прошедший перед нами эпизод. Я насторожился. Мне показалось, что Матэ уже не впервые в этом зале и что эту хроникальную картину Залка пришел смотреть не зря.

Когда мы вышли на улицу, я спросил:

— Матэ, что все это значит?

— Я уезжаю воевать.

— Воевать?! Куда?..

Ошеломило меня не то, что Залка уезжает воевать, а то, что я даже не подумал о подобной возможности. Ведь я знал боевую биографию Матэ, но уж слишком привык к мысли, что Залка — писатель».

(Ни Савва Голованивский, ни даже родные до недавнего времени не знали, что М. З. проходил в 1933—1934 годах подготовку на специальных курсах, а в 1936 году был аттестован в звании комбрига запаса. Начальником курса, на котором занимался Залка, был польский революционер Карол Сверчевский. Под псевдонимом генерал Вальтер Сверчевский также примет участие в национально-революционной войне в Испании и будет командовать Четырнадцатой интербригадой. На курсах, кроме группы венгров, которой руководил Залка, занимались группы болгарских и немецких товарищей, среди них — Вильгельм Пик. Интересно, что уже в этой школе Залка был известен под псевдонимом Лукач. Авторам рассказал об этом в 1982 году полковник в отставке И. Г. Старинов, бывший в этой школе инструктором, а позднее встречавший своего слушателя в Испании.)

М. З. разрешил проводить себя на вокзал — до Ленинграда ему предстояло ехать поездом — лишь двоим: племяннику Беле и другу Савве Голованивскому. Прощание не затягивали. На перроне скупобнялись, и Залка торопливо, как будто бы прячась от посторонних глаз, поднялся в вагон.

Но все его старания уехать из Москвы незамеченным были тщетными.

Ленинград, 16—17 октября 1936 года.

«Вы можете представить себе: как только сел я в вагон, оказалось — половина вагона знакомых, — пишет он домой. — Редакторы ленинградских газет возвращались с совещания из Москвы. Что делать?

«Куда еду?» На Петрозаводск, Мурманск, Карелию, к черту на рога. «Дай что-нибудь для газет». Как же, пожалуйста. Вышел из вагона на платформу — стоит Леонид Соболев и еще группа писателей из ленинградского Союза, и, как только меня увидели, конечно, посыпались приглашения и прочее. Я обещался зайти, и пока они встречали киргизских и казахских товарищей, дал ходу. Теперь сижу в номере и никуда не показываюсь... Немножко сумновато на душе.

Ох, как я вам благодарен, что вы улыбались при прощании. Вот я теперь только чувствую, как я плохо знаю по-русски. В голове вертятся венгерские самые задушевные слова, которыми я вас ласкаю бесконечно...

Вы, родные, — «мой тыл». Я хочу, чтобы в тылу моего сознания было все отлично. И тогда я сумею сосредоточиться и провести почетное дело по-настоящему».

На следующий день, когда стемнело, Залка счел, что он может позволить себе нарушить добровольное затворничество в гостиничном номере. Перед самым отлетом он решает навестить своего ленинградского друга — писателя Бориса Лавренева. Позднее тот рассказывает:

«...Я услышал в телефонной трубке мягкий, душевный голос Матэ:

— Друг, ти дома? Я хочу посидеть с тобой немного.

Он приехал минут через пятнадцать, в штатском костюме. Мне бросился в глаза и этот костюм, несколько мешковато сидевший на его небольшой, складной военной фигуре, и какой-то особенный блеск его глаз, и какая-то тоже особенная торжественность во всей его манере. Мы засели у меня в кабинете».

На столе появилась бутылка коньяка. Непьющий Залка после первой и единственной рюмки необыкновенно разговорился и рассказал Лавреневу план трилогии, которую ему хотелось бы написать о своей родине. Третья книга трилогии должна была отразить, как победно началась в 1919 году революция в Венгрии и последовавшую затем катастрофу.

...«Когда он рассказывал о последних главах трилогии, было видно, что он переживает с искренней мукой судьбу своей родины,— вспоминает Лавренев.— Потом он заговорил о Союзе советских писателей...

— Я читал недавно,— сказал он,— о литературных обществах и кружках в девятнадцатом веке. О кружках Герцена и Станкевича, о Белинском. Это было очень хорошее время. Люди открывали друг другу душу и сердце, вместе искали хорошее, клялись всю жизнь служить этому хорошему... Почему сейчас нет такой близости у нас, такой общей заинтересованности, таких больших споров о нашем деле? Мы имеем свободу, мы можем разговаривать, а живем как чужие, каждый в своей клетке. Не радуемся чужим успехам, а косимся.

Он остро и горько переживал писательскую разобщенность, наши неурядицы, склоки, интриганство, сколачивание беспринципных групп и группочек.

— Разбили РАПП, а на его обломках ничего не видно. Но я знаю, что это не может продолжаться вечно. Неужели мы вложили нашу душу в литературу для того, чтобы застыть? О нет! Через два-три года мы будем светить, как солнце, на весь мир...»

За разговором незаметно уходило время. Когда Лавренев взглянул на часы, было уже три утра. И он предложил Залке не ехать в гостиницу, а прикорнуть у него на диване.

— Нет, дорогой... — отказался Залка. — Надо на аэродром.

— Ты летишь? — спросил Лавренев. — Куда?

— Испания!.. Сейчас улетаю в Стокгольм...

Стокгольм, 18—19 октября 1936 года.

В стокгольмском аэропорту в толпе других пассажиров по трапу спустился чехословацкий гражданин, предъявивший на таможенные документы на имя Пауля Лукача, род занятий — коммерция. Как могли убедить шведские таможенники, коммерсант этот был не из самых преуспевающих. Его шерстяной костюм, серый в елочку, был явно не только что от портного. (Это был единственный парадный костюм М. З. На правом лацкане осталась отметина — небольшая дырочка, след от спрятанного в ящик письменного стола ордена Красного Знамени.)

Весь багаж коммерсанта состоял из маленького чемодана желтой кожи, в котором таможенники обнаружили лишь смену белья, полдюжины носовых платков, вечное перо, бритвенный прибор, флакон одеколона да потрепанный биде-кер — путеводитель по Испании, на немецком. Не могли же они знать, что перед отъездом этот самый Пауль Лукач битый час отбирал вещи: согласно полученной им инструкции все, что он брал с собой, должно было быть заграничного производства. Потому и набралось у него поклажи чуть меньше минимума.

Закинув свой скудный багаж в номер «Странд-отеля», этот коммерсант, как будто бы устыдившись недоумения, промелькнувшего в глазах шведских таможенников, тут же отправился за покупками.

Впрочем, прежде чем выйти на улицу, он успел, даже не снимая пальто, набросать несколько слов. Письмо он адресует в Москву на имя Матэ Залки. То есть... самому себе.

Через несколько дней в квартире № 19 дома 3/5 по улице Фурманова получают следующее послание, написанное по-венгерски на фирменном бланке шведской гостиницы:

«Strand hotel
Stokholm
Telegrafadress: Strandhotellet
Telefon: NAMNANROP

Stokholm den 18. X.

Глубокоуважаемый господин Залка!

Позвольте мне еще раз поблагодарить Вас за внимание и за то дружеское тепло, которым я был окружен в Вашем доме, и еще раз поцеловать руку Вашей очаровательной супруге Вере Ивановне и милой дочке Наташе...

Пал Лукач.

Мой адрес: Чехословакия, Трнава (бывш. Надьсомбат), Жупа Братиславска».

(Если содержание письма легко поддается расшифровке — просто весточка родным о благополучном прибытии в шведскую столицу, то цель, с которой указан обратный адрес, ясна и поныне. Значился ли адрес в его паспорте и Лукач тем самым пытался закрепить легенду о своем чехословацком подданстве? Или же это был намек на то, что через этот адрес родные могут пересылать ему письма? В квартире № 19 дома 3/5 по улице Фурманова этого так и не поняли.)

Постоялец «Странд-отеля» вел себя в шведской столице как человек, побывавший здесь уже не однажды. Скандинавские маршруты дикпурьера Залки не раз пролегли через Стокгольм. Не оглядываясь он прошагал мимо квадратной громады занимавшего чуть ли не целый квартал королевского дворца, перед которым застыли гвардейцы в старинных мундирах. Попав в старый торговый центр, он свернул на боковую улочку и зашел в дешевую лавку готового платья. По сходной цене приобрел одежду, подходящую скорее для человека, собравшегося на охоту, или же для любителя дальних походов, нежели для дельца: синий грубой вязки шерстяной пуловер и замшевую куртку — короткую, простой выделки, но зато прочную. (Вещи эти вернулись из Испании — их привезли родным после гибели генерала Лукача.)

На следующий день перед самым отлетом постоялец «Странд-отеля» опустит в почтовый ящик еще одно письмо. На этот раз адресованное в Будапешт. И подписано оно будет уже по-иному: «Твой дядя Матэ».

«Стокгольм, 19.X. 36.

Дорогая Лаурочка!

Скоро ты получишь от меня письмо из Парижа, откуда я поеду дальше на юг по некоторым коммерческим делам. Я хочу наладить обмен книгами, касающимися испанской культуры, потому как теперь это весьма актуально. Думаю, что задержусь там довольно долго и буду заниматься литературными делами. Пока ничего более конкретного написать не могу. Но у Веры и Талочки есть к тебе просьба — пересылать приветы, которые мой друг Пал Лукач будет им направлять...»

Впредь все свои письма племяннице он будет писать от имени своего друга — Пауля Лукача. Ровно через неделю из Парижа он отправит ей следующее письмо, в котором лишь намекнет на истинную цель своей поездки.

«26.X. 36.

Уважаемая госпожа Лаура!

Я получил приглашение от главной библиотеки Мадрида, где меня ждет интересная работа. Мне нужно реорганизовать один важный отдел. Это — моя специальность. Представьте себе — венгры есть повсюду. Я не слишком удивлюсь, если и в Мадриде найду соотечественников...»

И в дальнейшем Пауль Лукач, несмотря на занятость делами, весьма далеки от книжных и библиотечных, будет выкраивать время для переписки с любимой племянницей. Эта переписка оборвется в середине июня 1937 года, когда на свое очередное письмо дяде в Испанию Лаура Лёчеи неожиданно получит телеграфный ответ, подписанный Венгерским интернациональным центром:

«Товарищ Лукач наш генерал и командир свет наших глаз наша гордость славный сын освободительной войны испанского народа и пролетариата всего мира пал на поле битвы».

Париж, 19—26 октября 1936 года.

Французская столица встретила Пауля Лукача теплом еще солнечных дней и дружескими рукопожатиями тех, кто поджидал его у выхода из аэропорта Поль Бурже.

Приезжаем сразу бросилось в глаза, что в отличие от неторопливой шведской столицы Париж бурлит политическими страстями.

По дороге, с любопытством вглядываясь через стекло автомобиля в оживленные парижские улицы, Лукач обратил внимание на лозунги, наспех наклеенные на афишных тумбах или просто на стенах: «Самолеты и пушки — для Испании!». Даже его знаний французского хватило на то, чтобы уяснить себе смысл этого призыва.

Прямо с аэродрома его привозят в Международный комитет помощи республиканской Испании, расположенный по адресу, звучащему несколько легкомысленно: Ситэ Паради — Райский городок.

— Позиция французских властей по отношению к испанским событиям изменилась? — с надеждой спросил Пауль Лукач у принимавшего его итальянского социалиста, одного из руководителей комитета. Тот был одного возраста с Лукачем, но уже совсем почти лыс. Из-за выпуклых линз очков, оседлавших крепкую переносицу, на приехавшего смотрели внимательные и усталые глаза. Звали итальянского социалиста Пьетро Ненни.

— К сожалению, несмотря на все наши усилия и борьбу французских товарищей, — не совсем так. А точнее — совсем не так, как нам бы хотелось. Правительство Блюма проводит удивительно последовательную политику, — язвительно пояснял Ненни. — Оно то принимает решение об отправке в Испанию тайком нескольких бомбардировщиков, но — без бомб, и партии пулеметов — естественно, без патронов. А когда сообщения об этом просачиваются в печать, отказывается от всего и, поддавшись нажиму справа, требует усилить контроль на границе.

Листая подшивку газет, собранную в комитете, Ненни обрисовал положение.

Франция разделилась на два лагеря. Большинство населения, прежде всего пролетариат и левая интеллигенция, выступают за немедленную помощь Испании.

«Нейтралитет убит. Его убил Гитлер, — заявил Поль Вайян-Кутюрье. — Широкие массы требуют оказания помощи республиканской Испании. Речь идет не о вмешательстве, а о нормальных торговых отношениях с законным правительством»...

Однако правые партии, реакционное офицерство, не говоря уж о финансовом и промышленных кругах, и слышать ничего не хотят о помощи «красной Испании». Они в меньшинстве, зато в их руках реальные рычаги власти. Оказывают давление на Францию и извне. Уинстон Черчилль выступил с иностранным предостережением, в котором поучал: «Для Франции и Англии объединение для строжайшего нейтралитета является высшей необходимостью. «Испанский вулкан» нас не касается!»

— Черчилль хотя бы попытался облечь нажим Великобритании в дипломатическую форму. Местные же реакционеры не затрудняют себя и этим. Пожалуй, самым своеобразным толкованием событий в Испании отличилось католическое издание «Круа», — с усмешкой заметил другой член комитета, французский коммунист. — Вот послушайте только: «У испанцев было все, чтобы они чувствовали себя счастливыми. Не имея особых потребностей, они могли предаваться мечтам под лучами солнца, питаться плодами своей земли и играть на мандолине... Но однажды из Москвы прибывает шестьдесят евреев. Им поручено убедить этот народ, что он очень несчастлив. И вот эта рыцарская нация, связав себя по рукам и ногам, отдается в услужение далекой России, которая принадлежит к другой расе»...

— Глупо и нелепо, конечно. Зато очень ясно показывает, до какой низости можно дойти, отстаивая неправо дело, — невесело признал Лукач. — А какова позиция французской интеллигенции, в частности — писателей страны? — неожиданно живо интересуется этот коммерсант.

— Большинство — и душой и телом на стороне Республики. О поддержке

испанского народа сразу же заявили Ромен Роллан, Пабло Пикассо, Луи Арагон, десятки других деятелей культуры...

— Полтора месяца назад, — продолжал свой рассказ француз, — в Париже побывала испанская парламентская делегация. Долорес Ибаррури, выступая перед пятьюдесятью тысячами парижских рабочих в помещении Зимнего велодрома, откровенно попросила их о поддержке: «Испанский народ ждет вашей помощи. Чтобы сражаться, недостаточно одного самопожертвования. Нужно иметь еще и винтовки, и самолеты, и пушки. Сегодня на нашу долю выпала горькая честь отражать нападение фашизма. Но завтра наступит и ваш черед».

— А правда, что Советский Союз направил партию оружия Республике? — спросил Пьетро Ненни. — До нас дошли об этом обнадеживающие слухи.

— Как вам известно, я частное лицо, к тому же являюсь ныне чехословацким гражданином, — улыбаясь, ответил Лукач. — Но и до меня тоже дошли подобные слухи. Более того, похоже, что вместе с оружием в Испанию должны прибыть несколько десятков военных советников. Согласитесь сами, нельзя же допустить, чтобы у регулярных войск Франко были немецкие инструкторы во всех областях — и в артиллерии, и в авиации, и в инженерном деле, и в связи, и, наконец, в разведке, — а не имеющая никакого опыта республиканская милиция, защищающая законную власть, была брошена на произвол судьбы.

(Через три дня, 23 октября, советский посол в Лондоне Майский, исполнявший по совместительству обязанности представителя СССР при Комитете по невмешательству, огласит ноту, в которой говорилось, что Советское правительство «не может считать себя связанным соглашением о невмешательстве в большей мере, чем любой из остальных участников этого соглашения».)

25 октября Пауль Лукач получает испанскую визу. На следующий день он опускает в почтовый ящик открытку:

«Сегодня покидаю Францию. Завтра утром уже буду на месте. Думаю, все пойдет хорошо, хотя ситуация всех дел, по моим данным, не слишком утешительна...»

Проездом через Мадрид, 28 октября 1936 года.

Ранним утром 27 октября полупустой экспресс Париж — Перпиньян — Барселона неторопливо переплыв франко-испанскую границу. По обе стороны от границы — белые пристанционные строения, полусонная рассветная тишина, казалось бы, никакой разницы. Но сегодня здесь проходила граница между войной и миром.

На пыльной привокзальной площади Лукача уже ждал автомобиль. Путь, сказали ему, будет неблизкий: в Альбасете через Мадрид — без малого пол-Испании.

Позднее Лукач напишет жене: «Ты знаешь, что я побывал на Востоке, был в Иране, Турции. В Испании мне пришлось бороться с теми ассоциациями, которые возникли у меня при виде пейзажей, сел и типажей испанского крестьянства. Мавританское владычество оставило на этом народе следы не только в культуре, но и во внешности... Страна богатая, а народ жил в бедности. Страна и красивая и суровая. Народ такой же».

В Мадрид Лукач прибыл поздно ночью и успел лишь вздремнуть. Раню утром 28-го, сменив штатский костюм на полувоенный — камуфляж отброшен, — он отправился доложить о своем прибытии в военное представительство СССР, недавно открытое в Мадриде. Несмотря на ранний час, весь немногочисленный аппарат военпредства — Горев и три его заместителя — был с головой погружен в работу. В комнате плавали сизые клубы папиросного дыма.

Старший советник Горев встал из-за стола и вышел навстречу Лукачу. Он был в костюме от лондонского портного, в петлице — красная гвоздика. Поди догадайся, что перед тобой комбриг РККА, которому к тому же сейчас «по совместительству» приходится выполнять обязанности советника штаба Центрального фронта. Лукач прибыл в Испанию по иной линии. Но его предупредили, что к мнению Горева ему стоит прислушаться.

— Что нового на фронте? Удалось ли республиканским войскам остановить продвижение мятежников к столице? — поинтересовался Лукач, после того как представился советнику.

Горев отрицательно покачал головой.

— Если б я не был дипломатом, я бы, пожалуй, сказал, что положение отчаянное. Но я, как вы знаете, выступаю здесь в качестве дипломата, хоть и военного. А потому скажу обтекаемо: на некоторых фронтах складывается неблагоприятная обстановка. — Видно было, что шутил Горев нехотя.

Перейдя на деловой тон, советник обрисовал положение. После падения Толедо путь мятежникам на Мадрид открыт. Разрозненные колонны республиканцев откатываются.

— Как с оружием? По-прежнему голыми руками? — встревоженно спросил Лукач.

— Первая танковая рота уже прибыла — неожиданным ударом разгромила целый табор марокканцев, произвела сильное впечатление по обе стороны фронта. Но коренного перелома в ход сражения за Мадрид внести, естественно, не смогла. Пехота за ней не пошла.

— Почему?

— Атака пехоты во взаимодействии с танками — искусство, его постигать надо.

— Может, трусили просто?

— Героев, готовых на самопожертвование, здесь как раз хватает. В этой стране смерть в своеобразном почете. Что действительно трудно, так это убедить людей, что солдатский труд, так же как и труд пахаря или, скажем, шахтера, требует каждодневной суровой и тяжкой работы. Именно работы, а не одноразовой вспышки энтузиазма или негодования.

— А куда смотрит командование фронта? — недоуменно поинтересовался Лукач.

— Единое командование существует лишь на бумаге. И пока премьер-министр Кабальеро не доверяет коммунистам, своим союзникам по Народному фронту, а теперь и по кабинету министров, будет как у Крылова: лебедь рвется в облака, а щука тянет в воду.

— Так что же, сплошные поражения?

— Как ни парадоксально, но, может быть, именно после поражений появились обнадеживающие симптомы, — вступил в разговор помощник военного атташе Ратнер. — Бойцам милиции надоело бегать от врага. За битого двух небитых дают? Так вот теперь они уже битые. Теперь они огрызаются и именно отступают, а не бегут. Вот вам пример. Всего двадцать дней понадобилось войскам Франко, чтобы проскочить почти триста километров от Бадахоса до Талаверы. А пятьдесят с небольшим километров, которые отделяют Толедо от Мадрида, его войска не могут одолеть вот уже целый месяц.

— На горьком опыте поражений большинство партий и профсиндикатов осознали, что регулярная армия нужна не коммунистам, а прежде всего Республике, — веско сказал второй заместитель Горева. Он был смугл и черноволос, в форме без знаков различия. Лукач сначала принял его за испанца, да и звали его странно — Ксанти. Говорил он медленно, со слегка заметным акцентом, но не испанским.

— Пятый полк, созданный коммунистами, захлебывается от притока добровольцев. Милисианос поняли — пусть там дисциплина построже, зато порядка побольше. Полк этот давно уже перерос все мыслимые границы — числится в нем сейчас без малого тридцать тысяч бойцов. Жаль только, что подразделения его разбросаны по всем фронтам. Нужнее всего были бы они сегодня как раз здесь — для защиты столицы. А то ведь до чего додумался премьер Кабальеро: в Мадриде, мол, сражаться с врагом неудобно. Нечего создавать вокруг Мадрида цепь укреплений. Испанцам, по его мнению, претит воевать, зарывшись в землю. А сдать столицу врагу премьеру не претит?

— Мятежникам, для того чтобы придать видимость законности своей власти, только и недостает захвата столицы, — поддержал своего заместителя Горев. — Да и не только они этого ждут, но и те, кто готов признать их под любым благовидным предлогом. Вот почему мы считаем, что так называемые стратегические соображения о целесообразности сдачи Мадрида — на грани предательства.

Лукач так и подался вперед. Горев остановил его коротким жестом.

— Нет, я не хочу сказать, что военные советники премьера — предатели.

Но они предпочитают изобретать доктрины одна фантастичней и вредней другой. Все наши возражения отметаются: не знаете вы, мол, испанской психологии и специфики этой страны. А на самом деле все в самолюбие упирается. Самолюбие у кадровых военных здесь в некотором роде вопрос номер один. Вы еще с этим столкнетесь. Выслушают наши предложения, рассмотрят диспозицию, которую мы не одну ночь обмозговывали, — в углу рта у советника обозначилась горькая складка, — и из упрямства сделают все навыворот. Провалят задуманное, зато — по-своему.

Слушая, Лукач машинально массировал затылок, который ломило от недосыпа. Горев изучающе посмотрел на него.

— В этом смысле очень важно, как пойдут дела в Альбасете, мы многого ожидаем от интеркастей, которые там формируются. Сейчас они для обороны столицы необходимы как воздух. И не в последнюю очередь также — для демонстрации преимуществ регулярной армии перед добровольческой милицией. Пятый полк уже создал первую из бригад новой, регулярной армии. Теперь очередь за вами...

Альбасете, 28 октября — 10 ноября 1936 года.

Альбасете, небольшой белокаменный городок, был основан, как утверждали, еще римлянами. Осенью 1936-го, к моменту приезда Лукача, волею судеб он превратился в столицу интернациональных формирований. Так Альбасете именовался на официальном языке. Неофициально же городок этот с улыбкой называли в те дни Вавилоном.

Несмотря на самоотверженные усилия горстки энтузиастов, город оказался неподготовленным для приема тысяч иностранных волонтеров, хлынувших сюда со всех концов света. Проезжая мимо Пласа-де-Торрос, Лукач увидел, что даже под арками этого громоздкого сооружения — арены для боя быков — были устроены распахнутые всем ветрам и открытые всем взорам спальни для бойцов. Рядом чадила походная кухня. Но обитатели импровизированных казарм, похоже, не были ни обескуражены, ни возмущены. Среди них были люди разных возрастов — от шестнадцати до семидесяти — и, что сразу бросалось в глаза, разных профессий.

Кто же они, все эти люди? — спрашивал себя Лукач, с любопытством глядя в их лица.

«Красные наемники»? Так утверждают бургосские, лиссабонские, римские и берлинские газеты. Чушь! «Наемники» эти получают гроши.

Чудаки? Идеалисты-донкихоты? Фанатики? Искатели приключений? Такими эпитетами награждали интернационалистов лондонские, парижские и нью-йоркские издания, пытаясь объяснить это негостижимое для них явление.

Лукач вспомнил данные опроса, проведенного среди интернационалистов одним французским журналистом.

Первый из волонтеров оказался чернорабочим, второй — адвокатом, третий — токарем, четвертый — банковским служащим, пятый — студентом из Чикаго, шестой — врачом из Швеции, седьмой — металлургом из Франции, восьмой — преподавателем из Албании. Впрочем, албанцев набралась целая группа — они прибыли в Испанию прямо из военного училища в Турине.

— Научил их дуче на свою голову военному ремеслу, — рассмеялся Лукач, услышав об этом.

Вспомнился ему другой город и другое время, только вот люди себя вели точно так же. Было это за много тысяч верст, на другой стороне огромного материка Евразия. И белыми там были не стены домов, а сугробы. Но чувства, которые вели интернационалистов в заснеженном Красноярске начала 1920-го, были теми же, что в пыльном Альбасете 1936-го.

Из присяги иностранных волонтеров в Испании:

«Я стал добровольцем интернациональных бригад, так как у меня те же враги, что у испанского народа, — фашисты.

Так как я знаю, что если фашизм победит в Испании, завтра он придет в мою страну, в мой дом,

Я — доброволец и до последней капли крови буду бороться за спасение свободы в Испании и во всем мире».

В двухэтажном особняке на калле Веласкес, где находился штаб формирования интербригад, стоял многоязычный гомон. Из комнаты в комнату сновали люди в странной полувоенной одежде, мелькали кожаные куртки, краги, комбинезоны, эмблемы испанского и французского Народных фронтов — трехконечные красные звезды на беретках. А нередко — загадочные значки, символы неведомых Лукачу, но, наверное, подумал он, неплохих организаций, если те, на ком были эти эмблемы, оказались по эту линию фронта. Люди перетаскивали кипы бумаг и газет, винтовки и рулоны кумача, стопки одеял, краски и кисти.

Скользя взглядом по этой разношерстной толпе, Лукач пытался выловить из нее человека, который мог бы понимать по-немецки. Глаза его невольно задержались на долговязой сутулой фигуре, вышагнувшей в коридор из распахнутой двери.

— Людвиг!

Человек развернулся, напряженно и близоруко блеснул очками в тонкой золотой оправе и, узнав, радостно шагнул в его сторону. Не виделись они уже шесть лет. В их последнюю встречу на Международном конгрессе пролетарских писателей в Харькове в 1930-м оба, ветераны империалистической, много говорили о том, как помешать милитаристам развязать новую войну. Теперь они на этой войне встретились.

— Я рад, Залка, что ты тоже здесь, — сказал Людвиг Ренн.

— Лукач, — мягко поправил он его. — Здесь я Пауль Лукач...

— Пойдем, я представлю тебя начальнику базы. Эту должность теперь занимает Андре Марти — он недавно из Парижа. Организатор хороший, но человек вспыльчивый и, как бы это выразиться... В общем, не любящий возражений.

Ренн и Лукач вошли в просторный кабинет начальника базы как раз в тот момент, когда там началось совещание. Докладывал худой, аскетического вида, молодой итальянец.

— Это — Луиджи Галло, один из основателей базы, — вполголоса пояснил Ренн.

Лукач вспомнил, что видел этого человека в Москве на Моховой. Говорил Галло на французском и выговаривал слова жестко, но взволнованно, страстно. Вслушавшись в перевод на немецкий, Лукач сам заразился его волнением и возмущением.

— Под казармы на скорую руку приспособили даже конюшню. Вместо матрацев — солома. Людей кормим в три смены, одной и той же ложкой и тарелкой пользуются двое, а то и трое бойцов. Отделение Пятого полка в Альбасете и так последней рубашкой с нами делится. Вот и это помещение — от их щедрот. Потеснились, уступили нам половину здания. Возможности у компартии, тем более у ее ячейки в Альбасете, ограниченные. У испанского правительства возможностей больше. Но оно пока что с помощью не торопится.

И Галло рассказал, как принял Ларго Кабальеро первую делегацию интернационалистов. Премьер-министр встретил их стоя у стола. Он куда-то торопился, сам не стал садиться и делегатам не предложил, как бы подчеркивая, что аудиенция должна быть краткой. Ларго Кабальеро слушал молча, лишь иногда делая легкое нетерпеливое движение головой — то ли одобряя намерения иностранных волонтеров, то ли просто подтверждая, что слышит и понимает.

Тогда Галло решил взять быка за рога и изложил нужды интернациональных формирований. Международная помощь — продовольствие, одежда, транспорт, медикаменты, которые начинают поступать в Альбасете, могут быть только дополнением к основному. А основное — поддержка испанского правительства, в первую очередь в том, что касается вооружения. В ответ — то же неопределенное движение головой.

Прежде чем сесть, Галло торопливо добавил:

— Пусть не обижаются присутствующие здесь товарищи социалисты, но у Кабальеро какое-то нездоровое к нам недоверие. Он почему-то решил, что создание интерчастей на руку лишь Хосе Диасу и компартии.

Под впечатлением рассказа Галло на заседании штаба принимают решение: сделать все, чтобы устранить даже тень подозрений в партийной пристрастности, избежать недоразумений на этой почве с многопартийным испанским правительством.

Кто-то вносит предложение: запретить ношение партийных и профсоюзных эмблем, ведь добровольцы прибыли сюда не для того, чтобы рекламировать свои организации. В армии подобная пестрота знаков различия — помеха, ненужный повод для межпартийных распрей. Предложение проходит единогласно. Заодно решают положить конец и многоликости флагов и вымпелов.

— Флаг должен быть один для всех интерчастей,— настаивает майор Видал, начальник штаба у Марти.— Давайте остановимся на знамени республиканской Испании.

— Мы не можем запретить нашим людям красное знамя,— горячо возражает Галло.— Нас попросту не поймут — ведь это символ международной солидарности трудящихся...

Марти охлаждает пыл своего начальника штаба: красный флаг запрещать кощунственно. Но, считает он, на флаге не должно быть ни партийных эмблем, ни лозунгов.

Людвиг Ренн предлагает зафиксировать на бумаге принцип, который практически уже действует на базе: при назначении командиров и комиссаров учитывать лишь их личные качества и способности, а не партийную, национальную или социальную принадлежность. Марти хмурится. Он не доверяет социалистам, католиков презирает, но сейчас они союзники, и он вынужден согласиться.

Обсуждают предложение об особом статусе и повышенном денежном содержании бойцам-интернационалистам. Предложение поступило от испанских властей.

— Для семей волонтеров, оставшихся без средств к существованию, это единственная материальная помощь,— неуверенно напоминает кто-то.

Марти настаивает — предложение это необходимо отклонить.

— Таким образом мы выьем почву из-под ног у тех, кто утверждает, что интеровцы — наемники. А заодно оградим наши ряды от авантюристов, готовых воевать за любого, кто лучше заплатит. Наши части должны состоять из добровольцев, борцов за идею.

С этими доводами трудно не согласиться. Потому принимают решение ходатайствовать перед республиканским правительством о том, чтобы всем без исключения бойцам и командирам интерчастей было назначено денежное содержание, соответствующее «второму классу» испанской армии.

Так в Альбасете в конце октября 1936-го, на первых порах коллегиально, рождался негласный устав интернациональных бригад.

К 22 октября на альбасетской базе вчерне уже сформированы первые четыре батальона. Но на оружейных складах базы лишь около двухсот винтовок разных систем, в большинстве устаревшего образца, годных скорее для музея. В конце месяца получают наконец долгожданные винтовки. Многие из бойцов держат их в руках впервые, лица выражают недоумение и страдание.

Батальоны, получившие оружие, решают свести в первую интербригаду, которой предстоит войти в состав республиканской армии под порядковым номером Одиннадцатой. Командиром бригады назначают австрийского коммуниста Манфреда Штерна — здесь, в Испании, он известен под псевдонимом Эмиль Клебер.

Если судить по письму, отправленному Лукачем племяннице в Будапешт в конце октября, к этому времени он уже знает, что вторую интербригаду придется возглавлять ему.

«30.X.36. Альбасете.

Милая Лаурочка!

Здесь я разрабатываю тему большого романа. Роман будет написан в прозе, но будут в нем и поэтические элементы.

Это будет прекрасное произведение о коннице: три тысячи всадников будут играть в нем главную роль. И в то же время это будет произведение из современной истории Испании, и я заранее горжусь тем, что мне поручили его написать. Конечно, передо мной стоят нелегкие задачи и трудности велики, но это меня не пугает...

Нежно целую. Твой дядя Матео дель Мигельо. Ответа сюда не пиши. Я еду дальше...»

Лукач прибегает к шутливому иносказанию лишь для того, чтобы Лаура, зная о его участии в гражданской войне в России, поняла, что и здесь перед ним стоят те же задачи.

Что касается трудностей, то это, увы, не иносказание. Ведь бригада, которую ему предстояло возглавить, пока что попросту не существует. Была лишь голая идея, которую предстояло осуществить, нарастив на нее мышцы взводов, рот, батальонов, различных служб. Была уже отлично зарекомендовавшая себя в боях на Арагонском фронте центурия Тельмана — на ее базе решили создать немецкий батальон под тем же именем. Была итальянская центурия «Гастоне Соцци», которая могла стать костяком для батальона имени Гарибальди. Была неорганизованная масса добровольцев из Франции, Бельгии и ряда славянских стран. Было горячее желание помочь защитникам Мадрида. И была кандидатура Пауля Лукача на должность командира этой бригады. Кандидатура, которую Андре Марти встретил сдержанно. Ему, любившему исполнителей послушных и безропотных, Лукач с первого дня пришелся не по душе.

Однако последнее слово осталось за Мадридом — и Лукач был назначен комбригом.

Андре Марти: «...И тогда Лукач взял на себя такую ответственность, которую может взять только настоящий революционер-большевик: в 24 часа он обмундировал, вооружил всю бригаду и перебросил ее под Мадрид... Единственный упрек, который можно было бы предъявить генералу Лукачу, — это то, что он совершенно не считался с опасностью...»

Эти слова были сказаны уже после смерти Лукача. А в начале ноября 1936 года Лукачу-Залке приходилось творить свое последнее произведение — Двенадцатую бригаду, конфликтуя и ссорясь с Марти. Как оказалось, не составили даже списков добровольцев. Ровным счетом ничего не было известно об их профессиях, технических навыках, уровне военной подготовки.

В чем Лукачу определенно повезло, так это в коллективе, который постепенно сложился в штабе Двенадцатой. С первых же дней в нем оказались люди не просто толковые и не только талантливые, но и близкие ему по духу. Дружба с ними поддерживала его до последнего дня жизни. А товарищи по бригаде сохранили ей верность на многие десятилетия после его смерти.

Начальником штаба (позднее — советником при бригаде) был назначен коронель Фриц, якобы немецкий офицер из рабочих, дослужившийся до полковника. Это — по легенде. А на самом деле — комбриг РККА Павел Иванович Батов

После него начальником штаба станет болгарин Белов, бывший артиллерийским офицером еще во время империалистической и воевавший на Балканах. Это — и по легенде и на самом деле. Только настоящее имя его Карло Луканов, и он, эмигрировав в годы разгула реакции из Болгарии в СССР, окончил там военную академию.

Комиссаром бригады по его собственной просьбе — он хотел уйти на фронт вместе со своими товарищами-гарибальдийцами — становится Луиджи Галло. На самом деле — Луиджи Лонго, член ЦК итальянского Союза коммунистической молодежи.

Начальником тыловых служб бригады вскоре станет Отто Флаттер, которого Марти придерживал в роли рядового интенданта. А между тем этот человек был известен как один из первых организаторов интернациональных частей еще в Сибири в годы гражданской войны. Для Лукача Флаттер был старшим другом. Комбриг вытащил его из Альбасете, добился присвоения ему звания майора и ввел в состав штаба Двенадцатой. Подлинное имя этого человека было Ференц Мюнних.

Артиллерийской батареей, приданной бригаде, командовал Мигель Баллер — соратник Лукача еще по гражданской войне, его соотечественник, венгр Режé Санто.

Начальником охраны штаба, а затем — адъютантом генерала Лукача станет Алексей Эйсер, приехавший в Испанию из Парижа по линии Союза возвращения на родину.

Командиром 1-го батальона Тельмана назначен бывший прусский офицер, известный немецкий писатель-антифашист Людвиг Ренн.

Позднее штаб пополнится болгарским полковником Петровым, который станет заместителем командира бригады, испанским художником Херасси, из которого получится отличный начальник оперативного отдела, итальянскими, польскими, французскими, испанскими командирами.

«Коллектив вокруг него, штаб, командиры... составили боевое братство, изумительно бодрое, веселое, изумительно жизнеспособное и жизнерадостное, — вспоминал Михаил Кольцов, — Залка умел их цементировать»...

Лукач знал, что Франко поклялся своим немецким и итальянским союзникам взять Мадрид 7 ноября, с тем чтобы «омрачить праздник марксистов».

4 ноября войска мятежников неожиданным броском захватывают аэродром Хетафе и врываются в один из городских кварталов — Верхний Карабанчель. 5 ноября штаб альбасетской базы получает приказ о немедленной отправке на фронт в основном сформированной Одиннадцатой интербригады. 6-го из штаба безуспешно пытаются дозвониться до Мадрида: все телефоны военного министерства молчат. Вечером стало известно, что несколько часов назад правительство признало положение столицы безнадежным и выехало в направлении Валенсии.

В ночь с 6 на 7 ноября в штабе альбасетской базы с тревогой ждали сообщения о падении Мадрида. Утренняя телефонограмма о том, что Мадрид продержался эту ночь, что рабочие и милиция не помышляют сдавать столицу, было воспринято с ликованием. Несмотря на бомбардировки города и яростный штурм марокканцев, 7 ноября все атаки также были отбиты. Этот день стал двойным праздником — в Мадриде, Альбасете и в Москве.

9 ноября первая интербригада (отныне Одиннадцатая) вступает в бой. Таким образом, со дня ее формирования и до переброски на фронт проходит немногим более двух недель. В Альбасете справедливо считают, что военная подготовка бойцов явно недостаточна. Поэтому на заседании штаба базы еще 5 ноября принимается решение о том, что вторая бригада, к формированию которой только приступили, должна пройти как минимум месячные учения.

Это благое решение отменяют через четыре дня. 9-го приходит приказ о немедленной отправке на фронт и этой интербригады. Сначала Лукач даже верить отказывается.

— Понимаете ли вы, что бригады не существует! — пытается втолковать он Марти. — Отдаете ли вы себе отчет в том, что значит вести в бой людей, половина из которых никогда не держала в руках винтовки, а бойцы даже не знают в лицо своих командиров?!

Засунув руки в карманы бриджей, широкими быстрыми шагами он меряет просторный кабинет начальника базы.

— Товарищ Лукач, видимо, не хочет понять, что в данном случае это акция не столько военная, сколько политическая, — жестко настаивает Марти. — Сам факт появления интернационалистов на фронте должен поднять боевой дух защитников Мадрида и вдохновить их на еще более упорное сопротивление.

— Бесславная гибель одних никогда еще не воодушевляла других, скорее наоборот — обескураживала, — возражает Лукач. — И оттого, является ли эта авантюра военной или политической, суть ее для тех, кому предстоит погибнуть, не меняется.

— Да, новая бригада существует пока лишь на бумаге. И все-таки необходимо, чтобы она завтра же отправилась на фронт, — поддерживает начальника базы комиссар Галло. — Мы на ходу вооружим и обмундируем как можно больше людей — доукомплектовать бригаду можно ведь и в пути...

Побледневший Лукач на мгновение теряет контроль над собой:

— Вы ведь поведете людей не на митинг, а на убой. Я отказываюсь выполнять это непродуманное и безответственное решение...

Коронель Фриц останавливает Лукача и просит слова. Неторопливо, чтобы успевал переводчик, спокойно и веско он излагает свою точку зрения. Все внимательно слушают, что скажет начштаба Двенадцатой бригады: среди присутствующих он — единственный кадровый офицер.

— Добровольцы ехали на войну, где, как известно, без жертв не бывает. Так что, думаю, все они готовы к тому, что могут погибнуть. Безусловно, священной обязанностью командования является обеспечение такой подготовки и такой работы всех служб, которые сведут до минимума потери среди личного состава. Но положение испанской столицы сейчас таково, что помощь нужна именно завтра. Когда бригада будет обучена, эта помощь может уже не понадобиться.

Поэтому, отдавая себе отчет в трагических последствиях, которые это решение может иметь для бригады, я считаю, что приказ необходимо выполнить.

Коронель Фриц вносит компромиссное предложение, за которое все присутствующие на совещании с радостью ухватились. Так как бригада практически еще не существует и нет даже списков личного состава, подчеркивает начштаба, не следует считать трусами или дезертирами тех, кто, не умея стрелять, чувствует себя не готовым сейчас же идти в бой.

Торопясь закрепить принятое решение, Андре Марти крикнул дежурного офицера и приказал играть сбор.

— Зачем же ты так, Фриценька? — недоуменно спрашивает Лукач у своего начштаба, с которым за несколько дней успел сдружиться.

— Затем, — тихо и серьезно отвечает ему по-русски полковник Фриц, — что тебя бы сейчас попросту отстранили от командования. А мы с тобой сделаем все возможное, чтобы уберечь людей, и не позволим за просто так погубить бригаду.

Первым перед пестрыми и пока что нестройными рядами бригады выступил сам Марти. Сказал он о тяжелом положении Мадрида, упомянул и о том, что те, кто не уверен в себе, могут пока остаться в Альбасете. А затем представил бойцам их командира — «венгерского революционера и генерала».

Свое выступление перед бригадой Лукач начал на немецком. «Три немецкие роты выслушали речь на родном языке со всем вниманием. Все прочие слушали внимательно, не понимая.

А Лукач, вместо того чтоб возвратиться на свое место, еще ближе придвинулся к перилам, взялся за них сильными белыми руками, секунду поразмыслил и доверчиво наклонился к нам:

— Товарищи, я буду говорить с вами на языке Октябрьской революции...

Будто порыв ветра по лесу, по рядам пробежал взволнованный трепет. Обращаясь к своей бригаде по-русски, генерал Лукач должен был знать, что во всех трех батальонах вряд ли наберется и тридцать человек, могущих понять его. И тем не менее, заговорив на недоступном для его бойцов языке, он не ошибся. Единственного дошедшего до всех слова «товарищи» оказалось довольно, чтобы, ничего, по существу, не поняв в его речи, люди схватили в ней самое главное, как раз то, что он и хотел сказать: этот «венгерский генерал» знает язык Октябрьской революции... Так рассказал об этом митинге на плацу в Альбасете его участник Алексей Эйсер, ставший вскоре адъютантом и другом Лукача.

Когда бригада двинулась к вокзалу, жители Альбасете высыпали на улицы на всем пути ее следования. К колоннам бойцов подбегали женщины, старики, чумазые ребятишки. Они насильно совали в руки смущавшимся волонтерам корзины с хлебом и фруктами, жареными курами, кусками телятины и свинины, бурдюки с вином. Растроганные волонтеры благодарили на многих языках мира...

(Рассказывая о первых проходах интернационалистов на фронт, упомянем забегая вперед и о последних их проходах. Ведь наше повествование поневоле оборвется раньше, чем это случится.

В 1938 году правительство республиканской Испании, возглавляемое к тому времени социалистом Хуаном Негрином, начнет в Швейцарии переговоры с представителями Лиги Наций о выводе с территории страны всех иностранных войск. В качестве жеста доброй воли оно первым объявит о роспуске интербригад.

28 ноября 1938 года, через два года после вступления в бой первых интернациональных формирований, население Барселоны проводит бойцов интербригад цветами и слезами благодарности. Они покидали Испанию и, разоруженные, уходили во Францию. Уходили непобежденными: незадолго до этого в одном из крупнейших сражений национально-революционной войны в Испании — битве на Эбро — при их активном участии на протяжении тридцати километров был прорван фронт и далеко отброшены франкистские части.

Фашистские союзники Франко и не подумали в свою очередь покинуть Испанию. На стороне мятежников продолжало сражаться более пятидесяти тысяч солдат регулярной армии дуче, шестнадцать тысяч немецких «советников», в том числе легион «Кондор», и несколько тысяч португальских «добровольцев», объединенных в легион «Вириат».

Если испанцы провожали интернационалистов цветами, то по ту сторону Пиренеев, во Франции, их ждал иной прием. Как только они пересекли границу, французские власти, верные принципу «невмешательства», интернировали их. И тысячи интеровцев, борцов за чужую свободу, потеряли свою — они оказались за колючей проволокой лагерей Верне, Гюр, Аржель-сюр-Мэр, Сен-Сиприен и ряда других под охраной жандармерии и сенегальских частей.

После начала второй мировой войны, которая была уже не за горами, когда территория Франции будет оккупирована немецкими войсками, правительство Петена выдаст многих узников-интернационалистов в руки гестапо. Но немало бывших бойцов интербригад, не дожидаясь подобной участи, уйдут из лагерей и вольются в ряды движения Сопротивления во Франции, Югославии, Италии...

Согласно последним, уточненным данным за весь период войны в Испании на стороне Республики сражались около пятидесяти тысяч иностранных добровольцев:

французов — восемь с половиной тысяч,
 поляков — пять тысяч,
 немцев — около пяти тысяч,
 итальянцев — около четырех тысяч,
 более трех тысяч волонтеров из Соединенных Штатов Америки,
 югославов — более полутора тысяч,
 бельгийцев — две тысячи,
 две тысячи англичан,
 столько же — австралийцев,
 почти полторы тысячи чехов и словаков,
 около тысячи венгров,
 восемьсот пятьдесят кубинцев;
 сотни швейцарцев и шведов, румын и молдаван, норвежцев и финнов, русских эмигрантов, а также датчане и мексиканцы, евреи и греки, арабы и китайцы, представители многих других национальностей.

В общей сложности — добровольцы из пятидесяти четырех стран мира.

В Испании на стороне Республики сражались около трех тысяч советских военных и гражданских специалистов.

Около восьми тысяч интернационалистов навечно остались лежать в земле Испании. Часть — на мемориальном кладбище интернационалистов в Фуэнкаррале. Остальные — по всей стране, повсюду, где шли бои за свободу, против фашизма.

Почти столько же погибло в концлагерях или же преследуемые властями собственных стран.

Но и судьбы тех, кто остался в живых, сложатся неоднозначно и непросто.

Бельгийские офицеры по возвращении на родину будут разжалованы и преданы суду согласно закону, воспрещающему службу в армии иностранной державы.

В Англии, консервативная верхушка которой останется вполне удовлетворена плодами своего «невмешательства», к бывшим бойцам-интернационалистам проявят демонстративную терпимость — их не станут преследовать.

В Соединенных Штатах в печально прославленные времена «охоты на ведьм» ФБР извлечет на свет все досье, которые велись на волонтеров-линкольновцев, и они предстанут перед комиссией конгресса по обвинению в «подрывной деятельности».

В Венгрии, Болгарии, Югославии, ГДР после их освобождения и установления в них социалистического строя оставшиеся в живых ветераны интербригад займут видные посты в общественных организациях и государственном аппарате.)

Чинчон — Серро-де-лос-Анхелес (под Мадридом), 10—16 ноября 1936 года.

В ночь с 10 на 11 ноября три батальона Двенадцатой интернациональной перебрасывают по железной дороге из Альбасете поближе к Мадриду, на станцию Мансия. Но машин, которые должны ожидать здесь бригаду, нет. Лишь к полудню 11 ноября прибывает колонна грузовиков и автобусов. Их явно недостаточно, чтобы перевезти три тысячи бойцов. В результате в пункт сбора — го-

родок Чинчон на юге от Мадрида — первые подразделения прибывают в семь вечера, последние подтягиваются лишь в полночь. Лукач серьезно встревожен.

— Если проводочки не сократить хотя бы вдвое, с бригадой можно распрощаться. — делится он своими опасениями с Фрицем. — Придется вводить ее в бой по частям. По частям противник ее и перемелет.

Дело в том, что в Чинчоне комбрига уже ждал мотоциклист из штаба фронта с приказом перебросить бригаду на передовую к четверем утра и, «используя предрассветную темноту, войти в соприкосновение с противником». Горнист, разорвав ночную тишину над сонным городком, играет сигнал сбора. Командиры и комиссары рот и взводов мечутся по узким улочкам Чинчона в поисках шоферов — те разбрелись по домам на ночлег. Лукач и офицеры штаба ждут на центральной площади. Часы на городской башне бьют три часа, потом четыре. С трудом удается разыскать лишь половину водителей. Однако ехать соглашаются далеко не все. Одни говорят, что не хватит горючего, другие — что в Мадриде распорядились доставить бригаду в Чинчон, и на том — баста. Находятся и такие, которые отказываются работать ночью, ссылаясь на трудовое законодательство.

— Это что, саботаж или тоже специфика? И что прикажете делать — уговаривать или расстреливать по законам военного времени? — спрашивает комбриг у комиссара Галло.

В пять тридцать утра Лукач отдает приказ играть отбой.

— Выступление сорвано, — говорит он на экстренном заседании штаба. — Новобранцы не спали уже двое суток. Не стоит им рассказывать, что оно сорвано по вине водителей. Объявим, — принимает решение Лукач, — что это была учебная боевая тревога. А вот с транспортом надо что-то решать...

Утром комбриг собирает шоферов и через переводчика пытается им объяснить, что такое военное положение и дисциплина.

Через несколько дней в письме домой Лукач напишет:

«Испанский народ — великий народ. Старый народ. Интересный и порой непонятный. В военном деле потрясающая наивность. Еще месяц тому назад испанец ни за что не ночевал бы в поле, в полевом карауле, в окопах... боже избавь! Сейчас уже окопы не до колен, а вырыты как следует, и бойцы умеют стрелять не только в землю перед собой, но и в неприятеля. Это очень важно»...

12 ноября в полдень комбриг в сопровождении комиссара Галло и полковника Фрица отправляется в штаб сектора. Принимает их командующий сектором полковник Касадо. Он делает выговор за срыв выступления, и возражать ему трудно. Командиры Двенадцатой просят предоставить им карты района боевых действий. В ответ Касадо указывает на единственную карту, висевшую в его кабинете. С явным неудовольствием он разрешает, чтобы с карты этой сняли несколько калек. Кальки получаются полуслепыми, для не знакомых с местностью интеровцев — загадочными, как арабские письма. На вопрос о стратегической цели операции полковник Касадо в утивых выражениях ответить отказывается.

— Единственное, что от вас требуется, это решительно наступать на вверенном вам направлении, — с улыбкой наставляет он офицеров бригады. — Покажите нам, как умеют наступать люди Коминтерна.

Лукач и его товарищи покидают штаб сектора в недоумении. Испанское население повсюду восторженно встречает интеровцев. И бойцы бригады, понимая, что это лишь аванс, который им еще предстоит оплатить, рвутся в бой. От командующего сектором энтузиазма не ждали. От него ждали помощи. Пока автомобиль пылит по дороге в Чинчон, Лукач пытается восстановить в памяти, кого же так остро напомнил ему этот испанский офицер, за чопорной учтивостью которого проглядывали... ирония? недоверие? враждебность? И Лукач вспоминает. Было это двадцать лет назад: так же держал себя австрийский полковник на Добердо, когда беседовал с офицерами чехословацкого батальона, которых вынужден был терпеть, но презирал как солдат и как подневольную нацию.

Ночью с 12 на 13 ноября посадку на машины начинают загодя, в полночь. В два часа Лукач лично обходит ряды урчащих в темноте грузовиков. И убедившись, что на этот раз все на местах, со смаком командует по-русски:

— Трогай!

Грузовики с погашенными фарами двигаются в темноте почти на ощупь.

Тридцать километров они с трудом преодолевают за четыре часа. Один грузовик на повороте перевернулся. С водителями десятка других темень сыграла злую шутку — они проскакивают нужный поворот и напрямик уходят в Мадрид, увозя добрую треть бойцов батальона Гарибальди.

Под утро бригада сосредоточивается в районе деревни Ла-Мараньоса. Только здесь выясняется: совместно с испанскими частями она должна взять штурмом цитадель на Серро-де-лос-Ангелес. Зачем? Гора Ангелов, объясняют Лукачу командиры смежных испанских колонн, является геометрическим центром Испании, и захват ее будет весьма символичным.

То, что боевое крещение бригада должна принять на горе с подобным названием, вызывает много смеха и шуток среди бойцов.

Но Лукачу, едва он ознакомился с обстановкой на местности, становится не до смеха. Склон холма, на вершине которого стоит цитадель, совершенно гол.

— Как тут осуществить «скрытое сближение с противником»? — спрашивает Лукач у Фрица. — Подобным хитростям вас в академии, случаем, не учили?

Франкистскому гарнизону цепи наступающих интеровцев видны как на ладони. Не торопясь мятежники готовятся к отражению штурма. Генерал видит в бинокль, как запыхавшихся бойцов, добравшихся до вершины после часового восхождения, встречают пулеметные очереди и снаряды хорошо пристрелянной батареи. Прячась за реденькими деревьями оливковой рощи, бойцы бригады все-таки пытаются штурмовать крепость. Несколько смельчаков раздобыли где-то и подтащили к стенам садовые лестницы. Осажденные забрасывают их гранатами.

— Прав был Горев, предупреждая, что бездарных приказов здесь следует опасаться больше, чем вражеских пуль, — говорит Лукач. — Где это видано, чтобы необстрелянную часть с одними винтовками бросали в лоб на укрепления. Так и при Наполеоне не воевали...

Связной, посланный им в штаб сектора с просьбой поддержать наступление огнем тяжелой артиллерии, которая могла бы пробить бреши в метровой каменной кладке, возвращается с письменным ответом, из которого следует, что тяжелой артиллерии в республиканской армии вообще нет. Вместо этого штаб сектора посылает комбригу интернационалистов группу танков — в порядке демонстрации солидарности.

— На кой шут мне танки против крепости! — взрывается Лукач. — Для того чтобы привлечь себе на голову еще и авиацию?!

Бронетанковые силы солидарности в составе трех танков все-таки появились. Сделав для острастки несколько залпов — их снаряды отскакивали от стен, вышибая лишь каменную крошку, искры и пыль, — они неторопливо и величественно удалились.

— И правильно сделали, — одобряет Лукач. — У защитников Мадрида эти машины по пальцам пересчитать можно, а здесь их как мишени используют...

Но во франко-бельгийском батальоне имени Андре Марти отход танков воспринимает как свидетельство провала штурма. И батальон не просто покидает позиции, он бежит. Лишь у Ла-Мараньосы командование бригады остановило и пристыдило беглецов.

По этому делу было проведено следствие. Десятки бойцов засвидетельствовали, что первым закричал об окружении капитан Мулэн — командир батальона, с этого паника и началась. Но Мулэна разыскать и отдать под суд не удалось — он бесследно исчез. Был ли он подослан с целью дезорганизации или просто струсил в первом бою, что, конечно, выглядит несколько странно для кадрового офицера французской армии, так и осталось загадкой.

Темнота окутала гору Ангелов. Оттуда до КП бригады доносился лишь редкий перестук выстрелов. На рассвете в штабе состоялось короткое совещание.

Комиссар Галло, еще недавно считавший, что доукомплектование вполне можно закончить в пути, признает:

— Со всей очевидностью обнаружилось серьезные организационные недостатки нашей импровизированной бригады. Мы с генералом Лукачем всю ночь кружили по полю сражения. Разыскивали, не всегда успешно, командные пункты батальонов. Но даже командиры батальонов не имели надежной связи со своими ротами...

Командиры и начальники служб, понурые, с красными, воспаленными гла-

зами — шла третья бессонная ночь, — поочередно докладывали о потерях. Неудача со штурмом и в еще большей мере паническое отступление франко-бельгийского батальона произвели тяжелое впечатление. Многие прямо сказали, что согласны с комбригом — сырую, по существу, не подготовленную бригаду нельзя было бросать на фронт против регулярных войск противника.

— Ну а я с комбригом не согласен, — сказал Лукач. Несмотря на ранний час и на пережитое накануне поражение, он был чисто выбрит и выглядел усталым, но веселым.

Когда его реплику перевели на французский — официальный язык интербригад, — командиры встревоженно вскинулись, стараясь сообразить, ослышались они или же переводчик переврал.

— Да, да, я не согласен с Лукачем, то есть сам с собой, — продолжал генерал, ткнув большим пальцем себя в грудь, чтобы убедить не понимавших по-русски, что они не ошиблись. — Я опасался, что бригада развалится в первом же бою: бойцы в атаку не поднимутся или же побегут при первых выстрелах. Короче, опозорится бригада. И убедился, что был не прав. То, как держали себя в цепи да и перед цитаделью наши необстрелянные бойцы, восхищения достойно. Вы ведь почти все воевали? Так вспомните свои ощущения во время первого боя. Кажется, что ты беззащитен и гол, а все пули и снаряды нацелены именно в тебя. Ведь так? А наши люди не дрогнули, дошли до самых стен крепости. А что не взяла ее — чепуха. Мы с вами войну видели и понимаем: в подобных условиях приказ этот и выполнить-то было невозможно...

У русских есть такая пословица, — видя, что командиры несколько воспрянули духом, продолжил Лукач, — первый блин комом. А я считаю, что первый наш блин, товарищи, не совсем комом. Будем рассматривать этот день как разведку боем, разведку наших с вами возможностей и способностей. Мне кажется, мы ее выдержали. Точнее — выдержали сами бойцы. Люди у нас замечательные, прямо-таки героические. И наша с вами первейшая обязанность — беречь их.

Теперь о том, что касается наших возможностей, — уже более строгим, деловым тоном продолжил генерал. — Как говорят, нет худа без добра. Одержим мы победу, пусть маленькую и частичную, но все-таки викторию, и структура бригады закостенела бы в своих ошибках. Все наши недостатки стали бы считать чуть ли не достоинствами. Во всяком случае — как нечто само собой разумеющееся, чуть ли не нормальное явление в бою. И то, что солдат не кормили целый день, — голос Лукача стал жестче, и он посмотрел на интендантов, — и то, что раненые искали медпункты по несколько часов, и то, что батальоны без связи со штабом и без координации между собой воевали. Неудача же выявила все наши грехи, теперь они как на ладони. И мы их будем замалчивать. Как? — Лукач сделал паузу. — Мы тут с коронелем Фрицем посоветовались и решили, что многое в бригаде надо менять, если хотим уберечь бойцов и к тому же еще врага бить. И менять будем начиная с командиров и кончая распорядком работы служб. Делать это надо немедленно. Так что уж не взъежитесь за поспешность, времени нам отпущено мало, скоро опять в бой. Поздравляю всех с боевым крещением бригады. Совещание окончено. А теперь немедленно всем отсыпаться, спать, спать!..

Сразу же после того как бригаду отвели в Чинчон, офицеры штаба принялись наводить порядок. Проявивших нерешительность и безынициативность командиров и комиссаров подразделений сняли. Спешно принялись учить солдат стрелять и бросать гранаты.

«Особую распорядительность и находчивость проявил Лукач, — рассказывал об этих днях Батов. — Едва наступало затишье, генерал приказывал командирам выявлять неполадки, учить подчиненных искусству боя. Это была самая оригинальная академия, которую я знал. Лукач сам часто приходил на эти занятия, внимательно слушал, иногда спрашивал, давал советы».

Успех в реорганизации бригады всего за сорок восемь часов пребывания в Чинчоне был достигнут, по общему мнению, поразительный. Отныне взводы и роты, входящие в батальон, представляли собой не отдельные группы вооруженных людей, а единое целое.

Бригада Лукача стала первой бригадой в Испании, организовавшей телефонную связь. Через час после того, как батальоны Двенадцатой занимали но-

вые позиции, из штаба бригады можно было разговаривать со всеми КП батальонов, с наблюдательным пунктом батареи, с Мадридом...

И еще одно важное решение принимает в те дни Лукач — создать собственный автопарк.

— Знаете, сколько машин нам необходимо, чтобы бригада была на колесах? — вопрошает комдив. — Я подсчитал. Нам нужно как минимум семьдесят пять грузовиков и хотя бы пятнадцать легковых.

— А где их взять? — резонно спрашивают его.

Комбриг продумал и это. Колеса по дорогам вокруг Мадрида, он обратил внимание на сотни брошенных автомобилей. А между тем некоторые из них имели пустяковые повреждения.

— Если свезти эти бездыханные и бесхозные машины в одно место и подойти к делу с душой и любовью, — говорит он, — из двух-трех разбитых, отлично можно смонтировать хотя бы одну полноценную и вдохнуть в нее новую жизнь...

«Лукач отлично разобрался в незнакомой обстановке, — пишет М. Кольцов в своем «Дневнике», — завел себе лихих завхозов-толкачей, развил громадную деятельность. Бригада почти не выходит из боев, но Лукач нашел время организовать и оружейно-ремонтную мастерскую, и прекрасный лазарет, и швальню, и прачечную, и библиотеку, и автопарк, о размерах которого ходят легенды».

Но прежде чем дела в бригаде наладились, Лукачу предстояло решить еще одну непростую задачу — навести порядок во франко-бельгийском батальоне. Его бойцы и командиры болезненно переживали конфуз под Серро-де-лос-Анхелес. И это порождало своеобразную браваду. Некоторые бойцы батальона стали щеголять в анархистских красно-черных платках и требовали, чтобы приказы командования обсуждались на общем собрании.

Однажды перед Лукачем предстал пьяный боец батальона, посланный парламентаром от группы анархистствующих волонтеров. Боец выругался и схватил генерала за плечо. Лукач не раздумывая на глазах у вышедшей из повиновения толпы ударом кулака сбил его с ног. Друзья подхватили нокаутированного и унесли. Толпа затихла. Комбриг сел в машину и уехал.

— Пропадает батальон, — сказал он своему адъютанту.

В конце концов пришлось Лукачу пойти на крайнюю меру — он приказал арестовать командира и комиссара батальона и отправить обоих в Альбасете — пусть Андре Марти сам разбирается со своими кадрами.

И батальон быстро преобразился. Поняв, что с комбригом при всей его внешней мягкости лучше все-таки считаться, смутьяны сняли красно-черные платки, прекратили обсуждать приказы командования и стали воевать. И воевали отлично.

Университетский городок, Мадрид, 17—27 ноября 1936 года.

К началу ноября 1936 года Франко, захватив с помощью своих итало-германских союзников пол-Испании, уверен, что Республика в агонии, а Мадрид — у его ног. Но ни 7 ноября, ни через месяц, ни даже через год в открытом бою франкисты так и не смогли взять столицу.

«Случилось то, чего никто не ожидал. Случилось «чудо Мадрида», как это называют буржуазные газеты, — пишет Лукач домой. — «Чудо Мадрида» состоит в том, что враг, буквально находящийся на пороге города (столицы, черт побери!), не может в нее прейти. «No pasaran!» Этот лозунг порой звучал для нас самих некоторой наивной иронией, когда мы уже дрались в предместьях города. Но уже проходит второй месяц мертвой схватки, и враг ни шагу не сделал вперед»...

В это чудо внесла свою лепту и Двенадцатая бригада.

17 ноября Лукач получает приказ перебросить бригаду в Мадрид, в район Университетского городка. Совсем недавно, до мятежа, здесь велись споры чисто академические. Теперь этот клочок земли превратился в место противоборства двух непримиримых идеологий и тысяч вооруженных людей.

В газете «Voluntario de la Libertad» — «Доброволец свободы» — в этот день появляется следующее обращение:

«Народ Мадрида!

Мы извещаем тебя о твоём новом друге — 12-й интернациональной бригаде. Преодолев все трудности, она уже провела ряд военных операций к югу от Мадрида. Приняв суровое боевое крещение, она продвинулась теперь ближе к сердцу мира, которым в настоящее время являешься ты, храбрый и свободный Мадрид...

Мы пришли из всех стран Европы, часто — против желаний наших правительств, но всегда с одобрения рабочего класса. В качестве его представителей мы приветствуем испанский народ из наших окопов, держа руки на пулеметах...

12-я интернациональная бригада сплочена и защитит ваш город так, как если бы это был родной город каждого из нас. Ваша свобода — наша свобода! Ваша борьба — наша борьба.

Салют, камарада!»

«Все, что есть здорового, честного и прогрессивного на земле, стоит на нашей стороне, — заявляет в эти дни Хосе Диас. — Тысячи антифашистов уже готовы сражаться вместе с нами. Кроме того, нам оказывают помощь также и народы Советского Союза».

«Здесь наша родина очень популярна — и не без основания», — с гордостью пишет Лукач жене и дочери.

Когда бригада направляется к передовой, комбрига Двенадцатой настигает приказ из штаба сектора. Генерал Клебер предписывает ему сменить измотанную в боях Одиннадцатую интербригаду, и при этом — не иначе как днем 19 ноября.

— Даже двадцать лет назад, на проклятом нашими гонимыми плоскогорье Добердо, хорошо оборудованном окопами и траншеями, дневная смена частей считалась самоубийством, — недоумевает Лукач. И отправляет в штаб сектора подробную докладную, в которой указывает, что смена будет происходить на виду у противника, и потому просит перенести ее на ночное время.

В масштабах Мадридского фронта генерал Клебер был одним из самых талантливых военачальников. В начале ноября газеты и журналы Мадрида называли его «спасителем Мадрида», и он в это поверил. Поверить же в то, что и он мог ошибиться, не пожелал.

Комиссар Галло снова уговаривает Лукача подчиниться.

В результате, едва вступив в бой в черте Мадрида, Двенадцатая бригада понесла большие потери. Заметив движение на позициях республиканцев, кадровые франкистские офицеры не преминули этим воспользоваться. Они пустили вперед танкетки, за ними — марокканцев. Батальон Гарibaldi, даже не успев дойти до предназначавшейся ему позиции, был выбит из Паласете.

«Начинается беспорядочное отступление. Командиры и комиссары частей с пистолетами в руках останавливают бегущих, стыдят их, заставляют повернуть назад», — вспоминает комиссар Галло об этой злосчастной для гарибальдийцев дневной смене.

Лукач возмущен. За что, спрашивается, их стыдить? И тем более — угрожать оружием? Разве виноваты рядовые бойцы?

Лишь благодаря контратаке итальянским волонтерам удается частично восстановить положение. На соседнем участке противник потеснил даже стойких и дисциплинированных тельмановцев. Славянскую роту, входившую во франко-бельгийский батальон, марокканцам удается полностью окружить. В этом бою погибла почти половина ее состава.

К вечеру в штабе подводят неутешительные итоги дня. На участке бригады противник продвинулся на глубину от трехсот метров до полукилометра. Франкисты заняли Паласете. Зато мост Сан-Фернандо, по которому проходит стратегически важная дорога на Лас-Росас, удалось отстоять.

На следующий день гарибальдийцы и тельмановцы по собственной инициативе пытаются вернуть утраченные позиции.

«К концу дня мы, по существу, остаемся на исходных рубежах — наша контратака провалилась», — вспоминает Галло. — Более двадцати процентов потерь за два дня боев — чрезвычайно высокая цифра, особенно если учесть ту,

дезорганизацию, которую эти потери вносят в наши части. Среди погибших немало командиров и комиссаров...»

Впрочем, приказ из штаба сектора с упреками в адрес бригады и с требованием восстановить положение их все-таки догоняет. И подписан он тем же Клебером.

Батальоны Двенадцатой трижды поднимаются в атаку и доходят до укреплений противника. Но противник оседлал гребни холмов. Трижды шквальный огонь пулеметов отбрасывает интеровцев, и они откатываются, унося убитых и раненых.

По мнению мрачного как туча Лукача, единственным положительным итогом этих двух дней явилось то, что франкисты отказались от мысли прорвать фронт на этом участке. Не могло же их командование предположить, что редущие цепи интеровцев, упорно вновь и вновь рвущиеся в атаку,— это все, чем располагало республиканское командование.

Комбриг собою недоволен. Там, где могло быть несколько раненых, где можно было сохранить господствующие позиции, положена пятая часть бригады и позиции утеряны. В конце концов — что для него важнее: доложить начальству о добросовестном выполнении непродуманного приказа в расчете, что его заметят и одобрительно похлопают по плечу? Или же — сохранить бесценные кадры интербригад, толково и с наибольшей отдачей используя их для защиты Испанской республики?

После двух операций — под Серро-де-лос-Анхелес и в Каса-де-Кампо — вопрос для него разрешается сам собой. Впредь Лукач положил себе бороться против поспешных приказов, которых при многоначалии, во взвинченной обстановке первых недель обороны Мадрида было немало.

«Фуэнкарраль, под Мадридом. 20.XI.1936.

Мы держим фронт, несмотря на большие трудности. Их здесь побольше и они посложнее, чем в 1917-м (это странная, восточная смесь 1905 и 1917-го). Но мне приходится смотреть на это не спокойными, равнодушными глазами объективного наблюдателя, а глазами человека, которому нужно напрячь все силы, чтобы исправить положение. Пока еще это не удалось — есть только глубокая уверенность, что в конце концов это придет...» — пишет он домой.

Ссорился Лукач с Клебером, спорил до хрипоты с Миахой, испанским генералом, возглавлявшим оборону Мадрида.

«Бригада, как и все интернациональные бригады, была ударной, хотя и не называлась так,— вспоминает Овадий Савич.— Ее все время перебрасывали с одного участка фронта на другой, всегда — трудный. Залка бушевал в штабе армии, защищая интересы солдат, и его не останавливали ни расстояния, ни время, ни служебная иерархия. В штабе фронта он заслужил прозвище «беспокойного генерала»...»

21 ноября франкистские части наступать не пытаются. Упорные атаки интеровцев, предпринятые накануне, их явно смутили. Они подтягивают технику и закрепляются в домиках по гребню холмов.

А бойцы Двенадцатой — под открытым небом. Позиции превратились в болото. Косой, назойливый дождь не утихает ни на минуту. Кое-кто из волонтеров, вконец измотанный трехдневными боями и не утихающими даже по ночам перестрелками, засыпает прямо на мокрой траве или в грязи неглубоких, насупех вырытых окопчиков, больше похожих на ячейки.

«Не скрою от тебя,— пишет Лукач жене,— что все это не дается легко. Мне поручены тысячи жизней и важнейшие задачи, которые требует разрешить текущая история. И хотя частично приходится переступать через собственное сердце, я убежден, что жертвы, которые мы принесли и принесем за дело этого бедного народа, принесут чудные плоды в будущем».

Мятежники, выяснив с помощью воздушной разведки, что им противостоит лишь одна бригада, тонкой цепью растянувшаяся по всему фронту, вновь пытаются прорваться.

Донесение Лукача от 22 ноября 1936 года (обнаруженное в архивах в 60-х годах) гласит:

«9.30 утра по мадридскому времени.

Артиллерия неприятеля начала с 7.40 интенсивный обстрел нашей позиции. Тенденция огня дает повод предполагать, что неприятель хочет атаковать в направлении Университетского городка. По этому направлению — сильный огонь гранатами и шрапнелью (и тяжелая артиллерия бьет). Необходимо укрепить этот участок частями пехоты.

Моя бригада стоит от реки — Паласета — корпус медицины (включая). Резервов у меня нет. Танки еще не подошли.

Комбриг П. Лукач».

Зато у франкистов нет недостатка в танках — каждый день они получают все новое военное снаряжение немецкого и итальянского производства. И все-таки танковая атака на здание медицинского факультета, поддержанная табором марокканцев, отбита. Помогли толстые стены этого корпуса. Но главное, волонтеры — это был франко-бельгийский батальон — уже почувствовали себя солдатами...

Франко в который раз поклялся, что Мадрид будет взят 25 ноября.

В два часа ночи темнота взорвалась яростной перестрелкой. Небо осветилось сполохами взрывов и рваными строчками трассирующих пуль. Мятежники в расчете на неожиданность атакуют под покровом тьмы. «Эту атаку полностью отбила Двенадцатая (Вторая) интернациональная бригада, — записывает Кольцов в дневнике 24 ноября. — Бой очень жестокий. В Университетском городке борьба идет за каждые десять метров».

Командование мятежников прибегло к новой тактике: вместо того чтобы гнать в мясорубку изрядно поредевшие в последних боях ударные части мавров и иностранного легиона, франкисты смешивают кадровых бойцов с насильно мобилизованными, с тем чтобы получить преимущество в численности. То, что из-за понесенных потерь состав частей противника изменился, не прошло незамеченным и для Лукача.

«На нашем фронте сражаются мавры — храбрые солдаты, но темный, наемный народ, Франко чувствует, что этого мало. Он мобилизует население в армию, и это хорошо, — приходит Лукач к неожиданному выводу в своем письме. И разъясняет парадоксальность своего суждения: — Мы же знаем, к чему это привело у Деникина и Колчака. Словом, скоро придет 1919 год, придет и 1920-й».

Ему очень хочется в это верить.

Двенадцатая интербригада ничего особенного пока что не совершила — она лишь остановила продвижение врага на вверенном ей участке. Но в республиканском Мадриде осенью 1936-го и этот скромный успех был сенсацией. Тема интернациональных бригад оказалась на первых страницах не только республиканских газет, сообщения о них появились и в иностранной прессе. Бригада еще стояла в Университетском городке, когда с тыла, из Мадрида, ее атаковали иностранные корреспонденты.

Невзирая на сальвакондуктас — пропуска, выданные иностранным корреспондентам мадридскими военными властями, — комбриг отказался допустить их на позиции и развернул обратно, в столицу.

Позднее вокруг штаба Двенадцатой сгруппируется дружный коллектив литераторов, приехавших в Испанию в качестве военных корреспондентов. На первых же порах осторожный Лукач журналистскую братию не жаловал. И потому, что боялся, как бы кто из них не был убит или ранен в расположении бригады. И потому еще, что опасался фоторекламы, совсем нежелательной тем волонтерам, которые прибыли в Испанию нелегально.

Однако корреспонденции о Двенадцатой и ее командире вскоре замелькали и в испанской и в зарубежной прессе. Лукач в письме домой сетует:

«К сожалению, я не сумел остаться незамеченным среди шумихи вокруг этих событий — иностранные газеты напичканы моим именем, а иногда и фотографиями. Говорят, что и у нас дома писали об этих подвигах. Но их подлинными героями являются, собственно говоря, солдаты-добровольцы и командиры среднего звена, а не генерал Пауль Лукач, о котором пишут много фантастического английские, американские и французские газеты.

Поверьте, что у меня от этого не кружится голова. Она закружилась у меня оттого, что вечером по телефону я услышал ваши дорогие голоса. Вот от этого у меня действительно учащенно забилось сердце...»

Одно интервью Лукач все-таки дал — он считал его своим патриотическим долгом. Это была беседа с корреспондентом венгерской оппозиционной газеты «Сабад со», издававшейся в те годы в Париже. Нетрудно убедиться, что Лукач осторожен. Касаясь своего прошлого, он мистифицирует корреспондента, тасуя подлинные факты своей биографии с явным вымыслом.

«Мы однажды уже сообщали, что один из руководителей интернационалистов — венгр. С тех пор многие газеты мира писали о генерале Лукаче. Но в них очень мало говорилось о том, кто же он, этот ставший уже легендарным военачальник. Посланный нами корреспондент встретился с генералом Лукачем, и мы можем, таким образом, информировать наших читателей, которые с большим интересом относятся к личности генерала и его деятельности.

Генерал Лукач родился в Верхней Венгрии, на территории, которая ныне относится к Чехословакии. В качестве гусарского офицера резерва он принимал участие в мировой войне. В 1916 году он был взят в плен и попал в глубь России. Война и длительный плен пробудили у него интерес к социальным вопросам.

После Октябрьской революции 1917 года он возглавляет отряд, сформированный из освобожденных революцией военнопленных... За заслуги награжден орденом Красного Знамени. В 1923 году он покидает Советский Союз и, возвратившись на родину, уединяется в своем небольшом имении. Он покидает военную службу и посвящает свое время занятиям теорией марксизма и философией. Но зверства нацистов, развязанная итальянцами абиссинская война и, наконец, жестокость испанских фашистов заставляют его отказаться от своего отшельничества, и он предлагает свои услуги и военный опыт правительству Фронта Популар (Народного фронта).

Военный министр оказал ему доверие и назначил его генералом 12-й бригады. За короткое время Лукач проявил свои незаурядные военные способности. На службе он — требовательный командир, настаивающий на соблюдении порядка и дисциплины. Во внеслужбное время — друг и брат каждого солдата. Своим обаянием, искренностью и молодой улыбкой он завоевал всеобщее уважение.

Во время короткой беседы о сложившемся в Испании военном и политическом положении он сказал нашему корреспонденту:

— Многие не имеют представления, с какими трудностями столкнулось военное руководство при организации республиканской армии. Этому не приходится удивляться — испанцы за последние сто лет не участвовали в серьезных войнах. Большинство офицеров и кадровых военных перешли на сторону мятежников. Несмотря на это, если бы не вмешался международный фашизм, народ давно бы разгромил своих врагов.

Уроки четырех месяцев гражданской войны уже принесли результаты. Военные успехи на Мадридском фронте являются первыми плодами нашего опыта. По моему мнению, верным залогом нашей победы является тот факт, что руководители частей республиканской армии обладают настоящими качествами военачальников. Эта война создала своих вождей и своих героев.

Время парадов окончилось. День ото дня испанская республиканская армия все более стойко противостоит напору фашистов...»

В дни боев за Мадрид, когда о Двенадцатой заговорили, побывала в бригаде и Долорес Ибаррури. Много лет спустя она вспоминала:

«Есть в Университетском городке Мадрида большая клиника. По одну ее сторону были враги, по другую — наши. Именно здесь, в одной из траншей, я познакомилась с Матэ Залкой. Об этом красивом усатом венгре я уже была наслышана как о генерале Лукаче.

Подробно поговорить нам не пришлось, обменялись лишь несколькими фразами — время было горячее. При мне отдали команду и начался артобстрел. Я увидела Матэ Залку таким, каким мне его и описывали: мужественным командиром, верным коммунистом и настоящим мужчиной. Уже потом я узнала, что Матэ Залка был также хорошим писателем. Не раз слышала я о том, как любили его солдаты...»

Эль-Пардо, 27—30 ноября 1936 года.

Шесть дней и шесть ночей непрерывных боев в Университетском городке — лязг танкеток противника, вой снарядов, слякоть, улюлюканье наступающих марокканцев, смерть.

Лишь 27 ноября Двенадцатую бригаду отводят на отдых. Интеровцев размещают в Эль-Пардо, загородном дворце изгнанного короля. Но бойцы даже не замечают этого. Едва попав под крышу (королевских покоев или конюшен — какая им разница), прямо в мокрых, превратившихся в компрессы комбинезонах они падают и засыпают.

У генерала Лукача — обширные планы. Первый и главный — дать отдохнуть бригаде хотя бы несколько дней.

В течение целых суток солдаты и командиры спят как убитые. На следующий день Лукач задумал устроить для солдат вечер отдыха — концерт и просмотр кинофильма «Мы из Кронштадта», который пользуется в Испании огромной популярностью. На митинге должен был выступить Пьетро Ненни — парижский собеседник Лукача. Ему все-таки удалось приехать в Испанию.

Но Пьетро Ненни не суждено было произнести свою речь, не состоялся концерт и киносеанс, не состоялся ни отдых, ни командирская учеба, которые планировал Лукач. В то время как свежевыбритые бойцы подтягивались к площади, в штаб примчался скрипящий кожаной амуницией мотоциклист. Лукачу он вручил щедро залепленный сургучными печатями пакет: всего в десяти километрах от Эль-Пардо началось новое наступление франкистов. Лукачу приказано отправить туда один батальон гарибальдийцев, всего лишь один.

— Распылять силы бригады не позволю, — отвечает комбриг, уже ставший достаточно «беспокойным» генералом. — Передайте Клеберу, что в район Посуэло выступит вся бригада.

И, отдав распоряжения, он добавляет:

— Какую-то пожарную команду из нас делают. Где ни загорится или хотя бы дымом запахнет — посылают Двенадцатую. А все потому, что мы на колесах.

Бывали дни, когда бригаду перебрасывали с одних позиций на другие по три раза. Не успеет она вступить в соприкосновение с противником, как ее догоняет новый приказ.

Но в ворчливом недовольстве Лукача проглядывает и гордость — все-таки именно к ним обращаются за помощью в трудный момент. А это значит, что бригаду не просто признали, а считают незаменимой.

Для Двенадцатой наступает период бесконечных боев, череда успешно отраженных атак противника и бесплодных попыток предпринять контрнаступление. Для отдыха — часы, изредка — дни.

Энтузиазм и энергия первых дней сменились глубокой, непроходящей усталостью. Добровольцы, люди мирных профессий, поняли, что одной веры в справедливость недостаточно, чтобы остановить фашизм. Надо уметь стрелять, бросать гранаты, колоть штыком. Надо уметь преодолевать страх под артобстрелом и бомбежкой. Надо уметь сражаться, когда силы иссякли, шагать дальше — за пределы своих физических возможностей.

Организационные муки Лукача — бесконечная тряска в автомобиле, споры в штабах по поводу обмундирования, боеприпасов и пополнения. — беседы с командирами и бойцами, ночные бдения и утренние мигрени приносили свои плоды. Талантливое боевое сообщество, возникшее в Двенадцатой, работало все более уверенно, а главное — результативно.

«Веруничка! — пишет он жене. — Ты меня знаешь, ты знаешь, что я могу увлечься работой без остатка. Я делаю большое и нужное дело. И это — главная пружина моей жизни. Передо мной имеются великие примеры, как можно, как должно работать, не зарываясь, не зазнаваясь от успехов. Школа у нас огромная. И здесь, в далекой Испании, среди трудностей этой борьбы, пригодятся для нас эти примеры...»

В непростой атмосфере Двенадцатой — сказывалась разность языков, темпераментов, политических убеждений — Лукачу удавалось поддерживать единство и дисциплину не окриком и взысканиями, а, как это ни парадоксально в во-

енных условиях, терпимостью, добрым словом и шуткой. В этой многонациональной и многоязычной среде он чувствовал себя в своей стихии...

Вот солдатский отклик, взятый из стенной газеты бывших бойцов Двенадцатой бригады. Газета была выпущена ими в 1939 году во французском концентрационном лагере Сен-Сиприен.

«Позвольте, товарищи, и мне рассказать кое-что о генерале Лукаче. Впервые я увидел его на Мадридском фронте. Он пришел инспектировать наш батальон Домбровского. Его интересовали не только командиры, но, в первую очередь, солдаты, их жизнь, их трудности. У нас сложилось впечатление, что он приехал с нами побеседовать.

Нередко можно было видеть его и в окопах среди солдат. Помню, как-то лежали мы во второй линии и начала бить по нам фашистская артиллерия. Не один из нас почувствовал тепло в штанах в эту страшную минуту. Несмотря на сильный огонь, среди нас появился генерал, товарищ Лукач. Сказал несколько успокаивающих слов: «Пусть себе стреляют до тех пор, пока снаряды не кончатся или не надоест». Эти простые слова солдат сразу же приободрили.

Мы были очень к нему привязаны. Когда дошла до нас весть о его смерти, мы ощутили, что потеряли не просто руководителя, а друга, отца...

Галонзка, 27-й барак».

Мирабуэно (под Гвадалахарой), 1—6 января 1937 года.

Участие Двенадцатой интербригады в битве за Мадрид не ограничилось удачными, но все же чисто оборонительными боями. Следующая операция, в которой ей довелось проявить себя, была и боевой и наступательной.

Шла последняя неделя перед новым, 1937 годом. На Мадридском фронте наступило затишье. И Лукач надумал перехватить у франкистов наступательную инициативу.

— Здесь, на подступах к столице, сложилась жесткая оборона, — предупреждает коронель Фриц. К тому времени он переведен в должность советника штаба бригады — советским военным занимать командные посты в республиканской армии не полагалось.

— А что, если нанести удар не у стен столицы, а там, где фашисты никак не ожидают, — в ста километрах севернее? — Лукач показал на карте место предполагаемого наступления — район Гвадалахары.

Еще два месяца назад и там шли ожесточенные бои. Но прорвавшись к столице с юга, франкисты забросили этот второстепенный и отдаленный участок фронта.

— Бригада наша, по существу, стала моторизованной, и для нас сто километров по сарагосскому шоссе — не расстояние, — развивал свою мысль Лукач. — Зато свалимся на них как снег на голову.

— А что, идея, пожалуй, дельная, — встрепенулся обычно спокойный полковник Фриц. — Продемонстрируем всему миру, что молодая республиканская армия умеет не только защищаться, но и наступать.

И советник бригады Фриц вместе с начальником штаба Беловым с энтузиазмом взялись за детальную разработку этой операции. В штабе фронта инициативу Лукача не только одобрили, но и выделили ему подмогу — одну испанскую бригаду, два эскадрона кавалерии, десяток танков и три эскадрильи истребителей.

Встречу нового, 1937 года в Двенадцатой не отмечали. По приказу комбрига все легли спать еще засветло. Выступление было назначено на пять утра — с тем чтобы использовать праздничную расслабленность в частях мятежников. «Гвадалахара, 1937 г., 5/1.

Дорогая моя женушка.

Далеко, очень, очень далеко от тебя прошла ночь на этот новый и загадочный 1937 год. Мы были на пути к боям, которые должны были обозначить подъем и боеспособность тех частей, которые рождают Народную армию Испании. Мы ударили по врагу, и Новый год принесет нам победу. Письмо это звучит немножко по-солдафонски, но человек, который уже третий месяц в непрерывных походах, не может отделять свое личное от общего, поэтому в этом письме, адресованном любимой и единственной женщине, звучат такие походные строки...»

Лукач не преувеличивает, когда пишет, что Новый год принесет им победу. Пусть не решающую для судеб фронта, но — убедительную.

1 января — несколько часов скрытого марша через горы. Бойцы, навьюченные оружием, несут не только собственные винтовки, но последние километры тащат на себе ящики с боеприпасами, станины пулеметов, тяжелые стволы гранатометов.

Появление интеровцев — полная неожиданность для франкистов. На правом фланге, воспользовавшись паникой, франко-бельгийский батальон с налету берет штурмом пуэбло Альгору. В центре гарибальдийцы, окружив с трех сторон селение Мирабуэно, без труда выбивают оттуда две роты гарнизона мятежников.

Из Мирабуэно фалангисты бегут столь стремительно, что оставляют на столах в казарме еще горячий завтрак и пакеты с новогодними подарками.

— Примите поздравление от Франко, — смеется Лукач, жмурясь от удовольствия: наконец-то — победа.

Новогодние подарки бойцы раздадут жителям местечка, в первую очередь детям.

К сожалению, не обошлось и без ЧП. Итальянские добровольцы, легко заняв Мирабуэно, забыли выставить, как было условлено, опознавательные знаки для авиации. А между тем на совещании в штабе бригады перед атакой и комбриг и его заместители-болгары многократно напоминали о важности этих знаков для авиации, во взаимодействии с которой Двенадцатая наступала впервые.

В результате республиканские истребители, сделав круг над поселком и решив, что его, по всем признакам, по-прежнему занимают франкисты, начинают атаку с воздуха. Пикируя на Мирабуэно, они на бреющем полете поливают пулеметным огнем дорогу, окопы, улицы. Солдаты разбегаются, прячутся за грудками камней, за толстыми стенами оград и домов. И все-таки среди них есть жертвы.

«Ошибка командования гарибальдийцев, не обозначившего, как требовалось, захваченные позиции, обошлась нам в десяток убитых и столько же раненых — дороже, чем вся успешно проведенная перед этим операция против фашистов», — с горечью признает Луиджи Галло.

В тот же день комбриг провел расследование этого дела. Но выяснить, кто же конкретно должен был нести скатанные рулоны опознавательных знаков, кто и когда должен был дать команду развернуть их, куда подевались белые полотнища, сшитые в форме буквы «Т», так и не удалось. Итальянцы дружно хранили молчание. Зато подобной оплошности впредь не допустили ни разу.

Если первые два поселка интеровцы заняли быстро, воспользовавшись элементом внезапности, то третий, Альмадронес, расположенный на левом фланге, батальон Домбровского взять не смог. Цепи домбровцев попали под перекрестный огонь пояса укреплений, созданного франкистами вокруг селения, и залегли. Комбат домбровцев майор Антал Коханек командовал атакой с башни танка. Его прошла пулеметная очередь.

Сильно укрепленный Альмадронес удастся одолеть лишь 3 января при взаимодействии всех трех батальонов, взявших этот узел обороны мятежников в клещи.

Республиканское командование и жители Мадрида напряженно следят за четырехдневной наступательной операцией.

«Наступление называют новогодним и надеются, что весь год пройдет так... — записывает Кольцов в своем дневнике. — В первый раз мы видели в большом количестве фашистов-пленных. Их взяли на Гвадалахаре, при захвате деревень Альгора и Мирабуэно. Их четыреста человек. Пленных без конца фотографировали, их повезли в Мадрид и долго водили по улицам, при восторгах толпы. Фашисты пробовали контратаковать Альгору, но неудачно. Мадридские солдаты бродят среди мертвых тел. Все это ново для них, — до сих пор, хотя противник и нес огромные потери, но не отходил, республиканцам доводилось видеть только трупы своих же бойцов».

Но дальнейшее наступление на этом участке приходится прекратить.

Махадаонда (под Мадридом), 10—16 января 1937 года.

В ночь с 6 на 7 января «пожарную команду № 12» снимают с этого фронта

и перебрасывают в Мадрид. Как всегда, срочно. Как всегда — заткнуть брешь: войска мятежников рвутся к дороге на Эскориал.

Взятием этого сурового и величественного архитектурного ансамбля, символа испанской монархии, где находятся усыпальницы нескольких поколений Габсбургов и Бурбонов, Франко пытается компенсировать неудачу у стен Мадрида.

12 января, для того чтобы приостановить продвижение франкистов, командование Мадридского фронта предпринимает отвлекающий маневр: интербригаде, руководимой Лукачем, поручено нанести удар на Махадаонду. Две первые линии обороны мятежников с боем заняты интеровцами. К вечеру первого дня батальоны Двенадцатой выходят к предместьям Махадаонды. Но когда Лукач докладывает об этом в штаб фронта, его неожиданно одергивают:

— Взятие этой деревни на первый день наступления не предусмотрено.

А на следующий день погода вступает в сговор с мятежниками: местность окутывает холодный и непроницаемый, как молоко, кастильский туман. И так на протяжении трех суток. О наступлении по иссеченной оврагами местности не может быть и речи: в молоке этом не видно даже пальцев рук.

Франкисты успевают за это время подтянуть подкрепление. И 16 января из ключев тумана, которые стал разгонять утренний ветерок, перед республиканскими окопами выросли танки и цепи противника.

Лукач звонит на НП бригадной батареи и требует обеспечить огневой вал.

— В тумане невозможно произвести пристрелку орудий, — предупреждает Баллер. — Рисуем накрыть снарядами собственные окопы.

Интеровцам приходится отражать танковые атаки гранатами и стрелковым оружием. Оружие это бессильно против брони. Удастся лишь отсечь пехоту от танков. Стальные черепахи, от которых пули отскакивают, как орехи, беспрепятственно утюжат окопы. Но без поддержки пехоты в глубь республиканской обороны они продвигаться все-таки не решаются. И уползают, зло отплевываясь из крупнокалиберных пулеметов.

Фашистская атака отбита по всему фронту — но какой ценой! В окопах первой линии убит или ранен каждый второй боец. Бригаду отводят на переформирование в Фуэнкарраль.

...Воспользовавшись кратковременным отдыхом в этом местечке под Мадридом, бойцы и командиры Двенадцатой задним числом празднуют Новый год. А заодно отмечают победу. Из Мадрида к ним нагрянули гости: писатели и журналисты. Среди них Мария-Тереса Леон и Рафаэль Альберти, большая группа советских и иностранных журналистов, ставших завсегдатаями Двенадцатой. Устроили настоящий бал. Вместе с командирами и бойцами бригады танцевали и веселились и местные жители. Брюзжал лишь аскет Густав Реглер, назначенный к тому времени комиссаром бригады. Ему не понравилось, что комбриг разрешил принять участие в общем веселье местным девушкам. Над его монастырскими настроениями посмеялись, и Рафаэль Альберти под дружные взрывы хохота принялся импровизировать на мотив «Кукарачи».

«Альберти, исчерпав все известные ему строфы, на ходу сочинял новые, одну вольнее другой, — вспоминал про эту «новогоднюю» ночь Алексей Эйсер. — Кольцов, также импровизируя, переводил на русский...

Разъезжались под утро. Хемингуэй, перегнувшись через опущенное стекло, благодарно пожимал руку хозяевам:

— Сегодня я видел самое талантливое и самое дружное литературное объединение!...

Но объединению этому пока что было не до литературы. Впереди были новые тяжелые бои.

Харама (под Мадридом), 6—27 февраля 1937 года.

Убедившись в тщетности попыток взять Мадрид в открытом бою, франкистское командование решает сокрушить его физически и морально. Недели напролет продолжают жестокий артиллерийский обстрел и массированные бомбардировки.

«У нас здесь льются дожди, обильные, усердные, бесконечные, — пишет Лукач домой 3 февраля 1937 года. — Этот дождь, однако, не смает позора с ис-

панских, германских и итальянских фашистов, воюющих против ни в чем не повинных детей и женщин. В этом дожде не угаснет наша пламенная решимость добиться скорейшей победы.

Я сижу сейчас у письменного стола какого-то буржуа, который убежал от ужасов войны, бросив свой уютный дом. Стекла этого дома ежеминутно дрожат от разрывов тяжелых гранат, которые ложатся за холмом, закрывающим этот поселок непосредственно от фронта. Но скоро заговорят и наши батареи. И будут слышны не разрывы неприятельской артиллерии, а выстрелы наших орудий, а эта музыка куда приятнее.

Мы сражаемся вокруг Мадрида. Мы защищаем от неприятеля столицу и разобьем силы фашизма здесь, где он надеялся найти конечную цель своей победы...»

Надежды «разбить силы фашизма», о которых упоминает Лукач, связаны с планом нового контрнаступления, вызревшим в штабе фронта. В этот раз, как кажется комбригу, все продумано до мелочей. В тылу сформировано пятнадцать новых бригад — армия.

Эта армия — козырь Ларго Кабальеро. Премьер надеется с ее помощью доказать, что его ноябрьские утверждения о стратегической бессмысленности обороны Мадрида были оправданны. Разгромив с помощью свежих частей франкистскую группировку, нависшую над Мадридом, Кабальеро рассчитывает продемонстрировать свою дальновидность. Проверенным в боях частям Мадридского фронта отводится второстепенная роль — атаки на отвлекающих направлениях.

Лукача эта закулисная борьба за первенство мало интересует. Для него важно, что решающее наступление наконец состоится. «Мадрид — это повторение Царицына и Петрограда, — пишет Лукач в самый разгар подготовки, в начале февраля. — История иногда допускает рефрены, как хорошие песни. И вот Мадрид — одно из таких повторений...»

Комбриг Двенадцатой оказался прав лишь частично — в том, что касалось героической обороны. Но, увы, в остальном повторения не получилось. Было продумано все, кроме такой малости, как соблюдение секретности. Кольцов, находившийся в тот момент в Валенсии — новой, временной столице республиканской Испании, — в записи от 7 февраля не скрывает своего возмущения:

«О будущем наступлении знают все в городе, знает, конечно, и противник. В кофейнях, в штабах, в трамваях спорят о том, удастся ли мятежникам упредить нас или нам удастся упредить противника».

Упредили мятежники. Сорок тысяч франкистских солдат при поддержке немецкой артиллерии и ста итальянских танков тремя колоннами перешли в наступление. Их ближайшая цель — форсировать реку Хараму и перерезать дорогу на Валенсию, последнюю транспортную артерию, связывавшую осажденный Мадрид с тылом. Франко стремится лишить Мадрид подвоза боеприпасов и продовольствия, задушить миллионный город с помощью голода.

Первая линия республиканской обороны сметена на всех трех направлениях. 7 и 8 февраля ожесточенные бои идут в излучине при слиянии двух рек — Мансанареса и Харамы. К ночи 8-го моторизованные колонны мятежников, перемалывая республиканские части, продвинулись до правого берега Харамы и захватили господствовавший над местностью утес Васиа-де-Мадрид. Оттуда их артиллерия и пулеметы взяли под перекрестный обстрел валенсийское шоссе, тем самым практически перерезав его.

Бригады новой резервной армии в хаотическом состоянии отведены в тыл, там их приводят в порядок. Из Мадрида перебросили на Хараму старые, проверенные части. «Опять появились Модесто, Листер, Ганс, Лукач, Маркес. Ими приходится затыкать все дыры», — пишет в те дни Кольцов.

О харамском сражении сохранилось немало свидетельств людей, ставших впоследствии видными военачальниками. Маршал Советского Союза Мерецков, в то время комкор, участвовавший в этой операции в качестве главного военного советника, вспоминает:

«Дело было возле русла Харамы. На 11-ю интернациональную бригаду и испанскую республиканскую часть шли в атаку марокканцы. Артиллерийская подготовка была у фашистов сильная, пулеметы строчили не умолкая, пули и осколки то и дело свистели над головой.

Разгорелся встречный бой. Шел он с переменным успехом. Послали связанного к Лукачу. Его войска, недавно побывавшие в горячих схватках, стояли на отдыхе и нуждались в пополнении. Я рассчитывал, что в лучшем случае он пришлет один батальон. Но не прошло и часа, как посланец доложил, что вся бригада Лукача развернулась в предбоевой порядок и находится в километре от нас, готовая по первому сигналу вступить в бой.

Сколько бы раз потом ни повторялась сходная ситуация, никогда я не слышал от Лукача «нет», «не могу». Редким был и ответ: «Трудно, но попробуем». Чаще всего он говорил: «Передайте, что выступаем...»

Битва на реке Хараме отличалась от предыдущих боев под Мадридом спрессованной концентрацией войск на узком участке фронта, массовым применением техники и жесткой решимостью с обеих сторон одержать победу. Наблюдая за ходом боев, Лукач видит, как резко изменился характер войны. От былой кустарщины не осталось и следа. Артобстрелы, бронетанковые, штыковые атаки следуют одна за другой, накатываются, перехлестывают одна другую. В схватках за господство в воздухе порой участвовало до семидесяти самолетов одновременно.

Вот лишь несколько эпизодов из этого сражения.

Утром 9 февраля связной прибыл на мотоцикле за Мигелем Баллером, начальником артиллерии Двенадцатой, и доставил его к Лукачу. Генерал вместе с Фрицем, Петровым и Беловым находился на своем НП на берегу Харамы и рассматривал в бинокль высоту Еасиа-де-Мадрид, занятую ночью фашистами. Получив приказ занять огневую позицию и накрыть огнем марокканцев, Баллер расположил свою батарею на западном берегу реки. Орудия гремели около часа, ведя огонь прямой наводкой.

Среди марокканцев поднялась паника. Они бросали оружие, снаряжение — все, что мешало бежать. Лукач опасался, что затаившаяся стрельба батареи, расположенной на открытой позиции, может привлечь на себя огонь противника. Адъютант генерала прибыл на батарею с приказом прекратить огонь. Но людей было не удержать — так захватила лихорадка боя. Лишь вторичный приказ генерала охладил пыл артиллеристов.

Цель была достигнута: лагерь марокканцев оказался разбитым. Это предотвратило захват Аргандского моста.

Расширевшие марокканцы пытаются взять реванш. Аргандский мост им оказался не по зубам? Ну что ж, они захватят другой. На западном берегу Харамы у республиканцев был лишь небольшой плацдарм, да и закрепиться на нем они как следует не успели. Между тем в феврале от зимних дождей вода в реке сильно поднялась, и река стала для противника серьезной преградой. Было ясно, что мятежники сделают все возможное, чтобы захватить переправы. Здравый смысл подсказывал — уничтожить мосты. Но командование Центрального фронта этого не сделало, не придав значения донесениям Лукача и командиров других бригад.

Полковник Малино, один из советников республиканских войск на Хараме (Малиновский, позднее — Маршал Советского Союза и министр обороны СССР), рассказывал:

«Нерадостной оказалась наша встреча с Матэ Залкой в середине февраля. Он только что возвратился из госпиталя, где лежало много раненых бойцов бригады.

— Проклятые мосты! — Лицо его было бледным. Генерал страдал и не мог скрыть этого. — Нужно было взорвать их. Непонятно — почему командование не сделало этого? Я выслал роту с четырьмя пулеметами к мосту Пиндоке. Достаточно? Конечно! Все было тихо, и ребята, очевидно, успокоились. А ночью их внезапно, без единого выстрела, атаковали марокканцы. Ни один из пулеметов не успел открыть огонь. От роты осталось четыре бойца!

Генерал не находил себе места.

...Республиканские бойцы и интеровцы, прячась за естественными укрытиями — валунами, виноградниками, каменными постройками и стенами, — отбивают все атаки противника. А атаки эти следуют одна за другой, по шесть, восемь, десять раз в день.

В один из этих дней комбригу Двенадцатой удастся выкроить между боями несколько свободных минут. Присев у стола в каком-то разрушенном снарядами

доме, он на ходу, прыгающими строчками пишет письмо в Москву. Пишет, еще и еще раз объясняя, почему он здесь, пишет так, как будто бы оправдываясь за те волнения и страхи, которые переживают его близкие:

«1937 г. 22/II. Недалеко, среди тех гор, которые идут цепью на восток, идет бой. Ухает артиллерия, хлопочут пулеметы, глубокими вздохами разрываются снаряды неприятеля. Радостное весеннее солнце кажется большим противоречием рядом с тем, что делается вокруг. Но эти разрывы, эти пулеметные очереди, этот треск оружия — историческая необходимость, чтобы вновь родилась страна Сервантеса. Последние иллюзии великих донкихотов рассеиваются в этих разрывах».

Формально на харамском секторе фронта франкистским войскам удалось продвинуться вглубь на несколько километров. Фактически это было жестокое поражение — сорокатысячная, крупнейшая с начала гражданской войны в Испании группировка врага была разгромлена.

Москва, 1937 год.

Н. Залка. Лишь в январе пришло первое большое и подробное письмо на русском, с описанием места боев* и состава бригады, которой командовал папа. Оно нас обрадовало и в то же время встревожило — слишком уж оно, как нам показалось, было откровенно. (Все письма отца, до единого, были нами сохранены. Хранятся в нашем архиве и те письма, которые он получил от нас, — они вернулись в Москву после его гибели вместе с его личными вещами.)

Надо сказать, что мы с мамой вначале старались строго придерживаться «конспиративного стиля». Так, нам казалось, что обращение на «Вы» само по себе является достаточной маскировкой.

Папа, который пересылал нам письма через надежных людей, подобным «конспиративным стилем» пренебрегал. И подтрунивал надо мной и мамой, именую нас «маленькими подпольщиками».

...Письма из Испании приходили крайне нерегулярно: то их не было по два месяца, то нам приносили сразу целую пачку. Но, несмотря на серьезные трудности и перебои в переписке, нам все-таки удалось наладить с отцом нечто вроде «диалога». Спрашивали его мнения по всем житейским вопросам — мы не привыкли решать их без него. Даже во время боев он не забывал о нашем отдыхе и обдумывал, как лучше его организовать. Еще ранней весной он советует маме поехать отдыхать в Белики. Мама на это ему отвечает:

«В Белики без тебя даром бы не поехала. Я бы плакала там без тебя день и ночь...»

Тогда папа рекомендует ей обратиться к секретарю Союза писателей Ставскому с тем, чтобы он устроил нас на месяц или два на какую-нибудь дачу. Мама, конечно же, не обратилась. И папа переживал, что по его вине сорвался наш летний отдых.

Были в нашей переписке и юмористические моменты. Мама, находясь в Москве, обращается к папе в Испанию с вопросом: где находится паевая книжка кооператива, чтобы уплатить за квартиру? Папа отвечает:

«Ты спрашиваешь, где наша паевая книжка. Она находится или в верхнем маленьком ящике письменного стола, или в отверстиях налево. Впрочем, в случае потери обязаны выдать дубликат.

Ох, дорогая ты моя Веруничка, если бы ты знала, какое контрастное чувство вызвали во мне эти строки насчет паевой книжки! Боже мой, как это далеко!.. Я пишу это письмо при свечке, свет которой, если не прикрыть, дошел бы до неприятеля.

Ну, ничего. Жизнь многогранна, сложна, и неизведанные чудеса в ней заложены. Надеюсь, что членская книжка РЖСКТ станет для меня еще актуальным вопросом...»

...Зная, какие подробные пишет нам папа письма и то, что в каждом из них он непременно передает приветы многим и от многих, к нам постоянно заходили жены его соратников: Анна Ивановна Мюнних, Мария Козовская, Германа Хевеши, — а мы читали его послания вслух.

В своих письмах отец писал не только о своих личных делах и переживаниях. По ним можно видеть, как он заботился о других людях, в частности о своих со-

ратниках. Нередко он давал нам разные поручения. То — разыскать отца своего адъютанта Алексея Эйснера и сообщить ему, что сын его жив и здоров и сражается в Испании на стороне Республики. То — навестить жену Батова и рассказать ей о муже, о том, что чувствует он себя хорошо. А одновременно, под большим секретом, просил достать Павлу Ивановичу Батову редкое лекарство — у того были сильные боли в желудке из-за обострения язвы. Не раз по поручению папы мы отсылали лекарства и для других.

Зная папин характер, его неумение прятаться за чужими спинами, мы понимали, что там, в Испании, он не усидит в штабе над картами. И потому очень опасались за его жизнь. Постоянным рефреном в наших письмах звучат просьбы «беречь себя, не рисковать понапрасну».

«Я знаю, какой ты упрямый: пока не вобьешь гвоздь или не согнешь его, не успокоишься, — пишет мама. — Твои мигрени и осложнение на правый глаз, опять, как в 35-м году. Это, как и тогда, — признак переутомления».

Догадываясь, что досаждаю ему своими подсказками, я все-таки вновь и вновь не могла удержаться, чтобы не напомнить ему: «Только хочется попросить тебя — будь осторожней и хитрей».

Эта моя приписка, сделанная 3 февраля 1937 года, дошла до папы на удивление быстро. В своем письме от 22 февраля он мне отвечает: «Родная моя Талочка! Все твои указания принимаю к исполнению. Буду решительным, но «хитрым и осторожным». Буду стараться сделать так, чтобы и врага победить, и самому возвратиться к вам в чудесную, родную семью...»

Был еще один вопрос, который мы с папой подробно обсуждали весной 1937 года. Я заканчивала школу, и мне надо было определить, в какой институт поступать. Как всегда, я советуюсь об этом с отцом:

«Я не выбрала себе профессию окончательно. Профессия кинорежиссера меня больше всего привлекает. Но и пугает своими специфическими трудностями. Думаю о журналистике. Черкните хоть пару слов по этому поводу — как Ваше мнение!»

И он мне отвечает:

«Дорогая моя доченька! Ты пишешь насчет выбора профессии. Эта твоя забота уже сама по себе доказывает, что ты выберешь правильно. Ты, Талусенька, не бойся экзаменов по ВУЗу. Бери всю волю в комок и действуй. Думаю, что все это тебе по плечу...»

В другом письме папа, никогда ничего не забывавший, вновь возвращается к этому вопросу:

«Слушай, старушка моя! Ты насчет ВУЗа не мучай себя слишком долго. Я бы, откровенно говоря, не хотел, чтобы ты шла в кинематографию. Не надо. Тебе, Талуня, больше подойдет язык и литература, благородное и великое дело. С этими знаниями в нашей стране ты найдешь свое место и будешь удовлетворена. Ты знаешь, что моя мечта — чтобы ты была счастливой. Мечта эта вполне осуществима. Ключ к ней — удовлетворение любимым трудом. История, литература — по-моему, это тебе больше подойдет. Пиши мне о своем выборе, моя умница.

Твой папа».

Я на это легкомысленно ему отвечаю:

«Приезжай, времени еще много — только кончается весна, лето еще впереди. Выберем вместе. Буду ждать...»

Гвадалахара, 8—22 марта 1937 года.

Провал харамского наступления серьезно подорвал престиж Франко даже в глазах союзников. В генштабе мятежников торопятся с новой операцией. По подсказке немецких советников Франко принимает решение разыграть «северный вариант»: прорваться к Мадриду по государственной автострате в районе Гвадалахары. То есть там же, где сводные части под командованием Лукача преподнесли франкистам новогодний сюрприз.

На прорыв бросают свежие, еще не потрепанные в боях части итальянского экспедиционного корпуса. Дуже давно и накрепко увяз во франкистской авантюре. Начал он с отправки добровольцев для иностранного легиона. Ну а закончил посылкой на Иберийский полуостров целых дивизий, вполне регулярных, хоть и звались они волонтерскими.

Итальянские генералы, чьи войска уже отличились в расправах над безоружными жителями Малаги, считали, что испанцы вообще воевать не умеют. В том числе и насьоналес, войска мятежников, раз они до сих пор не сумели разгромить пестрые и необученные республиканские части. Не желая делиться лаврами даже с Франко, стратеги из штабов Муссолини требовали предоставить им оперативный простор, где бы они могли продемонстрировать непобедимость римского оружия. И вот случай представился.

Одна из военных аксиом гласит, что для достижения успеха в наступлении необходимо обеспечить как минимум трехкратное превосходство в живой силе и технике. Командующий итальянским экспедиционным корпусом генерал Роатта обеспечил своему корпусу преимущество шестикратное. На Гвадалахару было брошено сразу четыре дивизии. Три из них — итальянские: «Черное пламя», «Черные перья» и в довершение «Господень промысел».

Общая численность этой группировки — шестьдесят тысяч человек при двухстах пятидесяти орудиях и двух тысячах пулеметов. Силы поддержки — сто соток танков и шестьдесят самолетов. На первых порах итальянскому экспедиционному корпусу на Гвадалахарском фронте протяженностью в восемьдесят километров противостоит всего десять тысяч республиканских бойцов при пятнадцати орудиях.

8 марта в 7 часов утра холмы содрогнулись от грохота пятидесяти итальянских орудий. Снаряды подняли дыбом позиции республиканцев у Мирабуэно и у высоты Эль-Миранчель. Одновременно тридцать бомбардировщиков превратили в развалины селения Альмадронес и Мирабуэно. Итальянской пехоте остается лишь добывать отчаянно отстреливающихся раненых.

К 9 марта экспедиционный корпус уже захватил половину плато. Дуче подхлестывает своих легионеров — шлет телеграмму за личной подписью:

«Я получил сообщение о происходящем сейчас большом сражении на гвадалахарском направлении. С уверенным сердцем слежу за развитием этого сражения, потому что убежден в том, что энтузиазм и упорство наших легионеров преодолют сопротивление противника. Уничтожение интернациональных сил будет успехом громадного значения, и особенно успехом политическим...

Муссолини».

Генерал Роатта настолько уверовал в победу, что объявил в приказе порядок и сроки развертывания дальнейшего наступления: «Завтра — в Гвадалахаре, послезавтра — в Алкала-де-Энарес, через два дня — в Мадриде».

Штаб Мадридского фронта, получив первые сведения о наступлении в направлении Гвадалахары, счел его отвлекающим маневром. В Мадриде были уверены, что главный удар мятежников следует ожидать у стен столицы. Настоятельные рекомендации главного советника республиканской авиации генерала Дугласа выслать разведку в направлении Альгоры и Сигуэнсы поначалу встречают скептически. Но в 13.30, когда летчики доложили о результатах разведывательного полета, опасность, нависшая над Мадридом с севера, становится очевидной. На Французском шоссе обнаружена автоколонна противника, растянувшаяся на пятнадцать километров. Это двинулась в сторону Гвадалахары лишь одна из дивизий, а именно 2-я волонтерская — «Черное пламя».

Мерецков, срочно направленный старшим военным советником на этот неожиданно ставший кризисным участок фронта, вспоминает: «Стал я звонить в штабы. 9 марта Лукач, бригада которого находилась в значительном отдалении, прервал отдых бойцов и, преодолевая сопротивление засевших в транспортных органах фашистских пособников, устремился к Торихе. Я сомневался, удастся ли Лукачу прибыть вовремя. Но, по-видимому, недооценил его «пробивную силу». Яростно наседая на медленно поворачивавшуюся штабную машину, он проталкивал через «пробки» свои подразделения в сторону фронта».

В Эль-Пардо перед отправкой Лукач собирает командиров и сообщает им об угрозе прорыва на гвадалахарском направлении. Затем смущенно стзывает в сторону Баронтини, который временно исполнял обязанности комбата гарибальдийцев.

— Скажите, не тревожит ли итальянских добровольцев, что им придется сражаться со своими соотечественниками?

Баронтини заверяет командира бригады, что итальянские политические эмигранты не задумываясь будут бить наемников Муссолини.

— Но это еще не все,— продолжает Лукач.— Итальянские легионеры безусловно являются оккупантами на этой земле. Вы правильно сказали — они наемники Муссолини. Но от того, как мы, интернационалисты, будем обращаться с пленными, зависит очень многое. На нас, можно сказать, будет смотреть весь мир. И ту ненависть, справедливую безусловно, которую испытывают итальянские эмигранты к дуче и его чернорубашечникам, пока что придется спрятать в карман. Весь мир должен убедиться в том, что мы, интернационалисты, даже сражаясь с иностранными оккупантами, все-таки чтим международное соглашение о военнопленных.

Баронтини даже обижен предостережением Лукача. Но когда итальянские фашисты начнут расстреливать взятых в плен соотечественников-гарибальдийцев, станет ясно, что предупреждения комбрига были нелишними.

На рассвете 10 марта батальон Гарибальди уже энергично наступал вдоль автомагистрали на городок Бриуэгу. Тесня противника, батальон подошел к 13-му шоссе. Но здесь интеровцы были встречены сосредоточенным огнем целого артиллерийского дивизиона и сильной контратакой неприятельской пехоты, поддержанной танками. Явное превосходство противника вынудило батальон Гарибальди приостановить наступление.

«Итальянский батальон был вынужден отойти, — вспоминает корреспондент ТАСС Овадий Савич, срочно прибывший на этот ставший угрожаемым участок фронта. — Когда генералу сообщили об этом, он сказал: «Не верю!» Ответ его был передан гарибальдийцам. Они кинулись в контратаку и взяли сорок пленных. Опросом было установлено, что фашисты бросили в наступление две дивизии и подтягивают две других. Стало ясно, что новое большое наступление фашистов на Мадрид началось».

«Формально Лукач подчинялся командиру 12-й дивизии Лакалье. Однако тот уехал в тыл и не проявлял никакого желания вернуться. Ответственность за обеспечение бриуэгской операции легла теперь в основном на Лукача», — рассказывает о начале гвадалахарской операции Мерещков.

И комбриг Двенадцатой принимает решение: нанести контрудар и отбросить противника в бриуэгскую котловину до того, как к нему подоспеют новые подкрепления. Но не успевает. Итальянцы опережают.

С КП бригады в Паласио-де-дон-Луис отлично просматривается и котловина, и то, как на ее склонах, словно на учении, разворачиваются подразделения 2-й волонтерской дивизии. Разворачиваются для показательной атаки на тех, кто попытался встать у них на пути.

Лукач, довольно поглаживая усики — была у него такая привычка, — говорит начальнику своего штаба:

— Посмотри: дуче заразил фанфаронством и своих генералов. Неужели они не соображают, что сейчас они не на параде перед толпой обывателей, готовых им аплодировать? Мы, конечно, не профессионалы войны, но...

И комбриг, подзвав Баллера, просит его:

— Режé, будь так добр, повтори на бис для легионеров то, что ты продемонстрировал марокканцам на Хараме.

— Игениш!¹ — козырнув, невозмутимо отвечает Баллер. Он тем более уверен в себе, что недавно получил батарею 155-миллиметровых гаубиц. Она прибыла в бригаду после того, как советник по артиллерии Вóльтер (Воронов) получил от командира Двенадцатой докладную записку, звучащую как крик отчаяния:

«Прошу Вас помочь мне в очень важном деле. Батарея Тельмана, зарекомендовавшая себя как лучшая батарея из интербригад, стала предметом издевок. Ее пушки пришли в полную негодность. Батарея практически вышла из строя. Стреляет весьма неточно и иногда с большими ошибками, доводившими батарею до столкновения со своей пехотой. Мы требуем сменить пушки. Никто не отзывается. Прошу Вас нажать, где нужно, и сменить пушки этой славной батареи.

Ваш Лукач».

Снаряды вовремя подоспевших гаубиц рвутся в цепях итальянцев, нанося им жестокий урон. Пять раз легионеры бегут назад, и пять раз итальянское

¹ Слушаюся! (Венг.)

командование вновь бросает солдат в атаку. Оно не желает верить, что целая регулярная дивизия не может справиться с единственной бригадой «международного сброда», как именуют фашисты интеровцев.

Силы действительно не равны. Лукачу, чтобы заткнуть бреши в растянутой обороне, приходится спешить кавалерийский эскадрон и отправить в окопы работников санитарных и интендантских служб. В самый критический момент генерал, вынув из кобуры миниатюрную «астрю», ведет в контратаку охрану и офицеров штаба. В итоге наступление итальянской дивизии в тот день провалилось.

«Неудачные атаки итальянского корпуса 10 марта знаменовали собою окончание первого этапа операции, который начался под знаком быстрого и победного наступления интервентов. Следует отметить оборону Двенадцатой интернациональной бригады. Своими тремя батальонами при незначительной технике бригада сумела полностью отстоять свой оборонительный рубеж против 11—14 батальонов противника, наступавших при поддержке 64 орудий и 20 танков,— пишет военный историк Самойлов. — Таким образом, республиканцам удалось преодолеть еще один острый и кризисный момент, введя в линию фронта 12-ю бригаду. Трудно сказать, как развернулись бы события, если бы 12-я бригада прибыла на несколько часов позже».

Командующий итальянским экспедиционным корпусом генерал Роатта в специальном циркуляре пытается ободрить своих солдат: «Интернациональные бригады немногочисленны; они уже понесли значительные потери к тому времени, когда выступили против нас...»

То, что интеровцы понесли потери,— правда. И то, что они немногочисленны,— тоже правда. Фронтальная сводка тех дней свидетельствует:

«Соотношение сил на 11 марта в районе Французского шоссе и у Бриуэги характеризуется следующими цифрами:

Противник	Танков и броне-машин			
	Людей	Пулеметов	Орудий и мортир	
3-я, 2-я и 1-я волонтерские дивизии со своими средствами усиления	34 000	1200	220	100
Республиканцы				
11-я, 12-я интернациональные бригады с приданными батальонами	5000	100	24	26».

Но и при подобном соотношении сил бригада «международного сброда», оказывается, стоит большего, чем дивизия итальянских фашистов. В течение 11 марта Двенадцатая бригада отбивает еще четыре атаки. При подавляющем превосходстве итальянцев в технике и живой силе это было похоже на чудо.

Но возможности, которые таит в себе моральное превосходство, тоже не беспредельны. К вечеру гарибальдийскому батальону, защищающему Паласио-де-Ибарра, приходится покинуть замок — на него обрушились сразу шесть батальонов легионеров.

«Бригада была атакована целой дивизией. Если бы фронт был прорван, фашисты легко прошли бы сорок километров, отделявших их от единственной «дороги жизни» Мадрида — от проселка, соединяющего валенсийское и гвадалахарское шоссе. Но к концу дня им удалось захватить только Паласио Ибарра,— вспоминает Савич. — Мадридский штаб спешно подбрасывал на фронт подкрепления, но на своем участке бригада осталась одна. На следующее утро враг бросил на нее две дивизии. Положение стало угрожающим: резервов не оставалось, материальная часть таяла, грозило полное окружение. Залка не спал несколько ночей. Но он был свеж, подтянут, чисто выбрит и весел, как всегда.

13 марта потрепанный противник производит вынужденную перегруппировку. Это дало возможность генералу Лукачу привести в порядок и свою бригаду. Трудно назвать этот день днем отдыха: шел дождь со снегом, люди лежали в грязи, на открытом поле, под резким ветром».

Республиканское командование выжидало, пока инициативу проявит неприятель. Но Лукач воспитывался в иной военной школе — он искал, где и как перехватить у противника инициативу. Возможность самостоятельных решений с четырьмя батальонами против двух дивизий была очень ограничена, но комбриг

нашел ключ будущей победы. Он решил, пользуясь временным затишьем, вернуть Паласио-де-Ибарра, окруженный лесом и кустарником замок, который господствовал над целым районом.

Легионеры Муссолини брали этот замок шестью батальонами. Гарибальдийцы вылезали вернуть его своими силами. Но Лукач все-таки подстраховал их поддержкой франко-бельгийского батальона. Напутствие Лукача было коротким:

— Товарищи! Перед вами — войска Муссолини. От разгрома их на испанской земле зависит крах фашизма не только в Испании, но в конечном итоге и во всем мире, значит — и на вашей родине.

Атака начинается в одиннадцать часов утра. Республиканские танки, используя лесные дороги, незаметно подходят вплотную к ограде замка и в упор бьют по нему из пушек. Однако кладка стен в нем местами толщиной в добрый метр, и снаряды рикошетят, выворачивая лишь отдельные камни и разбивая в щепу створы бойниц и окон. Гарнизон замка, батальон «Тосканские волки», огрызается. Предложение гарибальдийцев о сдаче они решительно отклоняют. Их упорство объясняется просто: им обещано подкрепление в составе двух батальонов.

К четырем часам дня, подняв столб пыли, гулко рухнула главная башня. В стенах господского дома зияет брешь, из которой торчат сломанные ребра стропил и балок. На исходе шестого часа боя бронированным машинам республиканцев удается проломить каменную ограду. Вслед за ними в усадьбу, а затем в квадратный внутренний двор господского дома врывается пехота. «Большая часть батальона противника уничтожена в бою, остатки сдались в плен», — скупое повествует сводка штаба об этом сражении.

Лишь после падения замка Ибарра подходят два батальона итальянского подкрепления, которого «Тосканские волки» так и не дождались. Распаленные боем интеровцы бьют и их, а затем преследуют еще несколько километров. «Расстройство противника было столь велико, что будь у республиканцев на этом участке более крупные силы, удар успешно мог бы быть развит и дальше в глубину», — считает военный историк Самойлов.

Позднее газеты единодушно отметят, что взятие Паласио-де-Ибарра явилось поворотным моментом всей операции. Но об этом уже догадываются и Лукач и Листер, командующий смежными республиканскими частями — 2-й бригадой. Обостренным чутьем солдат они ощущают, что наступление экспедиционного корпуса выдохлось, что он обмяк, как проколотый на полном ходу баллон. И тогда оба комбрига, договорившись между собой, решаются на рискованный шаг: перейти в контрнаступление, несмотря на превосходящие силы противника.

Естественно, в штабе нашлись и скептики. И первый из них — подполковник Хурадо, назначенный вместо смещенного за бездействие Лакалье новым командующим фронтом. Хурадо возражает против наступления: из Мадрида распорядились противника «сдерживать», приказа же атаковать не было. А контратака со столь незначительными силами, по собственной инициативе к тому же, — риск, и немалый.

— Правильно! Война — всегда риск, — смеется Лукач, заражая своей уверенностью командиров других частей. — Но воевать плохо — риск вдвойне. Не только риск, но и гибель, если дадим противнику подмять себя.

...Прибывший на Гвадалахарский фронт командующий республиканской авиацией Идалго де Сиснерос и главный советник этого рода войск, прославившийся в Испании под чисто авиационным псевдонимом Дуглас (на самом деле Смушкевич, позднее командарм, дважды Герой Советского Союза), поддержали наступательный порыв Листера и Лукача самыми весомыми аргументами: распорядились скрытно перебросить на ближайшие аэродромы сорок пять истребителей, пятнадцать штурмовиков и одиннадцать бомбардировщиков.

(Это совещание в штабе Гвадалахарского фронта было заснято вездесущим Романом Карменом и таким образом оказалось запечатлено для истории. Генерал Лукач, в шинели и фуражке, сидит за столом на первом плане. За ним, в глубине, Листер, в неизменной своей кожаной куртке, слегка закинув назад свою тщательно причесанную, крупную голову. Заметив, что их снимают, Лукач с усмешкой наклоняется к столу и пытается отвернуться, одновременно делая рукой какой-то по-детски растерянный жест, будто отмахиваясь от объектива. Но и эти считанные кадры вошли потом во многие фильмы об Испании: фильм Э. Шуб «Испания», фильм Константина Симонова и Романа Кармена «Гренада, Гренада».

Гренада моя» и ряд других. Из раскадровки этой киноленты сделан известный фотоснимок — Лукач и Листер на фронте под Гвадалахарой.)

На совещании весь план контрнаступления был продуман до мелочей. И Листер и Лукач буквально выстрадали его. Ведь до этого и тому и другому так часто приходилось водить свои части в бой по непродуманным диспозициям, сочиненным другими по штабным картам, без знания местности, расстановки республиканских сил и сил противника. А потому — терпеть неудачи или одерживать слишком дорогие полупобеды.

В течение 17 марта — удивительное новшество в республиканских войсках — Лукач и офицеры его штаба проводят детальную работу командного состава на местности. Непосредственно указаны цели всех частей. Заинтересованные в совместных действиях командиры — пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики — договариваются между собой о взаимодействии. И скрупулезная эта работа, свидетельствующая о возросшем профессионализме республиканских войск, очень скоро принесет весомые плоды.

Уступая врагу по количеству пулеметов и минометов в два раза, по орудиям — в четыре раза, Лукач обеспечил скрытную переброску танков. На крохотный пятачок земли, где сосредоточилась Двенадцатая интербригада, он ночью вывел еще 1-ю ударную и 70-ю испанскую бригады.

Перед боем комбриг собрал командиров батальонов и комиссаров. Он был краток:

— Атакуем на северо-восток. Взяв Бриуэгу, поворачиваем на северо-запад и заходим в тыл фашистам, стоящим перед Одиннадцатой интербригадой севернее Трихуэке. Потом поворачиваем снова на северо-восток и отбрасываем врага к Сигуэнсе.

Скупыми оказались и прения. Распределили пулеметы. Поинтересовались резервами. Дружно поплевали через левое плечо, чтобы могли наконец взлететь бомбардировщики с размокших аэродромов. И разошлись.

Атаку Двенадцатой итальянцы встретили сгнем шести артиллерийских батарей. Несмотря на это, танки ворвались в окопы противника. Через час первая линия обороны итальянцев была занята батальонами Гарibaldi и Домбровского. И все-таки атака развивается медленнее, чем было намечено. Сильный дождь и разбухшая от влаги почва препятствуют продвижению, особенно танков. Несколько тяжелых машин безнадежно увязли в густой рыжей глине чуть не по башню.

Итальянцы судорожно пытаются восстановить положение. В 16.00 их командование вводит в бой свои последние резервы — 1-ю группу батальонов 1-й волонтерской дивизии. Но части эти жестоко потрепаны еще на марше. Хотя погода стоит нелетная — хлещет дождь, и небо обложено тучами, — республиканские летчики «не соблюдают правил»: используя деревянные настилы вместо взлетных полос, они самоотверженно поднимают сорок машин в воздух. Резервы итальянцев деморализованы. Их замешательство немедленно использует командование Двенадцатой бригады. Интеровцы вновь переходят в атаку. Они преследуют итальянцев вдоль шоссе Ториха — Бриуэга.

«У фашистов было огромное численное и материальное преимущество, — рассказывает Савич. — Тем не менее республиканское наступление превратилось в исторический разгром фашистов. На плечах неприятеля, одновременно с бойцами Листера, бригада ворвалась в Бриуэгу. Залка требовал перевозочных средств: врага нужно было и можно было гнать дальше. Ни грузовиков, ни резервов не оказалось. Штаб армии даже не понимал размеров собственной победы».

«Легионеры в панике бежали из города по шоссе на северо-восток, — вспоминает другой очевидец, советник Петрович (Мерецков). — Фактически волонтерская дивизия «Господень промысел» перестала существовать».

Только за 18 марта в районе Бриуэги было захвачено тридцать орудий, шесть танков, свыше ста пятидесяти пулеметов, около тысячи винтовок, полтора миллиона патронов, десять тысяч снарядов, сто тридцать автомашин и тракторов, шестьдесят километров телефонного провода, продовольствие и оперативные документы штаба дивизии, около трехсот пленных.

Еще день экспедиционный корпус оккупантов делает вид, что оказывает сопротивление. А потом, отбросив ложную стыдливость, бежит, бросая технику и

оружие — то самое оружие, блеск которого он явился демонстрировать под Гвадалахарой.

Итальянский посол в Бургосе Роберто Канталупо телеграфирует министру иностранных дел графу Чиано: «Вне всякой очереди — расшифровать лично министру». Он сообщает, что итальянские «добровольцы» больше не могут выдержать, и просит, чтобы дуче немедленно потребовал от Франко замены итальянцам. В ночь с 21 на 22 марта разбитый итальянский корпус снимают с фронта и уводят в тыл.

«Это была одна из самых знаменитых операций революционной войны испанского народа, — свидетельствует Маршал Советского Союза Мерецков. — В ходе ее генерал Лукач снова зарекомендовал себя прекрасным командиром».

«Несмотря на ту выдающуюся роль, которую в боях под Гвадалахарой получили танки и авиация, — пишет военный историк Самойлов, — исход операции не был бы таким, если бы вместо 11-й и 12-й интернациональных бригад, 2-й бригады Листера и бригады Кампесино республиканцы располагали только пехотой типа слабых «позиционных» бригад. Совершенно ясно, что подобные бригады не сдержали бы натиска превосходящих итальянских сил».

Но и республиканским частям победа эта далась нелегко. Батальоны Двенадцатой потеряли ранеными и убитыми до половины состава. «В эти тяжелые дни гвадалахарских боев я впервые видел Лукача небритым, — вспоминает Кармен. — Измученный несколькими бессонными ночами, обросший щетиной, тяжело опираясь на свою трость, он шел под дождем, подняв воротник шинели. Это было в прифронтовом селении Ториха, разбитом варварской бомбардировкой фашистской авиации. Он встретил меня усталой улыбкой»...

Не успели отгреметь последние выстрелы, как район этих боев и этой победы стал настоящим местом паломничества. «На фронте появились экскурсанты — делегаты, писатели, журналисты из Валенсии, Барселоны, Парижа, Лондона и даже Нью-Йорка. Они разъезжают по недавним полям битвы, осматривают ее следы, фотографируют огромные склады снаряжений, отобранных у итальянцев, беседуют с пленными, собирают себе на память итальянские сувениры».

Одержанную победу братья по оружию, испанцы и интеровцы, празднуют вместе. С ними за стол садятся приехавшие из Мадрида гости: корреспонденты и писатели, среди них — Хемингуэй. «Сперва была некоторая натянутость. — вспоминает Савич, — говорили на многих языках, не очень-то понимая друг друга. Но там, где находился Залка, люди не могли остаться разобщенными. Он слышал каждую паузу, видел все пустые бокалы и одним словом или жестом включал человека в общий разговор. Сам он никогда не пил даже самого легкого вина, но веселел вровень с другими».

Потом сдвинули столы, начались танцы под разбитый рояль. Хемингуэй — он много пил и мало говорил, только иногда громко смеялся, закидывая голову, — стоял в стороне. Залка предложил ему потанцевать. Он рассмеялся. «А вот есть музыка, под которую он пойдет танцевать», — сказал Залка.

Наступила тишина. Залка взял обыкновенный длинный карандаш, поднес его одной рукой к своим ослепительным зубам и пальцами другой начал выстукивать по зубам немудреный вальс.

Ритм был четок, мелодия ясна. И Хемингуэй, послушав с восхищением, вдруг подхватил такую же высокую, как он сам, журналистку, с которой он приехал, и пошел кружиться, стараясь держаться как можно ближе к Залке.

В ту минуту в низкой комнате крестьянского дома не было ни одного человека, который не был влюблен в Залку. А таких минут в его жизни не счесть...»

В одном из своих писем на родину Залка-Лукач не без горечи пишет: «От литературы я теперь в тысячемильном расстоянии...»

Да, писатель, добровольно надевший на себя мундир республиканского генерала, лишен возможности заниматься в Испании своим прямым делом. Тем делом, которое он считает своим главным призванием, смыслом всей жизни. «Тысячемильное расстояние», о котором он пишет, это, конечно, не отдаленность от советских журналов и издательств, с которыми Залку-писателя свя-

зывает многолетнее сотрудничество. От литературной деятельности он отгорожен прежде всего чувством долга: ведь он приехал сюда как военспец и обязан на этом поприще сделать максимум возможного и невозможного — до литературы ли тут?

По дороге в Испанию, когда Залка-Лукач еще плохо представлял себе ту нагрузку, которая ляжет на него, он, оказывается, втайне вынашивал планы литературной работы. Эти его замыслы выдает письмо, направленное им еще из Стокгольма 19 октября 1936 года Лауре Лёчеи в Будапешт:

«Милая племянница, хочу попросить тебя: как только получишь это письмо, сходи в издательство «Гондолат» и выясни, не хотят ли они иметь в Испании собственного корреспондента? Если — да, то я попрошу об этом Пала Лукача, которому, между прочим, поручено заняться этим вопросом от «Прагер прессе». Я мог бы получать от него художественные очерки и новеллы, а если нужно — сухие репортажи, оригинальные фотографии и прочее. Но Лукач хотел бы, чтобы ему выслали заверенное удостоверение об аккредитации — иначе ему не удастся послать оттуда ни строчки. В отношении гонорара у Пала Лукача претензий не будет. Пусть ему платят столько, сколько платят за статью, написанную в кафе или в рабочем кабинете, хотя статьи эти, *unter uns gesagt*², и будут написаны под грохот орудий...»

Залка знал, что ни одно венгерское периодическое издание не взяло бы на себя смелость напечатать произведения, присланные из СССР. Так, может быть, хоть таким путем — из Испании, под псевдонимом — ему удастся обойти рогатки хортистской цензуры и «контрабандно» проникнуть в венгерскую литературу?

Но чуда не произошло, и мечте Матэ Залки быть напечатанным в родной стране, на родном языке пока что не суждено было сбыться. Как вскоре убедился Лукач-Залка, ни в Каса-де-Кампо, ни в Университетском городке, ни тем более на Хараме и под Гвадалахарой он бы не смог выкроить времени не то что на художественное произведение, пусть даже новеллу, но и на самые что ни на есть «сухие» репортажи. К тому же имя Пауля Лукача после первых же боев Двенадцатой под Мадридом так часто склонялось в печати, что ни один «гондолат» не посмел бы публиковать его корреспонденции в Венгрии, режим которой откровенно сочувствовал идеям франкистских путчистов.

Вот так и получилось, что главным виновником того, что писателю Залке не удалось заняться литературной деятельностью в Испании, стал не кто иной, как генерал Лукач.

Книгу об увиденном и пережитом в Испании написать он, конечно, мечтал. И не только мечтал — считал своим долгом, таким же, как сражение с фашизмом. Но работу эту он откладывал на потом. «Я теперь не писатель. Пусть пока пишут другие, я воюю».

«Он внимательно прислушивался, когда говорили, что кто-то пишет об Испании, — вспоминает Савич.

— Этот напишет хорошо. Было бы время, я бы написал ему письмо и кое-что рассказал бы. Чтобы помочь товарищу.

— Ты бы поберег это для себя.

— Я писать буду потом, когда все кончится. Забыть я все равно ничего не смогу. И напишу только правду, без всякой выдумки. В Испании пережито столько, что врать нельзя».

Наметками своих творческих замыслов Лукач-Залка делится и с другим собратом по профессии — Ильей Эренбургом. «Между двумя боями в испанской деревне Фуэнтес Матэ Залка думал о новой, ненаписанной книге. Он сказал мне тогда (эти слова были мною, к счастью, записаны): «Если меня не убьют, напишу лет через пять. «Добердо» — это все еще доказательства. А теперь и доказывать не к чему — каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса... Я не люблю крика»...»

Похоже, что обязанности военачальника настолько поглощали в те месяцы Лукача, что даже до дневника, вести который стало его многолетней привычкой, руки у него не доходили. Об этом косвенно свидетельствуют воспоминания его товарищей.

² Между нами говоря (нем.).

Кармен: «Матэ Залка с грустью делился со своими друзьями: он завидовал своим коллегам писателям — Хемингуэю, Кольцову, Эренбургу:

— Вы пишете, а мне даже некогда вытащить из кармана записную книжку».

Савич: «Алеша Эйсер все подглядывал: где же генерал прячет записную книжку. Залка убеждает его:

— Мы с тобой сейчас не писатели, а солдаты. Два оружия сразу — это значит, что ни одно же стреляет...»

И все-таки есть официальный документ, в котором упоминается, что в вещах погибшего генерала были найдены три записные книжки.

«12-а BRIGADA INTERNACIONAL
ESTADO MAYOR

Inventario de los objetos recogidos pertenecientes
al general Lukach

Una pequena bolsa de cuero conteniendo...

— dos bloks de notas — (conservados en la caja del E. M.).

Una maleta conteniendo...

— un blok de notas — (conservado en la caja del E. M.).».

(«12-я интернациональная бригада

Штаб

Список вещей, принадлежавших генералу Лукачу

Маленькая кожаная сумка, содержащая...

два блокнота с записями (оставлена в сейфе штаба).

Чемодан, содержащий...

блокнот с записями (оставлен в сейфе штаба)...»)

Это выдержки из описи личных вещей генерала Лукача, которые после его гибели под расписку получил его племянник Андраш.

Что записывал генерал в этих блокнотах? Сводки о потерях и черновики военных рапортов и приказов? Или все-таки краткие заметки на память, нечто вроде «капитан — униформа — мост», которые в свое время он делал на плоскогорье Добердо? (Из тех кратких, казалось бы, бессмысленных записей писатель через двадцать лет во всех деталях сумел воссоздать обстановку на том участке австрийско-итальянского фронта.)

Возможно, что этих блокнотов давно уже нет и в помине. Они могли быть уничтожены вместе с архивами, когда республиканские войска покидали испанскую территорию. Могли попасть в руки агентов гестапо в Париже, куда была вывезена часть документации интербригад. А может быть, они все-таки сохранились и пылятся вместе с бумагами других интернационалистов, разбросанными по хранилищам и архивам библиотек и служб безопасности многих стран мира?..

Меко — Саседона (под Мадридом), 23 апреля—20 мая 1937 года.

За полтора месяца до гибели, 23 апреля, Матэ Залке исполняется сорок один год. В день своего рождения он пишет домой письмо, пишет, не щадя самолюбия:

«Я весь день 23-го был тих и чуть-чуть мрачен. Думал о судьбе, о превращениях жизни, о прошедших годах и остался собой недоволен. Мало сделано. Мало успел. Мало достигнуто. В этот день у нас было удивительно тихо. В промежутках, когда людские голоса утихали, среди весенних кустов птичье пение делалось совершенно нестерпимым. Но все это хорошо, когда ты знаешь, что те, которые тебе самые милые, — живут вдали от бурь... На душе становится легко, и хотя в жизни мало достигнуто, но все же хорошо. Хорошо на душе, тихо. Зазеленевшие и расцветающие кусты плюс день рождения, тщательно скрытый от друзей и подчиненных.

Не хочется шума. Шума и так хватает.

Надеюсь, вчера вечером вы, мои родные, лучшие друзья, собрались и за мое здоровье выпили бокальчик шипучего вина. Спасибо. Будем жить и побеждать.

Ваш М.».

Письмо это дышит тихой грустью. Но его соратники и друзья грустить ему не позволили. Они приготовили ему сюрприз.

«Друзья подстерегли и устроили мне такой вечер, что даже дым ходил

коромыслом... — признается он в следующем письме. — Эти славные люди сделали мне 23-го такую честь: первый бокал шампанского мы выпили за Веру Ивановну, второй — за Наталью Матвеевну и только третий — за новорожденного, который, несмотря на свое, можно сказать, ответственное положение, обязан был «агукнуть», что вызвало среди присутствующих громкий смех и ликование»...

Если не считать усталости, ввевшейся во все поры, последние два месяца были, может быть, самыми счастливыми в жизни Лукача.

Из Москвы приходит долгожданное известие о том, что «Новый мир» начал печатать «Добердо». Почтовое сообщение с СССР также налаживается, и Лукач теперь регулярно получает весточки от родных. А это самое эффективное лечение и от усталости и от мигреней. «Твое и Талино письмо я получил сегодня. Хожу праздничный и счастливый. Все спрашивают: что с вами, генерал? Как будто вы навеселе? — «Ничего», — говорю я. Не хочу делиться счастьем ни с кем. Вот какой я стал эгоист...»

Не может не радовать Лукача-Залку и то, что в войне, казалось бы, наступал долгожданный перелом. Экспедиционный корпус итальянских интервентов разгромлен. Регулярная республиканская армия, за организацию которой он так ратовал и болел душой, создана и уверенно сдерживает все атаки кадровых частей франкистов у стен Мадрида. Мог ли Лукач не испытывать законную гордость за своих испанских товарищей?

Приказ генерала Лукача к полугодовому юбилею организации интернациональных бригад:

«Интернациональные бригады по случаю шести месяцев своего существования приветствуют героических руководителей, и в их лице — всю Народную армию. Кончилось продвижение фашистских бандитов. В ближайшие дни Народная армия начнет решающее наступление.

С тем же воодушевлением, какое демонстрировали до сих пор командиры, солдаты и политкомиссары, 12-я бригада готова идти к новым победам.

Салют, соратники, мы должны победить!

Командир 12-й бригады Лукач».

Успехи республиканских войск под Мадридом позволили командованию снять с фронта Двенадцатую и три другие интернациональные бригады. В середине мая их отводят глубоко в тыл, на заслуженный отдых.

В эти последние недели судьба балует Лукача. На отдыхе ему предоставляется возможность осуществить давно вынашиваемый им план — преобразовать бригаду в дивизию.

Еще на Хараме военный советник Петрович (Мерецков) отметил: «12-я интернациональная, как и остальные шесть бригад, из-за ожесточенности сражений имела непостоянный состав. Выбывавших бойцов заменяли другие. До середины февраля 1937 года ряды бригады обновлялись, пожалуй, трижды. Больше всего в ней побывало итальянцев, поляков, немцев и французов. Лукач был там как раз на месте. Зная немецкую и венгерскую речь, понимая испанскую, он каждый раз со свойственным ему темпераментом укомплектовывал свои батальоны».

Уточним — не просто укомплектовывал, но и стремился создать бригаде дополнительный резерв. И резерв этот он терпеливо сколачивал, пестовал и наращивал. В ходе харамской операции бригаде были приданы для взаимодействия два испанских батальона. После сражения Лукачу удалось добиться, чтобы подразделения эти остались в бригаде. Из них был создан один полноценный батальон, получивший наименование «Мадрид». Немало испанских добровольцев вливалось в ряды Двенадцатой, когда она защищала или освобождала селения и городки. Наблюдались случаи, когда милисьянос бросали свои отступающие и неорганизованные колонны и присоединялись к интервцам, где чувствовали дисциплину и уверенность в победе. Лукач приветствовал это. И потому, что считал — испанцам по праву принадлежит место в его бригаде. И потому еще, что был уверен — здесь они быстрее научатся военному ремеслу.

Когда после отвода бригады на отдых в нее влились новые пополнения, прибывшие из Альбасете, то оказалось, что часть, носящая имя Гарибальди, давно переросла узкий кафтан батальона и, по существу, уже превратилась в полшо-

ценную бригаду. Очень скоро и домбровцев за счет массового притока добровольцев из славянских стран набралось на добрых два батальона.

Осуществляется и давняя мечта венгров и самого Лукача — создан венгерский батальон.

Анна-Мария Баш, прошедшая всю гражданскую войну в Испании в качестве медицинской сестры в интербригадах, рассказывала:

«Уже в декабре 1936 года мы прослышали, что где-то на Мадридском фронте сражается венгерский командир, и притом — очень храбрый. И тогда разведчики из числа наших бойцов отправились на розыски этого венгерского командира. Они бы охотно сразу остались у него, да только Лукач возвращал их в части, заявляя при этом, что „солдаты ему нужны только дисциплинированные“».

После харамской битвы, когда от ста двадцати человек венгерской роты осталось лишь двадцать семь, расстроенный Лукач упросил Ганса Калле, командира Одиннадцатой интербригады, отдать ему остатки этого подразделения. Одновременно в Альбасете и в госпитали были посланы указания впредь направлять всех венгров в Двенадцатую, в распоряжение Лукача.

1 мая 1937 года в деревне Меко вблизи Мадрида перед генералом Лукачем состоялся смотр вновь созданного венгерского батальона. Его командиром был назначен майор Нибург (член ЦК Венгерской компартии Акош Хевеши).

«После парада последовал торжественный обед, — вспоминает Анна-Мария Баш. — В центре большого стола восседал генерал Лукач. Он разговаривал со своими соседями, как будто знал их в течение многих лет. На обеде он произнес речь. Он говорил на свежем, сочном венгерском языке. Выразив общую мысль, он сказал, что здесь мы боремся и за свободу нашей далекой родины...»

— Батальон этот я буду беречь, — с нежностью, как о ребенке, говорил Лукач. — Венгры и так уже принесли Испании огромные жертвы, а партия у нас маленькая. В России сколько мадьяр погибло. В Венгрии казненных не сосчитать!..

При правительстве Ларго Кабальеро рапорт комбрига Двенадцатой о преобразовании вверенной ему части в дивизию неторопливо блуждал по лабиринтам военного министерства. Лишь после того как пост премьера занял молодой и энергичный Хуан Негрин, который не питал антипатии к интеровцам, рапорту Лукача был дан ход. В штаб Двенадцатой приходит долгожданный приказ. На совещание штаба Пауль Лукач является в испанском генеральском мундире с перекрещенными шпагами на обшлагах и в петлицах. А вкрапленные между эспадак красные звездочки напоминали, что он военачальник республиканской, народной армии.

— Друзья, я поздравляю вас с успешным завершением наших многомесячных усилий, — обратился он к офицерам штаба, когда приказ о присвоении Двенадцатой интербригаде наименования 45-й дивизии был оглашен. — Но я считаю, что еще больший успех у нас впереди, когда дивизия наша начнет бить фашистов, как делала это Двенадцатая бригада.

«У меня здесь много настоящих друзей, без которых совершенно невозможна работа и невыносимы были бы трудности. Вокруг меня хороший, сплоченный коллектив, и, как меня учила наша система руководства, она основана на принципах требовательности друг к другу и к себе, вниманию друг к другу и поддержке друг друга в моменты трудностей, — пишет Лукач домой. — Не могу жаловаться: друзья у меня хорошие, испытанные, с ними можно идти на все. Это они доказали мне много раз. Ну, и я не заслужил их недоверия и сомнения...»

И в Мадриде и в новой, временной столице Республики — Валенсии понимали важность и значительность такого события, как преобразование одной из интербригад в дивизию. И отдавали ее командиру за это должное. Старший советник при новом военном министре, суховатый и скупой на похвалу комкор Штерн, растрогался и признал, что «создание 45-й интердивизии из ничего — это военно-административный подвиг...».

Новорожденную 45-ю дивизию республиканское командование решает перебросить на Арагонский фронт. Как стало известно из разведанных, Франко сни-

мал с этого давно уже затихшего фронта одну дивизию за другой. Он направлял их на помощь армии, душившей в кольце блокады отчаянно оборонявшиеся баскские провинции, отрезанные от основной республиканской территории.

Первой задачей, которую поставили перед дивизией Лукача, было взятие Уэски. Город этот обеспечивал стратегическую связь Верхнего Арагона с французской границей. Он был захвачен франкистами в самом начале мятежа.

Генерал отдает себе отчет в важности поставленной перед ним и его частью задачи. В одном из последних писем домой он указывает по этому поводу: «Задача у меня полезная, славная, трудная. Надо напрячь все усилия для того, чтобы доказать, что выбор, павший на меня, не был ошибочен. И я это докажу. Вы еще будете гордиться своим стариком...»

— Наша главная цель даже не Уэску взять: ее-то мы как пить дать возьмем,— делился Лукач с офицерами своего штаба тем, как он лично понимал задачу дивизии.— Главная цель — активизировать весь Арагонский фронт. Под Мадридом республиканские части научились бить врага и уже не нуждаются в помощи. А в Арагоне положение иное, и куда сложнее: отсутствие боевого опыта, сепаратизм...

Каспе — Уэска, 27 мая — 12 июня 1937 года.

Всего за неделю огромная работа — передислокация за сотни километров нескольких тысяч солдат, артиллерийских батарей, кавалерии, тыловых служб — была закончена. Переброску осуществляли скрытно, по разным дорогам. И прошла она без сучка и задоринки.

Четкие действия подразделений дивизии ничем не напоминали неразбериху и первые беспомощные шаги Двенадцатой в ноябре под Серро-де-Лос-Анхелес. 27 мая бригада прибыла в главный город Арагона — Каспе.

Но здесь Лукач столкнулся с непредвиденным. На Мадридском фронте со скоропалительными и непродуманными диспозициями было покончено. Горький опыт первых сражений показал всем — и штабным работникам и фронтовым командирам-самоучкам, — к каким потерям это ведет.

Но Арагонский фронт являлся независимой вотчиной. В штабе погоду по-прежнему делали кадровые офицеры. План наступления на Уэску, разработанный его спецами, ставил под угрозу успех операции и сулил интеровцам катастрофические, ничем не оправданные потери.

Уэска была окружена полукольцом республиканских позиций. Сообщение с территорией, уже занятой франкистами, осуществлялось по единственной дороге, которую прикрывали два хорошо укрепленных форта — Чимильяс, возле самой Уэски, и Алере, километрах в пяти дальше. Диспозиция арагонского штаба предписывала атаку в лоб на эти укрепления. Причем соседним дивизиям запрещалось действовать во время наступления интеровцев.

— Приказ уже отпечатан, осталось подписать. В нем так и сказано: ни одного выстрела до взятия нами Чимильяса и Алере,— возмущался Лукач. — Понимаете, что это для нас будет значить?..

— Уж если перерезать дорогу, так надо ближе к городу, — высказал свое мнение Петров, заместитель Лукача. — И в клещи брать непременно с двух сторон. А начать надо с отвлекающего удара — где-нибудь в стороне.

Лукач, начштаба Белов и полковник Петров засиделись за полночь, уточняя каждую мелочь. Рано утром решили ехать к командующему фронтом генералу Посасу со своим, встречным планом. И комдив было совсем успокоился...

Но на следующий день стало известно, что командующий фронтом уже подписал приказ, а мнение тех, кому надлежит его исполнять, его не интересует. Похоже, что для штаба Арагонского фронта одержать верх над упрямыми интеровцами и их «беспокойным» генералом было куда важнее победы над франкистским гарнизоном Уэски.

Сколачивая дивизию, Лукач знал, что делает это не для парадов. Но и не для бесславных поражений и тем более не для заведомого уничтожения. Подобный приказ не зазорно и отказаться выполнять. То, что разжалуют и снимут, — невелика беда. Но спасет ли это положение? А что, если его преемник не задумываясь выполнит приказ и угробит дивизию?

У Лукача не та школа да и не тот характер, чтобы отступить перед трудностями и тем более снимать с себя ответственность. Почему он не сдался в плен на Добердо? Не позволила гордость, и только-то? Или считал более честным разделить с солдатами их судьбу? Зачем ввязался в гражданскую войну в чужой, холодной Сибири? Не проще ли было отсидеться в бараке лагеря военнопленных? В неволе, зато в безопасности и тепле. Тогда он считал, что борется за растоптанную справедливость. А разве не за то же сражается испанский народ?

Нет уж, учиться осторожничать и прятаться за чужую спину надо было раньше. На сорок первом году эту науку поздно одолевать. Всю свою жизнь Залка-Лукач следовал лишь порывам сердца и жил всегда в ущерб своему спокойствию и, как порой намекали ему, благополучию. И иначе не мог. Сейчас он понимал, что каждый проигранный бой — это кирпич в фундамент франкизма. Значит, надо бороться!

«Ты знаешь, Веруничка, — пишет он жене в последнем своем письме, 5 июня, — когда я очень измотаюсь, когда после трудного дня, после того, как замолкают наши громкие голоса, чувствую, что нет больше сил, стоит только подумать о том, что я ведь из той страны, как становится мне стыдно и силы приходят. Это очень дисциплинирует и подбодряет... Главное то, чтобы быть достойным сыном страны, перед которой преклоняются даже заклятые враги... Подумай, что сказали бы ты, или Тала, или те, кто верит в меня, если бы я оказался слабым!»...

Быть слабым Лукач не может себе позволить — речь идет о тысячах жизней его товарищей. И он отправляет подробную докладную записку в Валенсию, советнику Штерну, где излагает замечания к плану штаба фронта и свои контрпредложения. А до прихода ответа из Валенсии Лукач дает слово любой ценой удержать дивизию от атаки. И не его вина, что слово свое он не сдержал. Времени на исполнение задуманного ему уже не было отпущено. Когда дивизию бросили на проволочные заграждения и бетонные укрепления, его уже не было в живых — он погиб в канун наступления.

...И было все так, как он и предвидел. Когда республиканские бомбардировщики вышли на цели, их заклевал взявшийся неизвестно откуда рой франкистских истребителей. Фашистские пушки открыли точный и мощный огонь по республиканским батареям, расположение которых, как оказалось, было им отлично известно.

Бойцы 45-й дивизии, узнав о гибели Лукача, рвались в бой. Но как только танки и пехота вышли на открытое пространство, их встретил перекрестный огонь пулеметов. Противотанковые пушки подбили несколько машин, остальные повернули обратно. Пехота залегла, неся большие потери.

Тогда с франкистских аэродромов, о существовании которых никто и не подозревал, волна за волной пошли тяжелые бомбовозы — «юнкерсы». Горы вокруг Уэски содрогались от взрывов. Густые черные облака застлали небо. Артиллерийский обстрел и бомбежка позиций интеровцев продолжались не один час.

После полудня стало ясно, что наступление захлебнулось. В бригаде Гарибальди были тяжело ранены все три командира батальонов, погибли несколько комиссаров и около трети офицеров. В батальоне Домбровского убиты начальник штаба и пять командиров рот. Всего же дивизия при первой попытке атаки потеряла более полутысячи человек убитыми и многие сотни ранеными. И не продвинулась ни на шаг.

Последним эпизодом этой трагедии, наблюдать которую Лукачу не пришлось, стал ввод в бой резервного венгерского батальона. Его шестидесятилетний командир Нибург — Аош Хевеши — лично возглавил атаку. Он шел впереди батальона, опираясь на палочку. Порыв венгров, дружно поднявшихся в атаку, чтобы отомстить за своего земляка, ничего не дал. Из-за бетонных укреплений франкисты косили их из пулеметов, крошили из пушек. Тело комбата Хевеши не нашли.

На следующий день из показаний перебежчиков стало ясно, что гарнизон Уэски задолго и во всех деталях знал о предстоящем наступлении и хорошо к нему подготовился. Знал он и с тем, что для «внезапного наступления» сюда

будут переброшены интеровцы. Еще за две недели до атаки на город, когда генералу Лукачу и его штабу ровным счетом ничего не было известно о диспозиции, разработанной в штабе Арагонского фронта, в Уэску прибыли инженеры-фортификаторы и с ними — германский советник. Под их присмотром бетоном и сталью были укреплены именно те узлы обороны, на которые и бросили потом обреченные части 45-й дивизии.

В штаб фронта об этом был отправлен подробный рапорт, а вместе с ним и свидетели-перебежчики. Несмотря на это, отсюда вновь поступил приказ: повторить атаку по тому же плану и теми же, уже поредевшими, силами. Соседние дивизии рвались в бой — они просили разрешить поддержать своим наступлением интернационалистов. Им запретили.

Принявший командование 45-й дивизией заместитель Лукача болгарский полковник Петров помчался в штаб фронта. Но его, как и Лукача, и слушать не стали. «Интернационалисты прибыли сюда распоряжаться или воевать? Ну, а если воевать, так пусть выполняют приказы — командиров в Испании хватает...»

И дивизия вновь пошла в атаку. И вновь цепи ее бойцов франкисты безнаказанно поливали свинцом из укрытий, бомбили, забрасывали снарядами. Радио Саламанки, не скрывая торжества, передало известие о гибели «венгерского бандита» — генерала Лукача.

Наступление под Уэской — непонятная и мрачная страница в летописи гражданской войны в Испании. Об этой операции в книгах об испанской войне, как правило, упоминают лишь вскользь. Действительно, и до Уэски и после нее было немало сражений куда более значительных и решающих. Мы останавливаемся подробно на этой операции лишь потому, что для Лукача и его детища — 45-й дивизии — операция эта оказалась последней. Дивизия, как и ее командир, оказалась, по словам А. Эйснера, «смертельно раненной».

Гибель генерала Лукача под Уэской, как и многие другие эпизоды его жизни, почти сразу же обросла домыслами и легендами. Чуть не на следующий день кем-то был пущен слух, что командир дивизии убит преднамеренно. Его, мол, направил по этой дороге патруль ПОУМ³, заранее оповестив о его проезде франкистских артиллеристов в Уэске.

Вскоре в западной печати промелькнула и иная версия — будто генерал Лукач покончил с собой, так как впал в немилость у Сталина и получил приказ немедленно вернуться в Москву.

На самом деле все было иначе. Поумовский пост по дороге на Уэску еще за сутки был заменен предусмотрительным Лукачем на подразделение интеровцев. Не получал генерал и приказа вернуться в Москву. Будь это на самом деле, вся его дальнейшая судьба могла бы сложиться совсем по-иному.

О том, как это случилось, не по домыслам, а на самом деле, рассказывает человек, бывший с генералом Лукачем в одной машине в тот момент, когда рядом с ней разорвался снаряд, — полковник Фриц, он же Павел Иванович Батов:

«Искренне желая помочь своим друзьям, предупредить их о сложившейся обстановке, я решил выехать в район сосредоточения, чтобы лично встретиться там с генералом Лукачем. Через пять-шесть часов я был уже на месте. Меня встретил адъютант Лукача Алеша Эйснер. Он на ходу рассказал мне о состоянии дел...

В штабе Лукач бросился ко мне со словами:

— Дорогой мой Фриценька, рад тебя видеть.

Он крепко обнял и поцеловал меня»...

Но от советника Фрица не укрылась озабоченность комдива. Наедине Лукач честно признался своему другу, что считает приказ о взятии Уэски вредительским и под любым предлогом выполнять его не станет. Надо было ехать на командирскую разведку — Лукача уже ждали. Полковник Фриц вызвался поехать с ним, чтобы на месте оценить серьезность положения. О своем желании поехать на рекогносцировку заявил и комиссар Густав Реглер. Он сел рядом с шофером Эмилио.

³ Испанская партия троцкистского толка.

Комдив решил заодно проверить пост, поставленный на перекрестке у дороги, которая простреливалась из Уэски, — движение по ней по приказу Лукача было перекрыто. У поста они увидели машины комбригов Паччарди и Янека, которых сержант пропустить отказался. Лукач вышел из машины и похвалил сержанта. Но, посоветовавшись с Янеком и Паччарди, решил, что уже поздно и имеет смысл рискнуть — поехать кратчайшим путем. Впереди послышался разрыв, потом еще один.

— К дороге пристреливаются... — сказал Лукач, усаживаясь в машину. Но все-таки решения своего не отменил. Похоже, что все помыслы его были устремлены на решение мучительного вопроса: как спасти дивизию. На такую малость, как беспокойство о собственной жизни, времени и душевных сил у него не осталось.

...Машина прошла уже километра три, когда под ее левым колесом разорвался снаряд. Посыпались стекла, от дыма и пыли стало темно. Лукач тяжело навалился на своего друга Фрица. Когда рассеялся дым, Фриц увидел, что все лежит без сознания, а генерал залит кровью и неподвижен...

В госпитале полковник Фриц потребовал, чтобы для Лукача вызвали лучших врачей, собрали консилиум.

— Консилиум не поможет... — сказали ему.

Генерал был ранен смертельно.

... — Какой был сильный человек! — сказал главный хирург дивизии Хулиан Алексею Эйснеру, приехавшему проститься со своим командиром и другом. — Смотри, как он борется, а ведь часть мозга осталась в машине. Другой бы умер на месте...

Генерал Лукач скончался на рассвете 12 июня.

Похоронить Лукача решено было во временной столице Республики, в Валенсии.

В Испании был объявлен национальный траур.

Москва — Мадрид — Будапешт, 1937—1979 годы.

Н. Залка. О смерти папы мы узнали из газет. Мы всегда по утрам первым делом прочитывали сообщения из Испании.

15 июня утром я готовилась идти на выпускные экзамены и перед выходом вынула из почтового ящика «Известия». Наскоро пробежала глазами большую корреспонденцию Эренбурга с фронтов в Испании. Уже хотела было отложить газету, но в самом конце статьи мне попала на глаза папина фамилия.

Читаю, перечитываю — и не верю, просто не понимаю. В газете написано:

«На фронте Уэски неприятельским снарядом убит один из самых доблестных бойцов интернациональных бригад генерал Лукач. Тело Лукача сегодня направляется в Валенсию, где состоится его погребение».

Первым моим движением было, конечно, бежать к маме, но она в это время была в ванной. Я встала у двери и стала ждать ее. Она плещется, напевает что-то. Тогда я побежала к Исаковским, нашим соседям и близким друзьям, и сразу поняла, что они уже все знают. Лидия Ивановна обняла меня, все плачут, а я не могу. В голове стучит одна мысль: как сказать маме. Лидия Ивановна, добрый, чуткий человек, сказала, что пойдет со мной.

Помню, мы стояли с ней у дверей ванной и ждали. Мама запела папину любимую «Кукарачу». И тут я начала реветь. Открылась дверь. Мама увидела нас, перестала петь. Посмотрела внимательно на меня, на газету и спросила:

— Что? Матэ, да? — И как подкошенная упала на руки Лидии Ивановны.

После этого началась в нашем доме странная жизнь. Целый день не закрывались двери: входили и выходили знакомые и незнакомые люди, без конца звонил телефон. Кто-то привозил врача, кто-то в судках доставлял горячую пищу. Но я заметила, что распоряжался всем крупный и широколицый мужчина в штатском. Потом нам сказали, что это был человек от Ворошилова.

Официально факт смерти папы не был подтвержден. И поэтому мы ждали, что нам ответят на наш запрос: правда это или нет. В газетах появилось опро-

вержение некролога Реглеру. Мы узнали, что Реглер находился в одной машине с папой, и у нас появилась надежда...

Только на пятый день человек, который всем распоряжался, подтвердил печальную весть. И мама окаменела, застыла и ничем больше не интересовалась. У нее отнялись ноги.

Мое сознание отказывалось воспринять этот факт. Отец каждую ночь снился мне живой, весь перебинтованный, но живой. И всегда он говорил мне, что вернется, вернется, но только сейчас не может... Я надеялась на чудо. Но в конце концов пришлось принять все как есть. И, помню, мир рухнул для меня. Я абсолютно не могла представить себе, как мы будем жить без папы.

И вдруг пришло от него письмо. Это было его последнее письмо, которое продолжало свой путь тогда, когда его уже не было в живых.

«1937 г. 5/VI.

Дорогая Верочка!

Получил сразу два письма. Счастлив. Видно, что почта окончательно налаживается, и это подлинное духовное событие в моей жизни. Очень тебя благодарю за информацию насчет литературных моих дел. Я доволен. Насчет того, что ты сделалась деловой женщиной, я никогда не сомневался. Ты же умница, а то, что я тебя баловал и баловать буду,— это вполне понятно и от этого не откажусь и в будущем.

Теперь насчет моего здоровья. Ничего. Устал я, конечно. Но в последнее время нагрузка стала немного слабеть, и я моментально воспрял. Мне же мало нужно, чтобы прийти в себя. Глаза тоже успокоились. Ночу черные очки от солнца, и мигрени в последнее время стали редки. О том, когда вернусь, сказать не могу. Задача еще не выполнена, и буду держать знамя до конца. То, что мы возложенные задачи выполним с честью, сомневаться не приходится. Мне, Верочка, очень приятно читать твои строки, в которых ты меня подбадриваешь. От этого у меня на сердце становится тепло. Я горжусь моей женой и дочкой... Настоящие, настоящие! Такими должны быть жена и дочь коммуниста...

Поэтому прошу тебя — верь, что мы встретимся безусловно, что я приеду и что я твой еще больше, чем раньше».

Мама прочитала это письмо и разрыдалась. И это как-то облегчило ее состояние. Почти одновременно с письмом пришла посылочка и в ней фотоаппарат: «Чтобы Талочка училась снимать,— говорилось в маленькой записке.— Помоги ей, Верочка!»

(Этот последний папин подарок хранится у меня до сих пор. Мама действительно научила меня снимать. И в 1941 году я взяла этот «Цейс» с собой, когда вместе с группой добровольцев из ГИТИСа уходила на фронт. Снимала им и первые освобожденные от гитлеровцев в московской битве деревни Рязанской и Смоленской областей, снимала и в 1944 году в разоренной оккупантами Белоруссии, когда нашу часть — 330-ю Рославльскую стрелковую дивизию — с ликованием встречали местные жители. Этот же фотоаппарат я брала с собой в поездку по Испании в 1974 году, где сделала немало памятных снимков. Так этот «Цейс» вновь побывал на испанской земле.

Служит он мне верой и правдой и по сей день.)

Мы с мамой всегда знали, что у отца много друзей. Но в те тяжкие дни мы убедились, что их больше, чем можно было предположить. Двери нашего дома закрывались только на ночь. Приходили и приезжали друзья из других городов и даже республик. Писали письма, слали телеграммы.

В июле мы получили письмо от ближайших соратников отца по Испании, болгар Петрова и Белова. Они писали:

«Дорогие Вера Ивановна и Наталья Матвеевна!

Мы знаем вас только по имени. Между нами, однако, стоит незабвенный образ павшего друга, который породнил нас с вами до конца жизни. И если вы будете считать нас самыми близкими людьми, то поверьте нам — вы не ошибетесь. В боях и походах, в дни радости и тревоги Матэ не имел столь близких и верных друзей, как мы.

Стоит ли вас утешать? Героев и бессмертных не жалеют — ими гордятся. А вы имеете право и основание гордиться своим мужем и отцом.

Будет время, когда и на испанской улице наступит праздник. И тогда имя Лукача будут повторять от лагун Средиземного моря до снежных вершин Пиренеев. Потому что в новой и действительной истории испанского народа имя венгерца Залки будет одним из первых. И те, за лучезарное счастье и будущее которых Матэ сложил голову, никогда не забудут о гражданине мира — генерале Лукаче...

Мадрид, 8. VII. 1937 г.».

И вот ранней осенью 1937 года Петров и Белов позвонили в дверь нашей квартиры в писательском доме на улице Фурманова. Они пришли к нам чуть ли не в первый день по приезде в Москву, усталые, обветренные, как нам показалось тогда — опаленные боями и испанским солнцем.

По-видимому, они опасались наших слез и не знали, как вести себя с нами. Но убедившись, что мы держим себя в руках, Белов и Петров постепенно разговорились.

— Лукача похоронили как национального героя, — стараясь утешить нас, густым басом рассказывал Петров. — Даже гроб ему заказали специальный — со стеклянной крышкой. В Испании в таких только знатных людей хоронят — ведь Лукач был единственным генералом республиканской армии, погибшим в боях в эту войну.

Помню, что в тот момент нелепая, детская мысль мелькнула в моей голове: «Почему же этим единственным генералом должен был стать мой отец, он ведь даже не испанец?!»

Белов встал и взволнованно произнес:

— По поручению интервьюцев и испанских товарищей мы хотим вручить вам, самым близким родственникам Лукача, ключ от его гроба, как это положено по испанской традиции.

С этими словами он передал маме небольшую серебряную шкатулку. Она приняла ее и достала крошечный металлический ключик. В этот момент самообладание едва не покинуло ее.

Позднее венгерские друзья Ференц Мюнних и Режé Санто, знавшие папу еще по гражданской, привезли из Испании кипу газет с сообщениями о похоронах генерала Лукача. Корреспондент «Юманите» Жорж Сориа писал:

«Тысячи рабочих перед зданием компартии безмолвно чествовали Поля Лукача. Офицеры его бригады вынесли черный гроб, за которым шли члены правительства во главе с премьером. Плачущие старухи провожали гроб поднятыми в знак приветствия кулаками... Десятки тысяч проводили его к Северному вокзалу, на площади перед которым состоялся траурный митинг. Перед собравшимися выступил комиссар интернациональных бригад Галло...»

Речь Луиджи Галло была опубликована в «Мундо Обреро». «Погиб генерал Лукач. Слепое несчастье войны лишило нас одного из наиболее способных командиров, всех нас лишило руководителя, товарища, друга. Но осталось то, чему он нас учил, остались прекрасные военные кадры, выращенные в его школе, его доблестные части, которые сумеют продолжить завещанные им традиции»...

Подробности о похоронах мы узнали лишь после приезда в Москву Алексея Владимировича Эйнера.

Санитарная машина, в которой везли тело генерала Лукача, а также двух других интернационалистов — доктора Хельбурна и его шофера Луиса, прибыла в Валенсию лишь поздно ночью, около двух часов. Опоздание произошло из-за многочисленных остановок в городах и деревнях, население которых выходило прощаться с генералом. Поэтому официальные похороны, назначенные на 14 июня, были перенесены на 15-е. Бодрствовал только почетный караул — рота офицерской школы. Весть о прибытии тела генерала в Валенсию распространилась мгновенно, и повсюду в домах по пути следования машины зажигались огни, люди выходили на балконы, на улицу.

Проститься с Лукачем пришли многие советские военные и журналисты, бывшие в то время в Валенсии. Торжественный прощальный митинг состоялся утром следующего дня на площади перед гостиницей «Метрополь».

неподалеку от Валенсийского вокзала. Затем траурный кортеж двинулся в сторону центрального кладбища.

«Необходимо что-то предпринять, чтобы фашисты, если им удастся взять и Валенсию, не смогли бы обнаружить прах генерала», — настойчиво советовал кто-то.

Сделали первое, что пришлось в голову в спешке, — поменяли местами гробы генерала и шофера Луиса.

— Ну, а что было с могилой потом — я не знаю, — закончил свой рассказ Эйснер.

...Шли годы. Мы с мамой по-прежнему не знали, что с могилой отца, цела ли она. И внимательно следили за событиями в Испании.

Наш постоянный интерес к Испании «по наследству» передался и моему сыну Матвею, который выучил испанский язык и стал журналистом. Он и переводил нам испанские материалы и документы. Характерно, что подобная преемственность наблюдается во многих семьях ветеранов войны в Испании, для которых эта страна навсегда осталась близкой. Дети или внуки Батова, Малиновского, Мамсурова, Кармена, Андраша Залки, Анны-Марии Баш — трудно даже перечислить всех потомков участников испанских событий, которые изучили язык и в той или иной мере связали свою судьбу с Испанией, с изучением ее истории и культуры...

В августе 1970 года во время моего пребывания в Венгрии (я была гостьей Высшего военно-технического училища имени Матэ Залки, которое отмечало в эти дни свой 25-й выпуск) меня пригласил для конфиденциального разговора один ответственный товарищ. Он посвятил меня в планы партии и правительства относительно перевоза праха отца на родину.

— Мы собираемся начать переговоры через наших представителей в Испании. Дело это сложное, и сами понимаете — успех не гарантирован. Мы будем держать вас в курсе дел.

В конце 1970 года из Будапешта в Москву прилетел мой двоюродный брат Андраш Залка и привез фотографию трех могильных ниш на валенсийском кладбище. Они выглядели так, словно в них никто не покоится: без надписи, без оформления — голый кирпич. А вокруг ухоженные, вычурно украшенные ниши.

...Вскоре я узнала о том, что есть возможность поехать в Испанию. В 1974 году меня включили в состав группы культурного обмена по линии Союза обществ дружбы.

...Три безымянные ниши на валенсийском кладбище я увидела сразу. А когда подошла ближе, то ужаснулась — почти до половины они были завалены мусором: консервными банками, обрывками бумаги, целлофановыми пакетами, какими-то палками. И щедро обвиты паутиной.

Я принялась было разгребать этот мусор, но тут неизвестно откуда взявшийся полицейский стал что-то выговаривать недовольным тоном. Тогда венгерские дипломаты, вместе с которыми я приехала, предъявили свои удостоверения и потребовали пригласить представителя дирекции. Полицейский ушел, а я потропила очистить могилы и положила цветы ко всем трем нишам. И только к средней нише, под номером 99, которая значилась в квитанции как могила моего отца, я, выполняя последнюю волю мамы, положила ее фотографию, а также горсть советской земли.

В этот момент в сопровождении полицейского к нам подошел седовласый взволнованный человек, который представился директором кладбища и спросил, что мы здесь делаем.

Венгры объяснили ему, кто я, откуда и зачем приехала. Директор нетерпеливо кивнул.

— А сейчас что угодно сеньоре?

Я сказала ему, что у меня к нему два вопроса. Первый — можно ли заказать именную плиту на нишу, где похоронен отец?

— Нет, — сразу ответил он. — Нужно специальное разрешение муниципалитета Валенсии.

— Возможно ли, — спросила я тогда, — оставить деньги служителю кладбища, чтобы он содержал могилу в порядке, чтобы лежали цветы?

— Нет, — так же быстро отреагировал администратор. — Этот служитель сейчас в отпуске, а никто другой денег не возьмет.

Заметив, что к нам приближаются туристы из нашей группы, он совсем разволновался:

— Сеньора, убедительно прошу вас для продолжения разговора выйти со мной за пределы кладбища...

И чуть ли не силой, под локоть, повел меня к выходу. Но сказать ему, как оказалось, было нечего. Не скрывая облегчения, он распрощался со мной, а я осталась наедине со своими невеселыми мыслями. Тридцать семь лет пролежал здесь мой отец, прежде чем мне удалось попасть на его могилу. И вот мне не дали пробить около него и пятнадцати минут. Я даже не смогла добиться, чтобы за могилой его был уход. Какая судьба ждет ее в дальнейшем?..

Когда наша группа вернулась в мотель, все были взволнованы и обсуждали случившееся на кладбище. Венгры остались с нами до нашего отъезда. За обедом они постарались переломить настроение — поставили на стол большую, удивительную по размерам и форме бутылку венгерского вина, привезенного специально для этого случая. Произнесли простой и трогательный тост: «Выпьем это венгерское вино на испанской земле в память нашего и вашего соотечественника — отца Наташи»...

20 ноября 1975 года умер Франко. А всего через два года испанская газета «Диарио-16» писала: «Франкизм навсегда ушел в прошлое, и нынешняя Испания не имеет ничего общего с режимом Франко»...

...Утром 30 октября 1978 года меня пригласил к себе на беседу посол ВНР в СССР Матяш Сюреш:

— У меня к вам срочное дело. И настолько срочное, что я, еще формально не приступив к обязанностям, не вручив верительных грамот, уже пригласил вас для этой беседы. Центральный Комитет нашей партии и венгерское правительство поручили мне спросить у вас: согласны ли вы на перенос праха вашего отца из Испании на родину, в Венгрию?

Я, конечно, ответила согласием и напомнила, что в Венгрии давно известна моя точка зрения.

— На сей раз требуется ваше официальное согласие. Испания — католическая страна, они требуют письменного запроса семьи. Это одна из формальностей. Их будет еще немало. Но принципиальное согласие испанской стороны уже получено...

7 апреля 1979 года гроб с прахом отца был доставлен самолетом из Испании в Венгрию.

«Мундо Обреро» (Испания), 12 апреля 1979 года:

«Сочувствие Матэ Залки всегда было на стороне тех народов, которые боролись за свободу и демократию...

Более сорока лет покоились его останки в испанской земле, за счастье которой он щедро отдал свою жизнь...

Мы, бывшие его товарищи по борьбе, отдаем ему с благодарностью последние почести.

Член ЦК КПИ Франсиско Снутат».

«Непсава» (ВНР), 12 апреля 1979 года:

«Прощание с Матэ Залкой

...В среду в торжественной обстановке были захоронены останки Матэ Залки. На кладбище был выстроен военный почетный караул. У гроба, украшенного венками, на алых бархатных подушках лежали награды генерала Лукача...

В почетный караул у гроба встали ветераны — соратники Матэ Залки. Последнюю дань отдали ему представители ЦК партии, Совета Министров, ЦК Союза коммунистической молодежи, Отечественного фронта, Союза венгерских партизан, Союза писателей, представители области Сабольч-Сатмар, где родился Матэ Залка, генералы и офицеры — представители штабов различных родов войск. В траурной церемонии приняли участие сотрудники посольства СССР в ВНР. Наталья Залка — дочь писателя, его родные и близкие.

От имени ЦК ВСРП, правительства и Всевенгерского совета Отечественного народного фронта со словами прощания с выдающимся борцом международного рабочего движения, верным сыном венгерского народа выступил генерал армии, министр обороны Лайош Цинеге:

— ...Мы предаем его останки родной земле, которую он пламенно любил до последнего удара своего сердца. За тысячи километров от своей родины он прошел через бурю Великой Октябрьской социалистической революции, которая привела к возникновению нового общества. Он осознал, что на русской земле он борется за свободу и независимость своей Венгрии, за власть венгерских рабочих и крестьян...

Вся его жизнь, ставшие сегодня уже легендарными героические деяния, его нестареющие произведения служат для нынешних и грядущих поколений в нашей стране и за рубежом неисчерпаемым источником социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма...

Гроб с останками Матэ Залки помещают на лафет, задрапированный алой тканью. Затем под торжественные звуки траурной мелодии, в сопровождении почетного караула процессия направляется к месту захоронения — Аллее героев в Пантеоне участников рабочего движения. Под звуки артиллерийского салюта гроб опускают в могилу...»

Так он вернулся на родную землю. Он мечтал об этом всю свою жизнь и осуществилась эта мечта лишь сорок два года спустя после его смерти. На могилу его положили строгую плиту из серого мрамора с лаконичной надписью:

«Матэ Залка
1896—1937»



ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ



УТРЕННИК В ТРИДЦАТЫХ ГОДАХ

Никаким пианистам,
Никаким баянистам
Не поспеть за таким
Голосистым солистом.

Как печально отец мой
Поет о гражданской войне
И как весело петь
Эти песни геройские мне!

Те же песни, какие
Для взрослых поет мой отец,
Я пою для детей.
Мне из зала кричат: «Молодец!»

Лет пятнадцать прошло,
Как мой папа вернулся с войны...
Я — Чапаев! Мой штаб
Там, за клубом, в кустах у стены.

Отцовский подарок

В павильоне на выставке Узбекистана
Желтоватый цветок положил он в альбом
И анютины глазки из Ясной Поляны
Засушил он на память о нашем Толстом.

Не сломались они, и не выцвели краски
У бесплотных растений, подобных мечте.
И хлопчатника цвет и анютины глазки,
Как рисунок, сияли на белом листе.

И как будто отец мой предсказывал ими
И раскопки мои, и пески, и хребты,
И на книжных обложках сыновнее имя,
И тебя, что всю жизнь рисовала цветы.

Дети и цветы

Люле Звонаревой.

Как нарисовать портрет ребенка?
Раз! — и убежит домой девочка,
И сидеть мальчишке надоест.
Но художник, кисть макая в краски,
Малышам рассказывает сказки,
И они не трогаются с мест.

Как нарисовать портрет цветка?
Он не убежит наверняка,
И художник рвать его не станет.
Пусть цветок растет себе, не вянет,
Пусть попляшет он от ветерка,
Подождет шмеля или мотылька
И на солнце не мигая глянет.

Их по утрам не будят петухи.
Здесь трубы в землю — как слова в поэмы!
Давай сперва слушаем стихи,
Ну а потом — все важные проблемы!

Как волны в скалы, ветер бьет в вагон,
Беснуется пурга неудержимо,
И, вздрагивая стеклами окон,
Он, кажется, от натиска пружинит.

Каким словам и место здесь и честь,
Каким стихам братва внимать готова?
Как хорошо, когда с собою есть
Видавший виды томик Смелякова.

И в час такой сиди, не многословь —
Тут знают цену мастерам на деле.
Читают парни «Строгую любовь»
Под завыванье бешеной метели.

С рассветом руки стиснут рычаги,
Бульдозеры взревет могучим ревом,
И бригадира скорые шаги
Проложат первый след на нитке новой.

Когда, простившись, ты прикроешь дверь,
Туда уедешь, где идут премьеры,
Ночами помни, как в земную твердь
Врезаются степные инженеры.

Дороги России

Метели над березами кружат —
Как вечной книги мудрые страницы
Расписывает звездный снегопад,
На тысячи дорог и верст ложится.

Кто зимней сказкой лес заморозил,
Где ели — островерхие ракеты?
Чьи те дороги, кто их проложил,
Кому ходить по ним, встречать рассветы?

Идет столетий календарный счет,
А холмогорский юноша, шагая,
Свои мечты высокие несет
По всей земле от края и до края.

Снега мели по волжским берегам,
И юноша другой, расправив плечи,
Пошел наперекор твоим врагам
И новый мир повел заре навстречу.

Дорога — летописная строка,—
Ты, верно, след горячий сохранила,
Когда босая девочка в века
С петлей на шее гордо уходила!

Смоленский древний край... Среди лесов —
Овеянные русской песней села.
Один из лучших из твоих сынов
Рванулся к звездам, юноша веселый.

Как будто потеплело на Земле,
И стал он людям всей планеты близким.
Бегут, бегут дороги средь полей —
Морщинки на лице на материнском.

Земля родная, сколько мы прошли
За годы, что равны иным столетьям,
И сколько новых видится вдали
Неповторимых тех дорог в бессмертье!

И вновь метели над тобой кружат,
Как вечной книги мудрые страницы
Расписывает звездный снегопад,
На тысячи твоих дорог ложится.



ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ

★

РЕМЕСЛО

1.

В Потсдаме наша машина догнала трубочиста. «Повезло,— заулыбались мои спутники,— счастливая примета». Он катил на велосипеде в черном костюме и высоком цилиндре, будто английский лорд, а притороченные к багажнику щетки смахивали на ведьмино помело. Мальчишки с гиканьем мчались вслед.

Вымирающая профессия? Попробуйте-ка в трубочисты пробиться! Чужих в ученики не берут, предпочитают сыновей и внуков. Чтобы стать трубочистных дел мастером, ученик должен поработать несколько лет, старательно осваивая приемы ремесла, а потом еще поступить в особую школу, сдать выпускные экзамены и получить диплом. Вы думаете, его затем провозглашают трубочистом? Нет, только зачисляют в списки кандидатов: постой в очереди, подожди, пока освободится место. В Потсдамском округе 152 трубочиста. Дефицита кадров в «самой грязной» профессии обнаружить не удалось. А в столице республики можно даже попасть на традиционный футбольный матч «господа черной гильдии против господ белой гильдии». Съезжаются фотографы и журналисты, стадион собирает до 6 тысяч зрителей. Трубочисты и булочники играют в своей одежде, и «черная гильдия» считает особым шиком перепачкать сажей белые куртки и фартуки хлебопеков. Кто устраивает озорные состязания? Первый заместитель председателя ремесленной палаты Иоахим Маске не без торжественности ответил:

— Главный трубочист города Берлина.

Я удивился. Еще не понимал, на какую высоту поднято здесь уважение к ремесленнику. Теперь знаю.

Что за праздник такой — с подарками, поздравлениями, плакатами по всему городу? Семисотлетие берлинских сапожников! Рисунки подчеркивают внешние перемены, но неизменна суть: трудолюбие, искусство.

Куда это спешат любители хорового пения? Кому аплодируют с яростью веселого задора? Выступает хор булочников, основанный сто пятьдесят лет назад. Страшно подумать — сколько мотивов сменилось за это время на пюпитре истории! А булочники все поют, и конкурсы их насчитывают теперь 22 коллектива.

— Портные предпочитают танцы в старинных одеждах,— сказал Маске,— слесари стремятся к интеллигентности.

О, это я заметил! В Потсдаме на товарищеской встрече речь держал немолодой подтянутый человек с безукоризненной прической, в тройке. Говорил, что разум отвергает ядерную смерть. Цитировал по памяти «Фауста»: «Рассейте ужас, сердцем не изжитый...» Предложил тост за союз труда и вдохновения.

— Вы изъясняетесь, как истинный дипломат,— сказал я ему.

Он не был польщен и возразил с достоинством:

— Меня зовут Фриц Леле, я мастер-слесарь и добровольно выполняю общественную функцию председателя кооператива.

На фасаде Гильдехауза, средневекового здания в Эрфурте, множество причудливых фигур: женщина с зонтиком, крылатые кони, знаменосец, размахивающий флюгером вместо флага. Вываливаясь из автобусов, туристы щелкают затворами камер, а

я не могу оторваться от доски у входа, поясняющей, кто и на каком этаже расположился в старом доме; надписи сопровождаются гербами профессий — молоток, циркуль, ножницы... Внутри на стенах, отделанных дубовыми панелями, вам покажут эмблемы мясников и парикмахеров, булочников и слесарей, сапожников и портных, трубочистов и оптиков. Покажут и шкаф художественной работы — столяр представил его, сдавая экзамен на мастера. И дивные каминные — искусство печников. И четырехсотлетней давности зал, на славу сработанный пращурами, где заседает правление Эрфуртской ремесленной палаты. Тут и президенту не зазорно принимать иноземных посланцев! Все это вам покажут с почтением к колдовской силе рук, владеющих ремеслом. И когда вы, приехавший из страны с другими традициями, взгрустнете и размятаетесь у деревянной фигуры старого сапожника или скульптуры кузнеца, хозяева без всякой преднамеренности как нечто обыденное упомянут, что шкаф, например, который вам так понравился, сделал сам председатель палаты, столяр. Трудом мастеровых людей управляют не чиновники, а коллеги.

Узнав такое, не удивляешься, что в самом центре столицы ГДР, за Дворцом Республики, неподалеку от старой ратуши, сооружается Музей ремесленного труда. И по соседству — Лавка ремесленника: большой универсам, где покупатели увидят товары берлинских мастеров, их рекламные проспекты, адреса и телефоны. Тут же сапожники, часовщики, ювелиры выполняют срочную работу.

Связывая эпохи, музей покажет инструменты той далекой поры, когда зубы у клиентов выдирали цирюльники, и орудия сегодняшних ремесленников.

Интервью.

С заведующим отделом Госплана ГДР Герхардом Вайссом и руководителем сектора Министерства промышленности окружного подчинения Харальдом Блуме я встречался в разные дни. Но пользуясь правом автора, мысленно сведу их в один кабинет, за один стол. Получится своеобразный триалог: два компетентных человека из центральных ведомств страны и журналист, жаждущий докопаться до сути.

Вайсс. У нас ремесленник — особая профессия. Специфический ее признак — высокая квалификация. Целая область народного хозяйства, удовлетворяющая запросы населения.

— Они работают в государственной системе обслуживания? То, что в СССР называется службой быта?

Блуме. Нет, нет, вы не поняли. В народных предприятиях — рабочие. А ремесленники — это совсем другое. Около 75 процентов обслуживания у нас не государственное, его выполняют именно ремесленники.

— Три четверти услуг предоставляют частные мастера?

Вайсс. Не совсем так. Вместе с кооператорами. В ГДР 85 тысяч ремесленных предприятий, около 3 тысяч из них — кооперативы. Видите ли, 82 тысячи частных предприятий означает, что у нас 82 тысячи частных мастеров. Без диплома никто дело заводить не вправе, это закон. Но у них есть еще и работники, в среднем по два с половиной человека, а разрешено иметь до 10. Кооперативы есть большие, по 300—400 человек, есть и маленькие — до 10. Объединяются два мастера со своими людьми — вот и кооператив. В программе нашей партии записано, что вклад кооператоров будет повышаться, но там же сказано и о частных мастерах: их дело не противоречит, а способствует лучшему решению задач социалистического государства в сфере обслуживания. Это основная линия, подтвержденная рядом принципиальных документов. За пять лет объем ремесленного труда вырос с 14 до 18 миллиардов марок.

Блуме. Статистика такая. У нас кооперировано около 159 тысяч ремесленников. А на частных предприятиях насчитывается свыше 255 тысяч человек, включая самих мастеров, их жен, родственников и всех работников. Из этого числа 146 тысяч именно работники. Они не собственники, зарплату получают. Кроме того, не все мастера используют наемный труд. Более 35 тысяч ремесленников обходятся силами своей семьи, особенно в малых городах, деревне. Они берут на себя срочный ремонт, экономят транспорт. Не надо далеко ехать, если под рукой свой слесарь, булочник, сапожник.

— Вы назвали долю государственного обслуживания: четвертая часть. Но по каким критериям отдается предпочтение тому или иному виду собственности? Что выгоднее населению? И где лучше работать?

Вайсс. Мы за здоровое соперничество. В сфере услуг предоставляются все три сек-

тора. Есть государственные хлебозаводы и наряду с ними кооперативные и частные булочные. То же самое можно сказать о сапожниках, слесарях, портных, оптиках, парикмахерах — да хоть кого угодно возьмите. Конкурируя друг с другом, они неизбежно повышают общую культуру обслуживания. Населению это на пользу. Вот у меня был случай. Представляете, накануне рождества испортился морозильник. Трагедия! Сколько продуктов к празднику надо туда набить! Звоню — через два часа пришли и сделали... Чего вы улыбаетесь? Думаете, знали, что я заведу отделом в Госплане? Понятия не имели. Если требуется сделать крупные вложения, приобрести дорогое, а тем более импортное оборудование, частному мастеру не потянуть. Тут нужны или кооператив, или народное предприятие. Прачечные, химчистки, где массовое обслуживание на основе современной технологии, у нас в основном государственные. А возьмите хлеб. Немцы истари считают, что хороша лишь свежайшая булочка. У нас скажут: «булочник напротив», это почти поговорка.

— Я все время слышу о сервисе. Но разве ремесленники не изготавливают новые товары?

Вайсс. Да, делают. А кроме того, строят дачи, садовые домики, гаражи, ремонтируют квартиры. 8 процентов всех работ — даже поставка деталей машин государственным предприятиям. Но мы в первую очередь поощряем труд для населения. И он, конечно, занимает у ремесленников львиную долю.

Блуме. Вот вы заинтересовались взаимоотношениями секторов. А знаете, что у нас частным булочникам государство выплачивает премии? Да-да, не удивляйтесь. Причем существенные, дважды в год. За каждую тонну муки, израсходованную на хлеб и булки, он получает из районного бюджета денежную прибавку. Ему очень выгодно печь печенье, пирожные, торты, но мы особо стимулируем выпечку хлеба и булок...

2

В этом месте не следовало бы прерывать моих компетентных собеседников. В голове у читателя, догадываюсь, вертятся вопросы о политике налогов, ценах, системе снабжения ремесленных предприятий, принципах и структуре управления ими. Есть о чем поразмышлять. И мы вернемся к разговору в Госплане и министерстве. А сейчас в путь. Лучше один раз увидеть...

Стены оклеены фотографиями. Модные красавицы, дети, чистенькие старушки, импозантные мужчины, отцы семейств, подростки — на улице, в сквере, в автомобиле, в конторе, на университетской лекции, у домашнего очага... Объединяют их всех очки. Десятки глаз сквозь стекла. Парад оправ.

Мастер Шерфлинг, оптик, и его супруга, стройная большеглазая Розмари с золотой цепочкой на белоснежном халате (на карманчике нашивка с ее именем, как и у самого хозяина и у всех работников), показывают мне свой магазин и производство: автоматы для нарезания стекол, станки для грубой и тонкой шлифовки... Работающие люди предельно сосредоточены. Когда мы подходим, мастер разрешает: «Можете прерваться». Два-три вопроса — и я испытываю неловкость: здесь не привыкли болтать на работе. Автомат выключен — это им неприятно. Однако раз журналист пришел, надо с ним заниматься. Шерфлинг приглашает меня в небольшую конторку. Розмари приносит кофе. Я прошу объяснить весь процесс с самого начала: вот клиент открыл дверь, вошел...

— Розмари встречает его в магазине, спрашивает, желает ли он сменить оправу или подобрать новые очки...

...— Эдель встречает его и заполняет анкету: название и класс швейной машины, что неисправно...

...— Йоханна встречает его за прилавком, предлагает булочки и пирожные...

У оптика Ханса Георга Шерфлинга я был в Берлине, мастера по ремонту швейных машин Клауса Дитера Хамеля и булочника Ханса Георга Байера посетил в Эрфурте. Общее у них не только двойное имя. И не одна лишь традиция, когда первой посетителю улыбается супруга владельца.

У всех есть работники (оптик и булочник привлекают по 10 человек, у металлиста — 3), кроме того, у каждого ученик. Обстановка сосредоточенности везде одинакова. Никаких отвлечений, ни минуты простоя! Мы едва успевали отскакивать в сторону, когда разгоряченные, мокрые хлебцеки катили пышущие жаром противни на

тележках. Работники у ремесленника — члены профсоюза, оплата по больничным листкам, отпуск, выходные и прочие социальные блага гарантируются им как и на народных предприятиях. Получают по 1000 марок в месяц, у металлиста несколько меньше — 800. Произвольно срезать или значительно прибавить заработок владетель не вправе. Условия найма определены контрактом, согласованным с профсоюзом.

Кадры на предприятиях ремесленников, как правило, стабильны. Оптик взял Дитера Кобальда и Вильфреда Каплера в ученики сразу после десятилетки, им было по шестнадцать. А двадцать семь лет спустя я застал их здесь же. Но оба стали профессионалами высокого класса, окончили трехгодичную школу в Йене и получили дипломы мастеров. Теперь ждут случая, чтобы открыть собственное дело. В Берлине 65 частных оптиков, а больше пока не требуется, в столице есть еще кооператив с 15 приемными пунктами и 5 магазинов комбината Карла Цейса. Приходится ждать, пока кто-то из мастеров решит продать свое предприятие или подвернется иной счастливый случай, скажем брак с дочерью владельца.

У металлиста Хамеля я встретил человека с сорокалетним стажем: он начинал еще при отце нынешнего хозяина. Отец получил предприятие в наследство. Первый владетель был мастером на оружейном заводе, его считали красным агитатором, выгнали, он стал ремонтировать велосипеды и швейные машины. Семейному предприятию уже шестьдесят лет, в помещении, где мы беседуем, оно с 1929 года. Хамель был учеником у отца. «Я представитель четвертого поколения ремесленников-металлистов в нашем роду,— говорит Хамель.— Такое не просто бросить».

У оптика и булочника было иначе.

Шерфлинг работал учеником на частном предприятии и там же, выучившись на мастера, купил за 1500 марок оборудование для небольшого самостоятельного дела. Теперь на эту сумму не начнешь — тридцать лет прошло! Но молодому мастеру государство дает кредит на покупку станков и инструментов, запас стекол, оправ.

— Сейчас открыть свое дело не вопрос денег,— объясняет Шерфлинг,— все зависит от характера: хочешь ли больше работать и зарабатывать? И еще от фортуны: есть ли освобождающееся предприятие?

Байер купил булочную двадцать четыре года назад. Отдал 54 тысячи марок, а теперь его предприятие стоит 550 тысяч — выросло в несколько раз за счет модернизации, которую он предпринял. Магазин, склад муки с недельным запасом (без мешков — из муковозов по шлангу вдувают через люк), раздевалки, душевые, столовая, просторный цех, комнаты для ночлега выходящих с ночи работников и жилище ученика — все это помещается в собственном доме ремесленника. Там он и живет на втором этаже. Я был приглашен в гости. Квартира самая обыкновенная, двухкомнатная, много цветов, чиряки в клетке канарейки, торшер из свеч, винный бар, копии доспехов и оружия крестоносцев на стене.

— Когда мы с Иоханной ссоримся, то разбираем эти мечи и начинаем дуэль, а раны замазываем тестом.

Предприятие металлиста Хамеля тоже в собственном доме, где он вырос, но теперь переселился в новом микрорайоне Эрфурта, а квартиры над мастерской сдает и с выручки платит дополнительный налог. Оптик помещение под свое дело арендует. Удачно подвернулась прогоревшая контора, где заключали пари на скачках. Владетель ее выселился, а Шерфлинг снял. Теперь у него здесь магазин, склад и цехи. Техника вполне приличная. Алмазный автомат для нарезки стекол и грубой их шлифовки, к примеру, он купил за 14 тысяч. Запас оправ и стекол на складе обычно тысяч на 50. Это одно из самых крупных предприятий такого рода: 45 процентов частных оптиков в Берлине действуют в одиночку или с одним работником.

Поскромнее, чем у Байера, и остальные собственные булочные в Эрфурте, их около 40 в старинном городе, где есть еще кооператив булочников и два государственных хлебозавода.

Мастерские металлиста Хамеля в отличие от предприятий Шерфлинга и Байера считаются средними, есть покрупнее. Но трем работникам и хозяину не тесно: приемный пункт, 4 просторных комнаты и большой подвал. Я насчитал два фрезерных и два шлифовальных станка, токарный, сверлильный, электропилу, всевозможный специализированный инструмент... Откуда что берется — речь впереди, обратим внимание на самих владельцев.

Все они — и высокий, по-спортивному сложенный сорокалетний металлист Хамель, и оптик Шерфлинг, который на пятнадцать лет его старше, и даже грузный,

пенсионного, по-нашему, возраста (ему шестьдесят четыре) булочник Байер — совсем не похожи на директора, управляющего, заведующего. Ремесленник собственными руками делает то же самое, что и работники его предприятия. У станков, автоматов, печей он неотличим от исполнителей. Не бездельничают и хозяйки. Розмари, бывшая косметичка, делает закупки в снабженческой организации, работает на оптическом складе, обслуживает в магазине клиентов. Супруга Байера Йоханна продает хлеб и пирожные, стоит за кассой, на ней еще и кухня — готовит для работников. Ежедневно вместе с мужем встает в два часа ночи (сказала: «В два часа утра», для них уже утро!), чтобы замешивать тесто. Эдель Хамель принимает заказы, убирает помещение, готовит для персонала.

— Я самая дешевая кухонная машина в ГДР, — смеется она, имея в виду, что не получает зарплаты, как и супруг ее, мастер.

Владельцам остается «лишь» доход. Доход не баснословный, но достаточно приличный, позволяющий путешествовать, разводить форель на своем участке в Тюрингском Лесу, как булочник, или возвращать сад подобно оптику и металлиту.

— Я живу хорошо, — говорит Байер, — но и работаю по четырнадцать-пятнадцать часов в день.

Это их общее мнение.

Социалистическое общество предоставляет ремесленникам возможности использовать свои силы и способности в интересах республики, говорится в программе СЕПГ, гарантия поддержки их государством записана в конституции.

Несколько раз — в 1950, 1956, 1973, 1976 годах — принимались законы, указы и постановления, поощряющие и одновременно регламентирующие ремесленный труд. Действуют уставы кооперативов и ремесленных палат. Руководство ремесленными предприятиями децентрализовано, о чем мы подробнее еще поговорим, а инструменты общегосударственного регулирования — налоги, кредит, цены, закон.

Наши герои — оптик, металлист и булочник — платят три вида налога. Прежде всего с оборота. Потом от суммарной зарплаты своих работников, чтобы не «раздували штат», как мы бы выразились. И наконец прогрессивный налог, от прибыли. Понятно, что выдержать такой пресс непросто, придется крутиться, да еще как! Но, значит, выгодно, если эти предприятия тем не менее развиваются и процветают. Государство не внакладе. Средства производства — за счет самих мастеров, материалы, полуфабрикаты тоже. Хочешь нанять людей? Пожалуйста, в пределах нормы, до 10 человек, но тогда изволь платить им приличный заработок, не ниже гарантированного, согласованного с профсоюзом, раскошеливайся на налоги.

Предлагается и другой путь: действуй сам, без наемного труда или с одним работником. Тогда и налог тебе определят другой — не прогрессивный, а постоянный. Старайся, увеличивай доход за счет экономии, лучшего обслуживания — государство больше с тебя не возьмет. Разумная гибкость.

Я сказал, что ремесленный труд приобретает широкий размах. Это справедливо. Но это не означает смещения пропорций в экономике ГДР в сторону частного сектора. Отнюдь нет! 75 процентов негосударственного — кооперативного и индивидуального — обслуживания, но одновременно менее 4 процентов ремесленного труда в общей сумме национального дохода. Там совсем иная картина: возрастает доля общенародной собственности. Оно и понятно, если учесть, как быстро увеличивается производительность труда на крупных комбинатах, выпускающих машины, оборудование, приборы, товары народного потребления. Фундамент экономики республики составляют большие предприятия, технически хорошо вооруженные, в значительной степени самостоятельные, основанные на глубоком хозрасчете. Здесь централизованное планирование взаимодействует с инициативой с мест, обеспечивая успехи главного сектора народного хозяйства республики.

О комбинатах ГДР у нас многое известно, о них не раз уже писали, будут писать и впредь. Там есть чему поучиться.

Мне и самому доводилось бывать на электротехническом комбинате «Нарва», где работают 10 тысяч человек, выпускающих и обыкновенные лампочки для квартир, и мощные уличные фонари, и излучатели (инфракрасные, ультрафиолетовые), и технику для управления автоматизированными процессами, и множество других изделий, современных, высококачественных, поступающих и на международный рынок. Я видел «Роботрон» — центр производства компьютеров в Дрездене, завод микротелевизоров в Радеберге, корабельные верфи в Ростоке... Знаю, что ГДР, занимающая по

численности населения двадцать девятое место в мире, входит в число 10 наиболее мощных промышленных государств нашей планеты.

О достижениях первого социалистического государства на немецкой земле много интересного можно было бы рассказать и помимо ремесленного труда. Но сегодня тема ведет меня в гости к мастерам, занятым в сфере обслуживания, и я задаю себе вопрос: можно ли было добиться таких успехов в экономике, обеспечить высокий жизненный уровень народа, если бы — предположим на минуту — сервис оставался ахиллесовой пятой, порождая дефицит услуг и недовольство, раздражение людей, занятых на прекрасно организованных народных комбинатах? Полагаю, ответ читателю ясен: это было бы весьма затруднительно.

Экономическая система похожа на сообщающиеся сосуды. Чем более развит промышленный потенциал, тем выше заработки и больше потребность в услугах. Чем лучше обслуживание, тем больше экономится времени для созидательного труда, отдыха и образования, в конечном счете все это ведет к новому витку экономического развития. Деревья не могут жить без ствола, корней, но не меньше им нужны листья, кора. Так и в сложнейшей системе «человек — экономика — человек». Любое выпавшее звено подрывает и тормозит поступательный процесс.

Есть и другое соображение — ограниченность материальных ресурсов государства. Нельзя деньги, принадлежащие народу, вкладывать и в истинно большое и в малое с безумием слепой всеядности. Какие-то вещи (лучше всего к этому приспособлено обслуживание) должны быть предметом самостоятельности населения, осуществляться за счет собственных средств граждан — тех, кто готов за услуги платить, и тех, кто, предоставляя их, хотел бы на том заработать. Так и поступают в ГДР.

Если не считать поездок в Веймар и Фридрихроду, прелестный городок в Тюрингском Лесу, где мы с удовольствием пообедали в семейном ресторанчике, — я с утра до вечера ходил по Эрфурту пешком, заглядывая в многочисленные, весьма колоритные лавочки ремесленников. То к мастеру Карлу Шмидту («За короткий срок — ремонт всех видов наручных часов!»), то к Руди Хелеку («Безотказное предприятие: любые граверные работы»), то на Лангебрюккештрассе, где предлагаются электротовары, взятые у государства на комиссионных началах: торшеры и выключатели, люстры и утюги, лампочки и кофеварки... Торговец способен сбыть и то, что в универмаге залежится. Его выручают отличные связи с постоянной клиентурой, привыкшей покупать только здесь, готовность запомнить любое пожелание, любезно позвонить о выполненном заказе, обслужить так, что с пустыми руками не уйдешь. Часто ремесленники продают в подобных магазинчиках и свои изделия.

Помещения иногда арендуются, но обычно лавки и мастерские располагаются на первых этажах домов, принадлежащих ремесленникам; в Эрфурте значительная часть жилого фонда — собственность индивидуальных владельцев.

Заместитель председателя эрфуртского экономического совета (подразделения местной власти) Эрих Хайнрих и председатель ремесленной палаты Курт Миколайчак уверяли меня, что культура обслуживания основывается не только на выгоде, материальной заинтересованности в клиенте. Общий ее высокий уровень поддерживается многолетней традицией, исключаяющей небрежение к покупателю, клиенту, заказчику. Это пердалось через поколения, уже в крови. Да и население привыкло.

Соперничая друг с другом, три сектора в обслуживании — государственный, кооперативный и индивидуальный — способствуют дальнейшему повышению качества услуг. Если не хочешь, чтобы клиенты от тебя отвернулись, помни: им есть куда пойти и без тебя. Авторитет наживают годами, десятилетиями. Но даже и на этом фоне предприятия ремесленников высоко держат собственную марку. Порой они достигают в обслуживании, я бы сказал, виртуозности, как те же Хамель, Байер и Шерфлинг.

Кстати, в экономическом совете я впервые и услышал имя Хамеля. Мне сказали, что надо непременно заглянуть к Хамелю, даже если будет плохо со временем, лучше отложить другие визиты.

— А кто это? — спросил я.

— Хамель — это Хамель! — ответил председатель палаты, будто речь шла о великом писателе и даже мне, человеку из другой страны, стыдно не знать Хамеля. — Он мастер, я вам скажу. Ремонтует швейные машины! Делает свободный в воздухе Промолчал, признаюсь, не поняв восклицательные интонации. Ну ремонтует —

и что? В каждом городе кто-нибудь ремонтирует швейные машины, чинит чайники, изготавливает ключи... Чем он примечателен, этот слесарь? Ладно, посмотрим...

И вот вывеска у двери. Скромная, никаких «быстро» или «безотказно»: «Мастер Хамель. Ремонт швейных машин».

При мне принесли экземпляр — допотопный, видно и неспециалисту. Клиент, низкорослый, полный, хотя и нестарый человек, торжественно объяснял: фамильная реликвия, от прабабушки. Кажется, бабушка еще что-то шила на этой машине, правда, он не вполне уверен, еще в 50-х годах они купили новую. А эту давно собирались выбросить, да все жалели — память. Но теперь мода на всё старинное, хотелось бы отреставрировать. Может ли Хамель принять заказ? В госмастерской не приняли — нет таких деталей и нигде, сказали, их теперь не достать.

Клаус Дитер Хамель, высокий, коротко подстриженный шатен с интеллигентным лицом, в безукоризненно отглаженном синем халате, с интересом разглядывает редкий экземпляр: машинке-то более века! Четверти деталей нет... Повертел, покрутил и сказал:

— Зайдите послезавтра.

Его жена Эдель выписала квитанцию. Нет, сначала она предложила клиенту анкетку с рядом вопросов о марке модели и предполагаемых, по мнению заказчика, повреждениях. Мне объяснила: это как у врача, пациент жалуется на боли в желудке, а у него шалит сердце. Когда швейной машине поставят точный диагноз, клиент сможет оценить авторитет мастера.

Хамель бережно отнес музейную вещь в подвал, где держит несколько хороших станков специально на этот случай. В другое время они бездействуют — ужасная бесхозяйственность по нашим понятиям, но хозяину-то как раз и выгодно! Ему важна репутация безотказного предприятия. На запасном оборудовании, кроме того, он занимается рационализацией, и всегда есть резерв на случай профилактического ремонта основного парка его станков. В подвале машину разберут до винтика, каждый проверят, прочистят, смажут, а все, чего недостает, Хамель выточит сам, как он выразился, «тактично впишет в старый механизм». Это, конечно, не ремонт, а возрождение из небытия. Реанимация, если можно так в данном случае сказать.

С тремя работниками и учеником Хамель ремонтирует личные и промышленные швейные машины всех классов и моделей, в том числе импортные, производства любой страны. Его клиенты не только граждане, но и целые предприятия: сапожники, швейники — 70 домашних и около 200 промышленных швейных машин. Годовой оборот — 160 тысяч марок. О неформальной гарантии качества не говорю. Впрочем, есть и гарантия формальная (не в бюрократическом смысле): предприятие этого мастера является гарантийной мастерской немецкого комбината «Текстима», одной чешской, одной венгерской фирмы и даже Подольского механического завода имени М. И. Калинина. Контракты заключены Хамелем через внешнеторговые организации ГДР. Что можно прибавить к высокой репутации ремесленника?

— Я бываю в этих странах, чтобы изучать там новейшую технику в области производства швейных машин...

Булочник Байер, встающий с Иоханной среди ночи, открывает магазин в шесть утра и работает до шести вечера, здесь не бывает привычного для нас перерыва на обед. Ассортимент его булочной — 134 вида продукции! От специального хлеба для больных детей (в Эрфурте только у Байера) до общепринятых в республике сортов. А в промежутке — «королевские пирожные» с изюмом, бисквиты, лимонные печенье, торты всех мастей и конфигураций. К шести утра все уже на прилавке — видел, покупал и пробовал «на зуб». Сказать, что тает во рту? Пожалуй, не то слово. По заказу Байер сделает вам торт с любыми надписями, даже портретом юбиляра или невесты из крема и шоколада. Можно трехэтажный, со свечами. Можно и нечто фантастическое, как сделал он для одной эрфуртской организации, справляющей памятную дату: торт в метр по диаметру, с эмблемой и приветственным текстом! Но государство стимулирует не сладости, а выпечку хлеба и булок, доплачивая за это мастерам из бюджета. Расторопный, хотя и грузный Байер поспел и тут: получил от государства 20 тысяч марок. Каждый день он продает 12 тысяч булок и 6 тысяч батонов. «Пирожные без счета» — так он сказал. Но подсчитать приблизительно можно: ежемесячно он расходует 6 тонн маргарина и масла, тонну сахара и 12 тысяч яиц.

Ранним утром я записал в его магазине голоса покупателей: «Всегда ли удовлетворена? О да!», «То, что мне нужно, имеется непрерывно», «Хлеб и булки я по-

кунаю только здесь, а когда сама не готовлю, то и пироги», «Сравнить с другими? Простите, затрудняюсь: уже много лет я ни в какой иной булочной Эрфурта не была»... Я выбрал кусочек торта, и касса, оборудованная счетчиком, присвоила мне номер: в месяц у Байера покупают 90 тысяч эрфуртцев.

— Мы стараемся,— говорит Иоханна,— мы двадцать лет здесь работаем и почти всех клиентов знаем в лицо...

К оптику Шерфлингу можно прийти без рецепта. Зачем терять время? Мастер прошел медицинский курс и получил документ на право выполнять все функции по определению зрения. (Еще он окончил, помимо школы оптиков, финансово-экономическое училище, чтобы вести бухгалтерию.)

Я отошел к двери и сделал шаг в салон: ну вот появился посетитель... Розмари выступила вперед:

— Битте!

Шерфлинг отдернул портьеру, за которой оказались кабины, пригласил в одну из них. Интерьер глазного кабинета поликлиники. С помощью прибора мастер определил, не нуждаются ли мои глаза в лечении. Больных к доктору! А если просто близорукость или дальнозоркость (пусть в самых сложных комбинациях), он берется сам. У меня выявилось, что один глаз хорошо видит на расстоянии, а другой вблизи. Оптик выписывает рецепт, и мы в салоне выбираем оправу. Любому клиенту Шерфлинг предлагает 30 моделей, дешевая от дорогой отличается по цене примерно втрое. Принято, что даме помогает сделать выбор сам Шерфлинг, а мужчине — хозяйка.

— Нет-нет, не это,— Розмари делает выразительный жест,— вам не идет, старит... А это слишком студенческий вид... Минуточку, попробуйте-ка... Так! Ваш стиль ясен. Возьмем в том же роде, но помоднее...

Если молодая красивая женщина, улыбаясь, говорит вам «зер гут», вы не станете кочевряться. Рука тянется к портмоне.

— Стоп! — останавливает меня мастер. — Надо пояснить, что житель ГДР денег не платит.

Раз в два года очки ему полагаются бесплатно. С рецептом мастера (в данном случае частного, а вообще-то любого) клиент идет в страховую кассу к себе на работу и там ставит печать.

— Для меня это уже чистые деньги,— показывает Шерфлинг пачку проштемпованных рецептов.

В конце месяца он представляет их для оплаты, предварительно, 15-го числа, соцстрах выдает мастеру аванс в размере 45 процентов оборота предыдущего месяца. Бесплатно можно взять модель оправы не дороже 33 марок, это большая сумма — треть всех покупок у Шерфлинга идет за счет соцстраха. Разумеется, клиент может доплатить за более модную оправу или купить резервные очки. Иностранцу, естественно, приходится платить самому, деньги у меня есть, но как быстро они выполнят заказ? Мастер поглядел на часы:

— Сколько вы предполагаете со мной беседовать? Около часа?

Через сорок пять минут Розмари подала мне очки в кожаном футляре, куда были вложены две желтые фланелевые салфетки с типографским оттиском адреса, телефона и фамилии берлинского оптика Шерфлинга. Ремесленника, мастера.

Он, конечно, для меня поторопился, это ясно, но любая работа выполняется через день, а чаще всего к вечеру или назавтра...

Интервью.

— Почему так сложилось, что в обслуживании одновременно существуют три вида собственности? Как это исторически получилось и была ли возможность в ГДР выбрать какой-либо иной путь, ориентироваться, допустим, только на государственные предприятия сервиса или кооперативы?

Вайсс. Видите ли, у нашего ремесленного труда очень давние традиции. Всегда был слой населения, который им занимался. Если вы возьмете основные специальности в народном хозяйстве, то по каждой из них можно встретить мастера, работающего самостоятельно или объединившегося со своими коллегами в кооператив на основе коллективной собственности.

Блуме. Я хотел бы подчеркнуть наш важный конституционный принцип: прежде всего поощряются те ремесленники, которые справляются в одиночку или своей семьей. Налоговая система, правовые нормы, кредитная политика дают им заметный при-

оритет перед теми мастерами, что привлекают работников. И поэтому половина ремесленных предприятий в стране не нанимает людей.

— Предполагается ли увеличить объем услуг, оказываемых населению ремесленниками?

Вайсс. Да, конечно. В следующем пятилетии мы планируем рост его на 7 процентов. Рассчитываем, что и потребности в сервисе будут развиваться соответственно. Правда, на первый взгляд здесь заложено противоречие, особенно в отношении бытовой техники. С одной стороны, настаиваем на улучшении ее качества, чтобы меньше было неисправности и реже приходилось ремонтировать, а с другой — делаем все возможное для развития и укрепления ремонтной базы. Нелогично? Да как сказать... Формула «качество без ремонта» красиво звучит, но пока она скорее идилическая. Кроме того, жизнь выдвинула особый вид обслуживания, который никогда не исчезнет: профилактику. В отношении автомобилей это повсюду вошло в практику. У нас по закону и газовые приборы осматривают два раза в год. Можно представить себе, что в будущем услуга профилактического наблюдения распространится очень широко, затронет холодильники, телевизоры и прочую современную бытовую технику.

— Если, как вы говорите, ремесленники есть по всем специальностям, то, вероятно, по любой профессии создаются кооперативы? Какова их структура?

Вайсс. Вы правы. Ремесленники могут объединяться на профессиональной базе. Так и делается. Практически по любой смежной группе специальностей в наших городах можно встретить кооператив. Первые возникли в 1952 году, а сейчас в ГДР их несколько тысяч. Процесс кооперирования поощряется государством.

Блуме. Да, мы делаем упор на это, создаем благоприятные условия для кооперативов, чтобы мастера переходили туда. У кооперативов более солидная материальная база, лучше помещения, совершеннее оборудование, посвободнее с деньгами. Поэтому они могут добиваться высокой производительности труда: для них это дополнительные доходы. Партия дала этому процессу принципиальную оценку: образовался новый общественный слой ремесленников-кооператоров. В перспективе такой путь развития означает сближение ремесленников с рабочим классом. В кооперативах создаются условия работы и жизни, в принципе схожие с тем, что мы видим на государственных предприятиях, хотя речь идет о разных видах собственности.

— Делят ли кооператоры прибыль между собой?

Блуме. Они ее создают и, естественно, участвуют в распределении. Но не произвольно. Закон устанавливает, сколько они могут вложить в свои фонды стимулирования. Как говорится, проесть все нельзя, надо оставлять и на развитие производства. Доля прибыли, приходящаяся там на каждого, примерно равна сумме всех премий на общенародном предприятии. Да, более или менее так, но все же в кооперативах получают немного больше: есть у них и другие возможности поощрения труда...

3

Довольно старый, невзрачный с виду берлинский дом, черный от пыли и копоти, а на верхнем этаже неожиданно оказалась вполне современная приемная с оргтехникой и вышколенной секретаршей. Кабинет Вильгельма Ессе, председателя кооператива сапожников-ортопедов, отделан в духе конторы преуспевающих руководителей. Ессе человек седой, подвижный, веселый. С ходу ввернул, что при гитлеровцах усомнились в чистоте его расы и измеряли череп. Ему ли измеряли, отцу ли сапожнику или кузнецу-деду, я не стал уточнять.

До 1957 года Ессе был частным мастером, имел даже не 10, а 14 работников (четверо из них были инвалидами, и на «перебор» посмотрели сквозь пальцы). Тогда налог, объяснял он мне, «был широкий, то есть маленький, закон хороший для ремесленников; инвалиды мои официально не шли в счет, а работали лучше, чем здоровые». Мастер зарабатывал больше министра — 8 тысяч в месяц. Теперь Вильгельм Ессе получает тысячу марок и под началом у него 300 человек. Председательствует с 1958-го, переизбирали его каждый год.

Почему подался сюда из частников? Налог увеличили? Невыгодно стало?

— Нет, захотелось попробовать себя в ином масштабе.

Сапожники Ессе (назову их по имени председателя) в год производят 34 тысячи пар обуви. И ремонтируют ее на сумму в два миллиона марок: примерно полмил-

лиона пар ежегодно. Стоимость только новой продукции — 5,5 миллиона. Как видим, Ессе удалось попробовать себя в ином масштабе. Такие цифры, конечно, прежде ему не снились. Сам он, да и его экономисты весьма изобретательны. В рамках производства ортопедической обуви завели, мы бы сказали, «цех ширпотреба»: делают ботинки для фигурного катания и сумки из отходов кожи, зимой шьют дешевые босоножки и к лету продают в собственных магазинах, спрос большой, особенно у молодежи.

По всему Берлину Ессе разбросал приемные пункты, где 23 дипломированных мастера делают модели из дерева и руководят другими людьми. Я все время слежу за собой, чтобы не называть по нашей привычке мастером любого сапожника, парикмахера или портного. Нет, в ГДР мастером зовется тот, кто прошел длительный курс обучения и защитил диплом. Модели создает только мастер, больше никто!

Мне показывают альбом с фотографиями — 70 вариантов. Для женщины, мужчины, ребенка, молодого человека, девушки, есть и «модные», извините за неподходящее к беде слово. А впрочем, напрасно извиняюсь! Ловлю себя на каком-то замшелом ханжестве: будто бы инвалидам все равно, в чем ходить. Не так это! Человеку при всех обстоятельствах хочется выглядеть прилично. Мастера Ессе используют любую возможность, чтобы скрыть или хотя бы пригладить дефект. По рецепту врача в ГДР можно получить обувь раз в два года практически задаром — 12 марок, а пенсионеру даже 6, два рубля по-нашему. Малая часть действительной стоимости. В среднем одна пара обходится кооперативу в 160 марок. Разницу оплачивает соцстрах. Кооператив убытков не несет.

История его довольно характерна для развивающихся кооперативов. Сначала «скинулись» два мастера, через год к ним примкнули 14. В Берлине с ними соперничают еще один кооператив ортопедов, объединивший 16 ремесленников, и 7 частных ортопедических предприятий. Ремонтируют же обувь государственный комбинат, 6 кооперативов и 80 самостоятельных мастеров.

Тем не менее Ессе перед конкурентами не пасует. У него 3 центральных мастерских и 10 приемных пунктов, один из которых, на Александерплац, в центре столицы, выполняет 2 тысячи срочных заказов в сутки. На месте чинят башмаки лишь четверо, но с утра до ночи между ними и цехом сует челночный грузовичок.

Успех кооператива не связан с понятием серийности, потока, комплексной механизации. Какое там! Обувка для инвалидов — этим все сказано. Каждая пара туфель отличается от другой. Конечно, умудряются что-то группировать, шьют, скажем, одинаковый верх для нескольких моделей, но ручной работы много. В их тонком ремесле применишь не любое новшество. В обувной промышленности произошла революция — не шьют, а склеивают, ортопедистам врачи это запретили. Лишь недавно их удалось убедить, что вреда нет, и кооператоры закупили склеивающие машины.

— Какой смысл частнику вступать в кооператив? — спросил я у Ессе.

Откровенно говоря, его рассказы о «масштабе деятельности» меня не очень убедили. Зарабатывать стал в 8 раз меньше! Вероятно, налог стал неподъемный, так? Но с другой стороны, многие ремесленники живут своей собственностью. Должны же быть какие-то пружины перехода из одного состояния в другое? Председатель пригладил седину, расправил складки на джемпере. Отвечать не спешил, думал. Потом сказал:

— Один из стимулов: больше социальная обеспеченность и безопасность,

— Безопасность?

— Ну надежность, что ли, уверенность. Так точнее. Когда сам по себе, подвержен разным ветрам, а они не всегда дуют в твои паруса. Дальше. У кооператоров короче рабочий день, нормальный. А в наши дни время стоит денег. Что еще? Сам-то мастер зарабатывает прилично, но работники у него получают поменьше, чем в кооперативе, значит, им есть резон переходить к нам. Поле притяжения не в его пользу, он это понимает. Мы распределяем часть прибыли. Каждый в декабре получает дополнительно около двух тысяч марок. (Примерно 700 рублей. — А. Л.) А вообще-то дело добровольное. Есть и такие, кто не хочет идти в кооператив. Никого не при- нуждают.

Качество работы и сроки исполнения во всех трех секторах примерно одинаковы. Совпадают и цены. Потолок их нельзя превышать. Это меня озадачило: разве у частного мастера могут быть равные цены с кооперативом и государственным предприятием? Какой же ему резон? Объяснили: все равно ему выгодно.

Я прошелся по этажам большого дома, где расположились цехи кооператива.

Поговорил с людьми. Вот две молодые женщины: блондинка Габриэла Галчински и брюнетка Хайнелора Бланк. У первой отец частный мастер, вторая сама работала у ремесленника.

— Здесь нам лучше. Разнообразнее труд, интереснее.

А главный их довод: в коллективе весело, много молодежи. Гутен таг... данке шён... приветствия, рукопожатия: из 328 кооператоров 290 — члены Общества германо-советской дружбы. Досадно, что профессиональные контакты берлинских сапожников-ортопедов с коллегами из СССР оставляют желать лучшего.

Насколько типично то, что видел и слышал у Ессе? Чтобы подтвердить или опровергнуть свои впечатления, я отправился в Эрфурт, к подножию Тюрингенского Леса. Город цветов со всемирно известной выставкой садоводства, с собором, связанным с именем Мартина Лютера, город, вдохновлявший живших неподалеку от него Шиллера и Гёте, насчитывающий от роду двенадцать веков, давший древним своим домам поэтические имена: «Высокая лилия», «У красного быка», «У широкого очага», город... «Эрфурт? Это где делают пишущие машинки «Оптима?»» — переспросил мой знакомый. Там есть что поглядеть не только туристу.

Меня привлекло, что в Эрфуртском округе 6300 ремесленных предприятий. Большинство из них — собственность разных мастеров, но и кооператоров немало: 12 тысяч человек.

Я выбрал кооператив по ремонту радиоприемников и телевизоров, недавно справивший двадцатипятилетие. Он раз в 5 меньше, чем у берлинских сапожников-ортопедов, 58 членов, да и предмет труда иной. Современная техника, электроника. Область, где можно было предполагать сильную конкуренцию радиопромышленности с ее гарантийными мастерскими и предприятий государственного обслуживания, имеющих — так я себе представлял — более свободный доступ к диодам-триодам: запчастям для ремонта приемников, стереопроигрывателей, телевизоров.

Председатель кооператива Ханс Зириг раскрыл передо мной все карты. Дела идут неплохо. 3 миллиона марок они зарабатывают, ремонтируя приемники, радио и ТВ, устанавливая антенны. Причем не только в Эрфуртском округе, но и по всей республике. Даже на крышах Берлина они водрузили тысячу телевизионных антенн коллективного пользования. Ничего себе кооператив! Я оживился. Там что, своих мастеров нет? Оказывается, все округа поддерживают строительную программу в столице государства, и эта тысяча — вклад эрфуртцев. Но тут же узнаю, что они участвуют в контракте с СССР, устанавливают антенны в Кривом Роге, где эрфуртский комбинат сооружает дома, помогают создавать мастерские по ремонту радио и телевизоров во Вьетнаме... Я недоверчиво перелистываю свой блокнот: действительно ли их 58 человек? Не ошибся? Подтверждают: из 58 — 5 мастеров, 5 инженеров и экономистов. Ежегодно 20 тысяч ремонтов и антенны для 4,5 тысячи квартир, ежедневно 80 раз их автомобили выезжают к клиентам для оказания услуг.

Принцип заработка здесь прост: треть от объема выполненной работы, стоимость материалов не в счет. Выполнил на 3 тысячи марок — получил тысячу, правда чистыми поменьше, надо вычесть налог. В конце года каждому полагается еще 10 процентов к заработку из общей прибыли кооператива. Это я уже слышал у сапожников.

За минувший год при обороте в 3 миллиона марок чистая прибыль (после уплаты налога — 3 процента) составила у них 340 тысяч. 145 ушло на другой налог — с прибыли, 90 определили в промышленный и резервный фонды, еще 90 на премии в конце года. И что там осталось? 15 тысяч потратили на разовые премии и культурные цели.

Есть ради чего стараться. По правилам ремонт делается в трехдневный срок, но они возвращают вещь через день. Наладили вечернюю службу — после рабочего дня. А если какое-то событие, допустим планета смотрит Олимпиаду, тогда заявки выполняются немедленно. Как можно лишить человека удовольствия?

Меня заинтересовало вот что: клиент звонит в центральную диспетчерскую, которая обслуживает и государственное предприятие по ремонту радио и ТВ, и 4 эрфуртских аналогичных кооператива, и всех оставшихся (их теперь лишь 7) частных мастеров. Согласованность, полное отсутствие державного снобизма по отношению к «каким-то там частникам и кооператорам» проявляется в координационном совете округа, где все формы собственности равноправны. Это консультативное, по сути, общественное объединение группируется вокруг самого крупного здесь народного предприятия, выпускающего радиотелевизионную аппаратуру. Председательствует директор государственно-

го завода, но на заседаниях он имеет один голос, точно так же как и мастер, у которого нет даже своего работника (последние обычно передоверяют свои полномочия избранному ими «главному мастеру»). Помимо пленарных заседаний, собирающих раз в год 120 человек, действует еще и президиум, работающий регулярно. Согласовывают перспективы развития мощностей своих предприятий, распределяют сферы влияния в Эрфурте и округе. Их кооперативу, к примеру, досталась северная часть города. Разумно, никто не своевольничает, никаких «детей лейтенанта Шмидта». И о снабжении там рассуждают, о кадрах, о специализации. При таком сотрудничестве никто никого не собирается проглотить: не было случая, чтобы из кооператива уходили в частники, за четверть века закончился, видимо, и встречный приток, оставшиеся 7 мастеров в кооператив не стремятся, да их туда никто и не тащит.

— Мы работаем по восемь часов, — сказали мне кооператоры, — а они гораздо больше, но им так нравится — на здоровье.

В экономическом совете Эрфуртского округа еще раз подчеркнули то, что я уже и сам понял в ходе бесед:

— Три вида собственности в обслуживании не взаимозаменяемы, а лишь дополняют друг друга.

Руководители кооператива «Р и ТВ» пригласили меня пообедать в ресторане нового эрфуртского микрорайона Иоханнесплац. Им хотелось наглядно продемонстрировать миролюбивое соседство трех сфер, а где же это можно лучше сделать, чем в Иоханнесплац? Крупный центр государственной торговли расположился напротив низкого современного здания кооператива парикмахеров. Галерея приемных пунктов: ремонт зонтиков, электроаппаратуры, обуви, химчистка, прачечная, множество других услуг (ровно сто, если быть точным!) — большое народное предприятие обслуживания. А шаг в сторону, в переулки — пестрые рекламы ремесленников, предлагающих те же услуги.

Председатель кооператива Ханс Зириг за обедом вдруг заговорил о Калуге: его невестка училась там в педагогическом. А я к калужанам неравнодушен, книгу о них написал.

— Да?! В самом деле?! — Добродушный Зириг проникся ко мне таким интересом, будто я по меньшей мере Циолковский.

Я стал раскручивать «калужский вариант» его родственницы, узнал, что она с мужем, сыном председателя, была на Памире. Они альпинисты. До Москвы летели самолетом, а потом попутками аж до самых синих гор. Несколько недель жили среди памирских пастухов.

— Жаль, у вас уже нет времени заглянуть к нам, — посетовал председатель, — мы тут рядом живем, кооператив наш обслуживает этот район установкой антенн.

Вот так замкнулся круг: начав в древнем Эрфурте свои разговоры с приметы «телевизионного века», я через Калугу и Памир вновь вырулил на антенну.

Интервью.

Вайсс. У нас две степени кооперации: низкая и более высокая. В первом случае средства производства остаются собственностью мастера, но остальные тоже могут ими пользоваться. За это они что-то платят владельцу. Другая форма — мастер передает орудия труда в коллективную собственность.

Блуме. По отношению к ремесленникам в экономической политике ГДР есть свои принципы. Они определяют направление: путь от частного предпринимательства к кооперации, от использования наемного труда к работе своей семьей, от производства товаров ремесленниками к предоставлению ими различных услуг и так далее. Здесь нет стихии, продуманное руководство.

Вайсс. Государство влияет через налоги, цены, поставки материалов. Это и есть наш регулирующий инструмент. Предусмотрены ограничения, чтобы ремесленники не богатели за счет общества.

— Как формируются цены? Есть ли центральный орган, который их утверждает?

Вайсс. Нет, цены устанавливают сами ремесленники, а местные власти их утверждают. Новые услуги каждый раз калькулируются заново. Мастер или кооператив не могут вздувать цены как им заблагорассудится. Это совершенно исключено. На одинаковый сервис цены в государственном секторе и у ремесленников одинаковы. Мастер выигрывает за счет бережливости, высокого качества труда и культуры обслуживания.

— А бывает, что ремесленнику невыгодно?

Вайсс. Да, скажем, булочнику. В производстве основных продуктов питания мы придерживаемся политики низких цен. Государственные комбинаты в этих случаях получают дотацию. Естественно, мы даем ее и булочнику: продавать дороже он не вправе.

Блуме. Надо иметь в виду, что в ГДР почти половина всех хлебобулочных изделий производится именно ремесленниками. А есть округа, где и 75 процентов, например Карл-Маркс-штадтский... Мы из районного бюджета даем премии за рост выпечки хлеба и булок частным предприятиям, но это вовсе не значит, что сумма идет хозяину в карман. Определенную ее долю он обязан выплатить работникам.

Вайсс. Я хочу подчеркнуть: без ремесленников в нашей стране не решить задачи обслуживания. Госсектор не справился бы. Понадобились бы огромные инвестиции. Поэтому необходимо развивать оба направления. В отраслях с высоким уровнем техники дела лучше идут у комбинатов. Зато ремесленник побеждает там, где речь идет о высочайшей квалификации, этим он и берет. Что касается оплаты труда, она во всех секторах примерно одинакова. Конечно, сам мастер зарабатывает гораздо больше, чем его работники. Задача ремесленников не в увеличении выпуска товаров. Их ориентируют на сервис, ремонт. И разрешение на создание частного предприятия мы выдаем лишь в том случае, когда имеется в виду производство услуг. Кроме, понятно, мясников и булочников. Если ремесленник делает мебель, пусть он мастерит то, что требует затрат ручного труда, по вкусу клиента.

— Я видел образцы искусства ваших старых мастеров. Сохраняются ли традиции?

Блуме. Резьба по дереву, изготовление музыкальных инструментов и другие художественные промыслы поощряются особенно. У нас есть звание мастер искусства. Диплом ремесленнику присваивает Министерство культуры. Видели отреставрированный Берлинский театр, где теперь концертный зал? Это работа мастеров искусства. А большой фонтан на Карл-Маркс-алле? Его сделал когда-то ремесленник Кюне. А теперь его сын, унаследовавший искусство отца, сам делает художественные фонтаны в Берлине.

— Как выглядит пирамида управления ремесленным трудом в ГДР? Какой орган высший? Госплан? Министерство?

Вайсс. Нет, Госплан определяет общие показатели. Давать какие-либо задания ремесленникам мы не можем. Ими руководят районные власти. Местные органы действуют на основе долгосрочных государственных рекомендаций.

Блуме. И наше министерство не вправе давать какие-либо указания предприятиям ремесленников. Только районные власти знают потребность в ремесленном труде. Разрешают открытие новых частных предприятий, устанавливают задания кооперативам. Лет пять назад у нас и все государственные предприятия сервиса были подчинены районам, теперь образовались комбинаты, которыми руководят округа. Но мы отвечаем за общее направление развития ремесел и координацию всех вопросов в этой области, готовим предложения юридического характера, контролируем выполнение правовых норм.

— Ремесленники могут быть членами профсоюза?

Вайсс. Разумеется, нет. Это все-таки не рабочие, а особая социальная группа. Но те, кто работает у собственника по найму, состоят в профсоюзе, защищающем их права. А сам мастер и члены кооператива нет, они в другой организации.

— В какой же?

Вайсс. Они члены ремесленной палаты своего округа. У нас нельзя быть ремесленником, не вступив в палату. Это обязательно. Палата — общественный орган самих ремесленников, существует на их взносы, консультирует их по части калькуляции цен, подготовке кадров. Организует она и обмен опытом, досуг, отдых. Поощряет переход в кооператив, следит за соблюдением законности. Словом, ремесленная палата, этим все сказано...

— А штатные ставки кто-нибудь там получает?

Вайсс. Да, есть и оплачиваемые работники. Иногда 15, а в ином месте и 30 человек. Округа у нас разные. Но это оклады не из кармана государства. Бюджет палаты складывается из отчислений ремесленников — каждого в отдельности и их предприятий в целом. Частных лиц, кооперативных — все равно. Есть председатель, правление. Устав ремесленной палаты единый для ГДР...

4

В древнем храме немецких ремесел, ведущем свое начало еще от времен цеховых гильдий, нам и предстоит завершить разговор. Я был в трех ремесленных палатах — Берлина, Потсдама и Эрфурта. И понял, до чего разумно и целесообразно устроена, казалось бы, столь неуправляемая, бьющая, словно гейзер, неумная сила под названием ремесло.

Руководители палат провели меня за кулисы. Познакомили с теми, кто ничего не производит, не ремонтирует, не предлагает гражданам никаких услуг, но без них ремесленный труд был бы невозможен.

О парикмахерах я в этих заметках еще не вспоминал, а теперь приспела пора.

Город Ратенов ничем не знаменит, это не Дрезден или Эрфурт, не всякий чу жеземец и слышал о нем. Город небольшой, по облику своему скромный, но в республике им гордятся: «Ратенов — это оптика!» «Йена же у вас оптика, Цейс!» — не понял я. Оказалось, Ратенов, простите за каламбур, лидирует по очкам — центр глазной оптики. Но пешеходу стекла не сразу бросаются в глаза. Замечаю по пути лавку мясника, вызывающую аппетит, рекламу часовых дел мастера — женские руки, пытающиеся удержать время, — и примостившийся рядом частный дамский салон. Поразительно, что в столь невеликом городе он может существовать рядом с кооперативным соседом — кооперативом парикмахеров.

Кооператив возник четверть века назад. Обслуживает 95 процентов населения Ратенова и окрестностей: прически, косметика, маникюр-педикюр — что желаете. 23 салона, 195 членов. Правление третье десятилетие подряд возглавляет председатель Лотар Вельке. Он гордится, что любой салон в городе у него на расстоянии пешей прогулки, а в деревне — всюду, где есть хотя бы 300 жителей.

Годовой оборот кооператоров — 3 миллиона марок. На 260 тысяч марок ухитряются обслуживать и частные мастера. А всего-то в Ратеновском районе не более 60 тысяч жителей!

— В деревне не заработаешь, — говорит Вельке, — но и там людям надо стричься, убытки перекрываем за счет горожан, у нас ежегодно семьсот тысяч чистой прибыли. Ее дает не только обслуживание, мы еще и торгуем косметикой.

Принцип распределения прибыли прост: 60 процентов налог, 40 остается в кооперативе. Мастер обслужит в месяц примерно на две тысячи марок — сам получит 800. Надо бы сказать — сама, во главе салонов стоят в основном женщины, мужчин ровно дюжина. Клиенты постоянные, можно вызвать мастера домой, есть предварительная запись, но это во второй половине дня, а в первой все салоны обслуживают, что называется, с улицы.

Много любопытного узнал я у парикмахеров. И то, что есть в ГДР центральная комиссия, раз в год устанавливающая новые модные линии для женщин и мужчин. И то, что конкурсы парикмахеров устраиваются в огромном спортивном зале, привлекающая до 1200 зрителей, причем это окружное соревнование, а победители отправятся еще в Росток на первенство ГДР. Составляется даже национальная сборная, выступающая в международных конкурсах.

— Соперничают друг с другом на равных все три формы собственности, — подчеркнул Лотар Вельке.

Оказалось, что он дважды председатель. Не только в кооперативе парикмахеров, но и в кооперативной организации по их снабжению.

Знаю, сколь интересны читателю тайны снабжения. Откуда кооперативы и частные мастера берут технику, материалы? Где парикмахер-ремесленник приобретает ножницы, фены, косметику? Где мастер-оптик берет стекла и оправу? Кто продает ему алмазные шлифовальные автоматы? Откуда у булочника мука, масло, сахар, яйца? Где добываются инструменты и запчасти для ремонта швейных машин, велосипедов, автомобилей, телевизоров? Не могут же 85 тысяч ремесленных предприятий, из которых 82 тысячи — собственность самих мастеров, обеспечивать себя всем необходимым!

Я буквально вцепился в собеседника: как, что, откуда?

— В одном кооперативе я председатель районного масштаба, — смеется Лотар Вельке, — а в другом поднимай выше — окружного. Ведь Ратеновский район входит в Потсдамский округ, где шестнадцать кооперативов парикмахеров в марте восьмидесяти первого года добровольно объединились и создали свою кооперативную организацию по снабжению. Выработали договор, определили способ деятельности и за-

дачи. Пожалуй, мы в начальной стадии развития. Я председатель, но у нашего снабженческого кооператива есть и начальник, позвольте вам его представить...

Так я познакомился с Хагеном Шульце, энергичным и четким, везде успевающим и все способным закупить, совсем не похожим на привычный нам тип деятельного снабженца. Шульце обеспечивает не только кооперативы парикмахеров, но и частных мастеров, даже государственные салоны. Всех! У него есть склад, откуда по бродобреям и косметичкам растекаются любые полезные в их деле товары. Оборот Шульце 750 тысяч марок в год: закупает по контрактам в государственной оптовой торговле и на предприятиях-изготовителях, а потом продает своим клиентам.

— Мы втроем,— говорит Шульце.— Я с помощником закупая товар, а одна из коллег сортирует заявки. Потом я сажусь за руль и развожу все это по салонам. Шофера у меня нет. Сам обслуживаю шестнадцать кооперативов, шесть госпредприятий и всех частных мастеров.

Напомню еще раз официальное наименование его должности: начальник кооперативной организации по снабжению парикмахеров Потсдамского округа. Начальник!

Аналогичные кооперативы есть не только у парикмахеров, но и у булочников, слесарей, сапожников, ремесленников почти всех профессий. Признаки отраслевые сочетаются с территориальными: снабжают мастеров своего округа. Говорю «почти»: дело сравнительно новое, к системе самообеспечения кое-где еще присматриваются. Мастер Хамель, ремонтирующий в Эрфурте швейные машины, говорил, что в их отрасли кооперативов снабжения пока нет, он наладил прямые связи с заводами, откуда и получает запчасти. То же самое услышал я и в эрфуртском кооперативе по ремонту радиотелевизионной аппаратуры. У них гарантийный контракт — так выразились — с телевизионным заводом. А по соседству с ними еще и центральный склад государственной оптовой торговли, где кооператоры покупают любые, в том числе импортные, японские, детали для радио- и телеприемников. Склад обеспечивает всех: госремонт, кооперативы, индивидуальных мастеров. И опять, в который уже раз, подчеркивали в разговоре со мной: «Партнеры равноправны».

Хорошо сказал об этом Ульрих Шнайдер, заместитель председателя окружного экономического совета в Потсдаме:

— Снабженческие кооперативы ремесленников должны обладать чутьем на резервы в экономике. Закупать излишки, учитывать потенциальные возможности производства.

Председатель Потсдамской ремесленной палаты Герхард Скоруппа посоветовал мне посетить снабженческо-сбытовой кооператив ремесленников «Металл» и сам вызвался проводить, благо недалеко. По дороге он объяснил: добровольные объединения ремесленников возникли лет сто назад.

— Это были первые кооперативные идеи,— так несколько витиевато выразился,— мы поддерживаем и развиваем традиции.

Потом был кофе с членами правления, где слесарь Фриц Леле и произнес свою интеллигентную речь с цитатами из «Фауста». Потом приступили к осмотру.

Смотреть, собственно, нечего — склад да конторки специалистов. Но зато какой склад! Не размерами он меня поразил, не чистотой (немцы большие доки по части порядка, известно), а законченностью, что ли, совершенством подбора.

Кооператив, снабжающий, помимо электриков, еще и слесарей, кузнецов, механиков, ремонтников автомобилей, словом, тех, кто имеет дело с металлом, располагает тремя производственными базами. Есть у них хранилище всевозможных запчастей на соседней улице, а в городе Бабельсберге большой склад металла: стальные прутья, жель, трубы, кабель и прочее, запас для работы на шестьдесят дней. Все это коллективная собственность 345 предприятий-членов.

Во главе правления стоит Фриц Леле — слесарь, частный мастер. Это его общественная роль. Но в отличие от кооператива, снабжающего парикмахеров, такая мощная организация может себе кое-что позволить, например собственный штат экономистов, технологов, бухгалтеров, снабженцев высокой квалификации. И довольно солидный штат: 52 человека! Это вам не Шульце, развозящий в автофургоне крем и одеколон.

— Я хотел бы сказать личное слово.— Еще фрагмент из торжественной оды слесаря Фрица Леле.— Я счастлив, что у нас нет текучести кадров. Я горд, что с нами так долго работают столь способные и уважаемые люди. Их пятнадцати-, двадцати-, тридцатилетний стаж оплодотворяет нас опытом мудрости и не дает забыть горькие

и радостные мгновения истории кооператива. Я доволен, что у нас есть конфликтная комиссия, которая никогда не работает...

Оборот «Металла» — 20 миллионов марок в год, прибыль — до 80 тысяч. Из нее пополняют свои производственные и социальные фонды, 1,5 миллиона марок отложено на черный день — неприкасаемый резерв. А 12 процентов прибыли они отдают ремесленной палате. Отчисляют свою долю и другие аналогичные товарищества. Из их взносов Потсдамская палата собирает в год около 800 тысяч марок.

Ремесленные предприятия, которые снабжает «Металл», при вступлении вносят некую сумму. Она колеблется. Пай — 300 марок, но мастер, работающий в одиночку или с одним помощником, внесет 2—3 пая, а тот, у которого 8—10 работников, заплатит и больше. Число паяв связано и с количеством закупок в год. Максимальный взнос — 7 паяв, или 2100 марок. Само собой, кроме вступительной суммы, оплачиваешь каждую покупку в отдельности.

«Металл» перепродает мастерам подороже, чем покупает сам. Это его приварок. Но ведь и государственная оптовая торговля поступает точно так же! Выгодно и ремесленнику: услуги, которые он представит клиентам, вполне покрывают его издержки. Никто не внакладе, всем выгодно. А если разочаруешься (пока таких не было), можешь выйти из кооператива, забрав свой пай.

Контракты с оптовиками «Металл» заключает на год.

— И то, что записано в контракте, вы всегда получаете?

— Всегда.

— И всегда в срок?

Не понимают смысл моего вопроса: если не в срок, то какой же это, к чертям, контракт?

— Послушайте,— говорю я Фрицу Леле,— а что, если члены правления и вы сами, председатель, будете в первую очередь снабжать собственные предприятия? У нас говорят — своя рубашка ближе к телу...

— Нет, нет и нет! Я, председатель этого кооператива, мастер-слесарь Фриц Леле, обязан подать точно такую же заявку, как и все остальные. Правление перензбирают через год. И каждый год ревизионная комиссия, которая мне не подотчетна, зорко следит за моей деятельностью.

На груди у него эмблема.

— Что это?

— Почетный Золотой знак — награда ремесленной палаты,— поясняет Фриц Леле.

— А поменьше, с молотком?

— Символ ремесленного труда.

— А перстень на пальце председателя?

— Почетное кольцо — приз нашего кооператива. Пока есть лишь три его обладателя.

«Металл» отдает государству 60 процентов своей прибыли — налог. Республика не в убытке, но и кооперативу, как мы уже знаем, перепадает. Есть хороший премиальный фонд, домики для отдыха сотрудников в лесу — с кухней, холодильниками, телевизорами, горячей водой.

Ножниц в известном смысле — разрыва между потребностями производства и материальным обеспечением — у ремесленников ГДР нет. Но у парикмахеров в достатке ножницы, у радиотехников — детали, у булочников — мука...

5

В ГДР 15 округов и 15 ремесленных палат. Но нет единой палаты для всей страны. Иоахим Маске в Берлине жаловался, что зарубежные коллеги не могут его понять. Присылают приглашение на международную встречу ремесленников в Венгрии или Польше и удивляются, что от ГДР не будет общенациональной делегации, Берлинская палата вправе представлять только мастеров столицы.

— «Но вы же руководите аналогичными учреждениями в других округах?» «Нет,— отвечаю им,— не руководим». «А кто у вас самый главный?» — «В Дрездене — Дрезденская ремесленная палата, в Потсдаме — Потсдамская, в Эрфурте — Эрфуртская». — «И вы не вправе выступать от их имени?» — «Нас никто не уполномочивал».

В этом заложен большой смысл: ремесленный труд по самой своей природе, историческим традициям, ориентации на сугубо индивидуальные потребности и учет местных обычаев меньше всего поддается поверхностной централизации. Экономиче-

ские принципы и правовые нормы деятельности мастеров должны быть едиными, но излишняя бюрократическая надстройка им противопоказана.

Руководители палат, с которыми я беседовал, высказывались только от своего имени, но как много общего в их мыслях, как глубоко проникают они в суть явления, лежащего на перекрестке экономики, истории и образа жизни.

— Ремесленный труд в Германии развивался столетиями. Объединения по профессиям назывались гильдиями. Сейчас у нас сто пятьдесят семь профессиональных ремесленных групп — и у каждой исторические особенности. Ремесленники придерживаются манеры обслуживания, которая была еще при отце и деде. Мы считаем, что это часть культурного наследия. (Герхард Скоруппа, Потсдам)

— Скоро в здании Гильдехауза получат дипломы сто новых мастеров. Будет вечер и торжественный ужин. Мы придерживаемся демократического стиля общения. Ко мне, председателю палаты, любой ремесленник может прийти в любое время, не договариваясь заранее. Мы ревностно следим за тем, что нового в каждой профессии и как она развивается. Вы, наверное, заметили, как ремесленники гордятся своей профессией? Они ощущают свою принадлежность к судьбе отечества, и отечество награждает их за труд орденами, как и рабочих государственных предприятий. (Курт Миколайчак, Эрфурт)

— Традиции не произведения вольной стихии. Навыки труда мастеров прошлого мы возвращаем каждый день с не меньшей тщательностью, чем садовник свои саженцы. В ГДР только дипломированный мастер вправе иметь ученика. Но каждый ремесленник должен оставить в наследство молодому человеку свое самое большое богатство — свое искусство. Наша палата ежегодно добавляет мастеру пятьсот марок на содержание ученика. Еще двести пятьдесят тысяч мы отпускаем на устройство мастерских, где ученики получают некоторые навыки в дополнение к тем, что усвоят у мастера. Заботимся мы и о восстановлении символов ремесленничества, которые возникли в старину. Люди шли по улице и видели: это сапожник, это портной. В Берлине ремесленничество началось в четырнадцатом веке с портных, сапожников, мясников и булочников. И уже тогда в магистрате были представители этих мастеров. А теперь у нас более ста ремесленных профессий. Некоторые исчезли, скажем каретники, другие возникли впервые в связи с появлением новой техники. Сколько они просуществуют в нашем социалистическом государстве? Пока общество испытывает в них потребность. (Иоахим Маске, Берлин)

Извечное опасение: индивидуальные услуги ведут к стихии неуправляемости. В ГДР я этой стихии не обнаружил. Никаких шабашников, подпольных услуг там нет. Нет и необходимости прибегать к левакам, жучкам и тому подобной публике, когда требуется отремонтировать квартиру, построить гараж, дачу, что-то отреставрировать быстро и, главное, с гарантией надежности. Отсутствие нелегальных предложений в обслуживании объясняется отсутствием спроса на них. Фокус прост.

Различие между действующими исподтишка леваками и официально разрешенным и поощряемым ремесленным трудом носит принципиальный характер. Левак действительно жрец неуправляемой стихии. Поскольку официально считается, что его как бы нет, он превращается в призрак, действующий по своим законам, вопреки морали, праву государства и общества. И хотя он объективно полезен — возмещает дефицит в услугах, — но одновременно в силу своей природы вносит в экономику элемент хаоса. Он снабжает себя у таких же, как и он сам, леваков, а проще сказать — разворовывает материалы у государства. Даже свою службу в общенародном сервисе левак часто использует для прикрытия тайных заработков и полупреступного самообеспечения пиломатериалами, краской, кожей — всем, что ему может понадобиться для оказания гражданам левых услуг. В отличие от него ремесленник пользуется только и исключительно собственными материалами, купленными им на свои деньги, как и оборудованием, техникой, помещениями, — все это принадлежит ему либо взято в аренду, то есть за деньги. Почвы для расхищения, разбазаривания народного добра в этом случае нет.

Итак, где же стихия, спрошу еще раз, где неуправляемость? Ремесленников много, объем их услуг растет, и рост этот предусматривается Госпланом. Вся их деятельность разумно направляется государством в полезное русло.

В Берлине я подробно говорил с Иоахимом Маске, первым заместителем председателя ремесленной палаты. Седой человек в пестром свитере — красные, белые, черные ромбы. Когда-то был учеником на частном предприятии, есть у него и опыт рабо-

ты в государственном аппарате: в качестве окружного советника занимался финансами, ценами. В ремесленной палате он уже восемь лет. Человек сведущий. Добавлю: и образованный — учился на экономиста, получил диплом академии.

От него я узнал, что столичная ремесленная палата — организация довольно представительная, солидная. Кроме правления, имеется 164 оплачиваемых сотрудника. В состав правления, помимо руководящего ядра, входят представители кооперативов и частных мастеров — всего 29 человек.

В Берлине тысячи ремесленников, забота об их труде и процветании, преемственности поколений мастеров, досуге, отдыхе для палаты главное. На эти цели в основном и расходуется бюджет, около 4 миллионов марок ежегодно. Свыше 400 тысяч выделяют они на дома отдыха, 350 тысяч — на детские лагеря, куда выезжает обычно до 700 ребят, детей ремесленников.

Кстати, еще один любопытный штрих к сравнению ремесленного труда со стилично-подпольной деятельностью разного рода наших леваков. В ГДР сын ремесленника гордится своим отцом, часто хочет быть его преемником. Общение в детском лагере пробуждает естественное в этом возрасте соперничество в умении делать что-то собственными руками, а там встречаются, поверьте, мальчишки отнюдь не белоручки. Многие уже два-три года учились у отца шить брюки, тачать сапоги, ремонтировать электроприборы, настраивать телевизоры. Уважение к занятию отца проявляется зримо. Можно ли представить себе «профессиональную преемственность» в семье шабашника, который чаще всего скрывает свои дела от собственного сына почти так же, как и от миллионера или фининспектора?!

В здании Берлинской ремесленной палаты на Карлплац я заинтересовался деревянной скульптурой кузнеца. Здесь 7 фигур ремесленников разных профессий, и у каждой свой автор. Их сделали мастера 20-х годов. Был еще удивительный стол, созданный коллективом ремесленников: столешницу делал один мастер, ящики — другой, дверцы — третий. Жаль, не довелось его посмотреть, стол остался в прежнем здании ремесленной палаты. Дом на Карлплац гордо заявляет о своей принадлежности к ремеслу фигурными металлическими решетками на окнах и дверях, люстрой, которую хоть сейчас отправляй на выставку, символами труда. Конечно, это не эрфуртский Гильдехауз, которому четыреста лет, но все же...

Гильдехауз иначе называют «Zum breiten herd» («У широкого очага») — так он значится на туристических картах, в буклетах. Председатель расположившейся здесь ремесленной палаты Курт Миколайчак пригласил меня к «широкому очагу» от всей широты своей общительной души. Веселый и доброжелательный, он с первых минут растопил лед официальной вежливости, неизбежный при встрече с незнакомым человеком. Разговор был откровенный и в обстановке самой непринужденной.

Мне и здесь хотелось узнать, чем занимается палата и на какие средства существует. Миколайчак вполне удовлетворил мое любопытство. Сказал, что бюджет у них свыше 3 миллионов марок в год: взносы ремесленников и их предприятий. Полмиллиона расходуют на повышение квалификации, ученичество («Вклад в будущее поколение»). Еще четверть миллиона на отдых мастеров, столько же на премии из фонда поддержки рационализации. Есть и специфический эрфуртский расход: 500 тысяч на сохранение исторического здания. Сидеть в «У широкого очага» дорого, хотя и приятно.

— А государство ничего не дает в ваш бюджет?

— Зачем? У нас свои деньги.

— И вы государству ничего?

— Если из бюджета что-то остается, то переводим в центральный фонд страхования ремесленников в Берлине. Но в переносном смысле мы даем государству много, стимулируя ремесленный труд. Булочник месил тесто рукой, а теперь булки лепит машина. Кто смастерил? Сами ремесленники по инициативе нашей палаты. Автомат для изготовления рогаликов, вот как эти на блюде, сделал кооператив слесарей, оплатила палата. В прошлом году изготовили сорок таких автоматов, в этом году будет сто, а в скором времени удовлетворим и весь свой спрос, начнем поставлять в другие округа.

— А может быть, частному мастеру выгоднее рукой месить и ему необязательно приобретать новые машины?

— Да, необязательно. Но он тоже заинтересован в том, чтобы облегчить свой

труд и больше заработать. Поэтому и готов потратиться. А мы облегчаем тяготы модернизации.

— Каким образом? Не доплачиваете же!

— Именно! Недавно у нас проведена реформа промышленных цен: их повысили на станки, машины. А мы продаем булочникам технику по льготным ценам пятидесятых годов. Тот же автомат обходится булочнику на пять тысяч марок дешевле. Не может купить — ему предоставят ссуду. И тоже на льготных условиях. А у нас в Эрфурте пятьсот ремесленников-булочников, хлебозаводы удовлетворяют потребность округа лишь наполовину.

Мы заговорили о другом. Полистали газету «Новый ремесленный труд», ремесленники ГДР получают ее бесплатно — сами же и финансируют. И еще одну — «Ремесленный труд Эрфуртского округа», тоже бесплатную. О чем в ней пишут? Вот перечень фамилий новых мастеров, сдавших экзамены, — их должны знать... деловая информация... обмен опытом... объявления: такой-то мастер продает машину, «куплю оборудование для...» ...репортаж о конкурсе парикмахеров...

Наша беседа с Миколайчаком происходила не с глазу на глаз. Присутствовали и другие члены правления Эрфуртской ремесленной палаты, которые желали успехов моей миссии, слава при этом труд своих мастеров. К последнему и мне захотелось присоединиться. Ответный мой тост в Гильдехаузе записал диктофон, который я по оплошности не выключил:

— Слово «ремесленник» у вас синоним труда и таланта. Я сожалею, что в нашем языке у него не только бесспорно позитивный смысл. Оно может звучать и осуждающе. Об актере или ученом, писателе или художнике, если он обладает профессиональными навыками, но неталантлив и лишен вдохновения, у нас скажут: ремесленник! У вас этого оттенка никто не понял бы... «Эй, ремесло!» — так могли сказать подростки своему сверстнику, не скрывая пренебрежения. Ремесленные училища, где готовили рабочих, переименованы в технические: это для молодых людей и их родителей оказалось престижнее... Основываясь на том, что я увидел здесь, в ГДР, хочу оппорить негативное употребление замечательного слова. За ремесленника и ремесло! За искусство, передающееся через поколения! За науку мастерovitости, которую вы преподавали!

Дом «У широкого очага» за свои четыреста лет, наверное, слышал немало тостов. Невозможно представить себе облик людей, что сидели век за веком под этими резными потолками, грелись у этих каминов с цветными изразцами, спускались по винтовой лестнице, равная которой есть лишь в Венеции. Но я уверен, что смысл их речей был не так уж далек от моего тоста. Ведь здесь, в Гильдехаузе, всегда славили превосходство умелых рук.

На этом можно было бы и закончить. Но мне необходимо найти слово, аккумулирующее конструктивную часть моих впечатлений от знакомства с ремесленным трудом в ГДР. Вот это слово — «выбор»!

Три формы собственности в обслуживании создают возможность выбора для всех. Выбор есть у клиента: он может обратиться в государственный комбинат сервиса, в кооператив ремесленников или к самостоятельному мастеру. Выбор есть у профессионала: он может работать по своему желанию в любом секторе, где ему нравится. Выбор есть у государства: оно может, развивая сеть предприятий обслуживания, вкладывать инвестиции с учетом предлагаемых ремесленниками услуг...

А когда есть из чего выбирать, дела идут веселее.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ТАМАРА ШИЛЕЙКО



ЛЕГЕНДЫ, МИФЫ И СТИХИ...

Э тот человек сам никогда не стремился к известности, старался жить как можно скромнее. Ученый с мировым именем, Владимир Казимирович Шилейко посвятил себя ассириологии — науке, которая, собственно, и родилась-то недавно, хотя занимается изучением древнейших цивилизаций Земли: Шумера, Вавилонии, Ассирии.

Печатать свои работы он не любил. Наверное, потому, что перед ним была бездна проблем, связанных с ассириологией, — он видел их в каждой глиняной табличке, в каждом обломке ритуальной чаши или стершейся цилиндрической печати. Решение их требовало непрестанного напряженного труда. Но скорее всего он не желал размениваться на мелочи, хотел сделать нечто цельное, всеохватывающее.

Таким трудом был для него «Ассиро-вавилонский эпос» — переводы мифов, молитв, заклинаний от болезней, предсказаний по рождениям, посвящений богам и сообщений потомкам древних правителей о своих победах над врагами и грандиозных постройках. Рукопись «Эпоса» была завершена к 1930 году, а может быть, и раньше, потому что еще при жизни Шилейко была включена в план издательства «Academia» (правда, незадолго до его закрытия). «Ассиро-вавилонский эпос» собирались печатать издательства и в Ленинграде и в Москве, но началась Великая Отечественная война — и, конечно, Шумер и Вавилония отошли на дальний план. Однако востоковеды не забывали об этом труде. Академик В. В. Струве опубликовал отрывки переводов Шилейко в своей «Хрестоматии по истории Древнего Востока». Особенно ценил он перевод эпоса о героине царе Гильгамеше. Но судьба «Гильгамеша» оказалась довольно таинственной и несчастливой. Рукопись, затерянная еще в 1918 году, после смерти Шилейко обнаружилась в издательстве «Academia». Ее решили издавать и уже подыскивали, кто бы мог написать введение и комментарии. Но тут она снова пропала и до сих пор нигде не обнаружена. Сохранилась только небольшая часть ее.

У рукописи «Ассиро-вавилонского эпоса» более счастливая судьба. Она по крайней мере не исчезла бесследно, хотя и не была опубликована. С ней тоже происходили странные вещи. Обеспокоенные судьбой рукописи, родные Шилейко решили разыскать ее и сохранить. Но как же трудно оказалось это сделать! Только в 1953 году нехотя один ученый отдал рукопись сыну Шилейко, который, приехав в Ленинград, пришел к нему домой вместе с сотрудником милиции...

Возможно, из-за своей привычки к уединению, сосредоточенным занятиям В. К. Шилейко остается в какой-то мере загадочной личностью. Но нельзя сказать, что о нем совсем забыли. Вот что говорится в Большой Советской Энциклопедии: «Шилейко Вольдемар Казимирович (2 (14) 2.1891, Петербург, — 5.10. 1930, Ленинград), советский ассириолог и поэт. Проф. ЛГУ в 1922—30. Ввел в науч. обиход мн. шумерийские, ассиро-вавилонские, хеттские и др. письменные памятники из отечественных собраний. Подготовил издание памятников вавилонской лит. в стихотворных переводах...»¹.

Имя Владимира Казимировича Шилейко упоминается и во многих книгах, посвященных древнейшей истории, но, к сожалению, никто не написал его хотя бы сколько-нибудь полной биографии. А ведь за свою короткую жизнь он успел сделать очень много, и не только как ученый-востоковед. Об этом человеке известно также и то, что он

¹ В этой статье есть неточности. Владимир Казимирович умер в Москве, а не в Ленинграде. В ЛГУ он закончил работу не в 1930 году, а в 1929-м.

был наделен большим поэтическим даром, писал стихи. Его литературное дарование оказало влияние на творчество нескольких известных поэтов — его современников. О Владимире Казимировиче Шилейко говорится даже в Краткой литературной энциклопедии: «Лирика Ш. (опубл. в 1913—19 в журналах и альманахах «Гиперборей», «Аполлон», «Северная звезда», «Тринадцать поэтов», «Весенний салон поэтов», «Сирена») ориентирована на высокую филос. традицию рус. поэзии, прежде всего Ф. И. Тютчева. Мастер центонной² поэзии; оказал влияние на поэзию рус. акмеизма».

К сожалению, в последнее время о В. К. Шилейко чаще вспоминают только в связи с именем А. А. Ахматовой. Причем добрейший человек каким-то образом оказывается в роли безжалостного ревнивца, чуть ли не запрещающего своей жене, талантливой поэтессе, писать стихи... Это несправедливые и жестокие вымыслы. Легенды о Шилейко ходили и при его жизни, но он обладал хорошим чувством юмора, к тому же его остроумие и находчивость помогали решительно пресекать различные пересуды.

Разбирая семейный архив, я нашла копию письма моей свекрови Веры Константиновны Шилейко-Андреевой, второй жены В. К. Шилейко, Петру Викторовичу Ершtedту, члену-корреспонденту АН СССР, специалисту по коптскому языку, большому другу Владимира Казимировича: «Мысль о том, что образ Володи, такой законченно прекрасный, и неисчерпаемое богатство его духа, большую часть которого он унес невысказанным в могилу, останутся в памяти лишь немногих его друзей, мне представляется иногда как-то мучительно недопустимой». Это и побудило меня, человека до той поры далекого от ассириологии и литературоведения, начать по крупицам собирать все, что касается личности Владимира Казимировича Шилейко.

Родился Владимир Казимирович в Петергофе в небогатой семье, где было пятеро детей. Вольдемар — старший. Кстати, он не любил романского звучания своего имени и всегда просил называть его Владимиром. Сначала Володя ходил в приходскую школу при лютеранской церкви, а потом стал учиться в гимназии. Бесспорно, это был очень одаренный мальчик: с семи лет он самостоятельно начал изучать древнееврейский язык, а в гимназии настолько увлекся историей Древнего Востока, что завязал переписку со специалистами из Британского музея. Вопросы, поставленные юным историком, были глубоки и интересны, поэтому приходили в Петергоф ответные письма солидных ученых из Лондона.

Что послужило толчком к таким необычным увлечениям мальчика? В какой-то мере ответ на этот вопрос дает сам Владимир Казимирович. В предисловии к своей книге «Вотивные надписи шумерийских правителей» он вспоминает преподавателя гимназии М. М. Измайлова как человека, «некогда вложившего в меня первую и самую сильную любовь — любовь к угасшему солнцу Востока».

Возможно, еще один человек сочувствовал его занятиям — отец, Казимир Донатович. Отставной поручик, затем чиновник, глава большой семьи, он в течение двух лет посещал вечерние лекции в Петербургском археологическом институте и, успешно сдав установленный экзамен, был в 1904 году удостоен звания члена-сотрудника этого института. К сожалению, о причастности отца к увлечениям Владимира прямых свидетельств не сохранилось. Однако при всей скудости семейного бюджета Шилейко-старший давал возможность сыну покупать «мудреные» книги, коллекционировать старинные монеты и медали. В шкафу гимназиста бережно хранились обломки каменных плит, обрывки старинных рукописей и другие реликвии.

В Петербургский университет В. К. Шилейко поступил в 1909 году, после петергофской классической гимназии. Окончив ее блестяще, на круглые пятерки, он получил золотую медаль.

Крепким здоровьем Владимир Казимирович не отличался. Еще в юности он заболел туберкулезом легких. Тогда он справился с болезнью. Лето, проведенное в Пскове, и молодой организм совершили чудо. В справке, представленной Владимиром Казимировичем в Петербургский университет в сентябре 1913 года и заверенной доктором медицины, статским советником А. Сердюком, говорится: «После соответствующего лечения при отдыхе от всяких занятий в деревне язвы зажили, и в настоящее время у Шилейко не обнаружено никаких явлений как местного, так равно и общего туберкулеза. После подробного медицинского осмотра, произведенного мною сего 23 сентября,

² Центон — стихотворение, целиком составленное из строк других стихотворений. В современной литературе рассматривается как поэтическая забава и употребляется редко.

я нашел студента Шилейко достаточно окрепшим для возобновления научных занятий, а также не опасным в смысле заразительности для окружающих, что и удостоверяю, как пользующий его врач, моею подписью с приложением печати».

Если в гимназии он по большей части занимался историей Древнего Востока, то университетские профессора открыли ему доступ к пониманию клинописных текстов. В то время в Петербургском университете работали такие замечательные ученые, как П. К. Коковцов и Б. А. Тураев. Под их непосредственным руководством Шилейко изучил древние языки настолько глубоко, насколько это было возможно в то время. В дальнейшем он оставался одним из тех немногих в мире ученых, кто шаг за шагом открывал тайны мертвых языков, делая доступными, казалось бы, запертые за семью печатями, самые древние, в большинстве своем каменные и глиняные книги.

Изучив клинопись и получив тем самым доступ к сокровищам древнейшей литературы, Шилейко забыл обо всем на свете. настолько забыл о себе, о своем здоровье, что обеспокоенный профессор Тураев, не видя иных путей повлиять на слишком увлекавшегося студента, пишет письмо его отцу и просит обратить внимание на здоровье сына.

В своей книге «Жили-были» В. Б. Шкловский вспоминает случай, непосредственно касающийся В. К. Шилейко. Когда в 1913 году канцелярия Петербургского университета за невнесение платы за обучение (двадцать пять рублей) автоматически исключила Шилейко из числа слушателей, пришлось закрыть целое отделение факультета восточных языков (еврейско-арабско-ассирийское), поскольку, как выяснилось, Шилейко был единственным слушателем этого уникального отделения. Это кажется удивительным только поначалу. И сегодня ассириология считается наукой архитрудной, а в то время ученых, занимающихся клинописью, во всем мире были единицы.

Как самостоятельная научная дисциплина ассириология была признана к середине XIX века. В России первым начал заниматься ассириологией и клинописью М. В. Никольский. Преподаватель греческого языка в гимназии, он увлекся молодой наукой, первым из русских ученых стал читать курс ассириологии в Московском университете и много занимался самыми древними письменными знаками — так называемой пиктографией, рисуночным письмом. Правда, к началу XX века он отошел от университетских дел и, чувствуя близкий конец, стремился по возможности завершить труды, начатые в молодые годы.

Шилейко стал изучать ассириологию и клинопись в 1910 году, и через два года уже полностью овладел этими науками. Но спорных вопросов грамматики и произношения клинописных знаков оставалось столько, что решать их в одиночку было невымыслимо. Никто из знакомых Шилейко специалистов не был в состоянии помочь ему, поэтому еще в 1911 году он начал переписку с известным французским ученым Франсуа Тюро-Данженом, основателем шумерологии — истории народа, одним из первых создавшего на земле письменность. Примерно тогда же завязалось его знакомство с немецким ассириологом Вайднером и другими востоковедами в различных странах мира.

«У нас восходит новое светило в лице Шилейко... Мне, конечно, не угнаться за этим быстроногим Ахиллесом» — так писал в начале нашего века Михаил Васильевич Никольский, которого современники почтительно называли отцом русской ассириологии. Он узнал, что в Петербургском университете на восточном факультете есть студент, который свободно читает клинописные тексты на шумерском, вавилонском и ассирийском языках, знает древнеегипетские иероглифы, клинопись, арамейский и другие древние языки.

Ознакомившись с работами своего соотечественника М. В. Никольского, жившего в Москве, Шилейко написал ему письмо, в котором высказал беспредельное уважение к трудам старого профессора и просил консультации по нескольким вопросам. Никольский незамедлительно прислал ответ, выражал в нем радость по поводу появления в России подающего большие надежды молодого ассириолога. Вот выдержка из этого пространныго (тринадцать страниц) письма, датированного 6 июля 1912 года: «Дорогой коллега! Я много слышал о Вас от Б. А. Тураева, но, несмотря на лестный о Вас отзыв, я все же думал, что Вы только ученик первого элементарного класса, с успехом переходящий во второй, но получив Ваше письмо, был совершенно удивлен, увидев в лице Вашем готового ассириолога, овладевшего всеми важнейшими познаниями в нашей области и с мужеством и успехом берущегося за решение самых трудных и неразрешимых проблем. От души Вас приветствую!..»

В 1912 году, когда было написано это письмо, в Новом энциклопедическом сло-

варе Брокгауза и Ефрона была опубликована первая большая статья Шилейко «Вавилония», а также несколько текстов расшифрованных им клинописных табличек.

Хорошо известно, что и сейчас чтение клинописных текстов занятие сложнейшее. А в то время, когда проводились первые опыты чтения древнего письма, все было неизменно сложно. Даже описание внешнего вида таблички, выявление места и положения, в котором ее нашли, материала, из которого она изготовлена, — все представляло сплошные загадки. К тому же в большинстве случаев это были не целые изделия, таблички или какие-либо другие ритуальные предметы, например чаши, булавы, конусы, а обломки со щербинами-лакунами на самой надписи. Прежде чем попасть к русским коллекционерам, эти древние предметы проходили через множество рук, часто нечистоплотных, и, чтобы заработать побольше, целое изделие нередко разбивали на куски и продавали по частям.

Приступая к работе, специалист-ассириолог должен был восстановить былую часть повествования по уцелевшим лоскутам слов. Для этого надо было разобрать и перерисовать на бумагу все знаки, восстановив стершиеся или выкрошившиеся детали. В иных случаях, чтобы показать, как выглядела надпись в первоначальном виде, от ученого требовалось искусство художника. Особенно это касается посвячительных надписей. В отличие от деловой скорописи они зачастую выполнялись замысловатым и тонким письмом. А кроме того, надо было знать, какие аналогичные тексты уже имеются, в каких музеях мира, кто и когда пытался их прочитать и к каким пришел результатам.

С 1913 года В. К. Шилейко, хотя и числился студентом Петербургского университета, стал сверхштатным сотрудником Эрмитажа по научной части. В том же году вышли в свет его статьи «Тетраграмматон» в Еврейской энциклопедии и «Иероглифы» в Энциклопедическом словаре издательства «Деятель». В 1914 году пять его статей напечатали французский журнал «Ревю д'ассириологии», немецкие журналы «Ориенталише литературцайтунг» и «Цайтшрифт фюр Ассириологи».

Никогда не бывавший на Востоке, Владимир Казимирович для расшифровки текстов пользовался предметами старины, попадавшими в Россию через собирателей древностей. С известным коллекционером академиком Николаем Петровичем Лихачевым Шилейко познакомился в самом начале своих занятий ассириологией. Историк по образованию, Лихачев собрал интереснейшие материалы. Он создал Музей палеографии, все экспонаты которого были приобретены им на собственные средства. В нем были собраны самые различные памятники письма: тексты, выбитые зубилом, нарисованные красками, начертанные палочкой, написанные кисточкой, гусиными, металлическими перьями, первые типографские издания. Трудно даже просто перечислить все экспонаты. Здесь можно было увидеть египетские стелы и папирусы, клинописные таблички Двуречья и хеттов, китайские гадательные кости, памятники коптского, греческого и арабского письма, надгробья, пергамены и бумаги, дипломы и хартии, многочисленные акты Западной Европы, папские бреве, банди и адити итальянских государств, мазаринады и летучие издания Французской революции, инкунабулы, палеотипы и русские провинциальные издания XVIII—XIX веков.

Материалы эти казались настолько разноплановыми, что некоторые современники Лихачева считали их не связанными друг с другом и утверждали, что собрания Музея палеографии отражают лишь коллекционерские вкусы собирателя. Владимир Казимирович Шилейко придерживался иной точки зрения, потому что в действительности в музее были собраны экспонаты для критического исследования исторических источников, их сопоставления и взаимной проверки. Забегая вперед скажем, что в 1925 году Н. П. Лихачев воплотил свою заветную мечту: передал организованный им Музей палеографии в ведение Академии наук СССР и стал его директором. С Лихачевым и его музеем Шилейко был связан теснейшими узами до конца своей жизни. После смерти Лихачева все экспонаты Музея палеографии были, к сожалению, разрознены. Большая их часть попала в Эрмитаж и Азиатский музей.

Но еще задолго до этого молодой ученый отобрал для работы из коллекции Лихачева 35 ритуальных предметов, принадлежавших 11 царям Шумера. Большинство из них было найдено при раскопках группы холмов Телло, скрывавших под собой древний город-государство Лагаш. Происхождение остальных связано с древними городами Адаб, Урук, Ларса. Среди реликвий — известняковые, алебастровые, глиняные таблички, одна мраморная и одна из лазурита, шестигранная глиняная призма, обломки вазы, глиняные конусы и кирпичи.

Некоторые надписи были оттиснуты с помощью глиняных, каменных или метал-

лических цилиндров-печатей. Но большинство текстов было написано от руки. Поэтому каждый отдельный предмет независимо от содержания нанесенного на него текста является единственным в своем роде древнейшим памятником. Несколько надписей было переведено Шилейко впервые в мире, содержание других было известно по переводам главным образом на французский язык. Однако и в этих случаях русский ученый дал важные уточнения транскрипции перевода, основываясь на детальном изучении грамматики мертвого языка.

Эта работа была долгой, кропотливой, но завершилась первой книгой молодого ученого, которому в то время исполнилось всего лишь двадцать четыре года. «Вотивные надписи шумерийских правителей» вышли в свет в 1915 году. В подзаголовке книги указано, что в ней опубликованы клинописные тексты памятников Южной Месопотамии из собрания академика Н. П. Лихачева.

Эта книга ценна не только тем, что в ней помещены переводы древних текстов, описания реликвий,— Владимир Казимирович написал к ней исторический очерк, в котором с наиболее возможной для того времени точностью установил хронологическую последовательность и династические связи шумерийских царей. Чтобы написать подобный очерк, надо было не только прочесть, но и проанализировать все написанные к тому времени материалы по Шумеру, опубликованные в различных странах мира, главным образом на немецком, английском и французском языках. Следовало также изучить и сопоставить многочисленные таблички, относящиеся к шумерийскому периоду из Британского музея, парижского Лувра, Берлинского музея и других собраний.

Старый профессор Никольский был поражен тем, что совсем еще молодой ученый берется за решение сложных и на первый взгляд вовсе неразрешимых проблем и добивается успеха. Другой старший коллега позднее журит молодого ученого за неэкономную трату сил: ассириология — это океан труда и сначала, казалось бы, надо брать то, что лежит на его поверхности, а не нырять в глубину.

Но легкого пути Владимир Казимирович в своей жизни никогда не искал. Книга «Вотивные надписи шумерийских правителей» не осталась незамеченной. В 1916 году ей была присуждена Большая серебряная медаль Российского археологического общества. Одновременно В. К. Шилейко был признан одним из лучших европейских копировальщиков клинописных текстов.

Шилейко был всегда полон творческих планов: разбирал, сопоставлял, отбирал наиболее интересные, на его взгляд, материалы. Несколько раз он возвращался к изданию шумерийских таблеток. В 1916 году в сборнике статей в честь попечительницы Российского археологического общества графини Уваровой опубликовал еще четыре таблетки из лихачевского собрания. В них содержатся данные, до той поры мало известные историкам. Владимир Казимирович обратил внимание на то, что некоторые товары, упоминаемые в этих документах, оцениваются в серебре. Он первым высказывает мысль, что при торговых сделках в Шумере имела хождение металлическая валюта.

В январе 1917 года Владимира Казимировича призвали в армию. Он пробыл в войсках более шести месяцев, до августа 1917 года, и по состоянию здоровья был уволен из пехотного полка, где служил рядовым. От службы в армии у него осталась шинель, которая в течение нескольких последующих лет служила ему и пальто и одеялом.

В этом же году В. К. Шилейко опубликовал еще два текста с шумерийских таблеток, хранящихся в настоящее время в Москве в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Зная о перенесенной им болезни, друзья просили его быть внимательным к себе, беречь здоровье. Но когда он увлекался чем-нибудь, то о себе совершенно забывал — мог не есть, не спать. И если принято называть книги духовной пищей человека, то в приложении к Шилейко эти слова звучали почти буквально: без пищи он мог обходиться долгое время, был непритязателен в еде. Без книг же не мог прожить и часа.

Большой их знаток и ценитель, Шилейко покупал у букинистов все, что казалось ему интересным. Он не коллекционировал книги — он с ними работал. Любую, оказавшуюся у него в руках, он прочитывал от начала до конца. Книги стоили дорого, и из-за этого он, постоянно нуждавшийся в деньгах, часто оставлял себе на жизнь жалкие крохи.

Тонкий знаток литературы, Шилейко одинаково хорошо понимал классическую и средневековую западноевропейскую литературу, в особенности поэзию. По воспоминаниям близких ему людей, он имел необыкновенную память, в разговоре мог цити-

ровать любое из называемых литературных произведений — на разных языках, и древних и новых. Переводов он не признавал, только подлинники. Наизусть читал целые таблицы на ассирийском языке. Увлекал своих слушателей рассказами о Древнем Египте, Вавилонии, Ассирии. Об Ашшурбанипале, жившем в VII веке до н. э., мог говорить так подробно и занимательно, будто своими глазами наблюдал жизнь этого правителя, создателя одной из самых древних библиотек мира.

В архиве ГМИИ имени А. С. Пушкина сохранилась анкета, заполненная в 1926 году. В графе «Какие знаете языки» ответ: «Знает около 40 языков». Сын В. К. Шилейко утверждает, что его отец знал в общей сложности 62 языка.

25 октября 1917 года над Невой прогремел исторический выстрел «Авроры». Он возвестил миру о создании первого в мире социалистического государства. В трудные послереволюционные годы многие сотрудники Эрмитажа и других музеев Петрограда стремились во что бы то ни стало сохранить национальные сокровища для народа. Шилейко принадлежит к их числу. В 1918 году его принимают на штатную должность ассистента в Государственный Эрмитаж. В том же году он был утвержден членом Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины, созданной по инициативе В. И. Ленина.

Через год его избрали действительным членом Российской академии истории материальной культуры (РАИМК, впоследствии Государственная академия истории материальной культуры — ГАИМК). С этого времени секция археологии и искусства Древнего Востока РАИМК, которую он возглавил, стала центром изучения ассириологии в нашей стране.

Тогда же, в 1919 году, Шилейко утверждают в должности профессора Петроградского археологического института. Он читал историю Шумера и Аккада, историю вавилонской литературы, на практических занятиях разбирал со студентами клинописные тексты.

Несколько лет он прожил в одном из помещений Шереметевского дворца. В мрачной продолговатой комнате размещались кровать, диван и большой круглый стол. За этим-то столом при свете керосиновой лампы, накинув на зябнущие плечи солдатскую шинель, Владимир Казимирович ночи напролет разбирал глиняные таблички. Хозяйства у него не было никакого, не было даже кастрюли — только чайник. Не много он себе позволял, но в чем не мог отказать, так это в чае, причем чай любил очень горячий и очень крепкий. Заваривал за ночь по нескольку раз, для этого разжигал примус. Был еще маленький самовар, но его ставили только в честь прихода гостей — слишком хлопотное это дело отнимало много времени.

По складу ума и характера Шилейко как специалиста-востоковеда привлекала не просто расшифровка текстов, но решение исторических загадок, динамика развития и совершенствования языка. Сочетая исключительную память, блестящий комбинационный дар со строгим логическим мышлением, он всегда приходил к оригинальным выводам. А поэтический дар ученого проявлялся в выборе текстов для работы — в большинстве своем это были исторические надписи, мифы, космогонические и героические, храмовая лирика и обряды.

Большой интерес для историков представлял анализ клинописных текстов, опубликованных Шилейко в 1918 году в «Записках Восточного отделения Археологического общества». При внимательном изучении оказалось, что два из них, те, на которые раньше никто не обращал внимания, содержат договор о взаимопомощи. Египетский фараон и хеттский царь обязывались помогать друг другу в случае возникновения беспорядков внутри их стран. Это был аккадский вариант известного договора между фараоном Рамзесом II и хеттским царем Хаттушилем III (XIII век до н. э.). Поначалу Шилейко полагал, что это предварительный вариант. Но вскоре пришел к правильному выводу, который имел огромное научное значение. Ведь к моменту выхода в свет статьи Шилейко были известны лишь египетские копии этого договора.

По-прежнему много времени он отдает и другой своей работе. Еще в самом начале своей деятельности Владимир Казимирович заинтересовался преданиями о Гильгамеше — богатыре, совершающем необыкновенные подвиги. Перевод этой работы, как я уже говорила, исчез, и потому хотелось бы рассказать о нем подробнее.

Как и его отдаленный потомок — греческий Геракл, Гильгамеш был причислен к сонму шумерийских и вавилонских богов. Впервые это имя упоминается в списке богов, получающих праздничные жертвы, в записях, относящихся к третьему тысячелетию до н. э. Еще более древние — изображения Гильгамеша на печатях шумерийских царей.

На них изображался герой, борющийся с быком или со львом, в несущейся по бурным волнам ладье.

Первые таблички с описанием подвигов Гильгамеша относятся к концу третьего тысячелетия до н. э. По-видимому, это были записи сказаний, которые сложились по крайней мере в первой половине третьего тысячелетия до н. э., а затем изустно передавались из поколения в поколение. Самые поздние таблички, написанные вавилонским письмом, но на ассирийском языке, найдены при раскопках библиотеки последнего из великих ассирийских царей — Ашшурбанипала. Их всего 12, заполненных мелкой клинописью.

После небольшого вступления поэма повествует о постройках, которые Гильгамеш воздвиг в Уруке, где был правителем. А затем слышится жалоба жителей Урука, недовольных буйным поведением Гильгамеша. Боги внимают молитвам людей. Они создают человека-зверя Энкиду, равного по силе Гильгамешу. При встрече Гильгамеш и Энкиду вступают в схватку, но никто не может одержать верх. Борцы не чувствуют вражды друг к другу и вскоре становятся неразлучными друзьями. Так заканчивается первая таблица.

На второй таблице записано, как Гильгамеш и Энкиду задумывают поход против страшного Хумбабы, хранителя священной кедровой рощи. Третья таблица приводит героев к матери Гильгамеша с просьбой склонить всемогущего бога солнца Шамаша к удачному совершению задуманного предприятия. Четвертая описывает путь Гильгамеша и Энкиду к месту обитания Хумбабы. Пятая — бой с Хумбабой, который заканчивается победой героев.

В шестой таблице рассказывается, как Гильгамеш умывается после битвы, надевает чистое платье, возлагает на голову тиару. Он так прекрасен, так мужествен, что подняла на него свои очи и поразилась красоте героя Иштар — богиня любви и плодородия, а также войны и распри. Иштар домогается любви Гильгамеша, обещая ему власть во вселенной. Но Гильгамеш знает капризный нрав прекрасной богини. Он насмешливо отказывается от ее любви и перечисляет всех ее возлюбленных, которым она принесла только зло. Такое пренебрежение к ней заставляет Иштар думать о мести. Она обращается к богам и умоляет их наказать Гильгамеша за дерзость. В конце концов боги соглашаются и посылают на него ужасное чудовище — небесного быка, изрыгающего огонь. Вместе с Энкиду Гильгамеш одолевает и этого противника.

Энкиду, друг Гильгамеша, — бесстрашный и сильный, но все же смертный. Седьмая таблица повествует о его тяжелой болезни и смерти. Плач и скорбь оставшегося в живых Гильгамеша описаны в ней же. Тоска по другу переходит в страх перед неизбежностью собственной смерти. Что делать? Умирать так не хочется. Как обрести бессмертие? Гильгамеш решает идти за советом к обладателю вечной жизни престарелому Утнапиштиму (девятая и десятая таблицы).

Одиннадцатая таблица, лучшая из всех по сохранности, содержит рассказ Утнапиштима о потопе. Кстати, библейская легенда о потопе настолько совпадает с вавилонским сказанием, что сегодня ученые допускают вероятную связь этих легенд. Герой просит Утнапиштима помочь ему получить вечную жизнь, но не выдерживает необходимых для этого испытаний и ни с чем возвращается домой. Грустный приближается он к Уруку, но видя открывшийся его взору прекрасный город, окруженный мощными стенами, по-новому понимает смысл жизни. Обращаясь к своему спутнику, он говорит, что бессмертие человека заключается не в чем ином, как в творениях его рук.

В последней, двенадцатой таблице Гильгамеш вызывает из преисподней тень Энкиду, и тот рассказывает ему о безрадостном существовании в загробном мире. Содержание этой таблицы не вполне согласуется с духом всей поэмы. По-видимому, двенадцатая таблица была присоединена к эпосу позднее.

Шилейко изучал все имевшиеся тогда материалы о Гильгамеше, знал различные версии эпоса и частично отдельные, так называемые периферийные, фрагменты, которые были найдены при раскопках не в Вавилоне и Шумере, а в других местах. Еще в 1918 году он сдал полный перевод «Гильгамеша» в издательство Сабашниковых в Москве, но, к несчастью, рукопись затерялась. Остался только перевод шестой таблицы, той, где Гильгамеш после битвы с Хумбабой отказывается от любви коварной Иштар, да еще некоторые отрывки.

Но русский перевод эпоса, читанный самим Владимиром Казимировичем, слышали многие, и много было об этом в свое время разговоров. Академик Струве, блестящий

знаток древних текстов, в былые годы хорошо знал Шилейко. В своей «Истории древнего мира» он вспоминает начало поэмы в переводе Владимира Казимировича:

Об увидавшем все до края мира,
 О проицавшем все, постигшем все.
 Он прочел совокупно все писанья,
 Глубину премудрости всех книжочетов;
 Потаенное видел, сокровенное знал
 И принес он весть о днях до потопа.
 Даленим путем он ходил — но устал и вернулся
 И записал на камне весь свой труд.

В 1919 году вышел перевод «Гильгамеша» на русский язык, сделанный поэтом Н. С. Гумилевым. Но Гумилев переводил не клинопись, что вполне естественно, а пользовался французским подстрочником. Большую помощь в толковании различных малопонятных для несведущего читателя мест древней легенды переводчику оказал Шилейко. Он же написал предисловие к книге, которое, по существу, было серьезным исследованием в той области истории древнего мира, которую сейчас называют гильгамешеведением.

Все материалы, связанные с древнейшим на земле эпосом, Шилейко тщательно подбирал, обрабатывал, изучал. Так, в ноябре 1927 года он пишет в Москву: «День был удивительно хорош, безветренный и снежный, и с утра я выбрался в Азиатский музей. Ернштедт приготовил для меня издание старинных отрывков Гильгамеша, по которым я тосковал шесть лет; теперь мне их хватит на всю зиму». «Гильгамеша старые отрывки меня научают многому. Бесподобен их язык, тончайший по своему синтаксису».

Все материалы, касающиеся легенды о Гильгамеше, были интересны не только сами по себе — они широко использовались Шилейко при анализе текстов и особенно древних цилиндрических печатей, которыми он также серьезно занимался.

Научная работа, казалось бы, отбирала все силы без остатка, но были еще и стихи. В 1918 году в альманахе «Весенний салон поэтов» в числе других стихи Шилейко. В конце 1918 и в самом начале 1919 года вышли очередные книжки журнала «Сирена», в которых было напечатано 6 его стихотворений.

Излюбленная форма стихов поэта — восьмистишие. В строчках, построенных просто и спокойно, погашены все всплески, крайности чувств, но вместе с тем в них заключены мысли и эмоции человека, много пережившего и много познавшего. Взять хотя бы одно стихотворение из «Сирены»:

Над мраком смерти обоюдной
 Есть говор памяти времен,
 Есть рокот славы правосудной,
 Могучий гул; но дремлет он
 Не в ослепленьи броней медных,
 А в синем сумраке гробниц,
 Не в влекоте знамен победных,
 А в слабом шелесте странци.

Стихотворения, напечатанные в «Сирене», насколько сейчас известно, были последними прижизненными публикациями стихов Шилейко. В дальнейшем он перестал печатать стихи. Но это вовсе не означало отхода от поэзии. Напротив, он начал активно сотрудничать в издательстве «Всемирная литература», организованном по инициативе М. Горького.

Вот что писал Алексей Максимович Горький о задачах, стоящих перед издательством: «В 19-м году издательство «Всемирная литература», преследуя цель дать русскому читателю лучшие произведения всех литераторов Европы и Америки XIX—XX века, организовало «Студию переводчиков», чтобы воспитать кадры литературно и художественно грамотных переводчиков, способных — насколько это вообще возможно — ознакомить русского читателя с тайнами слова и красотой образов литературы европейской. Задача несколько утопическая, но, как известно, в России всего меньше боятся утопии».

Будучи членом редколлегии издательства «Всемирная литература» и одним из руководителей «Студии переводчиков», Шилейко редактирует переводы. Одновременно он готовит переводы вавилонской литературы, стремясь как можно точнее воспроизвести ритмику древнего стиха. Чтобы глубже понять художественные достоинства древ-

нейшей литературы, он изучает западноевропейскую средневековую поэзию и вскоре становится крупным специалистом и в этой области.

В 1922 году в первом номере журнала «Восток», выпущенном издательством «Всемирная литература», было представлено несколько фрагментов из переводов древневавилонской литературы. Среди них знаменитая поэма-миф «Сошествие Иштар» — о сошествии богини Иштар в обитель мертвых. Ее перевод подготовил В. К. Шилейко.

В ту пору были известны только две редакции этого мифа. Изучая грамматические особенности текстов, Шилейко впервые высказал предположение о том, что обе копии восходят к подлиннику, который намного старше имеющихся записей и передает трагедию божественных страстей значительно полнее. Впоследствии, уже после смерти Шилейко, это предположение подтвердилось: были обнаружены отрывки из «Сошествия Иштар», датируемые третьим тысячелетием до н. э.

Переводчик Шилейко стремился не только точно рассказать содержание текста, но и средствами современного русского языка по возможности передать своеобразие и выразительность древневавилонского стиха. Работая над переводом, Шилейко, как всегда, стремился выдержать его ритмический строй, сохранить порядок слов подлинника:

Почиют князя, простерты мужи, день завершен:
шумливые люди утихли, открытые замкнуты двери...

В. К. Шилейко отнюдь нельзя было назвать книжным червем, человеком, замкнутым в себе. Круг его знакомых не ограничивался только сослуживцами, специалистами-востоковедами и филологами. Его хорошо знали все, кому так или иначе приходилось сталкиваться с ним в повседневной жизни. В. Д. Блаватский, коллега Владимира Казимировича по РАИМК, рассказывал, что Шилейко часто обедал в столовой неподалеку от Мраморного дворца, где жил. Когда он входил в зал, даже обедавшие дворники, хорошо его знавшие, дружно приветствовали его: «Здорово, Мраморный!»

Был еще друг, который требовал непрестанных забот, — сенбернар Тапа. В те годы в Петрограде было много бродячих собак, самых породистых. Ударяя за границу, хозяева оставляли животных на попечении прислуги, а те в голодное время выгоняли собак на улицу. Однажды Шилейко подобрал больного пса — голодного, несчастного. Пес обожал нового хозяина. Когда в 1924 году Владимиру Казимировичу по делам службы пришлось уехать в Москву, Тапа лег на его кровать, не желал сходить с нее и не прикасался к пище. Пришлось срочно вызвать Шилейко телеграммой. Только когда пес увидел хозяина, он покинул свое убежище и стал есть.

Выходят в свет новые публикации Шилейко. Зарубежные журналы по ассириологии просят его присылать статьи, но ученый считает своим долгом прежде всего публиковать свои труды в советских изданиях. В 1921 году он частично переиздает, частично публикует впервые 12 староассирийских табличек из Малой Азии. Эти древнейшие палеографические памятники, написанные на особом варианте аккадского языка и особым видом клинописи, относятся к рубежу третьего и второго тысячелетий до н. э. В то время их язык и письмо только начинали толковать. Он был и в этом пионером.

В 1922 году Петроградский университет приглашает к тому времени уже знаменитого ученого на должность профессора. Шилейко ведет курсы шумерского, аккадского языков, а впоследствии первым в нашей стране вводит преподавание хеттского языка. Здесь также следовало бы исправить небольшую неточность. В БСЭ (том 9) сказано, что впервые в нашей стране ввел преподавание хеттского языка советский языковед, специалист в области ассириологии А. П. Рифтин. Но как же так? Судя по письму самого Шилейко, Рифтин проходил курс хеттского языка в ЛГУ под его руководством.

Шилейко был твердо убежден, что история Древнего Востока не должна быть привилегией узких специалистов. Люди должны знать, как жили их предки, как развивалась человеческая культура. Он был превосходным рассказчиком, слушать его можно было бесконечно (многие, к сожалению, этим злоупотребляли, не жалея ни сил его, ни здоровья). Он так увлекался, что не замечал времени. Поэтому даже на лекции в университете приносил будильник, заводил его, ставил перед собой на кафедру и лишь после этого начинал занятия.

По записям египтологического кружка при ЛГУ, почетным членом которого состоял Шилейко, только в 1922 году он выступил с 16 общедоступными докладами. Темы самые разнообразные. Среди них: «Развалины некоторых городов в Месопотамии», «Из вавилонской литературы», «Значение мѳки в поэме о Гильгамеше», «Печати

Дария и Артаксеркса». «Мужья Иштар». «Государства Умма и Шургулла»... На его лекции приходили не только члены египтологического кружка и восточного отделения Археологического общества, но и неспециалисты — студенты университета, археологического института и люди, интересующиеся древней историей. К сожалению, конспекты этих докладов в архиве Шилейко не сохранились.

В 1924 году в очередной книге журнала «Восток» печатается перевод 61 строки вступления к вавилонской поэме об Этане «Орел и змея». Стихотворный текст удивительно живо и образно повествует о дружбе орла и змеи, о данной ими перед богом солнца Шамашем клятве верности, о вероломстве орла и мстительной змеиной хитрости.

Знакомство Шилейко с Анной Андреевной Ахматовой состоялось, по-видимому, еще до 1913 года. Во всяком случае, ее стихотворение «Косноязычно славивший меня...», посвященное Владимиру Казимировичу, отмечено этим годом. Некоторые литературоведы полагают, что оно было ответом на опубликованное позже (в 1914 году), чем было написано, стихотворение Шилейко «Муза»:

Ты поднимаешься опять
На покаянные ступени
Пред сердцем бога развязать
Тяготы мнимых преступлений.

Твои закрытые глаза
Унесены за край земного,
И на губах горит гроза
Еще не найденного слова.

И долго медлишь так, мертва...
Но в вещем свете, в светлом дыме
Ооченелые слова
Становятся опять живыми, —

И я внимаю не дыша,
Как в сердце трепет вырастает,
Как в этот белый мир душа
На мягких крыльях улетает.

На стихотворении А. А. Ахматовой «Как мог ты, сильный и свободный...» в его первых публикациях стояло посвящение — «В. К. Шилейко».

Поэтический диалог Ахматовой и Шилейко скреплялся большой дружбой. Ахматова с интересом относилась к рассказам Владимира Казимировича о Древнем Востоке. Она была благодарной слушательницей, понимающей музыку древней речи. Шилейко рассказывал ей о царях и богах, читал таблетки на языке оригинала, а потом переводил на русский. Выбирал то, что казалось ему интересным с общечеловеческой точки зрения. В одном из писем Ахматовой он, к примеру, сообщает, что натолкнулся на одну трогательную таблечку, и спешит передать ее содержание, причем делает это так, словно его корреспондентка является специалистом-востоковедом: сначала дает транскрипцию, а потом точный перевод письма древней вавилонянки сыну.

Брак В. К. Шилейко и А. А. Ахматовой был оформлен в декабре 1918 года в нотариате Литейной части Петроградской стороны. Некоторое время супруги жили в Шереметевском дворце, в комнате Владимира Казимировича. Затем они переселились в Мраморный дворец на Миллионной (ныне Халтурина, 5), где жили сотрудники РАИМК. Шилейко получил там квартиру из двух комнат. По тем временам это были роскошные апартаменты, хотя каждый жилец сам топил печь, электрической проводки во дворце, конечно, не было — помещения освещались керосиновыми лампами и свечами.

В военном билете В. К. Шилейко в графе «Семейное положение» обозначено: четыре человека. Судя по всему, это были сами супруги, Лева, сын Анны Андреевны от первого брака, и Анна Фоминична, мать Владимира Казимировича, которая жила отдельно, но находилась на иждивении сына.

В эти годы семья В. К. Шилейко могла существовать только благодаря пайку, полагававшемуся ему как действительному члену РАИМК, да и А. М. Горький делал все возможное для сотрудников издательства «Всемирная литература», чтобы не дать им умереть от голода. В очередях за пайком приходилось стоять Анне Андреевне. Некоторые мемуаристы ставят это как бы в укор Шилейко. Но он, в этом нет никаких сомнений, мог бы стоять в единственной очереди — в очереди в библиотеку.

Один рассказ глубоко запал в мое воображение. Это произошло в 1969 году, когда я еще почти ничего не знала о В. К. Шилейко кроме того, что он был ученым и поэ-

том, да еще что Анна Ахматова была прежде его женой. По роду работы мне довелось встретиться с известным физиком Д. А. Франк-Каменецким. Мне как издательскому редактору надо было снять некоторые вопросы. Когда в рукопись были внесены нужные поправки, зная мою фамилию, он спросил, не родственница ли я «того самого» Шилейко. Я ответила, что да, родственница, и тогда услышала:

— Владимир Казимирович был замечательный человек. Мне о нем много рассказывал брат, который жил в то время в Петрограде и также был действительным членом РАИМК. Вы знаете, он вспоминал, как однажды встретил Владимира Казимировича и Анну Андреевну, кажется, в двадцатом году на Невском проспекте. На ногах у них были калоши, подвязанные веревочками, а рядом шествовал огромный сенбернар.

Писали об этом периоде жизни Шилейко и Ахматовой немало, но, мне кажется, не всегда объективно. Вот как описывает примерно тот же период времени В. М. Жирмунский в своих примечаниях к книге «Творчество Анны Ахматовой»: «Владимир Казимирович Шилейко — выдающийся ученый-ориенталист, специалист по древним клинописным языкам Месопотамии. Был также поэтом, участвовал в «Цехе поэтов»...

Шилейко был человеком с большими странностями, ученым в духе гофмановских чудачкоб. Ахматова впоследствии... так вспоминала о совместной жизни с ним: «Три года голода. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и без курева. Еду мы варили редко — нечего было и не в чем. Если бы я дольше прожила с В. К., я тоже разучилась бы писать стихи... Он просто человек был невозможный для совместного обитания»...»

Но В. М. Жирмунский говорит об отношении Ахматовой к Шилейко через третьих лиц, тогда как крупнейший советский филолог Вячеслав Всеволодович Иванов пишет следующее:

«О взаимоотношении ее поэзии и жизни со стихами и биографией Шилейко писали многие. Мне самому случилось говорить с Ахматовой о Шилейко: несколько расходясь с другими мемуаристами, должен свидетельствовать, что она говорила о нем как о гениальном ученом с восхищением, вспоминала, что он еще юношей получил открытку от великого французского ассириолога Тюрю-Данжена. Время, проведенное с Шилейко, она в этом разговоре измерила десятилетием, что, вероятно, нужно понимать как интервал, прошедший после их знакомства. Кажется возможным предположение, что возрастание сдержанных философских нот в лирике Ахматовой едва ли случайно приходится на конец десятых годов, когда и биографические пути ее скрестились с жизнью Шилейко... Вероятно, существеннее, чем отдельные несомненные совпадения строк, позднее написанных Ахматовой, с тем немногим, что сохранилось нам от написанного Шилейко, это единство аскетического отшельнического тона, для стихов Шилейко изначально заданного, а у Ахматовой постепенно возобладавшего. Вероятно, в поэтической биографии Ахматовой именно этим и обозначен прежде всего ее длящийся всю жизнь диалог с Шилейко (самим заглавием вавилонского эпоса, в переводе Шилейко называвшегося «Когда вверху»), о нем напоминает сожженная пьеса «Энума элиш», написанная Ахматовой в Ташкенте в военные годы, когда вызванное эвакуацией столкновение с Азией оживило и воспоминание о древней ближневосточной поэзии. Мистральная форма пьесы, где, по рассказам Ахматовой, героиня (автор), преследуемая видениями будущего, оказывается на сцене перед судилищем, вела к исходным обрядовым истокам древневосточного театра».

Даже когда супруги фактически разошлись, это не был полный разрыв — остались теплые, братские отношения. Они по-прежнему нередко видятся. На титульном листе подаренной Шилейко книжки «Белая стая» Анна Андреевна пишет сверху: «Владимиру Казимировичу Шилейко с любовью. Анна Ахматова. 1922. Осень». И внизу строчка из стихотворения Мандельштама: «В Петербурге мы сойдемся снова».

Когда в 1924 году Шилейко начинает работать в Москве, не прекращая преподавательской деятельности в Ленинградском университете, о чем я расскажу чуть позже, он около семи месяцев в году проводит в столице. Во время его отсутствия Ахматова живет в его квартире в Мраморном дворце. На ее попечении остается сенбернар Тапа, для содержания которого Шилейко оставляет доверенность на получение жалованья в ГАИМК.

Когда в марте 1926 года Ахматова на короткое время едет в Москву, она получает ключ от комнатки Владимира Казимировича на Пречистенке (ныне Кропоткинская), которая была ему предоставлена. Хорошо зная характер Анны Андреевны и ее привычки, он поручает заботу о ней Вере Константиновне Андреевой, посылая ей такую записку: «Дорогая Вера Константиновна, вот Вам Анна Андреевна. Пригласите ее на

чужой стороне: я очень о ней беспокоюсь. Напишите, здорова ли она. Сама она ленива писать. Искренно Вас любящий В. Шилейко».

В архиве Шилейко есть только две книги с ее автографами (к сожалению, еще две пропали; на «Четках» я помню начало надписи «Букану от Акумы...»). На томике стихов Франсуа Вийона посвященне: «Владимиру Казимировичу Шилейко от его старого друга Ахматовой. Масленица. Воскресенье. 1927».

Ахматова очень ценила мнение Владимира Казимировича о своих стихах. Доказательством тому может служить записка, сохраненная Владимиром Казимировичем: «26 ноября 1928 года. Милый друг, посылаю тебе мои стихотворения. Если у тебя есть время сегодня вечером — посмотри их. Многое я уже изъела — очень уж плохо. Отметь на отдельной бумажке то, что ты не считаешь достойным быть напечатанным. Завтра зайду. Прости, что беспокою тебя. Твоя Ахматова».

Разъезжаясь в разные города, они не прерывали связи. И хотя нет ни одного письма Ахматовой Шилейко, его письма к ней Анна Андреевна бережно сохраняла. Судя по его письмам, можно догадаться, что переписка была двусторонней. Письма Владимира Казимировича, необычайно теплые, полные заботы и беспокойства о здоровье Ахматовой, содержат много вопросов, на которые он ожидает получить ответы. Листки пестрят забавными рисунками, содержат прочитанные за последнее время стихи и тексты на разных языках, которые он приводит на память, зная, что ей это будет интересно, она все поймет и оценит. И подпись чаще всего такая: «Твой друг и брат». Ахматова сохранила все письма Шилейко, а на письме от 29 июля 1929 года карандашная пометка рукой Анны Андреевны: «Последнее письмо».

Теперь хотелось бы рассказать подробнее о ленинградско-московском периоде жизни В. К. Шилейко. В Государственном музее изящных искусств в Москве в 1924 году была собрана большая коллекция табличек и печатей, но не было специалиста, способного квалифицированно разобрать и инвентаризировать все материалы. Поэтому решено было обратиться к В. К. Шилейко с просьбой возглавить ассирийский подотдел отдела классического Востока музея. Тогдашний директор музея Н. И. Романов в письме Шилейко от 29 марта 1924 года высказал эту просьбу: «Если Вы согласны принять предложение Музея изящных искусств, которое поддерживает своим сочувствием и музейный отдел, предложивший мне вступить в переговоры с Вами, я прошу Вас не отказать письменно сообщить мне Ваш ответ, чтобы я мог доложить о нем ученому совету музея...»

Владимир Казимирович принял предложение музея. С этого момента жизнь его разделилась как бы на две части: свыше полугода он проводил в Москве, работал в Музее изящных искусств, остальное время в Ленинграде, где читал лекции и вел занятия в ЛГУ, участвовал в работе ГАИМК.

Вообще восточники, как называли себя сотрудники отдела классического Востока Музея изящных искусств, очень любили Владимира Казимировича и всегда с нетерпением ожидали приезда его из Ленинграда.

Работает Шилейко много и плодотворно, авторитет его как ученого высок во всем мире. Бесспорно, в свое время он считался одним из лучших ассириологов не только в нашей стране, но и за рубежом. В сентябре 1925 года Шилейко получил именное приглашение на юбилейное заседание Российской Академии наук.

Этот период жизни В. К. Шилейко до предела был заполнен лекциями и занятиями со студентами, кропотливыми научными исследованиями, инвентаризационной работой в музее, заседаниями в РАИМК, ответами на многочисленные вопросы и запросы от различных советских и зарубежных музеев и отдельных ученых. И хотя некоторые исследователи поэтического творчества Шилейко полагали, что в 1920 году он даже декларировал свой отказ от лирики, сохранились его стихи этого периода — в письмах. В одном из писем 1925 года есть стихотворение:

Скажи, видала ль ненароком
На склоне года, в поздний день,
Пернатой Прокны над потоком
Неуспокоенную тень?

То долу вдруг она слетая,
Узоры пишет в быстрине,
Как бы к летейской припада
Кипящей холдом волне.

То в непонятном страхе взмоет
У небывалой вдруг меты —
И в самом сердце высоты
Крыла печальные раскроет.

Так отдан малый прах земной
Небес чудовищному бреду,
Так ад скучает надо мной
Торжествовать свою победу.

Без стихов, без поэзии Шилейко не мог жить. Всю жизнь у него была потребность не только самому переживать красоту слова, красоту мысли и чувства, но и делиться этими сокровищами с другими, близкими людьми.

Острый ум и наблюдательность В. К. Шилейко проявились даже в рутинной музейной работе, заключающейся в описании и переписывании таблечек и цилиндров. Он придумал собственный метод учета инвентаря ассириологического подотдела, который оказался очень удобным на практике. Выполненными Шилейко описаниями экспонатов в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и по сей день пользуются работники этого музея.

О жизни Владимира Казимировича в 1926—1929 годах могут поведать его письма из Ленинграда в Москву жене Вере Константиновне Шилейко-Андреевой. Эти письма, бережно сохраненные, представляют поистине энциклопедию поэзии. В них на латыни, старофранцузском, итальянском, английском, немецком и других языках цитируются выдержки из «Анналов» Тацита, «Песни о Роланде», стихи Данте, Петрарки, Микеланджело, Тассо, Рутбефа, Вийона, Ронсара, Шекспира, Броунинга и других поэтов. Сами письма его читаются как стихи.

Даже краткие выдержки, в которых Владимир Казимирович описывает, казалось бы, несущественные события своей жизни, поэтичны и многозначительны. Они дают представление о незаурядном человеке, которого, несмотря на исподволь развивавшуюся тяжелую болезнь, живо интересует окружающая жизнь и который стремится успеть сделать как можно больше. Кроме того, Шилейко делал «свою» работу — составлял сборник переводов вавилонской поэзии. Его «Ассиро-вавилонский эпос» включал более 15 тысяч стихотворных строк.

Но не хватает сил, чтобы делить себя надвое, работая и в Ленинграде и в Москве. С лета 1929 года Шилейко решает окончательно остановиться на одном городе. Он выбирает Москву, где живет и работает его жена. В Ленинград же намеревается приезжать два-три раза в год на заседания ГАИМК и для отчетов по своему восточному разряду. В Ленинградском университете вместо него остались ученики, которым уже по плечу самостоятельная работа. Это законченные специалисты-востоковеды, овладевшие клинописью. Среди них А. П. Рифтин, который через несколько лет, в 1938 году, получил звание профессора.

Шилейко полагал, что, сняв с себя часть обязанностей, он сможет больше времени уделять сборнику «Ассиро-вавилонский эпос». Но работы было много и в Москве, к тому же он сильно тосковал по Ленинграду, где остались его друзья. К этому городу он оказался привязанным тысячами незримых нитей.

Судьба распорядилась так, что он прожил неполных сорок лет. Туберкулез, который он победил в юности, в тридцать девять лет все-таки взял над ним верх.

Последней прижизненной публикацией Владимира Казимировича на русском языке стала статья в первом номере «Докладов АН СССР» за 1929 год. В ней приведен перевод текста глиняной таблички, хранящейся в Эрмитаже. Он содержит заговор, чтобы успокоить младенца. Этот поэтический текст, по существу, является древнейшей колыбельной песенкой в магической оправе, состоящей из обычных в заклинаниях из Ашшура заглавия, ритуала и концовки:

Житель потемок прочь из потемок
ушел поглядеть на солнечный свет...

(Таблетка Кисир-Набу, заклинателя)

Потрясенный кончиной Шилейко редактор международного научного журнала по востоковедению «Архив фюр Ориентфоршунг» Эрнст Вайднер так писал другу Владимира Казимировича ленинградскому ученому П. В. Ернштедту: «Я знал, что он не совсем здоров, но никак не мог предположить, что мы потеряем его так скоро. Немецкие коллеги высоко ценили этого выдающегося ученого и прекрасного человека. Для всех нас это тяжелая утрата».

От имени французских ученых в письме Вере Константиновне Шилейко выразил скорбь главный хранитель восточных древностей парижского Лувра крупнейший ученый-востоковед Франсуа Тюрю-Данжен: «Мадам, вернувшись из поездки на Восток, я нашел Ваше письмо от 25 ноября, и меня глубоко опечалила весть, которую оно принесло. Мы испытывали глубокое уважение к работам Вашего оплакиваемого супруга, который с честью представлял в области ассирологии русскую науку, — его уход оставил брешь, которую мы все живо ощущаем».

В некрологе, опубликованном в «Сообщениях ГАИМК», после перечисления заслуг В. К. Шилейко в науке сказано, что в памяти всех знавших его останется облик блестящего ученого с оригинальным складом ума и благожелательным, но независимым характером.

В. К. Шилейко жил в очень сложное и трудное время, и он, невзирая ни на что, продолжал делать свое дело, веря в его ценность и необходимость для своего народа, своей родины. Уважение, восхищение чувствуются в словах крупнейшего американского шумеролога С. Крамера, когда он говорит о советских востоковедах в своей книге «История начинается в Шумере»:

«Россия никогда не произвела раскопок в Ираке, на родине клинописи, и тем не менее начиная со второй половины XIX века и вплоть до наших дней у русских была и есть замечательная школа научного изучения клинописи.

После первых исследований, проделанных двумя заслуженными учеными Н. П. Лихачевым и М. В. Никольским, эта наука быстро двинулась вперед благодаря трудам В. К. Шилейко, А. П. Рифтина и, наконец, академика В. С. Струве, одного из виднейших востоковедов и историков мира... Поэтому я считаю большой честью то, что моя книга «История начинается в Шумере» переведена на русский язык и стала доступной людям страны, сумевшей воспитать замечательную плеяду ученых»...

Проживи Владимир Казимирович дольше, он мог бы сделать еще очень много, но и то, что им создано, не в полной мере изучено. Научное и творческое наследие В. К. Шилейко ждет своих исследователей. Хотя опубликовано около 40 его статей, включая небольшие заметки в различных энциклопедиях, многие работы вообще не издавались.

Кроме того, судя по его письмам, В. К. Шилейко очень серьезно относился к отчетам в ГАИМК, а он был ее членом более десяти лет. Каждый год по меньшей мере один отчет. Вполне вероятно, что в них есть немало ценного для современных ассирологов. И еще, возможно, сохранились протоколы заседаний в ГАИМК, где он выступал. В его речах, утверждали слушатели, всегда был тончайший анализ, удивительные аналогии. Многого стоили, например, и переводы надписей на сузьянских чашах, но и эта работа сейчас неизвестна.

Остались инвентарные описи в ГМИИ имени А. С. Пушкина, заполненные его рукой. Он описывал хранящиеся в музее реликвии, давал им свою оценку. Если это были таблички, то иногда он переводил текст дословно, иногда пересказывал содержание своими словами. Возможно, сохранились его описи и в Эрмитаже. Пока, к сожалению, личный архив В. К. Шилейко в Эрмитаже считается утерянным. А если все эти музейные записи найти и изучить с позиций сегодняшней ассирологии, по всей вероятности, выявится еще много интересного и значительного.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МОЛОДЫЕ О МОЛОДЫХ

«Мы входили в литературу волна за волной, нас было много, — писал Александр Фадеев о первых годах становления советской литературы. — Мы приносили свой личный опыт жизни, свою индивидуальность. Нас соединяло ощущение нового мира, как своего, и любовь к нему».

С той поры так и идет — все новые и новые волны вливаются в общий литературный поток. Процесс этот непрерывный, не знающий спадов.

Еще мы по инерции рассуждаем о «сорокалетних» как о некоем свежем пополнении, а между тем сколько вслед за ними появилось новых авторов, представляющих уже от иных поколений, иной волны.

На прошлом — Седьмом — всесоюзном писательском съезде наряду с именами всемирно известных советских писателей прозвучали с высокой трибуны имена и молодых, было отмечено, что «журналы чаще публикуют произведения молодых, отводят их работам отдельные номера, уже не редкость и критические статьи о молодых авторах, написанные нередко их сверстниками».

Нет сомнения, что вопросы, связанные с воспитанием литературной смены, с включением в жизнь постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью», займут видное место и в повестке дня предстоящего Восьмого съезда писателей СССР, будут названы новые имена...»

Сегодня журнал предлагает два критических материала о прозе и стихах тех молодых литераторов, которые дебютировали в печати в последние годы и, возможно, еще не все по-настоящему известны широкому читателю. Эту очередную творческую генерацию представляют критики, тоже только начинающие свой путь в литературе: и Елена Стрельцова и Андрей Мальгин — участники всесоюзных совещаний молодых писателей. Как, кстати, многие из литераторов, о которых пойдет речь ниже

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА



ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ ГЛАВНОЙ КНИГИ

Смолодыми, начинающими всегда так: долго кого-нибудь не замечают, а если незамеченный все-таки всплыл на поверхность — удивляются: надо же, пропустили... Начинается форсированное наверстывание упущенного. Там и сям, и к селу и к городу вставляется имя, вводится в обиход. Критический недогляд оборачивается шумихой.

Бывает и по-другому — когда критика гонится за новыми именами, открывает таланты списками. Заранее выдаются щелрые авансы, чтобы по прошествии времени обратиться к безотказно действующей альтернативе: оправдал надежды — не оправдал.

Оба подхода, я уверена, пагубны прежде всего для молодых, ибо абсолютизируют сиюминутный результат. Чем тогда литература отличается, скажем, от спорта? В таком случае и молодые авторы начинают жить исключительно сиюминутным, им и довольствуются.

Много критических сил уходит на то, чтобы доказать, что молодым не хватает смелости, задиристости, все, мол, у них гладко и гладкость не дает прорваться своеобразному голосу. Не хватает времени разобраться в том, где же истоки их творчества, как развивается процесс накопления опыта и мастерства молодого литератора, истинно писательского отношения к

жизни и к слову. Длится долгое выжидание: а не грянет ли гром выдающейся книги?

Первый прозаический сборник — в сущности, первые главы той книги, которую писатель создает всю жизнь и всей жизнью. Не главных книг, по-моему, просто не должно быть в литературе. Появились эти первые главы и у моих сверстников, дебютантов 80-х.

Когда речь идет о ровесниках и дне сегодняшнем, непросто овладеть чувством «сообразности и соразмерности», безбоязненно относиться к возможности переоценить (или недооценить) первое слово, с каким выходит к читателю новый, еще неведомый ему автор. Тот, что уже после Маканина, Крупина, Кима, Киреева...

Точки зрения на эту прозу могут быть самые разные. Кто-то с олимпийским спокойствием порассуждает о достоинствах-недостатках, кто-то подвергает ее к знакомым течениям-направлениям, кто-то изругает в пух... Правда, при всем разнообразии подобные прочтения имеют, как правило, нечто общее: на прозу молодых смотрят как бы сверху. Преимущества такого взгляда несомненны — они в широте обзора, в объективности. Однако есть свои достоинства и в позиции критика-наблюдателя, находящегося «внутри процесса». Такая позиция, ясное дело, уязвима некоторой своей субъективностью, недостаточной отстраненностью, но мне бы хотелось рассказать читателю о психологии, об отношении к жизни, о живых чертах характера героев и авторов именно моего поколения, представители которого только начали свой творческий путь. Думается, что это может быть небесполезно.

Молодые обсуждаются на семинарах и совещаниях, печатаются, становятся довольно известными в «узких кругах». За последние пять лет в Москве вышли книги у Александра Белая и Юрия Вяземского, Леонида Бежина и Юрия Гейко. У Павла Парамонова — «Огородники», у Алексея Поликарпова — «Середина теплой зимы», у Юрия Доброскокина — «Твердохлебы» и «Калач», у Николая Дорошенко — «Тысячу километров до Москвы» и «Хозяин неизвестного музея». В Ленинграде выступил с первой книгой Николай Коняев, в Ижевске (теперь Устинове) Валерий Болтышев, в Красноярске изданы сборник Сергея Задерева «Дерево единое» и два сборника прозы Олега Корабельникова («Башня птиц», «И распахнутся двери»). Есть еще любовно выпестованный «Литературной учебой» Николай Шипилов. Есть

и иные. Не стану противоречить себе и открывать молодые дарования списками.

Появляются рецензии, статьи, где говорится, что первая книга — большая ответственность (будто вторая или пятая книга — уже малая ответственность). Пишут, что молодым авторам свойственно внимание к подробностям, к быту: все они необыкновенно наблюдательны, видят такие детали, которых простые смертные не замечают. Но кто сейчас не видит быта? И в жизни и в литературе. Не захочешь, да насмотришься. В прозе «сорокалетних» быт и все, что так или иначе с ним связано, рассматривается куда как пристально.

Можно такую поправку сделать: у молодого поколения писателей действительно какое-то особое, кинематографическое, операторское зрение (что от жизни, а что от кино и телевидения — еще вопрос). Но наиболее одаренные из них, хорошо зная быт, умея его сочно передать, тем не менее стремятся уйти от быта, от ограниченности бытописательства. И средства для этого избираются самые разные: от юмора или возвышенно-поэтического описания (скажем, у Доброскокина) и до фантастики (у Корабельникова). Замечу, что сходные процессы ухода от быта — при точном его знании — наблюдаются и у нового поколения драматургов.

Жанровые картины, детали, земные образы, бытовые сравнения, рожденные брэнной реальностью, приподнимаются, будто возносятся над нею. И это не случайно, ибо общий взгляд, общая позиция молодых: к обобщению, к возвышению! У Корабельникова, например, «вывернутый наизнанку потолок... превращается в чей-то пол», а пол — в потолок, чтобы герой мог разговаривать то ли с верхним соседом, то ли с самим господом богом (повесть «Надолго, может, навсегда»).

К чему ведет писательская зоркость и чуткость взгляда — вот главное. Как известно, настоящее искусство начинается не с изображения предметов, но с выяснения отношений к ним.

В молодой прозе подробности, порой весьма эффектные, в тексте почти всегда на своих местах, да и вне текста достаточно ярки. Но редко бывает, чтобы каждая деталь, каждая метафора в процессе повествования получили дополнительный вес, обогащались, нагружаясь смыслом, и работали на главную мысль. Когда собираются циклы, первые книги, это особенно заметно. Вот иллюстрации и в самом деле занятные: у Задерева персонаж рассказа «Привычка жить» — с «красными, как от-

крытки, ушами»; у Болтышева — «на плечиках тестево падыто, от которого несло «Красной Москвой» и прелым старческим потом»; у него же — «длинношей бледно-рожий фонарь» (рассказ «Исполняющий обязанности»).

Иногда у одного и того же прозаика изобразительные подробности, их сгущенность, создают настроение, несут приметы времени, иногда — не создают и не несут. Жалко, когда они, цепко схваченные, просто нанизываются, пригоняются друг к другу, но не вырастают, не развиваются, как из зерна колос, из бутона цвет. И тогда хваленая писательская зоркость, существуя автономно, сама собою, — тормоз. Может, потому и не отстают ярлык «бытописатели»?

Они разные, и вместе с тем что-то их объединяет как общность, как поколение. Только не это пресловутое бытописание, не эта зоркость к детали. Что же?

Мы привыкли считать, что поколение как целое рождается и формируется в результате общего испытания, потрясения. Современные молодые прозаики (как поколение) входят в литературу скорее через частные испытания, выпадающие на долю каждого отдельно взятого человека, нередко формируют свое отношение к действительности в результате потрясений местного, личного масштаба. Отсюда, с одной стороны, дробность взгляда у молодых прозаиков, расслоение множества их героев на «единицы», столь популярное у них сюжеты об одиночестве, духовных потерях, о молодых женщинах без мужчин и мужчинах без женщин. Нет, не нытики они, просто не хотят делать вид, будто ничего этого в жизни не существует. Они видят нечто более важное, чем проблема оклада, квартиры и машины. И хорошо понимают смысл расхожего «испытания сытостью». С другой стороны, почти в каждой первой книге можно заметить авторскую сосредоточенность на людях «из массы», на «простом» герое и будничном героизме. Речь здесь о вере и верности, о сострадании, душевном тепле, о любимом деле.

Испытание войной превратило наш народ в монолит. Всеобщее единение, духовная спайка были нерушимы. Но неизбежным стало наступление и другой, послевоенной поры, или, скажем, поры после пятидесяти шестого, когда ускорились процессы осознания себя не только в ряду, но и вне ряда, выделение отдельного «я» из могучего «мы», собственной силы из силы всех. Эти процессы носили и созидательный, и

эпатажный, и драматический, и даже трагический характер. Прозаики тоже шли от общего к частному, ища особые приметы, индивидуальные черты. «Сорокалетние» довели принцип подобной индивидуализации, что называется, до упора. Что дальше? Дальше, быть может, вновь необходимы поиски единения, уже в иных исторических условиях, в годы мирные.

Время действительно властно корректирует угол зрения. Появляются произведения, где все пристальней взгляд вверх, ввысь, от частного к общему, где есть попытки соединения, казалось бы, взаимоисключающего. Речь идет именно о тех молодых прозаиках, которые видят каждого отдельного человека в ряду людей. Хотя, чтоб сила каждого стала силой всех. О том и заголовки первых книг, первых рассказов «Дерево единое» (Задереев), «Твердохлебы» (Доброскокин), «Свои люди» (Болтышев), «И распахнутся двери» (Корабельников). Молодые прозаики — именно за собиранье силы, а не за апологию бессилия.

«И поныне бессонными ночами, — открыто признается Шипилов в рассказе «Ночное зрение», — я мучаюсь мыслью о том, почему сознание общего горя роднит людей, а общее благоденствие разъединяет с природой и с себе подобными. Чем отличается выражение «живем не лучше других» от выражения «живем не хуже других»? И почему во втором звучит будто бы гордость, а в первом — зависть? А сказать: живем, как все живут, — значит схитрить. Ведь каждый считает, что достоин лучшей судьбы, куска пожирней и постели пошире...»

Еще раз подчеркну — дело не в прогнозах, дело в том, чтобы понять истоки, почувствовать заботы и боли тех, кто сегодня, в 80-е годы, выбрал писательское поприще.

Место действия в книгах Юрия Доброскокина — небольшой город Калач, уютно свернувшийся «калачом» вокруг горы. Светлый Ключ — название деревни, о людях которой повествует Валерий Болтышев. Родное село на Куршине, молодежь его и старики — в книге Николая Дорошенко «Тысячу километров до Москвы». У Павла Парамонова — повесть об огородниках, пустивших корни в старинном городке на речных берегах. Воронежская область, Курская, Ивановская... Невыдуманные названия и герои. Жизнь такая, какая есть, какую прозаики увидели ее.

В повести Алексея Поликарпова «Вижу идущего» (книга «Середина теплой зимы»)

герои живут в большом городе, а Олег Корабельников приводит в свою прозу даже инопланетян, представителей космоса... Николай Шипилов находит своих героев то в маленькой деревне, на маленькой пригородной станции, в строениях из «серых и черных шпал», то на телестудии, то в новом городском микрорайоне. Так что не стоит делить молодых на «деревенских» и «городских». Лучше продолжать поиск того, что их, непохожих, объединяет.

Объединяют их, в частности, избранные ими герои.

Молодые прозаики приглядываются к «средняку», заняты личностью, так сказать, самой обыкновенной. С ее вкусом, который чаще плох, чем хорош, ее привычками, кумирами, неприкаянностью, жаргоном. Личностью, которая и сама себя осознает как нечто обычное и заурядное. И все-таки было бы ошибкой сказать о таком герое — простой. Молодые прозаики выясняют: простых людей не существует вообще, а «типичному средняку» едва ли не в большей степени, чем тонкой, художественной натуре, необходимо, чтобы его поняли, узнали, чтобы о нем не забыли, не потеряли его в сплошной лихорадке будней. Ибо он не столько средняк, сколько сердцевина. Такое устремление к «простому» человеку и его боли, его судьбе завещано молодым Платоновым, Шукшинным...

В повести Олега Корабельникова «Башня птиц» горожанина переродила встреча с тайгой. Повествование, раскрываясь перед нами как путешествие через тайгу, предстает как путь человека к самому себе — частице и вместилищу всего живого. Мысль о единстве с природой, о прочности уз, связей, тончайшей взаимозависимости микрокосма и макрокосма, о нераздельности живого и неживого, будничного и непознанного вырастает у Корабельникова из строк Н. Заболоцкого: «Да, человек есть башня птиц, зверей вместилище лохматых, в его лице — миллионы лиц четвероногих и крылатых...»

У Корабельникова с его ориентацией на фантастическую гиперболу, на яркую, язычески-сочную манеру письма этот простой, каких множество, человек и есть «башня птиц».

В прозе Юрия Доброскокина, основанной на беспристрастном описании, на рассказывании (увидел — запомнил — записал), такой человек открывает в себе тайну в подростковом возрасте. Рассказ «Пластилиновые человечки», например, из цикла о Твердохлебах показывает крупным планом пятнадцатилетнего Сашу Твердохлеба, в котором просыпается что-то такое необъяс-

нимое и небудничное, что позволяет мальчику ощутить себя одним из звеньев в цепи всех жизней. И тогда ровное реалистическое повествование вдруг сбивается, в нем появляется особый — романтический, поэтический — поток, ломающий монотонную описательность. В засаде (Саша караулит возвращение девушки), ночью, «долго и неподвижно глядяваясь в небо, Твердохлеб наконец заметил, что звезды, оказывается, все вместе понемногу колыхались и плыли, плыли... И Твердохлеб, раскрытыми широко глазами следя за этим роем, летящим в вышине, казалось, уже слышал и гул, такой спокойный, мощный, который нельзя сравнить ни с чем. Но где же он звучит? Где-то глубоко-глубоко в самом Твердохлебе, куда никогда никому не заглянуть... Маленький человек, нежнейшее существо в необъятном мире, крепкий узелок!».

Юные герои Доброскокина, вырвавшись на волю из-под родительской опеки, бывает, не живут еще, а играют в жизнь (скажем, Аня и Денис из рассказа «Река»). Все вполне знакомо, ожидаемо. За исключением, пожалуй, именно этого поэтического сбоя, этого взгляда вверх от земли, сознательно выводящего повествование к обобщениям, намекающего на иные критерии жизни, загадывающего обыкновенным, земным героям загадки, которые сам автор и не думает разгадывать, предоставляя это право читателям.

Николая Шипилова занимает, волнует все тот же «типичный средняк». Шипилов как бы предлагает: послушаем этого, поговорим с тем, посмотрим в глаза одному, попробуем прорваться к душе другого... К примеру, молодой стихотворец Петр из рассказа «Поздно». Здесь главное для Шипилова не в альтернативном или — или. Сверхзадача иная: посмотрим сперва, как Петр живет, отчего бездельничает, разберемся, кто его окружает, почему он никому не интересен (в том числе и себе), постараемся понять его психологию. Поняв, быть может, пожалеем или, по крайней мере, не будем требовать моментальной перековки. Ибо явно не хватает ему, как всякому человеку, имеющему свое лицо, уверенности в том, что именно он такой, какой есть, важен, нужен окружающим.

Почти у всех молодых прозаиков первые книги составлены из рассказов о детстве, дружбе, отрочестве, первой любви, первом разочаровании... Герой взрослеет вместе с автором, процессы взросления занимают и Сергея Задерева, и Юрия Вяземского, и Николая Дорошенко, и Юрия Доброскокина, и Валерия Болтышева, и Леонида Бе-

жина. Как правило, это циклы воспоминаний, и не выходят они за рамки традиционного, устоявшегося.

Но вот вопрос: почему у этих молодых такая неистребимая тяга к изображению стариков? Что за этим скрывается? Нежелание понять своих сверстников? Неспособность разорвать узы ученичества?

Кто-то (Доброскокин, Дорошенко, Парамонов), вспоминая дедушек и бабушек, хочет сохранить память об их жизни, труде, лукавой мудрости. Кто-то пишет о трагической участи стариков и старух, сдернутых временем с насиженных родовых гнезд, брошенных в городскую жизнь. Эта линия молодой прозы, говоря несколько условно, продолжает Распутина, показывает, что случилось дальше с Дарьями, Настасьями, Катеринами, Симами после того, как не стало Матёры либо какой-нибудь иной «неперспективной» деревни. Но это взгляд не из деревни, откуда увезены старики. Это взгляд из города, где старики какое-то время уже прожили после переселения.

Задереев в рассказе «Привычка жить» знакомит нас со старушкой Феней, которая собирает и сдает бутылки. Феня со старанием привыкшей трудиться крестьянки нянчится с бутылками — не только добывает деньги, но спасается от одиночества, от бесприютности города. В рассказе «Чужой век» (В. Болтышев) маются в удобной квартире тоже никому не нужные, больные старички, доживающие какую-то не свою жизнь. В прозе Н. Коняева (рассказ «Бабка и крокодил») в городской квартире престарелая мать убирает, готовит, прислуживает и между делом стыдит комнатного живого крокодила, почему он не поросенок, а настоящий аллигатор. Более ей разговаривать не с кем, воспитывать некого.

Видимо, для молодых прозаиков эта линия необходима как некая обратная перспектива: опять-таки возникает проблема частного испытания, выпавшего на долю отдельного человека. Старуха Феня у С. Задереева стала сборщицей бутылок исключительно оттого, что оставлена она своим Колькой, сыном-летуном, поехавшим на ударные стройки не столько строить, сколько других посмотреть, себя показать. Колька — тип абрамовского Егорши либо распутинского Петрухи, собственноручно пожегшего родную избу на Матёре. Как характер Колька для автора ясен, но повторяться — значит, копировать. И он ловит отражение поступков летуна в другом человеке. Самостоятельность автора, думаю, в умении понять глубочайшую нерасторжимость явлений: позиция «других посмотреть — себя показать» калечит не

одного лишь летуна-носителя, но всех, кто с ним связан.

Эту сложность отражений каждого в другом и изучают молодые авторы. Такова точка отсчета, не разобравшись в этом, не поняв — собрать одиночек в семью, в единую силу никогда не удастся.

Есть и другие примеры обратной перспективы. Через образ старика более объемным выглядит в рассказе «Перепела» Доброскокина образ юного парнишки. Хитер, трудолюбив и мудр дед Редька, умеет делать необыкновенные свистульки из шкурки бычьего хвоста и индошачьей ноги. Рядом со стариком живет уже знакомый нам Саша Твердохлеб, подросток, рано ставший скептиком. Откуда бы ему взяться, скептицизму? Да вот откуда. Чуждое ремесло деда Редьки никому не нужно. У младшего Твердохлеба частная эта историчка начинает увязываться с убеждением: никто никому не нужен, ничто никому не важно... Дело, по мысли автора, не столько в том, что становится обременительным старое, не особенно, разумеется, прогрессивное ремесло, сколько в том, что отпадает в молодом сознании страсть к выдумке, любовь к работе руками, самостоятельность. Заинтересованность как принцип. Та самая чудинка (в шолоховском смысле этого понятия), без которой человек гол, как кнутовище, и какая всегда вытесняла скуку. Скука и скепсис — близнецы. И не они ли рождают в прозе молодых плеяду героев растерянных, поздно прозревающих?

Для первых книг встреча старости и молодости необходима. Но не потому, что рассказывает о проблеме отцов и детей, показывает старика отдельно (в качестве примера) или молодого отдельно (в качестве ученика). Встреча важна в прозе молодых как момент соприкосновения прошлого и будущего в настоящем, в каждом из нас. Потому и находим, читая первые страницы общей книги того поколения, что следует за «сорокалетними», ветеранов войны и труда, которые так искренне и истово стремятся к родству душ, к одолению одиночества, к мигу сродства с другой, непонятной и непохожей судьбой. Такое одоление есть в рассказах В. Болтышева, в «Середине теплой зимы», А. Поликарпова, в рассказе «Овес» Н. Дорошенко, в «Игре в лото» и в «Одиноко» Н. Шпилова.

В рассказах Николая Шпилова, пожалуй, наиболее отчетливо проступает позиция этого молодого поколения: важны в себе люди, важно и отношение к каждому из них. Одно без другого не существует. В по-

вестованиях Шпилова живет то, что мы называем народной массой. И она не обезличена, в ней проявляются свой ум, свои чудинки, достоинства, недостатки. В рассказе «Игра в лото» ощущаешь глубокую сосредоточенность чувств, давнюю обдуманность того, что человек (и сам автор, и главный персонаж рассказа — до голубизны выбритый старик по кличке Графин) понял что-то очень важное о жизни. Той, в которой быт и бытие стянуты в тугой узел. Конечно, распутывать узел, отделять одно от другого вовсе не входит в задачу лотошников, персонажей рассказа, занятых игрой в лото. Нужно просто быть на земле, раз уж ты родился, знать друг друга в лицо, растить детей, участвовать в соседских происшествиях, как-то незаметно помогать, не думая о награде или благодарности. Помогать делом, заботой, соучастием.

Мы аукаемся в поисках положительного героя, не желая порой оглядеться вокруг, не замечая, что каждый в своем роде — герой времени. Это и пытаются доказать молодые прозаики, «собиратели». Шпилов из их числа. Он огляделся и заметил.

Первая книга (нередко и вторая) — вчерашний день пишущего. Факт бесспорный. Описаны прошлые впечатления. И нельзя застыть, надеясь исключительно на собственную память, смакуя сиюминутный результат. Впечатления прошлого есть впечатления прошлого. То и загадка: каков прозаик сегодня, после первых своих произведений, первых обращений к читателю? Только ли самовыражается молодой автор, или есть в его стремлении к писательству надбавка, прирост? Понимаю — ответы в будущем. Пока же будем пристрастны к настоящему.

В настоящем наших прозаиков волнует расслоение поколения 80-х. Расслоение на растерянных перед жизнью, не знающих, куда девать свои силы, как распорядиться с тем, что дано. Тут Петя Лебедев в одноименной повести С. Задереева и Леха Рублев в «Жизни и творчестве Лехи Червонца» В. Болтышева; тут герои Н. Дорошенко — девятиклассница Лиза, Митоха и Тамарка, от нечего делать поженившиеся, Костик, что пришел из армии таким молодцом, а теперь вдруг поскуцнел, притих («Из писем к брату»), и другие.

И расслоение на бойких, умных, удачливых. Умеющих когда надо — промолчать, когда надо — все устроить. Словом, обычных. Но с некоей ущербинкой, которая есть не то чтоб черствость — ограниченность чуткости, что ли. Это Колька, сын старушки Фени у Задереева; туристы-инженеры Юра

и Жора у Поликарпова («Середина теплой зимы»); врач Емельянов из рассказа Шпилова «Поединок»; добрый молодец Димка Одинцов из династии огородников у Парамонова.

И еще расслоение на «странных» для окружающих. Они лишь чуть-чуть отличаются от остальных. Отличаются тем, что способны принимать незаметные микрорешения. Тратить себя. Может быть, из такого чуть-чуть и берут начало неуловимые процессы становления современного молодого человека? Это увлеченный своей работой телеассистент Шурка Старицын («Пятый ассистент») или грузчик, он же литконсультант, Анатолий Тетерев («Литконсультант») в прозе Н. Шпилова. Это прораб небольшой стройки Толя Скибин («Линия») в прозе А. Белая, молодой врач Володя Провалов («Вижу идущего») в прозе А. Поликарпова.

Несколько подробностей об этом расслоении.

В растерянном герое, кажется, без труда узнается типичный современный инфантил. Мы уже пообвыклись с односторонним решением: инфантильность не вина героя, а наша беда. В прозе молодого поколения есть попытки иного подхода к такому герою. Не снимая с него доли вины, авторы размышляют о том, что социальный инфантилизм — это беда молодого человека и наша, общества, перед ним вина. Корни явления прячутся как раз в недооценке мирного испытания, выпавшего на долю одного человека.

Инфантилизм, видимо, расцветает не только потому, что родители, бабушки и дедушки слишком долго нянчатся со взрослыми детьми. Скажем, с девятиклассницей Лизой, героиней рассказа Н. Дорошенко «Из писем к брату», родителям возиться некогда — трудятся. Лиза, кстати, тоже. Тут иное. Идея поступка как сознательно-го, продиктованного творческой необходимостью шага часто снижается самими людьми до прикладного уровня: надо — и точка! Во имя чего надо — будто и знать необязательно, это ясно кому-то, а не герою. Возникает необходимость принять самостоятельное решение, выбрать не прагматическую, а высокую цель — и тут молодые (да только ли молодые?) беспомощны, словно близорукий человек без очков. Навык самостоятельности, тяга к творчеству, к активному действию, проявление малейшей инициативы, идущей снизу, — все это как бы мелочи на фоне грандиозных свершений. Человек же, пройдя через такое испытание собственной ненужностью, становится каким-то вареным, неодушевленным, а бывает, и озлобляется. Не случайно ви-

манье молодых прозаиков ко всякого рода мелочам, будь то дедовские свистульки, негромкий певческий талант, теряя который человеку жить не хочется (есть такой эпизод в шипиловском рассказе «Игра в лото»). Или взять «водилу» Рублева (цикл «Жизнь и творчество Лехи Червонца» у В. Болтышева). Шоферил Леха, шоферил, да захотел вдруг попробовать силушку в художественном творчестве. Начал лепить лошадок из глины по образцу дымковской игрушки. Лепит, красит лошадок белой эмалью и улыбается, веря в значительность происходящего. Когда же доходит до Лехи, что его творческие силы в этом деле не требуются, лошадок ни один музей не примет, стихийная тяга к выявлению, проявлению природы рассеивается так же внезапно, как возникла. Цели творчества Лехе непонятны. Весомость, самостоятельность настоящих поисков творческого начала в себе (воспользуемся понравившимся Лехе Червонцу словом) — химера. Эта внутренняя суета, пустота приносит Рублеву непонятные ему муки, маету, приступы ожесточения.

Молодой человек чрезвычайно воспринчив ко всякого рода уловкам, лжи, невниманию, способен частный факт возвести в ранг обобщения. Вспомним хотя бы Сашу Твердохлеба. И когда в нашей реальной жизни вековая истина: сначала подумай, потом сверши, — нередко оборачивается прямой противоположностью: сначала сделай, после обдумай, — то молодому человеку ничего не остается как растеряться. Тут-то и вьют гнездо либо прагматизм и цинизм, либо скептицизм, безверие и скука. Отчего поженились деревенские жители Митоха и Тамарка? Им скучно, они надеются: вдвоем будет веселее. И Лехе Червонцу скучно, тоскливо. И Андрею Купченко. Разгул скуки оставляет после себя равнодушных, признающих единственный закон: быть как все, не высываться, плыть без руля и без ветрил...

Почему какой-нибудь Костик в послеармейской жизни так бедственно скучнеет? Воспитывают костиков, руководят ими, ведут их, ставят перед ними правильные задачи, за них думают. Именно к этому они привыкли, приучены. Атрофия способности думать делает и неизбалованную сельскую молодежь, и более избалованных горожан однообразными, стандартными. А по сути — пустыми. Выходит приученный не думать молодой человек один на один с жизнью — и останавливается в недоумении: все не так, как представлялось! Надолго застывает он в остолбенении или прячется в инфантильность, закрываясь ею как щитом: с меня, дескать, спрос маленький... А мы с

инфантила по какой-то непонятной инерции требуем поступков крупной личности...

Ни в коей мере не оправдываю инфантилизм. Хочу понять его истоки. Как хотят того же некоторые из молодых прозаиков. Хотя большинству из них, прямо скажем, передалась растерянность их героев. В первых книгах явление замечено, названо, герои перечислены — и не более. Посмотрим, подождем, что будет дальше.

История Андрея Купченко, беспомощная его исповедь в повести А. Поликарпова «Видю идущего» — вроде бы все то же сюжет.

«Я заметил за собой странность, — искренне признается Купченко, — не могу оставаться один. Мне одному скучно — какая-то пустота внутри. Один писатель в выступлении по телевизору высказался в том смысле, что боязнь остаться наедине с самим собой — верный признак скудости внутреннего духовного мира. Я считаю, хоть он и писатель, а не прав. Мой духовный мир в полном порядке, но я считаю: мужчина должен действовать, а не заниматься мечтаниями». Дневник не случайно написан стертым языком, не словами — фразами, штампованными повторами, цепочками банальностей. Потому что с подросткового возраста Андрей приучен мыслить готовыми конструкциями. Клишированные представления о дружбе и любви, блестящие брикеты словесной шелухи, иллюзия общения, соучастия, содействия... А в результате — бессильное отчаяние перед встречами с живой жизнью. Об этом дневник Андрюши Купченко. И потому — о неизбежности бестолковщины, душевной сукьятицы, скепсиса. Отсюда невозможность поступка, страсти к делу.

Но в повести «Видю идущего» Андрей Купченко — персонаж, так сказать, внесценический. Главное же действующее лицо — Владимир Провалов, молодой человек, не забывший еще «эпоху невыученных уроков и четверок по поведению». Прочитав дневник и почувствовав серьезность дела, Володя Провалов спрашивает себя: «Что толку в нашем понимании, если не хотим, а может, и не умеем им помочь?»

И тут вступает на страницы молодой прозы иной герой.

Героизм его не в том, что ему Сибирь покоряется или он участвует в знаменитом строительстве. То героизм заметный, как бы заранее запланированный; самостоятельности в таком героизме отводится, на мой взгляд, второстепенная роль: проблемой выбора все начинается — ею же все и заканчивается. У молодых прозаиков, напротив,

героизм будничной, что ли, негромкий. Странны их герои лишь с точки зрения прагматика, с точки зрения выгоды и самосохранения. Именно потому, что жизнь странного героя обычная, как у всех, и одновременно необычная — вырвалась на орбиту духа, самопожертвования и веры в человеческие миры, — она не укладывается в рамки обывательского здравого смысла и возвышает... У Корабельникова с этим связана судьба врача Василия Чумакова. У Шипилова — литконсультанта Анатолия Тетерева и помощника телережиссера Александра Старицына («Пятый ассистент»). У Поликарпова — врача Владимира Провалова. В этих героях нет злости к жизни, нет и спортивного азарта. Есть ненатурность действия, безбоязненность к обману внешнего впечатления, на что нынешняя молодежь реагирует как на сильнейший раздражитель. Тетерев приносит в жертву собственный талант, чтобы иметь возможность ухаживать за молодой женой, прикованной к постели параличом, быть с нею вместе. Старицын, видя, как шеф-режиссер заимствует и обкарнывает его идеи, не желает тратить творческую свою силу на склоку, но в победу истины верит безусловно. Дело, по Старицыну, не должно превращаться в соревнование честолюбий. Не следует, впрочем, думать, что Шипилов написал историю всепрощения. Рассказ о другом — о том, что по-настоящему быть самостоятельным, уметь творчески думать — это труд. Быть полезным человеку и делу — тоже. Именно такой труд возвышен, он дает силы и веру. Об этом же заботы Василия Чумакова в повести Корабельникова «Несбывшееся, ты прекрасно!». В чужих людях Чумаков пытается отыскать родство, самоотверженную преданность, поселив их в собственной квартире. Квартира эта — своеобразный Ноев ковчег, только спасаются в нем люди. Позиция Чумакова такова:

«—Циник! — взорвался Чумаков. — Когда ты научишься верить людям?

— Этому не учатся. Этому разучиваются. Кто быстрее, кто медленнее... Мало тебе шишек, что ли? Так ничему и не научился.

— Научился, — твердо сказал Чумаков. — Всегда и во всем верить. Это ничего, если он тебя обманывает, ты верь, пусть обманщику будет стыдно, он раскается, он сам сознается в своей лжи...»

Позиция не только декларируется. Чумаков каждый свой день проживает по этому закону: верить! И в его квартире-ковчеге разные люди тоже учатся верить и быть полезными друг другу.

Тут необходимо небольшое отступление.

Занимаясь отражениями каждого в каждом, авторы как будто выдыхаются на полдороге и не могут порой (не умеют?) вырваться из сети мелочей, частных, нахлынувших впечатлений, которой сами себя огораживают. Отсюда повторы и монотонная описательность, давшие почву для упреков в бытописательстве. Можно было бы сделать еще немало замечаний о языке и стиле однообразии, о нагнетании в характерах какой-то зыбкости и тоски, о раздробленности сюжетов и так далее. Все это, как говорится, присутствует, но то разговор отдельный. Сейчас же, рассматривая первые произведения молодых прозаиков, вот что бросается в глаза. Они не любят писать о человеке на работе. А если пишут, то наспех. Пожалуй, лишь в «Линии» Белая, некоторых повестях Корабельникова да в прозе Шипилова есть отношение к труду как делу всей жизни. В целом же эта проза будто намекает на некое неблагоприятное героев на службе.

Если же молодой писатель подробнее останавливается на ощущениях от работы, на каких-то мгновенных, сиюминутных отражениях ее в человеке, повествование рассыпается на зарисовки, наброски, этюды. И это уже не полбеда — беда. Скажем, в рассказе Н. Коняева «Просека» девочка по имени Таня не поступила в институт, а возвращаться домой ей стыдно (мотив, повторяющийся и у многих молодых прозаиков). Таня идет работать стрелком в ВОХР, поскольку в объявлении, неожиданно ей попавшемся, было написано: «Предоставляется возможность подготовки к вступительным экзаменам в вуз».

Таня эта встретила с чужой для нее, непонятной работой потому, что линия повествования героини рассказа, в сущности, диктовалась равнодушием: не важно, где отработывать, важно делать свое, для себя и не делать дела общего, для всех, формально — исполнять обязанности.

Рассказ В. Болтышева так и называется — «Исполняющий обязанности». Некто Роднин, исполняя обязанности директора парка, лишь то и делает, что собирается с духом, чтобы что-то сделать. А в результате: «...Роднин, усгало оглядывая стол начальника в его ефрейторски-строгом убранстве — календарь, телефон, авторучка на мраморной подставке, вдруг вспомнил, что не сделал за день ровным счетом ничего, кроме как побеседовал о лошадях и раз десять объявил по телефону, куда и на сколько выехал в командировку Зубов, но вместо услуга с неожиданным для себя спокойстви-

ем подумал: „А черт с ним! Может, нам, директорам, так положено...“».

Надо сказать, что заседаниями и изобретениями, пусками и наладками, планами и корректировками эти прозаики не интересуются. То есть к работе в городе, к промышленному производству они абсолютно индифферентны. Хотя многие из них успели поработать и токарями, и электриками, и инженерами. Корабельников и Поликарпов — врачи. К хозяйствованию сельскому интереса поболее, но и он какой-то неглубокий, без горячего желания встать горю за дело. Вот, к примеру, как описывается любовь тракториста Алешки к трактору: «А потом рокот мотора слился в единый монотонный гул и — словно вода лилась, а не машина работала. И руки не чувствовали рычагов, только когда закуривал новую папиросу, удивлялся: вона сколько понаворотил!» (Н. Дорошенко, «Трактористы») Как будто все верно, но отчетливо чувствуется устоявшийся трафарет. Шаблонных описаний, почти дословных повторов, когда речь заходит о трудовых процессах, в прозе молодых можно найти немало. Внешние атрибуты дела заслоняют само дело. Тогда-то и появляются «исполняющие обязанности», рождаются копии, копии, копии... Позиция поколения становится шаткой. Страх неудачи в рассказе о производстве, о труде, о рабочем человеке должен быть преодолен именно в начале пути.

Так, в повести Поликарпова «Вижу идущего» собственно описаний трудового процесса нет. Но герой повести врач Володя Провалов не может пройти мимо «незрячего», физически и духовно больного, оставившегося в жизни Андрея. Решает разыскать его, поскольку не может не помочь хотя бы одному из плеяды худых, кадыкастых, с редкими космами до плеч юнцов, которые «слушают кассетофоны, летают на сверхзвуковых самолетах и не догадываются, в каком мире живут». И вот Володя Провалов взваливает на себя труд быть полезным беспомощному в попытках понять взрослую жизнь Андрею, чужому человеку.

Теперь зададим такой вопрос: почему сегодня важно для писателя прямое столкновение растерянного юноши с сильным героем? Наверное, жить, трудиться, быть вместе не значит спешить в одну сторону. Но — устремляться друг к другу, человек к человеку. Видя лицо идущего навстречу, глаза его. Перековка и прозрение, стало быть, не в том, чтоб куда-то ехать. Скорее в том, чтобы научиться думать, научиться понимать: строительство надобно начинать с себя.

И правда — что толку в понимании, когда не подкреплено оно поступком? Слово и действие в жизни «странных» героев не знают разлома. Эти герои несут бремя частного испытания. Несут с достоинством. Не призывами и декларациями, но судьбою своей они доказывают в современной прозе: порывы становятся долгом и делом тогда только, когда наливаются тяжестью каждодневной ответственности за более слабого. Будничный героизм основан на полной духовной самостоятельности, на внутренне осознанной силе личности, проявляющейся в том, что нормы человечности, совестливости, жалости, сочувствия, созидания «странных» молодые герои возводят в ранг высокого служения конкретному человеку. Не помышляя о том как о чем-то героическом, выдающемся.

Кто поручится, что «рядовые» беды, горести, удары судьбы одного человека не сказываются в конце концов на жизни всего общества? Акт помощи отдельному человеку состоит не в подтягивании слабого до более совершенного, высокого уровня сознания, но, как это ни парадоксально, в естественном, не унижающем — возвышающем умении встать на время рядом, пусть и на низшую для себя ступень. Чтобы что-то изменить на уровне частного эпизода, частной жизни. А там уж пусть слабый, растерянный сам думает, сам решает, подниматься выше, одолевая беспомощность или оставаться на своей низкой ступени. Главное же тут в том, что умение думать, духовная самостоятельность как кредо неизбежно ведут к навыку принимать решения, действовать. Проблема выбора тем самым как бы рассредоточивается, распределяется по каждому дню, по каждой минуте жизни. И когда для «будничного» героя подходит момент решительного действия, поступка — все происходит будто само собой, без рефлексии: так поступить либо эдак... Личность неспособна поступить как неличность. Всевозможные варианты ситуации выбора в литературе последнего двадцатилетия, по-моему, целиком и полностью основываются на жажде отдельного человека выделить и понять себя как самостоятельную единицу. Поступки, поведение являются результатом того, что герой знает силы свои и слабости, давным-давно пройдя ситуацию выбора. Теперь ему необходим выход к другому, тому, кто рядом или где-то далеко. Потому что истинно созревшее, возмужалое сознание приводит к совершенно естественному выводу: каждый из людей, каким бы он ни был, достоин заботы и внимания, особенно в грудную минуту.

Так понимают и утверждают молодые прозаики активную жизненную позицию.

«Простых» минут на долю многих выпадает больше, чем каких-либо иных. Значит,

в жизни следует искать высокое в простом! В простом, будничном поступке.

Путь молодого поколения прозаиков с этих поисков и начался.

АНДРЕЙ МАЛЬГИН



«МЫ — ПОКОЛЕНИЕ НОВОГО АРБАТА...»

— А вам что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?

— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.

— А как же вы говорите?

— Ну, что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал?..

«Мастер и Маргарита».

Да, мы еще ждем прихода нового, яркого молодого поэта. Еще не теряем надежды на то, что появится в отечественной поэзии новый талант — сильный, мощный, цельный, — появится и удивит всех.

Кто пришел в поэзию нашу за последние два десятилетия? Заговорили об Олеге Чухонцеве, Игоре Шкляревском, это поэты достойные, но представляют поколение отнюдь не самое молодое и начали свой путь в литературе уже достаточно давно. А где молодые, которых заметили бы все? Именно все, а не только узкий круг друзей и покровителей? Где те, кому пусть не двадцать, так хотя бы тридцать? Где они?

А между прочим, в 60-е годы А. Тарковский писал: «Талантами завоеваны земли. Сделано все, чтобы к собиранию их мог приступить гений. Его еще не видно, но появление его не кажется нам неожиданным. У нас уже были свои Державин и Жуковский, Батюшков и Гнедич. Нам остается ждать появления Пушкина». Вы скажете: устаревшая точка зрения! А я вам процитирую Е. Евтушенко, который уже в 80-е вопрошал: «Что в запасе ты держишь, Россия? Чьи там лица за чащей густой?» — и отвечал на этот вопрос не задумываясь: «Там Бояны, еще молодые, новый Пушкин и новый Толстой».

Только что, если нового Пушкина и не должно уже быть? Может, времена гармоничных, цельных поэтов, властителей дум, безвозвратно прошли? В конце концов, поэзия разветвилась, разошлась по путям-дорожкам, разлилась морем разлитым — с одного берега другой не виден, завоевала и в самом деле новые, неслыханные

земли; а гражданские и эстетические ожидания наши непомерно разрослись, вкусы утончились, и опять уж очень они у нас, у «публики», стали разными, одним махом всем сразу и не угодишь. Но в таком случае если не на Пушкина, то хотя бы просто на незаурядного, яркого поэта можем мы в молодом нынешнем поколении рассчитывать?

А может, мы не там ищем?

Критики и читатели, да и поэты постарше, ведь не сложа руки сидели, ожидая прихода гения. Они рассуждали о том, каким ему, гению, надлежит быть. Любопытно, что взоры почему-то были обращены главным образом в сторону русской деревни (не оттого ли, что как раз в это время оттуда шел мощный поток так называемой деревенской прозы, буквально на глазах обогатившей нашу словесность, напитавшей ее новыми живительными соками?). Вне поля зрения почему-то остались, как иронично сформулировал С. Чупринин, «горожане в третьем поколении, те самые, кому, чтобы чувствовать себя хорошо, надо время от времени припадать к выхлопной трубе; те самые, кого текущая проза-поэзия, в особенности молодая, неустанно корит и их оторванностью от «почвы», и их привычкой к «асфальту», олицетворившему в себе кое для кого всю пагубу цивилизации, и их пристрастием к дарам письменной, музейной, филармонической и тому подобной культуры». Среди этих горожан поэт ну никак не ожидался.

Откройте вышедший в «Художественной литературе» несколько лет назад сборник «Молодые голоса» (составитель Н. Старшинов; в него вошли стихотворения ста с

лишним авторов) — и вы увидите, среди кого искали тогда Поэта. «Они по всей России есть — березовые молодые рощи», — начинает М. Дудин свое предисловие к этому сборнику... С Дудиным не поспоришь: да, есть у нас березовые рощи. Но есть также и покрытые асфальтом города, и живет в них ныне, между прочим, большинство советского населения — две трети. Увы, и автор предисловия и составитель сборника это обстоятельство как-то упустили...

Еще показательнее вышедшая совсем недавно антология «Молодые поэты Москвы» (составитель Ст. Куняев). О чем, казалось бы, московским поэтам писать в первую голову как не о своем городе? Но стихов о Москве в этой книге почти что нет. Составитель в предисловии умиляется: «...многие из них еще до сих пор считают своей «малой родиной» кто Белоруссию, кто саратовские степи, кто краснодарскую хату... Об этой любви к «малой родине» они пишут искренние стихи. О любимом уголке земли, без которого нет истинного поэта...» Непонятно только, отчего же город, большой город, не может быть этим самым «любимым уголком земли»? Прочитывая строку из вошедшего в сборник стихотворения Владимира Вишневого: «Мы — поколение Нового Арбата», Ст. Куняев тут же считает своим долгом заметить: «Сказано броско, но не мало ли этого? Чтобы не затеряться в нашей огромной поэзии, чтобы понять смысл путей и судеб страны...»

Нас так долго уверяли, что вовсе не на Арбате, тем более не на Новом Арбате, не на асфальте, не среди крупноблочных конструкций следует искать «смысл путей и судеб страны», что мы к стихам о городе как-то перестали относиться всерьез. Говоря «мы», я в данном случае разумею и читателей и самих стихотворцев. Не случайно В. Савельев, обозревая подборку стихов молодых авторов, опубликованную в альманахе «Поэзия», с недоумением заметил: «Но все-таки странно, что талантливые люди, живущие преимущественно в городах — и в городах, мало похожих друг на друга! — люди, чьи пока основные профессии связывают их с трудовыми процессами на современных предприятиях, — все эти люди пишут так, словно бы пребывают неразлучным коллективом на одном хуторке».

В стихах едва ли не каждого городского поэта мы вслед за досужими критиками стали с подозрительностью опытной хозяйки проверять на рынке не подсыхают

ли ей что-нибудь несъедобное, выскивать, во-первых, оторванность от жизни, то есть книжность, во-вторых, инфантилизм, то есть детское, наивное отношение к сложным жизненным проблемам, в-третьих, конформизм, то есть нежелание эти самые проблемы преодолевать, стремление приспособляться как к условиям жизни, так и к «статус-кво» в литературе. Причем упреки такие проскальзывали даже у авторов, к городской музе относящихся с явным сочувствием. О «кокете своей инфантильностью, умалением личности лирического героя» с беспокойством писал О. Шестинский. «Речь о том, что грубо можно было бы назвать писательским конформизмом», — замечал С. Чупринин в статье о молодых поэтах. И конечно же, не одни они. Что же касается книжности, то о ней даже прошла целая дискуссия в «Литературном обозрении», а следом — в качестве своеобразного приложения — появилась в альманахе «Поэзия» статья А. Казинцева о книжности молодых городских поэтов. «Особенно привлекательна книжность для молодых авторов, — констатировал критик, по возрасту своему сам еще отнюдь не вышедший из разряда молодых, и продолжал: — Какое обвинение страшнее всего для молодого поэта — в излишней искусственности? Нет. Наоборот, в непрофессионализме. Он боится, что над его неумелостью посмеются, когда он попытается открыть свою душу. А если тебя признали книжным, то самое большее, в чем могут упрекнуть, это в излишней мастеровитости. Да такое обвинение для молодого поэта, в сущности, похвала».

И вот стало высмеиваться, напротив, профессиональное совершенство, любые формальные поиски объявлялись ненужными изысками, «нехитрыми литературно-салонными модуляциями» (С. Лыкошин). Поэтам и читателям терпеливо разъясняли: «Дело не в открытых и закрытых метафорах, не в глагольных рифмах и, наконец, не в самой системе образов как таковой» (Л. Баранова-Гонченко). А в чем же? Что в поэзии главное? — спрашивали дошлые читатели и тут же получали исчерпывающий ответ на свой наивный вопрос: «поиск положительных корневых начал народной жизни и близкого к идеалу разрешения нравственных конфликтов», «от корня истории растущий, духовный опыт», «непреходящие ценности народного характера, утверждаемые с течением исторического опыта», «жизнетворные способности естественной народной жизни», «ибо будущее наше лежит не в космических просторах, а

на той же страдалнице земле...» (С. Лыкошин) Дело стало сводиться к «страдалнице земле», слишком буквально понимаемой «почве». Стоило завести разговор о том или ином авторе, как тут же звучал коварный вопрос: «...считает ли он, что доставшиеся ему от предков в наследство духовный опыт и мораль — незыблемая основа его существования, либо, напротив, готов он в экспериментальном экстазе от них отказаться?» (С. Лыкошин) Эксперимент и мораль, художественная форма и нравственность стали в рассуждениях некоторых критиков антонимами. Но еще удивительнее, что эти странные противопоставления никто не оспаривал.

Иных молодых стихотворцев настолько запугали подобными эскападами, что они попросту отказывались от любых поисков в области формы, скромно предпочитая оставаться в тени признанных, незыблемых авторитетов. «Опробованный стих», стертая от частого употребления образность стали считаться чуть ли не единственно возможными. Хуже того, свои действительно выстраданные, очень личные стихи дебютанты, составляя первую подборку или новую книжку, предпочитают теперь заменять бесцветными, состряпанными на скорую руку, но зато «правильными» виршами, которые даже самый придирчивый ревнитель патриархальной нравственности не заподозрит ни в оторванности от корней народной жизни, ни в забвении доставшейся от предков многовековой морали... Среди молодых вошел в оборот термин «паровоз» — этим словечком называют «правильные» стихотворения, призванные протаскать за собой всю книжку. Стихи такого сорта радуют сердце издателя, удобно ложатся в концепции критиков, но читателя обмануть не могут: интерес к молодой поэзии резко упал и нынче, пожалуй, находится на самой низкой отметке за всю историю русской советской поэзии.

Предвижу упрек в недооценке нравственного начала в поэтическом произведении. Собственно, по отношению ко мне он высказывался уже дважды: «...нравственная база критика пока еще не развита, как бы он нас в этом ни уверял» («Литературная учеба», 1984, № 6); «Оставим же последнее слово все-таки не за Мальгиным, а за Пушкиным, считавшим, что нам нужны книги, дающие возможность составить наблюдения не только литературные, но и нравственные» («Книжное обозрение», 22 ноября 1985 года). Поэтому приходится особо оговаривать, что, по моему глубоко-му убеждению, нравственность есть главное

свойство таланта, его органичная и неотъемлемая черта. Однако если художник — пусть даже из лучших побуждений — ставит перед собой специальную нравственную задачу или даже прямо ведет речь о нравственности, это еще не означает, что его произведение будет высокоморальным по своей сути, глубоко нравственным. «Творец всегда изображается в творении, — считал Н. М. Карамзин, — и часто против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златую одежду пышных слов сокрыть железное сердце... и никогда питательное, эфирное пламя не польется из его творений в нежную душу читателя». В этом отношении любые упреки в недостаточной нравственности, любые призывы к высокоморальному подходу к явлениям жизни бессмысленны и мало-перспективны. Нельзя стать более (или менее) нравственным, чем ты есть. И совершенно прав А. Кушнер, ответивший на анкету альманаха «Поэзия» о нравственности в поэзии неожиданно лаконично, но точно: «Мне непонятно словосочетание «нравственная ценность поэзии», потому что нет безнравственной поэзии. Безнравственна — значит, не поэзия».

Стишки, от босоногом деревенском детстве, которые многим начинающим авторам представляются едва ли не единственным пропуском в литературу, еще не являются доказательством их причастности к кладезю многовековой народной морали, к истокам подлинной народной жизни. В большинстве случаев они свидетельствуют о другом — о заемности опыта, о вторичности мироощущения, ибо представления, о чем писать и как писать, что идет и что не идет нынче в литературе, почерпнуты их авторами главным образом из самой литературы, из источников, весьма далеких как от жизни, так и от конкретного опыта данного стихотворца. Как раз для этих стихов лучше всего подошло бы определение «книжные». Не буду приводить примеры — десятки поэтических книжек, выпускаемых каждый год издательством «Современник» в серии «Первая книга в столице», дают обильный материал для подтверждения этой мысли.

А как же в таком случае относиться к тем молодым «городским» поэтам, у которых стихи наполнены культурными и историческими реалиями, реминисценциями, перекличкой с современниками и предшественниками? Можно, конечно, подобно чеховскому Сисю сказать: «Не ндравится мне» — и тем ограничиться. Во всяком случае кое-кто из критиков предпочитает

именно такой подход. Но, может быть, есть смысл, прежде чем выработать отношение, стихи этих поэтов для начала хотя бы прочитать? Тем более что возможность такая появилась: «Советский писатель» одновременно издал книги лирики Андрея Чернова, Михаила Поздняева, Геннадия Калашникова; еще раньше вышли сборники Олега Хлебникова... Это не подборки из четырех-пяти стихотворений — книги! Появился обширный стиховой материал, а вместе с ним — необходимость его обобщить. Разобраться на этом материале, как у наших «городских» поэтов дело обстоит с книжностью, с инфантилизмом, и с прочими страшными грехами. А заодно выяснить, что их роднит, а что отличает друг от друга и почему они составили оригинальное и, возможно, очень перспективное поэтическое направление.

В начале статьи я приводил строчку В. Вишневского «Мы — поколение Нового Арбата» и высказанное в связи с ней мнение Ст. Куняева, что, мол, «пути и судьбы страны» проходят все же в другом месте. Однако Владимир Вишневский не одинок. Вот и Андрей Чернов считает своим долгом отметить: «...и я гулял на тех кривых Арбатах». Совсем рядом «гуляет» и Михаил Поздняев — «вдоль по Таганке, Неглинке, Лубянке, Солянке, вдоль по Охотному ряду, минуя Ордынку». «Мы, дети Филей и Арбата», — замечает он. Где-то рядом — Евгений Блажеевский, уверенный, что «ждет судьба — наверняка в двух-трех шагах от переулка». И не тот ли это переулок, о котором говорит Олег Хлебников: «Такой обычный переулок, где каждый шаг бывает гулок и каждый шаг неповторим...»? Но обратите внимание, какими словами завершает он это свое стихотворение о переулке: «...пространство, что в себя вместило людские судьбы — судьбы мира...»

Пусть кто-то сомневается в том, что судьба страны может проявиться на Новом Арбате, — молодой поэт верит: маленький, заурядный переулок способен вместить в себя ни больше ни меньше как «судьбы мира»!

Тут вот что важно. Они ведь не бесцельно прогуливаются, глаза по сторонам и перенося в стихи все, что по пути попадет. Вокруг них жизнь — плотная, спрессованная, ежесекундно меняющаяся, ускользающая, многообразная. И они жадно постигают ее, бросаются в нее, живут и дышат ею. Вот почему в их стихах о городе почти что нет архитектурных красот, взгляд мимо них скользит не задер-

живаясь. Зато люди вызывают пристальный интерес, молодые поэты не пропускают, кажется, ни одного прохожего, внимательны ко всем, готовы немедленно отозваться на каждый взгляд, на каждое движение, полудвижение в их сторону. Простым любопытством этот интерес не назовешь. «...остановись со мной, мой самый первый встречный, поговорим...» — обращается к прохожему с неожиданным предложением Геннадий Калашников. Чужацество? Наивность? Поза? Но ведь прохожий-то в ответ — говорит. И не только у Калашникова, но и у Хлебникова и у Чернова. Мимолетная встреча порой такие судьбы приоткрывает, такие трагедии человеческие обнажает, что не по себе становится. «Его забот — всего-то ничего, его забот — всего-то три-четыре. Но как они измучили его», — пишет о своем «первом встречном» Олег Хлебников. Это умение увидеть в случайном человеке человеческое, близкое — особенность, объединяющая молодых «городских» поэтов. Как и готовность выслушать «первого встречного», посочувствовать ему, простить ему черточки отнюдь не симпатичные. «Ну, ладно, пусть, простим ему! Поскольку он кому-то дорог. Пускай не знаем мы — кому» (О. Хлебников).

В людском круговороте, многолюдье выискиваются связи, выделяется общее, сближающее, роднящее. Особо ценятся дружеские и родственные отношения. «Мой круг знакомств. Мой круг знакомых. Я внутри его. Мой круг. Я им охвачен. И выйти из него — как из себя», — пишет Виктор Коркия. Друзья и близкие люди называются по именам, это всегда конкретные люди, и как конкретные, подлинные персонажи должны восприниматься читателем. Возьмите стихи Поздняева — в них живут и переходят из стихотворения в стихотворение «тетя Оля и дядя Володя», «Боря, еще живой», «Алеша в шинели», еще один «Боря — дворник, что дрова рубил», «бледная Анна», «бородатый Андрей»...

Боря, умевший играть на гитаре.
Лилия, любившая петь «а капелла».
Ах, как играл он, когда был в ударе!
Ах, как она замечательно пела!

А как сядились рядом на диване
с тетею Нюрой, женой дяди Вани, —
ах, как они на три голоса пели!
Жалко, что нас научить не успели...

И заброшенный судьбой куда-то на Дальний Восток, поэт не раз возвращается мыслью под родительский кров: «Я подумал о родне: как живут они одне, два стареющих супруга, пара грустных моск-

вичей,— полагаясь на врачей: уповая друг на друга?..» «Им — нами брошенным, больным, в брызгах стариковских пятен, неустроенным, седым...» — посвящает Поздняяев свои самые проникновенные и грустные строки. И если считать инфантилизмом привязанность к родному очагу, ностальгию по временам детства, благодарность родителям и близким людям за все то доброе, что они сделали,— что ж, тогда готов признать, что поэты, о которых пишу, инфантильны. У них на воспоминаниях об уютном детстве многое держится, даже сама система образов. Посмотрите, как пишет Чернов о реке:

Как мамина рука
В сатиновый рукав,
Уходит вверх река,
Смыкаясь в берегах.

Отчего же они так привязаны к дому, особенно к дому своего детства? Отчего память неудержимо тянет их туда — «я точно прикованный цепью к чугунной стреле часовой, я медленно следом за нею поеду вперед головой» (М. Поздняяев)? Думаю, они ищут в детстве, «в том времени стаявшем, скрывшемся без оглядки, на том конце ниточки с блестящими памяти детской» (О. Хлебников), чистоту человеческих чувств и помыслов, то есть то, в чем остро ощущают дефицит в своей нынешней жизни и что могло бы служить мерой, эталоном для оценки явлений окружающего мира. И когда Поздняяев призывает:

Вглядись же в узкий дверной проем —
в ту даль за скатертью голубой,
где мама с папой сидят вдвоем,
склонивши головы над тобой, —

он не столько к себе прежнему вернуться хочет или, грубо говоря, к маме с папой, сколько понять пытается, что же мы — мы все, люди,— теряем, расставаясь со своим прошлым. Столкнувшись со взрослыми и часто жестокими жизненными проблемами, они не отступают перед ними, но память-то о том времени, когда они этих проблем не знали, осталась, и на фоне прошлого нынешние трудности и печали видятся особенно выпукло.

Впрочем, они прекрасно осознают, что время их детства было временем далеко не безмятежным, далеко не однозначным. Приметы прошлого, которые донесла память, складываются в общую картину, вызывая у них и щемящую ностальгию, и легкую грусть, и порой острую боль. И тут даже небольшая разница в возрасте значит очень много. Если Олег Хлебников, родившийся в год XX съезда, может себе позволить весело иронизировать по поводу памятника «свинье и свиноводу»,

который «на привокзальной площади стоял», и со вздохом умиления перечислять приметы времени: «...время спутника, футбола, спора посреди бульвара, время слова «радиола», время славы — «Че Гевара», кукол — все еще немецких, скатертей — еще китайских, фотоаппаратов детских и велосипедов дамских...» — то Михаил Поздняяев, который всего-то на несколько лет старше, иначе воспроизводит первые проблески своего сознания:

Не напоминайте мне о том
времени отпетом,
отошедшем, прожитом,
погребенном,
паутиной, патиной, крапивою крапленном,
на Немецком кладбище пластом
спящем.

Не напоминайте о шипящем
шаре первомайском, полусдутым, золотом,
о соседском Боре — в коридоре долотом
что-то там долбящем
возле нашей двери.
Кажется, ломающем замок или запор...

Но есть ведь история и более дальняя (хотя снова всего лишь несколькими годами более дальняя). Война. «Мы не видели ухода наших юных отцов и матерей и их возвращения,— пишет не в стихах, в статье М. Поздняяев, — но молодыми, подчас моложе нас нынешних, молодыми-то мы их помним!.. И самое раннее впечатление от их рассказов (нет, еще не воспоминаний, не мемуаров, но рассказов, подобных нашим, о годах студенчества и армейской службы) — это впечатление не изгладилось, если даже рассказы сами и позабыты...» В стихах поэтов, о которых речь, нет ни батальных сцен, ни развешивающихся над взятыми городами флагов, ни истекающих кровью, но не сдающихся защитников безымянной высоты — жороче, всего того, что они не видели воочию. А когда это есть, это мало убеждает. Давид Самойлов, процитировав несколько лет назад в «Новом мире» строчку юного Андрея Чернова «Азартно, как в кино, гремит падьба», справедливо заметил: «Так фронтовик не скажет. Смерть и судьба для человека, пережившего войну, не философские категории, не аллегории... а нечто испробованное и пережитое».

Они ищут свой подход к теме войны, ибо не попытаются по-своему, в меру своего умения и жизненного опыта осмыслить ее они, конечно же, не могут. В стихах этих не столько сама война, сколько ее эхо. Случайно услышанный разговор старших, встреча с искалеченным войной человеком, рассказ о судьбе, которую сформировала война... Так, мне кажется, честнее. Время-то идет, и прав Чернов:

...уже родился тот, кто сладит
классе в пятом, может быть — в шестом,
с темой сочинения
«Мой прадед
был фронтовиком».

И М. Поздняев, между прочим, своих «маму с папой» воспринимает не просто как родителей, родных и близких людей, но и как людей, делавших историю, прошедших сквозь ее жернова. При этом нас не должна смущать та умильная трепетность, с какой о родителях говорится, — речь идет о вещах достаточно серьезных. Ведь не случайно в стихотворении Евгения Блажеевского соседствуют «мамы слабый голосок и грозный голос моего столетья». В конце концов, нежное «мама» срывалось и с уст громкого и необъятного Маяковского. Дело, вообще-то говоря, не в словах, а в мироощущении. Вот об этом и есть смысл поговорить.

Хотя они и «городские», это не значит, что за чертой города их ничего не интересует. «Городские» — рабочий термин, не более того. Надо же их как-то называть. У Калашникова, например, гораздо чаще действие разворачивается как раз вдали от города или на его окраинах. Но ясно, что пишет о природе, предместье, деревне все же человек городской. Посмотрите, какими сравнениями он пользуется: «И гулко бьет прибор, как молот паровой», «моторка... стучит, как швейная машинка». У А. Парщикова: «речка, как ночной вагон» (сравнение рискованное, но контекстом оправданное), «а через воздух бесконечный был виден сломанный лесок... как хромосомы в микроскоп». А вот лес у А. Еременко: «...спит, стоя, лес, уйдя в свои детали: в столбы, в деревья, в щели, в лунку, в паз». У Ю. Минералова в стихотворении о дожде в лесу: «Нету укромных зон. Зонт березовый плох». То же у М. Поздняева об облаке, туче: «...в этом рыжем мешке, застиранном и заплатанном, на все молнии электрические застегнутом». Для сельского жителя мешок не может быть застегнут, для городского может: ведь это спальный мешок.

Тут мы имеем дело уже с новым поэтическим ощущением мира, именно в этом поколении окончательно сложившемся, когда многие технические чудеса и достижения никак не выделяются из окружающей среды, воспринимаются как нечто обыденное, изначально существовавшее. Такой подход мы найдем уже у Б. Слуцкого, Л. Мартынова (обращаясь к последнему, Н. Асеев восклицал: «Зачем же вам, который время сблизил, предпочитать живому сердцу дизель?..»), но для них это

было все-таки чем-то искусственным, осознавалось как прием, кунштюк; у нынешних молодых такое сращение «первой» и «второй» природы (по терминологии А. Твардовского) — явление более органичное, в большинстве случаев ими даже не замечаемое.

Крайнего выражения оно достигло в творчестве Александра Еременко, насквозь технократического, не делающего различия между биологическими и технологическими процессами. Для него в порядке вещей сказать: «Ночной механизмик свистит за комодом — и в белой душе расцветает диод», — и такая метафоричность без сопротивления воспринимается вчитавшимся в его стихи читателем. В них и в самом деле надо вчитаться, постараться посмотреть на мир глазами этого поэта:

В густых металлургических лесах,
где шел процесс создания хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах.

Или:

Вот маленький сад. А за ним — огород.
Как сильно, с периодом около года,
взлетала черемуха за огородом,
большая и белая, как водород!

Снова ловишь себя на мысли, что сказать о черемухе, что она цвела «с периодом около года», или о лесах, что в них «шел процесс создания хлорофилла», сельский житель все-таки не мог. Даже если он вполне освоил такие чудеса техники, как картофелеуборочный комбайн или электрическая пила.

Виктор Коркия в стихотворении «Блик» вспоминает, как когда-то он, мальчишка, «прыгал и визжал что было мочи, вопил на всю квартиру: — Спутник! Спутник! Мы запустили первый в мире спутник!» Тут же он замечает: «А дочь мою ракеты не взволнуют: они, как и стиральный порошок, — привычные предметы обихода». При этом он, впрочем, забывает, что и стиральный порошок — тоже «предмет обихода» с определенного времени и еще относительно недавно мог потрясти чье-нибудь поэтическое воображение. Новый — назовем его условно технократическим — подход к действительности тем и отличается от прежнего, что любые, даже самые фантастические, новшества в быту и производстве органично включаются в общую панораму действительности, поэтизируются наравне с явлениями природы, культуры, психики... «Наверно, сросся я уже с природой рукотворной...» — пишет О. Хлебников.

Название сборника Поздняева «Белый тополь» связано не только с одноименным

стихотворением, но и с такими его строками:

И скрипели колеса, и мерно гудел старый
дом,
как мотор или, будет вернее сказать,
трансформатор, —
и тогда надо мной, точно праотец или
праматерь,
наклонился серебряный тополь
с вороньим гнездом.

Здесь, с одной стороны, «как мотор или... трансформатор», но рядом — «точно праотец или праматерь». Характерное сближение. Понимая, воспринимая все самое современное и новое, «городские» поэты ни от чего из прошлого, вековечного отказываться не собираются. Напротив, именно оно, прошлое, часто становится движущей силой образа, помогает осмыслить настоящее. И если на одной странице у Чернова соседствуют «сень инога вертограда» и «перцептивное пространство», то это не столько об эклектизме его лексики нам говорит, сколько о попытке (не всегда, возможно, удачной) как можно шире охватить культурную действительность, внести струю историзма в камерные лирические переживания.

Конечно, на поверхности лежит и тот простой факт, что у «городских» поэтов много «исторических» стихов (у Калашникова Пушкин в доме Веневитинова читает «Бориса Годунова», Парщиков разворачивает действие своей поэмы на поле Полтавской битвы; декабристы — герои стихотворений Юрия Чехонадского, Марины Кудимовой, Андрея Чернова, причем у последнего в стихах действуют также и Гоголь и флигель-адъютант Новосильцев). Прав Чернов, восклицая: «Кровавей греческого мифа античность Родины моей. Но как светла!..»

К отечественной истории они относятся с особенным почтением, знают, трактуют ее. И все же историзм их и глубже и органичнее проявляется в стихах о настоящем, в осмыслении того, что вокруг. Думая о сегодняшнем дне, они многому знают истинную цену именно потому, что помнят о дне вчерашнем, постигли или стремятся постичь духовный опыт предыдущих поколений.

У Г. Калашникова в стихотворении «Лермонтовская площадь» нарисована тревожная картина пустынной ночной площади: «...из тьмы троллейбус вынырнул и встал, и вдаль умчался с дребезгом тележным», «троллейбус, провод сжав в горсти, мгновенной вспышкой разорвет потемки». Эта вспышка высвечивает странным, прозрачным, беспощадным светом и мокрую

мостовую, и жмущиеся кучкой деревья, и одинокий величественный памятник... «Нога скользит, — как зыбок здесь гранит, разверзлась пропасть, — страшно без привычки...» Среди этой смуты, тревоги, зыбкости фигура Лермонтова предстает неким символом остойчивости и незыблемости, становится зримым воплощением вечного на фоне суетного и преходящего. Нет, автор не склонен идеализировать прошлое, но он готов искать в нем опору, поддержку. Лирический герой стихотворения как бы выпадает из окружающей его действительности, которая кажется ему недоброй. Но причины тому заключены не в действительности, а в нем самом, в его душевной смуте. И вот для того чтобы вновь занять свое место в структуре, которая его исторгла, чтобы обрести внутреннюю гармонию, ему и нужен Лермонтов — как нечто прошедшее испытание временем, устойчивое и прочное.

Иначе пытается преодолеть чувство безысходности, ощущение беды Михаил Позднѣев. В его стихотворении «Ода Кухонной Полке» показано, как оборачивается обыденным, нестрашным то, что минуту назад казалось роковым и неотвратимым. Не так проста эта полка, «где соседствуют карболка, полкоробки сухарей, две бутылки из-под пива, медицинская крапива, аспирин и лук-порей!». Происходят удивительные превращения:

Все плотней стоят на полке
тарантасы, и двуколки,
и салазки, и возы,
всадник едет по дороге,
в стремена поставив ноги,
как в аптечные весы.

Дальше — больше, дальше — пуще:
дальше — Павловские кучи,
Царскосельские пруды...

Сюжет стремительно развивается дальше, и вот уже на полке «шатаются от боли рощи, толпы и стада — словом, все, что мы с тобою непутевою судьбою называем без стыда». А завершается стихотворение так:

То, что нас на карту ставит,
то, что нас теснит и давит,
жмет, как ржавые тиски,
под свою строгают мерку.
А на деле, на поверку —
два гвоздя, кусок доски.

Круг замкнулся.

Опустив последнее двустипие, Л. Баранова-Гонченко восклицает, процитировав этот фрагмент: «И хочется мне все-таки спросить у автора «Белого тополя»: а чем же мне, читателю, дышать и жить при виде этой угнетающей картины, где все «теснит и давит. жмет, как ржавые тиски»

ки!» Между тем ответ заключен как раз в тех строках, которые критик лукаво опустила. Все наши беды преходящи, все несчастья и неудобства преодолимы и уж во всяком случае не вечны — достаточно лишь взглянуть на вещи трезво. «На деле, на поверку» все страхи исчезнут, окажутся ничтожными, а душу посетит спокойствие и гармония. Вот о чем оптимистичное по своей сути стихотворение Поздняева, столь неудачно выбранное критиком в качестве примера крайнего пессимизма.

Упреки в пессимизме вообще очень часто раздаются в адрес поэтов, о которых здесь речь. «Видеть окружающее в унылом цвете — страсть автора...» (О. Фокина о Викторе Коркия), «...чисто условное, литературно-информационное нагнетание теневых и мрачных деталей бытия» (Ст. Золотцев о Елене Скульской), «...погруженным в бездну печали стихотворцам... предстоит шагнуть навстречу миру, который представляется им алогичным, отпугивает бытом, его тяготами и монотонностью» (А. Казинцев об Алексее Парщикове и Юрии Минералове). Выписки можно продолжить. Но как только начинаешь разбираться в стихах, на основании которых делаются столь далеко идущие выводы, сразу убеждаешься, что выводы эти основываются на вырванных из контекста цитатах, особым образом препарированных и поданных. Критики цитируют лишь то, что подтверждает их тезис, замалчивая те строки и стихотворения, которые с этим тезисом вступают в противоречие. Использование Л. Барановой-Гонченко в своих нуждах стихотворения М. Поздняева — хороший тому пример. Ранее мне приходилось писать о подобных методах, используемых А. Казинцевым в его статьях о молодых поэтах («Цитатой наотмашь» — «Литературная газета», 6 июня 1984 года).

Почему именно это обвинение — в пессимистическом взгляде на жизнь — так часто повторяется? Да потому, что в книгах этих поэтов — мучительные раздумья о смысле бытия, об историческом пути отчизны, о своем месте в обществе и во времени. В этих размышлениях отсутствует категоричность, досказанность, окончательный приговор, готовая, венчающая басню мораль. Молодые поэты, биясь над решением проклятых вопросов, не дающих им покоя, остро ощущают порой какую-то безвыходность. Но она, если можно так выразиться, не безысходная, не беспросветная, а творческая, о чем один из них, П. Катин, сказал не очень умело, но вполне искренне:

Когда забывшихся впотьмах
Внезапно ослепляет ясность —
Мы восстаем, презрев опасность
И улетучившийся страх.

И, возрождая прежний пыл,
Безвыходность влечет на подвиг;
Безвыходность — всего лишь повод
К живому всплеску скрытых сил...

Безвыходность откроет суть,
Попыток робких сняв бесплодность;
Безвыходность — она отнюдь
Не означает безысходности!..

Упреки в пессимизме часто соседствуют с замечаниями, что быт, его детали занимают в творчестве молодых поэтов слишком большое место, а это, дескать, лишает стихи поэзии...

Быт, квартирные, домашние аксессуары не потому играют особую роль у этих авторов, что такие уж они домашние мальчики. С логикой судьбы не поспоришь: они прошли, по выражению Юрия Трифонова, «испытание бытом». Это вам не Смеляков с Багрицким, призывавшие с «матерым, желудочным бытом» бороться: «Трави его трактором. Песней бей. Лопатой взнуздай, киркой проколи!» Это другое поколение. Новые люди — новые песни. Тут уже быт прочно освоен, даже эстетизирован. «...за лесом погромыхивают поезда, словно, вытерев, в буфет составляют посуду», — пишет Калашников. Можно привести и другие примеры: «Как бережно отпаривают марку, снимается с Днепра бумажный лед. Переводной картинкой каждый год мне кажутся метаморфозы марта...» (А. Парщиков), «И с гор, шурша, туман сползал, как с раскладушки одеяло» (Ю. Чехонадский), «Дожди зазвенели, незваны, и землю холодной водой наполняют, как черную ванну» (Ю. Минералов), «Как плохо подсиненное белье, синел, белел на возвышеньях снег» (О. Хлебников). Ничего удивительного в том, что такое миропонимание, такую образность далеко не все могут принять. Однако молодые поэты в данном случае, как мне кажется, никого не собираются эпатировать и вовсе не оригинальничают. Просто им хочется точнее и полнее передать свое ощущение, и передать, не прибегая к расхожим «поэтическим» формулировкам, а используя то, что им понастоящему близко, знакомо, освоено. Судить в каждом случае надо не по средствам, а по результату. Художественному, конечно.

В конце концов, и через предметы быта можно передать время вместе со всеми его проблемами и приметам.

...Соседна умерла семь лет назад.
 Рак печени. Но все еще стоит
 В углу ее сундук, обитый жемчугом.
 Что в нем сейчас?
 Вдруг — то же барахло,
 что было раньше?
 Или — ничего?..

Ни громкоговорителя «тарелки»,
 ни сумки санинструктора, ни бот,
 ни валенок, ни разного тряпья,
 ни фотографий трех погибших братьев...
 (В. Коркия)

Через обыденные предметы — сундук, стоящий в коридоре старой московской коммуналки, его содержимое, через черный «сталинский» телефон, счетчик, который, потрескивая, подсчитывает киловатт-часы, — проглядывает эпоха, воспитавшая, взрастившая поэта, показана атмосфера, которой он дышал. Не случайно завершается стихотворение восклицанием, поднимающим лирического героя над бытом: «И неразрывна эта связь времен, в которой ты — живое средство связи...»

Нет, они не инфантильны. Они серьезные. Серьезность эта проявляется прежде всего в их отношении к культуре, которую они в полном смысле слова впитали с молоком матери. Прав А. Кушнер: «Поэзия не квартира с изолированными комнатами, это — лермонтовский космос, где „звезда с звездой говорит“». «Городские» поэты любят разговаривать со «звездами». Они могут запросто процитировать (иногда обыгрывая, но чаще невольно, когда к слову подходит) Пушкина, как, например, М. Поздняяев: «Вот уголок земли, где я провел — предвижу нетерпенье Иванова — начало и конец минувшей жизни...» Г. Калашников тоже способен все помянуть известную строчку: «...буря мглою небо кроет посреди твоей зимы». Но у него чаще реминисценции более дальние, они, как правило, не повторяют известное, а спорят с ним. Например, внутренняя переключка с А. Тарковским в таких строках: «Мне жить легко и умереть нетрудно...» (у Тарковского: «Я жизнь люблю и умереть боюсь»). Примеров можно было бы привести больше, но это увело бы наш разговор в сторону.

Вообще поиграть со словом эти авторы не прочь. В нем, по-разному спрягаемом, склоняемом, в самом его звучании отыскивается смысл. Чернов как замороженный повторяет: «Холодей. Холодай. Голодай». Его пронзают два кратких слова — «мор» и «глад», трагически часто рассыпанные по страницам древних летописей. Калашников пишет:

Смысл бескорыстно прям —
 есть мука в слове «мука»,
 все поместится там —
 меж буквою и звуком.

Там, меж буквою и звуком, они находят многое. Впрочем, как раз тут нередко появляются издержки, ибо порой, чрезмерно увлекшись приемом, формальным поиском, тот или иной автор явно теряет чувство меры. Мне не показалось убедительным стихотворение Чернова:

Не мигая, как будто в гляделки играя,
 Друг на друга глядят два святых Николая.

Один — с крестным знаменем,
 Другой — с красным знаменем.

Тот —
 Прилежно выписан богомазом
 В неподвижности строгой.
 Этот — вмиг остановлен
 Полковым фотоглазом
 Перед дальней дорогой.

Ясно, что сначала родилось «с крестным знаменем — с красным знаменем», а потом к этой находке было дописано все остальное.

Особенно неровны в этом отношении стихи Александра Еременко, у которого удивительно поэтичные по смыслу и звучанию строки перемежаются беспомощными, вычурными, а то и просто малограмотными.

И все же сердцем, душой своей они поэзию понимают не как игру, не как плетение словес или возможность продемонстрировать эрудицию. «Давно ль мы словами игрались? Стали слова солонь...» — с горечью замечает Юрий Минералов, наибольший «формалист» и экспериментатор из всех, о ком пришлось сегодня говорить (многим, например, памятью его стихотворение о «глокой куздре» — «героине» бессмысленной фразы, изобретенной лингвистом академиком Л. В. Щербой). А. Поздняяев прямо-таки декларирует:

Не надо корпеть над стихами.
 Нечаянно, сами собой
 Они выпадают снегами,
 Растут на задворках стогами
 И плотным дымком — над трубой.

Тут уже целая литературная традиция: из близких нам поэтов достаточно вспомнить Слуцкого («Обдумыванье и расчет поэзию, конечно, губят...») или Вознесенского («Стихи не пишутся — случаются...»). «Стихи растут, как звезды и как розы», — писала Цветаева. «...растут стихи, не ведая стыда», — вторила ей Ахматова. Теперь, как видим, растут они и у Михаила Поздняяева и у Алексея Парщикова.

Как впечатленный светом хлорофилл,
 от солнца образуется искусство,
 произрастая письменно и устно
 и в женщине, и в крике между крыл.

(А. Парщиков)

И это закономерно. Творчество не как ремесло, а как вдохновение, как жизнь, наконец,— это ли не в изначальных традициях русской лирики?

По стихам поэтов, о которых я пишу, трудно составить полный портрет их поколения. В конце концов, принадлежат они отнюдь не к самой многочисленной части нашей молодежи и недостаточно хорошо знакомы с обстоятельствами и условиями жизни своих сверстников, работающих на заводах и шахтах, живущих вдали от крупных городов. Из стихов их не поймешь, чем кроме сочинительства они занимаются, где и кем работают, как относятся к своему труду. Стесняются они этой прозы жизни или своим основным занятием считают творчество, а все остальное интересует их постольку, поскольку имеет то или иное касательство к этому основному делу? Не берусь судить. Но все же некоторая недостаточность в охвате ими современной действительности чувствуется.

И тем не менее духовный облик поколения по их стихам составить можно. А это уже немало. В конце концов:

То, что отформуется судьбой,
Но не зарифмуется со словом, —
Все равно останется с тобой
До конца в пути твоём суровом.

(М. Поздняев)

В этих строках, составляющих, видимо, суть творческой и жизненной программы нынешних «городских» поэтов, залог того, что они еще скажут свое слово в нашей литературе.

В этом своем — согласен, смелом — прогнозе я не одинок. О Чернове и Хлебникове одобрительно писали Д. Самойлов, Ю. Левитанский, Е. Евтушенко, Б. Слуцкий, В. Берестов. Парщиков впервые увидел свое стихотворение опубликованным в статье А. Вознесенского «Муки музыки»...

Но это все отзывы старших товарищей по перу, наставников. Критика же наша, громко вздыхая о несостоявшемся поэтическом поколении, упорно не хочет замечать поэтов, давно сформировавшихся и вполне зрелых. Или еще того хуже: начинает нас убеждать, что городской поэзии просто не может быть, потому что не может быть никогда. Стоило автору этих строк однажды вскользь не без иронии заметить, что не только из тех, у кого за плечами босоногое деревенское детство, но и из малолетних книжечив, «вдумчивых пионеров» (по меткому определению Л. Ан-

нинского), вырастают поэты, как тут же раздался суровый окрик: «Здесь наш критик, подобно тургеневскому Павлу Петровичу Кирсанову, стоя на литературном крыльце, закрывает нос надушенным платком при виде «босоногого деревенского детства». Чем-то оно особенно (и уже заметно часто) раздражает его критическое обоняние». И бесполезно было бы объяснять, что ничем оно меня не раздражает, напротив, автору этих строк приходилось — и не раз — сочувственно писать о таких талантливых питомцах сельской музыки, как Николай Дмитриев и Михаил Андреев. Моего оппонента это все равно не переубедило бы. Ведь гнев его вызван на самом деле уже самим предположением о наличии таланта у «городских» поэтов. И вот он уже напускается на одного из них (Михаила Поздняева) и в выражениях отнюдь не парламентских ругает наиболее удачные, наиболее глубокие его стихи («Книжное обозрение», 22 ноября 1985 года). Этот молодой поэт стал мишенью нападков, как нам объясняют, «потому, что сам факт появления книги Поздняева... есть спор с целой системой сложившихся взглядов». Вот так: раз некие взгляды сложились, все, что им хоть в малой степени не соответствует, должно искореняться, опровергаться...

В призыве «больше поэтов хороших и разных» одинаково важны оба слова «хороших» и «разных». Что касается разных, то с этим иные издательские работники согласиться никак не хотят. Ни на миг они не могут допустить, что их собственный вкус, «сложившаяся система взглядов» могут дать осечку,— в результате самобытному автору сквозь все издательские препоны прорваться очень трудно. Честь и хвала «Советскому писателю», издавшему в один год три добротных книги «городских» поэтов, но ведь на молодых авторах специализируются другие издательства — «Молодая гвардия» и «Современник», в них даже есть специальные молодежные редакции. Однако «городские» поэты в этих редакциях явно не в почете.

Нетрудно при желании найти человека, ответственного за издание плохой, некачественной книги. Но кто и когда будет у нас отвечать за то, что та или иная талантливая книга не вышла, не прошла, была зарублена на корню?

И хочется сказать: да, гений не появлялся. Но поэты есть. Серьезные, настоящие поэты. Надо только уметь их увидеть. И поверить им. И поддержать их.

И. БОРИСОВА



УРОКИ ЧТЕНИЯ

„[Н]ация без большой прозы то же самое, что государство без армии, финансов или промышленности”. Мысль эту я услышал в литературном споре, цитирую без ссылки, но сразу же скажу, что мне она нравится. В справедливости ее убедиться несложно. Достаточно вычесть в воображении из нашей жизни Толстого, Достоевского. Тургенева... Не правда ли, даже в воображении лучше вычитать что-нибудь другое?»

Этими словами открываются «Рабочие заметки» Виталия Семина — книга о литературном труде и творчестве, о творческом взаимоотношении со временем и современниками. В ней собраны литературно-публицистические выступления В. Семина, внутренние рецензии, написанные для «Нового мира», страницы из записных книжек. В совокупности это рабочий день писателя за пределами главного занятия — писания прозы; это зона контактов с литературной средой и с теми, кто пробует себя в литературе, это также диалог с самим собой — страстный взгляд на себя как на человека пишущего, не исповедь, а скорее доискивание того, как создается в тебе самом художественная правда.

Что в литературу пришел новый крупный талант, стало ясно, когда в 1965 году в июньском номере «Нового мира» была опубликована повесть В. Семина «Семеро в одном доме». С «Новым миром» была связана его литературная работа в последующие годы. Это была пора, когда писатель, обретая известность, попал в русло современной ему литературной жизни и ему предстояло определить качество, характер и уровень взаимодействия и с литературным окружением и с литературой.

Внутренняя тема книги — созревание большой прозы в духовных недрах нации, в нем самом как ее представителе. Тема эта не задана и не программна — писателя уже нет в живых, он умер, едва дожив до

пятидесяти. Эта тема фундаментальная для писателя. Случайным может показаться повод, по которому он выступает, разрозненные заметки и рецензии, но всякий раз как сквозь окошко, вдруг распахнувшееся, нам дается возможность заглянуть в мир духовного труда, радость которого мучительна, а конечный результат, едва успокоив ясностью, опять ждет развития. Напряжение здесь не тяжеловесно, находки внезапны и прививают вкус к бесстрашию.

Свое предисловие к книге Валерий Деметьев назвал «Воссоздание человечности» — часть фразы в рецензии Семина («Художественная литература — ведь это воссоздание человечности»). Художественность обнаруживает природу души и тем самым ее восстанавливает. Здесь своя экология, которую Семин и стремился осмыслить. Он искал художественность в себе и в окружающем, ждал ее, подстерегал, предчувствовал. Она была стихией его сознания, и он боялся не доверять ей.

Литература пишется людьми и о людях, но не так часто само слово оказывается необъяснимо живым, не отражением, не имитацией жизни, а ею самой. Эта возможность воспроизведения, воссоздания жизни в словесной ткани была для Семина тайной, присутствие которой он ощущал в себе, испытывая жадный, азартный интерес, когда угадывал ее в других. И тут ни ния, ни репутация, ни клишированные аргументы не имели над ним власти.

«...в «Царь-рыбе» можно отыскать все, за что эту книгу упрекают и что, казалось бы, противопоставлено большой прозе, — удивляется и радуется Семин. — А именно — некую региональность места действия, персонажей, языка.

Невозможно одним или многими словами определить, как В. Астафьев в этой своей работе добивается того, что Ю. Трифонов назвал сотворением художественного. Как региональность у него

превращается в компонент большой прозы. Но если все же попытаться, я выбрал бы слово «впазд». Это значит, что для каждого слова найдена удивительная, завораживающая мера точности. Однажды я видел лихую плотницкую работу. Остро отточенный топор был в такой близости от пальцев левой, придерживающей заготовку руки, что на это нельзя было смотреть. Или, если угодно, глаз от этого невозможно было отвести.

Когда слово бьет впазд, возникает то же завораживающее ощущение...

Но «впазд» — это не только удивление перед меткостью, перед непрерывным попаданием в десятку, не только страх перед срывом — сколько же можно! Есть и другое выражение — как ключ в замок. Как ключ в замок, слово входит в душу».

Другой путь...

«...я простой подземный рабочий, где уже проработал двадцать пять лет в качестве забойщика, и руки к пишущей машинке повинуются очень грубо, так как вибрация дает о себе знать». Слова эти исполнены душевного достоинства и литературной красоты, — пишет Семин дальше, разбирая роман автора, чье письмо процитировано. — Нельзя не оценить руки, которые „к пишущей машинке повинуются очень грубо, так как вибрация дает о себе знать“. Литературная неправильность здесь не только не мешает нам оценить красоту, но как бы сама является условием красоты».

Восприятие Семина, рожденное его собственной художественной одаренностью, отшлифованное жестоким нравственным самовоспитанием, тонко отзывалось, повиновалось зову художественности, откуда бы этот зов ни исходил. Это было свойство его натуры, которое могло бы казаться даже чувством долга, если бы не было столь естественно, столь произвольно, ибо явление художественности всегда внезапно. Он готов был к непредсказуемости и не боялся ее, потому что всегда был открыт чужой одаренности — отлилась ли она в законченное произведение зрелого мастера или еще только мучительно искала формы и отзвука, мучительно выходила на связь с другими. Вибрация художественного сознания доходила до него даже сквозь толщу малограмотности, а в случае с романом «Потеряна совесть», написанным «простым подземным рабочим», сама малограмотность оказывалась для него красноречивой.

«Наедине со всеми» — так называется одно из выступлений писателя, опубликованное в «Рабочих заметках». Это точная самоориентация. Шум жизни был для него

прежде всего шум человеческий, а уединенность и отъединенность обостряли возможность слышать этот шум очищенно. Сквозь скрип и лязг хозяйственной трудовой жизни Семин слышал дыхание, движение духовной жизни людей.

Читая «Рабочие заметки», понимаешь, как не случаен был для Семина сюжет повести «Семеро в одном доме». Современная ему народная жизнь воспринималась им как дом, постоянно превосходящий себя. Ощущение духовной обитаемости этого дома позволило Семину зорко определить и тот неопознанный жанр, который сформировался в литературном самотеке последних десятилетий. «Смешно, конечно, говорить об устном народном творчестве, — пишет Семин, разбирая роман «Потеряна совесть», — когда видишь перед собой пачку отпечатанных на машинке листов, однако мысль о том, что перед тобой один из новых образцов устного народного творчества, возникает невольно. «Потеряну совесть» (автор так и пишет «Потеряну») хочется назвать народным романом... Значение рукописи... в непосредственности, наивности, в неподдельности, с которой И. Р. изображает народную среду. Свою среду. На мой взгляд, это редчайший случай (мне другой такой неизвестен), когда о народе пишут вот так, изнутри, когда автор ни образованностью, ни профессией, ни бытом, ни взглядами на жизнь — короче, ничем не отделился от своей рабочей среды. Его выделяют лишь несомненные литературные способности и столь же несомненное стремление к литературному творчеству».

Внутренняя рецензия, как правило, пишется для двух людей и двух инстанций — для автора и редакции, оплачивается эта работа весьма скромно и считается трудным литературным хлебом. Семин на эту работу тратил огромную художественную энергию, она отвлекала его от своей прозы и тяготила, но он делал ее с полной отдачей. И не только потому, что был честен, добросовестен и не хотел даром есть редакционный хлеб. Едва он касался чужой души (а каждая рукопись — это автопортрет неизвестного), как в нем просыпался художник — и дальше действовал только он.

Чужая рукопись была для него выплеском безбрежного моря современного народного сознания. Когда прочитываешь его рецензии разом, видишь, как една, многозначна и непокойна открывавшаяся ему и воссоздаваемая им картина. Как разнообразны всякий раз взаимоотношения пишущего с жизненным материалом, с эпохой и с самим собой. В этих семинских рецензиях, казалось бы сугубо деловых, есть свое лири-

ческое начало — самоощущение человека, оставшегося лицом к лицу с неизвестностью, которую он должен всякий раз осваивать заново как человек, он, привыкший оставаться наедине со всеми.

Наедине с городской окраиной оказывается герой-повествователь из повести «Семеро в одном доме». Наедине с фашистской системой истребления оказывается герой «Нагрудного знака „OST“». Наедине со всеми, с бесчисленными людьми, почувствовавшими истинно или обманчиво зов художественности, ощущает себя Семин-рецензент.

«...лица корчится безязыкая — ей нечем кричать и разговаривать». К этим корчам Семин относился серьезно, зорко различая мгновения, когда язык обретен, а художественное сознание созрело и готово себя выразить. Он угадывал всякую попытку духовной жизни отстоять свое место в человеческом существовании. Каждая его рецензия — исследование этих попыток, то победных, то провальных. Уроки побед и провалов, семинские их осмысление стали теперь нашим достоянием: в наплывах и нагромождениях заштампованного мышления, поверхностной образованности, натасканного профессионализма Семин находил пути, которыми пробиралась художественность. Об авторе романа «Потеряна совесть» он писал, что «малограмотность оберегает его от множества подводных литературных камней. Он достоверен потому, что ничего не знает о недостоверности».

Вспомним, что отстаивающая себя человечность лежит в основе и «Семерых...», и «Нагрудного знака...», и маленьких, классически чистых рассказов Виталия Семина. Отстаивающая себя художественность лежит в основе его литературных оценок. Он предостерегает от литературы, «паразитирующей на социологии, психологии и сопредельных науках», когда «в обращении запускается некоторое количество прошедших беллетристическое шлюзование философских, социологических и иных научных идей». Он упрекает критику, когда она поддерживает произведения, содержание которых исчерпывается одним прочтением, и «со странным смущением и неохотой» пишет о книгах (как в случае с «Царь-рыбой»), которые своей неординарностью требуют возвращения к себе, нового, углубленного прочтения, ибо «сложно идти вслед за писателем, заглядывающим в самые глубины жизни. Бог весть что там можно обнаружить. Не пускать «на улицу» — это ведь не только метод воспитания, но способ самозащиты. К тому же там, где пропорции добра и зла так смешаны, трудно ограничиться выставлением оценок. Надо искать смысл жизни».

Выставление оценки совсем не главный и даже не финальный момент в семинских рецензиях. Реестр достоинств и недостатков — при всей щедрости конкретного анализа — не исчерпывает их содержания. Семин всякий раз изучает рукопись как характер, как живой перекресток, живое средоточие множества сосудов, в которых пульсирует, по которым бежит внутренняя жизнь человека, всегда социальная и всегда неповторимая, даже когда кажется, что все индивидуальное в человеке стерто.

Разбирая одну из присланных в редакцию рукописей, Семин пишет: «Это повесть добрая, славная, немного грустная о жизни, которая складывается из мелочей, на поверхности которой только мелочи видны, а события крупные проваливаются, как будто и не взбаламутив будничного течения... И может быть, не события важны, а как раз это отсутствие событий, непрерывное течение; не вспышки, а будничные шорохи... «Дунай», коммунальный коридор, дети, ежедневная работа, разговоры с соседями. То ли судьба, то ли среда... Среда, что ли, такая инертная, жизнь ли по кругу идет. Уровень сознания, что ли, такой, что человек не очень себя еще осознает».

Семин улавливает невидимый рубеж как знак авторской беды. «Автор описывает простую жизнь, дает нам очерк нравов». Но! «Но сам при этом как бы опрощается». «Инертность», — пишет Семин, — должно быть, самый тяжелый и самый опасный недостаток среды, которую автор нам показывает». Но инертен и сам автор. Беда среды продолжается в авторе. То, что автор взял эту среду описывать, уже является преодолением инерции, шагом если не вперед, то в сторону. Надо ли этот шаг воспринимать как отступничество, которое автор хочет скрыть от себя и читателя?

«В повести есть доброта, но есть и любованье, — продолжает свой диагноз Семин. — Любованье — это установка. Хвалишь своих — обязательно замахнешься на чужих. Своих достоинств не найдем — чужие обругаем. Автор нет-нет да и замахнется на образованных. На вежливых! Не за что-то, а просто так. Потому что чужие».

Семин определяет опасный соблазн этой инертности, он вскрывает ее нравственную механику, вполне, казалось бы, неуязвимую. «Иван любит Марью, а Марья — Ивана. Это вызывает симпатию, выделяет этих двух людей. Любовь дорого ценится в мире. Иван сохраняет пусть не полную верность. И верность ценится еще выше, чем любовь. Но на шкале человеческих ценностей есть и более высокие отметки. Это поиски

более высокой духовности, недовольство собой и своей средой...

Установка на любование подсекает нашу способность анализировать. Взгляд благодушно настроенного человека не очень внимателен. Все ему кажется простым, извинительным».

Искусство семинского анализа своим предметом имеет прежде всего взаимоотношения автора с жизненным материалом. Природа таланта таит в себе качества времени. В какой-то мере талант — индикатор времени. Изучение природы таланта, даже скромного, дает возможность понять время, возможность, которой мы часто пренебрегаем. От рецензии к рецензии Семин изучает взаимоотношения индивидуального художественного сознания с течением современной жизни. То, что художник такого уровня, как Семин, выбрал этот предмет, сделав его на протяжении тех лет, когда писал внутренние рецензии, едва ли не основным в своих маленьких, но повседневных исследованиях, подтверждает, что и здесь мы имеем дело с реальной потребностью времени. Потребностью в самоосознании, в самоанализе, в рефлексии, являющейся качеством создающим, а не размагничивающим только.

Впрягаясь в воз чужой художественной коллизии, Семин уже собственной художественной энергией довоссоздает ситуацию, открываемую неведомым ему автором, причем сам автор становится как бы одним из персонажей этой новой ситуации. Так, разбирая повесть, где главному герою, честному и энергичному инженеру, люди представляются «неким безликим монолитом, каким-то безличным переплетением мельчайших интересов, которые посягающему вначале казались недостойными предварительного учета», Семин пишет, что у автора «некая невнятность, приглушенность в изображении характеров и человеческих отношений... согласуется с его главной мыслью». То есть автор как художник повторяет ошибку своего героя — руководителя строительства.

«У посягающего ведь свои мерки: правда, справедливость, прогресс, а тут — свои...» — пишет Семин о герое повести. Но как герою приходится соизмерять эти мерки, так и автору приходится соизмерять слова, из которых выстраивается повесть: «проблема слова наполненного и полого, выражающего или только намекающего, речи ясной, открытой и заикающейся от сомнений прекрасна знакома автору». И «анализ — сильная сторона его повествовательных способностей». Поэтому Семин советует редакции автором заинтересоваться.

Для прораба Гороховцева (автор рукописи — инженер Юрий Шищенко) «его дневник... форма сохранения времени. Не утилизация его отходов, как это бывает на больших заводах, где из отходов главной продукции делают зажигалки, не литературные упражнения на отдыхе, а осмысление и закрепление рабочего времени, борьба с забыванием и размыванием, с тем, что в науке называют энтропией. Главное дело жизни вызывает и главные переживания. А это непосредственно приводит нас к литературе... Не само производство изображает Юрий Шищенко, а человека в этом производстве. Человека, у которого должен быть «отлажен организм», который записывает о себе и такое: «Ни от чего, наверное, человек так не мучается, как от отсутствия любви». Или же восклицает: «Это у нас вроде молитвы дурачья: все спишут!» Который с сочувствием приводит такие размышления: «Вся эта тяжесть, внутренние слезы, стоны, истеричные поступки, вся эта жалость к себе: «несправедливость, несправедливость», — все это от веры в некую высшую справедливость, в других, более умных, честных, более справедливых и честных, чем ты сам, людей. Ты хочешь на них переложить тяжесть суда. А человек прежде всего должен судить себя сам. Ты сам-то доволен собой? Не внешними успехами, а успехами духа твоего? Лишь они ведь имеют значение. А им хозяин только ты»...

«Его приятно цитировать,— пишет Семин. — «Хожу по шпалам, словно в юбке...» «Двери, изгрызенные замками...» «Дорога в мыле. Трактора натягивают грязь»...» Эти точные подробности радуют Семина, но ими его радость не исчерпывается. Не исчерпывается и анализ. Правда, и выпуклость деталей материального мира, мира строительства, мира производства, заставляет его проследить их происхождение — происхождение пластичности и природу этой пластичности. «Главное дело жизни вызывает и главные переживания». Пластичность деталей порождена здесь поглощенностью автора рукописи своей прорабской профессией. Его душевный мир реализует себя в этой профессии. Наблюдательность и меткость выражения, эти первоначальные приметы одаренности, необходимы, но недостаточны. Семин выясняет, насколько личность прораба Гороховцева реализуется в его записках, насколько художественна сама эта исповедь прораба, насколько дело и его осмысление позволяют понять человека, этим делом поглощенного.

В рецензии на повесть Виктора Козько «Високосный год», напечатанной в «Новом мире» (эта публикация ввела в литературу

новое имя), Семин отмечал, что в ней «заложено чудовищной силы материал» (фашистское нашествие глазами трехлетнего мальчика), и определял тот момент, когда автобиография становится фактом художественным, когда «автобиографичность... живой фермент, усиливающий ощущение достоверности, усиливающий наше доверие к автору», а художественная правда создается чем-то еще иным. Чем?

«От одного исторического события,— пишет Семин,— человеческие судьбы расходятся как будто веером. И на каждый луч что-то выпадает, какое-то испытание. Но бывают биографии, как стержень, на который нанизывается все, как сомкнутый веер, в котором сошлись все цвета спектра. Тогда, собственно, и возникает ощущение судьбы. Разрозненные удары только равняют человека с другими. Мысль о судьбе приходит, когда человек становится ее любимой накопительницей. На вершине такой биографии хочется спросить — зачем? Ведь не просто так? Нельзя ведь согласиться, что это лишь слепая игра причин. Будто сама судьба своей настойчивостью требует от нас взрыва духовной энергии, пламя которого осветило бы темные сплетения причин, их дальние истоки».

«Вася... обращаясь в основном к Муле, продолжает своим сонно-серьезным голосом:

— Ага... Питание трехразовое. Утром каша пшенная или перловая. Или из сечки. На растительном масле. Компот из сухофруктов или чай. Хлеба сколько хочешь. Дежурный по столу возьмет в хлебобрезке и принесет. И сливочного масла двадцать пять грамм к чаю. Хочешь — на хлеб намажь, хочешь — в кашу положи. Я больше люблю на хлеб. А есть — бросают в кашу...»

Убаюканная этими подробностями, их простотой и достоверностью, критика повести «Семеро в одном доме» свела семинское письмо к их обманчивой незатейливости. Посмотрите на эту фразу, короткую, но не рубленую, — каждая подробность требует самостоятельной, почти суверенной фразы, потому что для человека с голодной послевоенной окраины весом каждый из двадцати пяти граммов сливочного масла. Могут улыбаться Васины слушатели, может улыбаться и автор повести — все они помнят свой голод и право на эту улыбку имеют, но у вас сжимается сердце.

В одной из рецензий, сравнивая профессию прозаика и профессию сценариста (а как часто прозу подменяют сценарием), Семин писал: «Прозаику бы потребовалось гораздо

больше груди и гораздо меньше места и слов, чтобы изложить и изобразить то же самое (что и сценаристу.— И. Б.). Где-то сказано: точно назвать вещь значит проникнуть в ее сущность. Прозаику нужно точно назвать, сценаристу достаточно описать. На описание тратится больше слов. Да и слова берутся не самые главные. Можно ведь прибавить еще одно. И еще, если покажется мало. Обилие описаний, анкетных характеристик, которые дают анкетное представление о человеке, но не создают художественного впечатления о его характере...»

У самого Семина фраза не только слышна, но кажется — и видна. Семин не описывает, как голодал Вася. Голод проступает в ритме фразы голодавшего человека, когда он повествует о сытом трехразовом питании.

Но в этом и характер. Муля, которая «сколько лет... одной кашей жила», о каше говорит иначе. «На фабрике, в столовой... как подходит моя очередь, так кассирша говорит: „Знаю, знаю, Анна Стефановна, вы, как всегда, полборща, полкаши и полхлеба“». В Мулиной речи, как и в Мулиной жизни, мгновений уединенности и самопоглощенности почти нет. Все состояния, самочувствия переживаются сообща. Голод, замужество, физкультурные успехи, туберкулез, оккупация, дети... вне контакта с другими она, кажется, и не видит себя. Обо всем говорится мимоходом, походя, наскоро — и в помине нет Васиной сосредоточенности на подробностях, то есть подробностей множество, но у подробностей нет крупного плана, они несутся лавиной, сменяя, сменяя, снимая друг друга. «И правда, помогал, печку топил, смотрел, чтобы горела, пока я с работы приду. А понимать, как деньги достаются, так и не научился. С Ирккой они все смеются надо мной: «Муля, ты колбасу, как портянку, на метры покупаешь?» — мол, такая дещевая. «Муля, твоими яблоками только мосговую мостить». А какую я могла на свои деньги колбасу им покупать? Только ливерную. Сама я ни кусочка колбасы, ни яблока. Утром встану — еще темно, еще они спят, — приготовлю им завтрак, бабке, матери своей тоже приготовлю, одному в шкаф положу, другой оставлю на столе, матери — на подоконнике. Напишу на каждой порции записки, а они проснутся, все перепутают и смеются надо мной».

Темп Мулиной речи не дает фразе костенеть. Она двигается короткими толчками, но она не короткая, не ложится камнем, не впечатывается, не самодовлет. В ней нет тяжелой определенности Васиной речи. Это яркая, струящаяся, праздничная ткань жизни, сотканная из ужасов и их одолений.

Муля победоносна и такой себя ощущает, даже в гибельные минуты. Ее жизнотворная душа в ритме фразы, в интонации ее исповедей и разговоров. Она нигде не изливает душу, душа сама изливается в ритмах.

Небытие поглощается бытием. У Мули всегда бытие. «Жалко-то жалко, а и некогда было желеть. Себя некогда пожалеть. Испугаться за себя некогда. Немцы, когда в первый раз пришли, народу на вокзальной площади положили — и военных, и беженцев! Бабы мне говорят: «Аня, нет ли и твоего Николая там?» Я и побежала. Как увидела эту площадь — боже ты мой! Немец на меня автоматом, кричит по-своему, а мне хоть бы что. Иду от мертвого к мертвому, в лица им засматриваю. И после страху этого было столько, что я перестала различать, где страх, а где не страх».

Жизнь Мули бежит под таким напряжением — война это или мир, — что исчезает даже инстинкт самосохранения, а может быть, в неразличении страха и нестраха и есть высшее проявление этого инстинкта. Кажется, что уже и нет возможности жить, все стерто, все вытоптано, а Муля пляшет и пляшет, творит и творит самозабвенно.

Кажется, что и сюжет повести выплясан, выговорен ею. Сюжет произведен ею, он возникает как проекция ее речи, ее слова. Она экранит все происходящее. Это экран живой, мерцающий. Он всевозможно взаимодействует с тем, что, казалось бы, должен отражать, и только. Если в Муле что-то отразилось, значит, она приняла в этом участие, значит, она об этом позаботилась. Забота ежедневная, изнурительная, проклинаемая за приземленность и малость, обращившаяся у Семина величием характера, который не желает считаться с уничтожением, а желает восстанавливать и творить.

Стихия творчества воспроизведена здесь Семиным досконально и поэтично. Сюжет каждого эпизода Муля поворачивает неожиданно и своевольно. Версии всех окружающих, включая версии самого повествователя и читателя, оказываются поверхностными и несостоятельными. При всей тривальности будничных забот здравый смысл обычно посрамляется Мулей.

Надо выдержать и продержаться. Даже память о муже-машинисте, погибшем в горящем паровозе, хочет жить по этому закону. О его гибели Муля предпочитает знать приблизительно, а не точно. Приблизительность знания, обилие вариантов и подробностей, дошедших до нее, позволяют ей проживать эту гибель по-новому, по-разному. Возникли определенность, смирилась Муля с ней — жизнь памяти оборвалась бы. Поэтому она не хочет встречаться с проводницей,

которая видела даже, как хоронили Николая. Точное, уверенное знание для Мули ложно, потому что прекращает живую жизнь ее памяти, уносит живого, гибнущего, но еще не мертвого Николая.

Семина так написал этот эпизод, что и мы не доискиваемся точного знания о Николае. Мы охвачены поэтической, воскрешающей жизнью Мулиной памяти. Сцена редкостной глубины...

О бабе Мане, матери Мули, у Семина сказано: «Маня ходит по двору босиком. И кажется, что Маня не чувствует своими плоскими ступнями ни холода, ни боли — так равнодушно и подолгу она стоит на мокрой земле или ступает по битому стеклу». Здесь то же самочувствие, что в Мулином признании: «И после страху этого было столько, что я перестала различать, где страх, а где не страх». Это не отсутствие чувств и не отсутствие страха, который есть одно из самых резких и ощущаемых чувств. Это освобождение от их поработощающей власти. Не самосохранением и самозащитой занято существо человека, а деятельной жизнью сердца.

Повествователь в «Семерых...», журналист Витя, работает в городской местной газете. Он, зять Мули, человек интеллигентный. Эпос окраины, эпос, рожденный Мулиным словом, потребовал еще одного отражения. Муля и Мулина речь настолько властвуют в повести, что повесть, казалось бы, могла быть написанной от лица Мули. Но не Муля ведет повествование, хотя несколько глав — одна она. Между Мулей и автором повести есть еще ее зять, повествователь, от лица которого и идет рассказ. Как ни идентичен — биографически — этот герой автору, он все же от автора отчужден. И отчужден настолько, чтобы находиться в поле его зрения как самостоятельная, суверенная фигура. Как герой, в сознании которого отражается окраина Мули. Мулин зять Витя, образ его мыслей, образ его восприятия для Семина такой же напряженный и многоречивый узел сознания, как и сознание Мули. Такой же предмет художественного постижения жизни. Двойное отражение окраины, двойное ее преломление — в сознании Мули и в сознании Вити, — сопоставление этих двух главных восприятий (а множество других персонажей повести — лица не только действующие, но и пытающиеся свою жизнь осознать) углубляет художественную перспективу повести.

Когда у Вити рождается сын (а Мулина хибара перестраивалась в ожидании его появления на свет, и сквозной сюжет связан с этим), молодой отец подытоживает: «Со случайностями было покончено — у меня

сын». Несколькими строчками ниже: «И вообще я еще никак не думал о сыне. Просто на старой, грязной доске роддомовских объявлений мелом было записано, что судьба моя отныне изменилась». Как назвать мальчика? Витя мучается тем, чтоб не называть сына именем своего отца. «И я решил, что предпочту любое безличное имя имени, которое я люблю». Как память Мули хочет удержать мужа на грани жизни и гибели, так сознание Вити сопротивляется тому, чтобы лицо отца растворить в начинающейся судьбе сына. То, что в Муле существует стихийно, то в Вите, не теряя поэзии, находит свое осмысление. Поэзия осваивает сознание человека, осознающего себя. Не только бурливая, многоязычная жизнь послевоенной окраины выражена тут художественно, не только Муля, которая ее дитя и сказитель, но и мир человека, пришедшего сюда извне, порднившегося с окраиной кровно, но не растворяющего себя в ней. Зять этой окраины, Витя взаимодействует с ней сложно и ответственно. Семин увидел в этом взаимодействии не только факт Витиной жизни, но и факт жизни окраины. Они идут навстречу друг другу, и Муля нуждается в Витном поэтическом осознании, так же как Витя в ее жизнетворной энергии, хотя антитеза эта поверхностна и скорее тормозит понимание, чем углубляет его. Но она напрашивается, и мы прибегаем к ней, чтобы ее преодолеть. Взаимоотношения Вити и окраины неожиданны и необозримы. Простота и обманчивая тривальность житейских ситуаций, ярко живописных при этом, таят в себе духовное напряжение, актуальное не только для послевоенной жизни. Под этим напряжением живут самые разнообразные персонажи повести — и это напряжение не осознается ими, но двадцать пять граммов масла хочешь в кашу, а хочешь на хлеб — лишь первый, верхний слой их ощущений и забот.

Недра этой жизни Витя постигает, лишь вживаясь в нее. Познание движется участием в ней. Сюжет познания — одна из скрытых пружин повести. Познание выступает как ипостась творчества. Творчество для Семина не только секреты ремесла, которые надо вызнать, выработать и нажать. Творчество для него — в изначальной природе жизни. Ощущение этого было его рабочим состоянием, рабочим самочувствием. Это был быт его работы. В «Семерых...» он открывал этот быт для себя. Оттого самый быт и персонажи послевоенной городской окраины неоднозначны у Семина и не исчерпываются приметам и пределами — ни географическими, ни историческими, ни социальными. Жизнь предстает в этой повес-

ти как творчество и, открывая его законы, в ходе писания повести, Семин подчинял себя им. Он воссоздавал человечность и одновременно осмыслял, как она воссоздается. «Рабочие заметки» подтверждают, как важно для него было это осмысление и какая духовная сила нужна была, чтобы эту двойную работу вынашивать в себе и тащить на своих плечах. Видимо, пришло время для этой тяжести.

Семин писал одному автору: «Есть писательская точность и есть точность коллекционера. И они не совпадают». В семинском познании нет ни азарта, ни даже страсти. Оно выстрадано всякий раз, как свалившаяся неизбежность. Возможно, отсюда и художественность.

«...люди еще и потому люди, что смерть их не приравнивает... — писал Семин по поводу повести Виктора Козько «Високосный год». — Нет равенства в смерти матери, спасавшей детей, и в смерти фашистского солдата, спасавшего свою жизнь. Не о месте здесь речь. На этом уровне расчеты уже состоялись. Всему свое время. Но не только прошлым живо страдание памяти. Это надо понять. Прошлое не менее реально, чем настоящее. Но вот опасность! «О горе! — восклицает поэт. — Я не помню зла!» Таков путь человеческой памяти. В нем и благородство, и жизненная сила. Даже если сюда не вмешаются переменчивые интересы дня, то прошлое в нашей памяти вначале оправдочно дабливается, а затем тому, что невозможно оправдopodobить, выдается как бы поправочный коэффициент. Оно рассматривается как катастрофическая вспышка невероятностей. Но мы-то, жившие в то время, знаем всю будничность тех невероятностей. Мы знаем, как важно, чтоб этот урок целиком отложился в памяти человечества, в его сознании, в его сверхсознании.

Нет, не памятью на зло сильна повесть В. Козько. Она сильна памятью на высочайшую нравственность, которая тоже была рождена в то время. Нота высочайшей нравственности, которая звучит на протяжении всего рассказа, — замечательное достижение В. Козько. Война только исходная точка повести, начало биографии».

Это самодиагноз, правда и о себе самом, которая кристаллизуется и формулируется в ту минуту, когда убеждаешься, что твой путь не единичен, и в этом доказательство как минимум его реальности, а может, и истинности.

Внутренние рецензии Семина — это осмысление и собственного художественного опыта.

Что мучает писателя?

«...косность материала, из которого ты сделан», «Что бы там ни было, отвечать надо за себя. Страшнее всего собственная косность... Как ее преодолеть?»

Записные книжки читаются как дневник внутренней работы. Однако записи в нем не только и не столько итог, вывод, совет и мораль. Здесь физиология творческой мысли, держащей преодолеть собственный уровень и душевные для нее пределы. Здесь мысль имеет свой образ жизни, и это образ жизни именно семинской мысли. «Для того чтобы мысль можно было представить себе предметно, надо, чтобы на нее было организовано длительное давление. Мало того, человек должен попытаться согнуть свою мысль. И обнаружить ее неподатливость. Ее неотделимость от чего-то другого. Мучительного. Совести. Всего существа. Думают словно бы каждой клеточкой тела».

В записных книжках писателя мысль предстает как образ, доступный зрению и осязанию. «Растягивание мысли чувств между полюсами предрассудка и живых наблюдений. Я еще не знал, какую толщу в себе мне надо переработать».

Но образность — это еще не художественность, точнее не всегда и необязательно художественность.

Жесткий самоанализ как внутренний двигатель разрабатывает дыхание, способность и вкус к большим дистанциям и масштабам. Бесстрашие и беспощадность этих самодиагнозов продиктованы напором творческой энергии, художественной энергии, уже готовой к большим жанрам, уже жаждущей их. Эти диагнозы — факт не одной только нравственной жизни, но, может быть, прежде всего художественной.

Толстовское стремление и толстовское мучение все свести к единству, судя по записным книжкам, переживалось Семиным — без каких бы то ни было аналогий — лично, сокровенно. Про одного знакомого он записывает: «И ведь наблюдателен, любит природу. Это он заметил, что в туман дерево выступает на опушке отчетливее. Одно дерево отдельно от других».

Этот туман, густеющий и редющий, выделяющий одного из всех или всех сразу — в легкой мгле или массивно, — тронул вдруг внимание Семина не из любезности к собеседнику, а потому что здесь есть образ его художественности, стремящейся уловить парение единичной судьбы в потоках общей жизни. Гармония «Семерых в одном доме» и его маленьких рассказов «Ася Александровна», «Наши старухи», «В гостях у теток» — обретенная согласованность, согласие, чистое художественное чувство, счастливо достигшее воплощения.

Сам выбор этих вещей среди многих других и среди им написанных, само появление этих вещей на журнальных страницах было подобно пейзажу, так удивившему писателя. Здесь была художественная мера отчетливости, мера исключительности, мера неповторимости пришедшего в журнал большого таланта.

Журнал — это инстанция, которая кристаллизует художественное сознание общества. Он может быть любим рафинированным читателем, но его корневая система разрастается в почве и толще народного сознания. Разрастается непостижимо, и эту непостижимость стоит ценить. Трепет восприятия чужой одаренности и страх, что она выскользнет из рук, входят в состав профессиональности и деловитости современного журнального работника, и без них его нет. Семин был узан «Новым миром». И это узнавание было творчеством.

Дальше он узнавал так же, как узнали его. «Из самотека, который мне пришлось читать, — писал он о своей работе в качестве рецензента (1974), — пришли в журнал В. Козько с повестью «Високосный год» и А. Каштанов с романом «Заводской район»... Повесть А. Кривоносова «Гори, гори ясно»... тоже как будто бы должна выйти в свет. С некоторым приближением можно получить такое отношение — 3:30. Из тридцати рукописей, прочитанных мною примерно за два с половиной — три года, выделились три рукописи, которые смело можно назвать значительными. Думаю, что уже это отношение говорит об уровне самотека, идущего в «Новый мир». В этом смысле мало что изменится, если знаменатель в приведенном мною отношении увеличить на пять—десять рукописей. Важно, однако, отметить, что вплотную к В. Козько, А. Каштанову, А. Кривоносову примыкают и другие авторы...

Вообще говоря, интересны все рукописи. Малограмотные, непрофессиональные, бесперспективные для печати, неудобные для чтения, плохо литературно выстроенные рукописи самотека представляют, на мой взгляд, живейший интерес для социологии, филологии, социальной психологии и даже для литературоведения. Возможно даже, что именно эти идущие в «знаменатель», возвращаемые авторам работы и представляют особый интерес для перечисленных мною отраслей знания, поскольку многие проблемы, которые в большой — скажем так — литературе являются нам в претворенном, преображенном и отредактированном виде, здесь сохраняют всю первоначальность. «Большая литература» выработала известные сюжетные схемы (скажем, тип

производственного романа) — любопытно следить за тем, как авторы самотека усваивают эти схемы или оттаиваются от них. Вообще авторы самотека, как правило, полемизируют с «большой литературой»... и в то же время невольно копируют ее приемы, конструкции, схемы, штампы. В этом смысле авторы самотека, грубо говоря, делятся на две категории. На тех, кто как можно скорее хотел бы профессионализироваться и напечататься, и на тех, кто берется за перо потому, что уж очень сильны его жизненные переживания, потому, что «наболело»...

На уровне самотека разыгрываются настоящие трагедии. Я говорю не о графоманских притязаниях на литературную славу. Бывают авторы одаренные, необычайно работоспособные, преданные литературе, наделенные призванием, самосожженцы по нравственной своей природе и абсолютно бесперспективные из-за полной, всесторонней, если можно так сказать, малограмотности».

На пяти страницах семинарского отчета — логии самотека, людские судьбы и мучительная дистанция от жизни к искусству.

Это всякий раз напряжение, а быть может, и драма — момент отторжения того, что воплощено тобой в слово, от жизни, которой это слово наполнено.

Вот характернейшая для Семина запись: «Повесть идет к концу. И есть разница между требованиями сюжета, который стремится свести концы с концами, и требованиями того, как было на самом деле...» Конечность сюжета и нескончаемость жизни, которую он будто боялся повредить словом, им ограничив, переживались Семиным мучительно, и это мучение было искусством.

И чего больше — нравственной взыскательности и нравственной пронизательности или художественного ощущения неотторжимости себя от всех — в записи: «Не идешь на компромиссы — значит, вынуждаешь к ним других. Как долго тебе это удастся?» Оказывается, индивидуальный результат не абсолютен.

Записные книжки писателя — это беспрепятственное и плодотворное недоверие к себе. Это вопрос к себе самому прежде всего. Это изучение на себе самом непреложных законов единения с другими, остальными, всеми. Изучение кровеносной системы, объединяющей тебя со всеми, ее разветвленности, ее единства. Это эпическое мироощущение, обращенное внутрь собственной личности.

Эпос познает себя через своего исследователя. Может быть, отсюда рождается жанр эпического повествования от первого

лица. Не исповедь, не лирическая проза, не философское самопознание, а мир, отраженный в зеркале твоей собственной личности. Насколько это зеркало чисто, глубоко, не криво? Насколько вместимо и миру не тесно в нем? «...и существо, не принимающее на себя влияния внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек», — писал Толстой.

Семин подставлял себя под лучи собственного изучения преломлений внешнего мира в человеке. И этим человеком был он сам. «Что другим приходит в голову не те мысли, что и мне, я не допускал. Ведь мысль приходила ко мне с а м а. Я мог не звать ее, опасаться ее прихода — она все равно приходила. Мысль могла противоречить моим интересам, вызывать мою досаду. Она не прислуживала мне. Ее нельзя даже было назвать м о е й. Мысли были лишь вспышками охватывающего весь мир смысла. Я не мог ее изменить. Она могла меня изменить. И если она этого добивалась от меня, я не менялся, меня охватывал стыд. Собственная мысль мучила меня сильнее, чем страх перед Т. или кем-нибудь еще. От Т. я отдыхал после работы. Мысль не оставляла меня никогда. Могла ли с о б с т в е н н а я мысль так жестоко мучить меня? Будь она с о б с т в е н н о й, не переделал ли бы я ее себе в угоду? Для полного своего душевного комфорта? Смысл бескорыстен. Перед ним все мы равны. И только здесь выстраивается истинная иерархия личностей. За тем, кому больше открылось, надо изо всех сил тянуться. Мысль ищет другую мысль. Чем больше открылось, тем больше ты сам от этого зависишь. Зависимость от смысла, открывшегося тебе, так же сильна, как все другие зависимости: служебные, родственные, дружеские — или гораздо сильнее. Это дорога труда и опасностей. И это еще одна радость. Смысл нельзя выиграть. Он не откроется недостойным. Его добывают и оплачивают работой. Он требует самоотверженности. Поэтому корыстные от него отворачиваются».

Семин изучает собственную зависимость от жизни.

Последняя запись в «Рабочих заметках» относится к повести «Нагрудный знак „OST“». Запись о том, как отыскивалась правда, не сводимая к «фактической канве». Семин, по его признанию, долго не мог начать новую вещь — получалось «только то, что я сейчас думаю об этом. А ночью этой проснулся от ночного беспокойства, страха и почувствовал, что «оковы тяжкие» пали и все существо мое беззащит-

но, как в детстве... Вот этой беззащитности мне все время и не хватало». Правда о фашистском тоталитаризме оказалась в художественной зависимости от состояния детской беззащитности. «И я вспомнил самое главное — себя маленького в том страшном и огромном мире. И вспомнил запахи так, как они тогда достигали меня, и страхи мои, и надежды, и мою потребность в защите, любви, которая голодом, страшным неудовлетворенным голодом терзала меня все три лагерных года... Между ночным моим видением и словом расстояние огромное».

Слово избавляло от беззащитности, но чтобы это слово родилось, беззащитность должна быть восстановлена как предтеча.

Не надо думать, что творческая история написанных вещей со всеми материалами, которые ей сопутствуют (предварительные наброски и правленные верстки, черновики, записные книжки, дневники, письма и пр.), представляет интерес сугубо академический и сугубо личный, в обоих случаях частный. Творческая история, если восстанавливать ее не только хроникально-документально, но по существу исканий и самочувствий, способна ввести нас в труднодоступную область чисто духовной жизни и ее трудноуловимых процессов.

Мы получаем возможность непредвзятого соприкосновения с духовной человеческой жизнью. Публикация подобных материалов способна породить род чтения, углубленного духовно и формирующего нравственно. Ведь перед нами открывается особый вид труда — художественного, то есть самого человеческого. Не насилая материал преждевременными догадками и версиями, хотя отбор и монтаж уже есть версия, публикаторы и комментаторы могут оказаться культуртрегерами, миссия которых выходит далеко за рамки архивариусные.

Еще более важна, на мой взгляд, публикация материалов, связанных с незавершенными или даже неосуществленными замыслами. История неосуществлений того, что уже рождается в душе художественно чутких людей, может много рассказать нам о маршрутах и трассах, по которым предстоит двигаться человеку или по которым он уже движется. Физические пределы человеческой жизни или житейские обстоятельства — совсем не исчерпывающая, а порой и вовсе не главная причина, почему замысел остался неосуществленным. Но факт его возникновения и обстоятельства его незавершения, особенно если замысел занимал писателя долго, могут много открыть нам в познании жизни и ~~сама~~ себя. Изучение замыслов дает нам возможность

подсоединиться к оборванным концам, по которым шла энергия, еще не осознавшая себя настолько, чтобы быть воплощенной, но уже достаточно созревшая, чтобы искать выхода. Это созревание общественного самосознания, предтеча откровений, если они суждены.

В предисловии к повести А. Полякова «Море в ноябре» («Новый мир», 1977, № 12), умершего сорокалетним в канун первой своей публикации, Семин писал: «Общество, к сожалению, не гарантирует признание всем, кто безраздельно предан своему призванию. Но оно заинтересовано во всех таких людях без исключения. Свет, который они излучают, разной силы. Но природа его одна».

В повести «Семеро в одном доме» Муля предпринимает бесконечные перестройки дома, в котором у нее нет и, наверное, не будет угла, потому что она, не вылезаящая из житейских забот, принципиально не ограничена стенами одного дома, одного замысла. Вереницу ее планов, программ и забот, это неистощимое воспроизводство жизни, Семин восстанавливает как творчество, бесконечно длящееся и бесконечно выражающееся. Не случайно финал повести обращен к началу, к разговору о не вернувшихся с войны отцах. Только здесь, в заключительной фразе, Семин отрывает себя от повествователя, от Мулиного зятя Вити, как бы отделяя себя от того, что сейчас наконец осознал. Здесь впервые не Витя говорит — я, а Семин о Вите — он: «Он вернулся к столу, рассеянно слушал Длинного и Тольку и все думал о том, как Толька попросил, чтобы те, у кого живы отцы, подняли руки, и о том еще, как Муля сказала о себе — человеку завтра на работу....»

Виталий Семин писал:

«Как бывший школьный педагог, десятки раз проводивший уроки чтения, я по живой реакции своих учеников мог судить: художественное слово входит в их души, как ключ в замок. Нет, разумеется, никакой возможности проследить за тем, как развивается или, напротив, затухает эта первая живая реакция. Можно только предполагать, что в одном человеке затухает, в другом развивается. Но, проживший уже немало лет, я знаю: есть школа жизни, а есть школа духовного развития. Они могут не совпадать и даже противоречить друг другу. Духовное развитие обнаруживает при этом поразительную устойчивость, самостоятельность и даже независимость от школы жизни. Оно-то и помогает человеку преодолеть власть окружения и увидеть мир».

Понятно, какую роль во всем этом играют

литературные произведения, которые по праву можно отнести к явлениям большой прозы... Здесь говорилось о возможности мирного, что ли, подвига. Сотворение художественного — подвиг духа. Явление литературного шедевра этим нас и потрясает. Одновременно происходит и расширение наших представлений о возможностях человека, и постижение истинного назначения литературы».

Волшебство и труд кажутся понятиями несовместными. Труд — усилие и массивность, волшебство бесплотно и непостижимо. Труд поддается фиксации и учету. Волшебство неподотчетно, и «нет... никакой возможности проследить... как развивается или, напротив, затухает эта первая живая реакция», рожденная искусством живого, руко-

творного слова, волшебством, с которым сопряжены духовный труд и подвиг духа.

Живая реакция, в юных душах она возникла или в зрелых, — это воспроизводство жизни, ее приумножение. Художник, создавший живое слово, оказывается соавтором жизни. Что жизнь нуждается в этом соавторстве, Семин ощущал как призыв и предназначение. Жажду познания и самопознания подгоняла тревога. «Наклон, по которому летит наше время, становится все круче. Раньше, чтобы оно пролетело незаметно, нужны были какие-то опосредования. Теперь оно просто летит, и никаких опосредований не нужно. Хочется его удержать, растянуть хотя бы за счет скуки, которая была так страшна когда-то. Но нет скуки и нет времени».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Питляр. Современные притчи Арво Валтона.— **Валех Рзаев.** Слово об огне.— **И. Зайцева.** Поэт и его эпоха.— **Дмитрий Урнов.** Момент критики.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Андреев. Сокровищница идей.— **А. Знатнов.** «...будем хранить эту красоту...». — **В. Мшвениерадзе.** Тирания отчуждения.

Литература и искусство

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИТЧИ АРВО ВАЛТОНА

Арво Валтон. В чужом городе. Рассказы, повести. Перевод с эстонского. М. «Советский писатель». 1985. 359 стр.

«Все живое говорит примерами, а обдумывает каждый сам» — эта мысль, одна из последних в жизни, приходит в голову старому леснику Мартину Суття в повести Арво Валтона «Час перехода».

Поначалу фраза кажется странной. Может быть, неточен перевод? Скорее всего. Но о чем речь — понятно. И чем больше задумываешься в эти слова, тем полнее постигаешь заключенный в них смысл. Автор как бы дает читателю некий ключ к пониманию непростой сути им написанного. Жизнь говорит примерами, то и дело ставит их перед нами — факты, проблемы... Арво Валтон берет примеры отовсюду — из настоящего и из прошлого. Его примеры единичны, но не случайны. Пример как бы представляет от целого ряда явлений, которые «стоят у него за спиной». Нужно только найти то общее, что скрывается за отдельным фактом. Писатель идет путем индукции — от частного к общему.

Оттуда же, из последних размышлений Мартина, слова «притча» и «сравнение». Сравнение и притча — средства, способы обдумывания действительности, которыми пользуется художник. От конкретного, частного примера путем сравнения к образному, порой парадоксальному соответствию, прит-

че. Вот одинокий силуэт в освещенном окне многоквартирного современного дома. Темная полоса земли, грубо пересекающая зеленый газон. Два уличных фонаря друг против друга по обе стороны дороги. Шершавая, «неприродная» поверхность бетона под твоей рукой... Каким особым значением обернется все это для нас, читателей прозы Арво Валтона? Над чем заставит задуматься, что прозреть за простыми, казалось бы, примерами? Вот наиболее известный, несомненно обративший на себя внимание русского читателя рассказ «Мустамаяская любовь». Одинокий мужчина и одинокая женщина живут напротив, через улицу, окно в окно. Они вовсе не знакомы, эти «оконные люди», только смотрят друг на друга по вечерам, с нетерпением ожидают своих свиданий, а потом... у женщины даже рождается ребенок, дочка. «Разве то не был идеальный брак, о каком мужчины нередко мечтают: быть в ком-то уверенным и в то же время свободным», — восклицает автор, заключая рассказ об этой странной истории словами «Брак продолжался».

Поистине странная притча, не правда ли, — фантазийная, причудливая, ироническая, отчасти печальная. А ведь она о серьезном и непростом — о разобщенности лю-

дей в большом современном городе, об усталости чувств, о надеждах.

Притчи А. Валтона многосмысленны, многоплановы, эмоционально насыщены. В данном рассказе, к примеру, походя пародируется, «выворачивается наизнанку» схема мелодраматического повествования о любви «бедной, честной и красивой девушки, все состояние которой в ее богатой внутренней жизни», и разочаровавшегося «состоятельного человека благородного происхождения», находящего утешение «в соприкосновении с чистой душой», и т. п.

В то же время и здесь и в других рассказах и повестях Арво Валтона, идущий от конкретного, от примера, предельно реалистичен, весь в бытовых подробностях, достоверностях, деталях, какими бы невероятными ни были рассказываемые им истории. В рассказе «Проток», например, мы знакомимся со «среднеунылым» человеком по имени Сааре. Он жил в квартире номер 79 на первом этаже длинного серого дома, который людям, идущим из магазина к автобусной остановке, приходилось оглядывать, делая большой крюк. Одним субботним утром этот самый Сааре с удивлением заметил, что через его квартиру (по кратчайшей линии — от балкона к лоджии и обратно, минуя входную дверь) движутся посторонние люди. Один, другой... За ними в силу привычной «коллегальности» и «коллективизма века» идут следующие, и вот уже встречные потоки людей пересекают квартиру Сааре, не обращая внимания ни на него, ни на его полуодетую жену, и на различные предметы, встречающиеся на пути. Поначалу Сааре пытается бороться с нежелательными вторжениями, но безуспешно. Весьма зримо описаны эти попытки: он и лесенку самодельную сжигал, и зарешечивал лоджию, и тропинку засыпал — ничто не могло остановить прущее напролом «спешащее человечество». И семья Сааре привыкла ко всему, и «теперь, будучи людьми интеллигентными, они вполне принаровились и считают, что жить можно и так».

Пример, подробности здесь, как и везде у Валтона, просты, пластически выразительны. Наверное, и нам с вами, что греха таить, приходилось второпях пробегать по такой вот тропинке напрямик через газон. Видеть, как это делают другие, и не обращать внимания. А писатель вот заметил, среагировал. Тогда всполошились и мы. Не потому только, что вытаптывается живая, зеленая трава, мы возмущались известной трансформацией своего сознания, незаметным привыканием к тому, к чему привыкать никак нельзя...

Читать прозу Арво Валтона трудно. Его

рассказы и повести написаны так плотно, так насыщены смыслом, что стоит отвлечься на мгновение, бегло скользнуть глазами по строчкам — и ты уже потерял что-то очень важное, утратил ощущение напряженности писательской мысли, широты образных ассоциаций, разнообразия эмоциональных оттенков.

Повести «Пора созидания» и «Час перехода», вошедшие в книгу (в чем-то они противостоят и, главное, дополняют друг друга), построены по тому же принципу примера, сравнения и притчи.

В относительно недавно напечатанной статье В. Чайковской «По направлению к земле» («Дружба народов», 1985, № 6) творчество Арво Валтона рассматривается в ряду книг Т. Винта, Р. Салури, М. Унта, Т. Калласа, других эстонских прозаиков. У критика немало точных и верных наблюдений. Как и ей, мне очевидно неправота тех, кто склонен обвинять Валтона в рационализме и чрезмерной усложненности, я тоже явно ощущаю его затаенную, но сильную эмоциональность: теплоту писательских симпатий, страстность отрицаний, максимализм требований к миру — определенные и высокие представления об идеальном и истинном. Однако никак не могу согласиться с В. Чайковской, когда она утверждает, что повесть «Пора созидания» свидетельствует о «совсем новой повествовательной манере» Валтона, что она, эта повесть, «ближе к земле», чем все написанное им прежде. Думаю, что и манера писателя существенно не изменилась и «к земле» его вещи не приблизились, то есть не стали более бытовыми и в буквальном смысле реалистичными. На мой взгляд, повести — не что иное, как все те же, только более развернутые, художественно-философские притчи, в которых, как и в рассказах, реальное и идеальное, пример и его осмысление существуют на равных и как бы помогают другу другу понять себя.

В отличие от рассказов в повестях Валтона действительно меньше эксцентрики, фантазмагоричности, иронии. Они как-то проще, прозрачнее рассказов. И герой в них появляется иной: «оконогого», «акоммуникативного», эмоционально ущербного человека сменил герой, к которому автор относится явно с большей симпатией (хотя в рассказах «Рать вопиющих», «Приход в самую короткую ночь», «Старый фотограф» уже намечался этот тип человека). И семидесятидвулетний плотник Пяртель Туннинг, затевающий на пустыре постройку прекрасного нового дома, в котором он не собирается жить («Пора созидания»), и еще более старый, восьмидесятилетний лесник Мартин

Суття, в свой «час перехода» к смерти пытающийся осмыслить прожитую жизнь,— оба, наверное, уже более прямо и непосредственно выражают авторские представления об истинно положительном в человеке.

Итак, плотник Пяртель, построивший за долгую жизнь множество домов для других, сейчас, уйдя на пенсию и похоронив жену, строит дом для себя. Строит долго, старательно, любовно, с радостью. Дом будет ему «скромным памятником», «итогом работы» всей его жизни; «он возводил свой дом за свои деньги, согласно своему пониманию красоты, доброты и целесообразности». Мы узнаем обо всех этапах строительства дома. О том, как Пяртель составлял его план, о выборе и заготовке материалов и сооружении склада для их хранения; о том, как Пяртель сам, без бетономешалки замешивает раствор и заполняет им промежутки в опалубке; затем начнутся его любимые работы с деревом — поднимаются бревенчатые стены, возводится крыша, и так вплоть до внутренней отделки помещения. Шаг за шагом, шаг за шагом. За два года работы Пяртель успел подружиться с хорошей женщиной, дочерью плотника, мечтательной Олли, перенес тяжелой болезнь и принял решение отдать свой дом молодым актерам местного театра. Обо всем происходящем рассказывается обстоятельно, с массой самомалейших и самоточных подробностей. И ни одна из них не имеет самодовлеющего значения, а служит раскрытию смысла повести и характера героя, раскрытию того, как писатель и его Пяртель понимают красоту, доброту и целесообразность. Пяртель совершает поступок, и он тотчас же осмысливается; взгляд человека отрывается от земли и поднимается ввысь. Пример — и сравнение, пример — и мысль.

«...постичь вечность и бесконечность можно лишь через осязаемое и быстротечное», — думает Пяртель, окапывая яблоню на участке. Укладывая бетон, он размышляет о гармонии и соразмерности. О смерти Пяртель, конечно, думает часто, почти постоянно — она ведь вот-вот придет за ним. Но пока живешь, надо строить, надо работать. «Он всегда считал, что умерший человек уже не человек, его тело быстро превращается в тлен, а без тела нет души. Человек — это когда душа и тело вместе. А может, душа не то слово, в наше время вернее было бы сказать: человек — это его тело плюс работоспособность. Каждый твой день заполнен трудом. И жизнь тела — это тоже постоянная работа каждой его частички».

Множество мыслей и сравнений возникает у старого плотника, в то время как ру-

ки его сами выполняют привычную работу. Она, эта работа, впрочем, вызывает и различные чувства, проявляет пристрастия человека, симпатии, антипатии, любовь, не-любовь, гнев. «Человек живет не только рассудком» — Пяртель хорошо понимает это. Взять хотя бы такой вопрос, как выбор материала для строительства. «Кому-то по душе бетон, и он использует его даже для внутренней отделки. Пяртелю это не нравилось. Бетон шероховат не только когда прикасаешься к нему, но и когда смотришь... Настоящей была древесина. И самой что ни на есть настоящей была ее поверхность, рубленая топором, на которой даже зарубки видны... Настоящими были дранка, стружка, береста, древесная кора, мох...»

Смерть настигла Пяртеля, когда он уже совершил все что мог. Он построил дом и — в каком-то ином, высшем смысле — воздвиг, завершил здание всей своей жизни. Он умер мгновенно, уронив голову на грудь, «в душном помещении нотариальной конторы, под аккомпанемент пишущих машинок, отстукивающих житейские дела...» (опять конкретное, житейское в высокий и важный момент!).

В повести «Час перехода» миг смерти как бы раздвинулся, растянулся на час перехода, а этот час вобрал, вместил в себя целую человеческую жизнь: герой сумел вспомнить, внутренне обозреть все прожитое.

С понятием времени у Валтона вообще отношения свои, и весьма непростые. И в рассказах и в повестях он и его герои часто размышляют о природе этого феномена, порой доходя до парадоксальных предположений, что вообще «жизнь измеряется только жизнью, а не временем», то есть тем, что ты успел в ней пережить, пере-чувствовать, сделать. В последней повести по-иному сказано, в сущности, о том же: «Время — это ведь не только время, которое измеряется механизмами; в человеке и вокруг него столько разных времен, они никогда не движутся в одном направлении и параллельно, часто ты переходишь из одного потока в другой, живешь в разговорах и мыслях, в действиях, различных по скорости и результатам, но последнее время старого человека — это время, которое тянется и дает возможность оглянуться назад, не блуждая в его закоулках».

В свое «последнее», «счастливое» время старый Мартин оглядывается назад, он видит различные картины и примеры, и из них, только из них слагается здание его жизни. Жизни человека естественного, «единственной страстью которого были лес и деревья, их жизнь, по сути, это была не

страсть, а работа» (вспомним Пяртеля: «...человек — это его тело плюс работоспособность»).

У Мартина тоже есть свой дом, и он, как Пяртель, перед смертью дарит его другому человеку. Но дом Мартина — жалкая хибара, и не в нем здесь суть. Для повести «Час перехода» характерна большая философская насыщенность, что ли. Подлинный дом Мартина — лес, который он берег и охранял, лес, которому он отдал жизнь и который, в свою очередь, выстроил самого Мартина, выстроил здание его жизни... Жизнь как строительство и созидание — не случайно в образотворчестве писателя такое большое место занимает метафора Дома (и в обеих повестях, и в рассказах «Проток», «Мечеть» и других). В «Часе...» эта метафора, мне кажется, достигает особой силы и выразительности. Картины и образы, силуэты людей — все они бледнеют в меркнувшем сознании Мартина, и вот уже «от башен и стен не остается ничего, кроме окна» (разрядка моя.— И. П.): этот дом, эти стены исчезли, разрушились, человек в последний раз видит свет этого мира, чтобы перейти из него в другой мир — тоже живой, но иной (перейти «в мох, в туман, в дышащую воду, неподвижной точкой в пламя урагана,

исчезающим пузырьком в озерную топь, чтобы еще быть», чтобы в непрекращающемся круговороте бытия снова стать чем-то — дышащей водой, мхом, туманом).

Повести да и некоторые рассказы («Конная статуя», «Рать вопиющих» и другие) выстроены — этот глагол кажется мне уместным в данном контексте — как раскрытие, осмысление, самоосознание человеком своего жизненного пути, своего предназначения и места.

Мы традиционно воспринимаем притчу как жанр нравоучительный, дидактический. Притчи Валтона (и большие, развернутые в рассказы и повести, и «микропритчи», рассыпанные по страницам его книги) начисто и принципиально лишены прямолинейной назидательности. И может, именно поэтому, исподволь воздействуя на наши разум и чувства, они взрывают устоявшиеся стереотипы и предрассудки «массового» сознания, вызывают (опять-таки ненавязчиво и опосредствованно) глубокое уважение к человеку — труженику, созидателю, строителю, человеку нравственному, естественно ощущающему себя неотторжимой частью общего большого мира, мира природы и других людей, в служении которым он только и находит счастье и смысл жизни.

И. ПИТЛЯР.



СЛОВО ОБ ОГНЕ

Олжас Сулейменов. Стихи. Алма-Ата. «Жалын». 1985. 239 стр.

В 1961 году, когда человек впервые полетел в космос, литературе стало известно новое имя: Олжас Сулейменов — автор поэмы «Земля, поклонись человеку!», посвященной Ю. А. Гагарину.

Тогда творение молодого поэта, написанное по горячим следам события, было срочно набрано, отпечатано многотысячным тиражом и с самолета сброшено над Алма-Атой. Впоследствии сам поэт вспоминал, как стихи его, словно лепестки урюка, кружились над садами, усевая крыши, тротуары, застревали в ветвях яблонь. Ворох листовок, собранный сестрами поэта, оказался первым «собранием сочинений» малонизвестного тогда казахского литератора, ныне депутата Верховного Совета СССР, лауреата Государственной премии Казахской ССР имени Абая, премии Ленинского комсомола, автора многих поэтических книг.

Перед нами последний сборник О. Сулейменова «Трансформация огня», соединяющий под одной обложкой стихи, входившие

в издания «Голубиная книга», «Окраина», «Ева-ангелие от блудного сына», «Глиняная книга», «Другие и плотники», и те, что написаны совсем недавно.

С первых же строк открывается поэтический мир, вобравший в себя синь казахстанского неба и глубокие изломы тысячелетней истории казахов. Когда речь заходит об идеалах, многие обращают взгляд к небу. О. Сулейменов, начинавший жизненный путь геологом, в своих стихах выстраданно уподобляет идеал «проклятому пласту земли, к которому всю жизнь стремишься по готовым картам».

Поэт стремится как можно выразительней обозначить путь следования человеческого духа к «проклятому пласту земли», уподобляя работу поэта упорным попыткам создать перпетуум-мобиле, всемогущий философский камень, и власть над нами древних свитков, считает он, можно объяснить именно синтезом, слиянностью энергии вечного движения с всесильностью философского

камня, с которым людям открывается нечто беспредельное, неохватное и... «монотонное, как эпос».

Монотонное? Да, монотонность, как ее понимает поэт, позволяет отрешиться от случайностей и сосредоточиться на главном — постоянстве и неизменности движения, а значит, и преодолении любых преград. Она вооружает зрением, с помощью которого сквозь «паутинные петли грусти» проступает «небо звездное — конусом, как продырявленный шлем», и где можно найти идеальную форму существования — вторгаться «поэзией в царствие прозы, исправляя метафорой мир».

В своем упоении движением и ритмом лирический герой О. Сулейменова порой напоминает языческого шамана, стремящегося зажечь огонь, научить беречь огонь и кланяться огню, научить несведущих подходить к коню, и верить Солнцу, и гадать по звездам. В монотонных шаманских заклинаниях зыбкость превращается в твердь — от них пошел алмаз, «от них пошло и танцевать и петь... от них — пахать, выращивать и печь. От них — ковры и... самолеты...». Эти строки из «Азиатских костров» заставляют внимательно прислушиваться к колыбельным песням родных просторов, забывающимся, как первые шаги по земле, и узнавать в приметах своего незамысловатого быта тысячелетнюю связь со вселенским.

В фольклорных поверьях О. Сулейменов открывает новые грани, дающие возможность увидеть, как одержимые люди, перевоплощаясь в поэтов, учат преображать мир.

Для «интеллектуальных» обывателей подлинно собственное ощущение мира часто есть не более чем недоразумение. Они привыкли видеть мир и предметы глазами именитых соседей, сквозь привычные очки предрассудков и псевдоискусства. Справедливо замечает О. Сулейменов, что истинные поэты всегда сторонились шаблонов, сводящих порывы свободной мысли к самодостаточности привычек. Поэта во все времена «тошнило от привычных аллегорий». Из каждой клетки его тела «рвется гунн», сокрушая «закостеневший рассудок». И только этот «поэтический гунн» может видеть, как стекают «капли по щекам кувшина», ибо он сам плоть от плоти поэзии, от ветра, от истины.

Но ведь «гунна» можно сыграть, как и пилигрима, одержимого любовью Меджнуна. Можно надеть костюм, тщательно отрепетировать монолог, движения, жесты, ужимки. Можно пробежать через сцену и броситься на колени, проклиная судьбу. Все

можно, тем более что актеров, считающих жизнь продолжением театральных подмостков, немало. Однако и самого лучшего актера всегда выдает интонация. Она неуловима, незаметна при блеске и шуршании театрального золота и бархата. Она в полной мере не подвластна ни одному гению превращения. Настоящему же художнику нет необходимости играть.

«Птичками на белой мостовой, словно на полях моей тетради...

Символы моих ночных ошибок... Отыщу в толпе лицо любимое, в словарях найду слова хорошие».

Следы птиц на белом снегу, как и помарки на полях рукописи, напоминают о созидательном одиночестве художника («Следы»). Он ищет любимое лицо и добрые слова. Но не всегда находит. И тогда, словно предупреждая обвинение «в пессимизме», О. Сулейменов в сердцах восклицает:

Как же грустному притвориться
грустным?

(«Актер и ночной город»)

В лирико-философских раздумьях О. Сулейменова не только панорама человеческой души, но и истоки искусства, основы психологии творчества. Своих героев он изображает в процессе работы духа и одновременно стремится уловить направление и ритм их мысли. В глубоком семантическом коридоре О. Сулейменов любит сталкивать замысел и действие, надежду и результат. От этого его поэзия стремительна и глубока. Он использует самые неожиданные сравнения, находит новый поворот мысли и умеет не подчиняться словесной стихии, а управлять ею.

Его герои — ученые, кочевники, художники и поэты, полководцы и просто влюбленные — люди различных пристрастий и языков, культур и происхождений. Их объединяет, заставляя забыть обиды и разногласия, нечто более великое, чем необходимость разорвать узы духовного одиночества. Их бытие — это выразительное полотно человеческого духа, сотканное из тюркских эпических сказаний и славянских былин, скандинавских рун и шумерских хроник о Гильгамеше, от мусульманских хадисов до христианских апокрифов и озарений Будды. В своем творчестве, открытом для познания окружающего мира, О. Сулейменов использует тысячелетние богатства человеческой культуры. Эпоха «до нашей эры» в его неистовых строках сосуществует с открытиями XX столетия, скепсис — с оптимизмом, улыбка — с болью, любовь — с ненавистью. День без ночи не был бы днем. Сол-

вечные лучи без ночной прохлады приведут скорее к гибели, чем к цветению. Потому жизнь на Земле очевидна, что по пятам за ней гонится смерть.

Для казахского поэта, кровно связанного с родной землей, нет далеких континентов; между цивилизациями не пролегают непроходимые пропасти, и даже пустыня у него рождает жизнь.

В мифе нет центра и периферии. Там человек обладает такой же ценностью, как и травинка, гора равна морю, дождь равен солнцу и волк равен агнцу. Соразмерность мифа удивительна — это высшая из высших математик. Человек в измерении мифа может прорасти травой на лугу и быть съеденным конем, своеобразным символом небытия. Из этого исходит парадоксальность поэтического мировосприятия О. Сулейменова. Отсюда и плавная живописность его поэзии, словно выполненная японским акварелистом. В его стихах угадывается эстетическое наслаждение композицией и скрытое любование изысканностью движения, пластикой, многозначной и осязаемой, как в балете: «Ветка яблони надо мною приподнята...» В этой «приподнятости» целомудрие, увлеченное познанием и тянущееся к неизведанному. Ветка яблони невольно напоминает женскую вуаль. И история, преломленная в образе бесстрашной и одновременно беззащитной женщины в стихотворении, посвященном памяти М. Цветаевой, в высшей степени нравственна:

Насялуй, пока разрешила.

Сдави мою глотку,

да так, чтобы в горле
першило,

подглядывай в щели веков,

оскопленный
монах,

гляди, летописец, —

я счастлива, что согрешила!

Как тут не вспомнить слова Луи Арагона: «Я лично доверяю больше поэтической ассоциации идей, чем цепи логических умозаключений. Логика... всегда смахивает на объяснение задним числом».

Так уж повелось на Востоке, что поэт — всегда философ и лирик. И по глубине чувства судили о высоте мысли. В стихотворении «Назым Хикмет» Олжас Сулейменов подчеркивает свою преемственность от древнейшей традиции любовной лирики Востока, когда поэты вмещали в четверостишие целый философский трактат. «Когда смерть наступает, — беги, беспощадна она, как любовь», — пишет Сулейменов, сравнивая не любовь со смертью, а смерть с любовью. И в этом афоризме — тайна человеческой

судьбы, открытие которой жестоко каралось небесами:

Я писал о любви,

как писали поэты Ирана.

Их взводили на башни

и сталкивали

по утрам.

Продолжая традицию, Сулейменов уходит от канонических метафор, создавая свои образы. Ведь XX век разрушил каноны, на язык любви вечен. Герой Сулейменова говорит с любимой на «забытых... наречьях», на тех, на которых когда-то изъяснялись влюбленные Шумера. Даже имя возлюбленной он «по клокам, по слогам, по словам» собирает из созвучий «вымерших языков».

Проследивая путь лирического героя по многим стихам, посвященным любви, можно заметить одну особенность, которую автор сознательно подчеркивает, — «книжность» чувства. Его «книжность» не безлика и не мертва. На «пыльных страницах любви» для Сулейменова таится тысячелетняя энергия чувства, спрессованная в загадочные строки, оживающие только для влюбленного. И эти чувства — «хаос, упорядоченный в гармонию слова», дикарь, воспитанный культурой. И будто протягивая руку любимой женщине через столетия, Олжас Сулейменов в одном из стихотворений пишет:

Расческой разрежай листы
романов будущего века,
они боятся темноты,
они не переносят света.
Не испугайся тех страниц
пустых, белеющих, как поле,
листв и вглядывайся:

в них

мы снова встретимся с тобою.

(«Равновесие»)

Безусловно, герой Олжаса Сулейменова «историчен». Это видно и в «Ноктюрне», и в «Минуте молчания на краю света», посвященном великому мыслителю Индии Махатме Ганди, и в «Сообщении тамтама», и в стихотворении «Ах, мед, Асан», где наш современник Асан в поисках счастья бродил в шумерских таблицах, прошел Время, летал в ракетах, прочел книгу мумий и измерил необъятные пространства вселенной. Но кем бы ни был он — летчиком, путешественником, музыкантом, пастухом, — он не ограничен ни географическими, ни национальными, ни культурными границами. Он шагает во Времени, извлекая из недр различных эпох единственно важное для человека — человечность, объявляя войну насилию и кровопролитию.

В «Трансформацию огня», как я уже писал, поэт включил стихи и поэмы, прежде

публиковавшиеся в других книгах. Но вот парадокс. Новое издание оставляет впечатление сказочного путешествия в далекую страну, где каждая остановка — начало новой главы в нескончаемой книге бытия...

Не так давно в Азербайджане вышла книга стихов О. Сулейменова «Дыхание пустынь» в переводе известного поэта Дж. Новруза. Художник, оформлявший сборник, точно уловив суть творчества одного из самых талантливых современных поэтов, изобразил на обложке пустыню, иссохшие ветви, лицо сфинкса и ярко-красное солнце, опускающееся на черном фоне на суровое и загадочное чело женщины. Здесь много от мифологии древних тюрков: если пустыня

символизирует неизведанные пределы человеческих возможностей, то огонь Солнца, олицетворяющий поэзию, трансформируется в камень, открывающий смысл жизни.

Вода на Востоке — символ жизни. Движение воды — проявление жизни, ибо остановка — болото, смерть. Всадники Олжаса Сулейменова, подхватывающие переключку времен и народов, кочуют от восхода солнца до захода. И сам поэт, влюбленный в родную землю, по-граждански неравнодушный к ее радостям и бедам, гордо восклицает в стихотворении «Айналайн»: «Я кочую, кружусь по дорогам твоим...»

Валех РЗАЕВ.



ПОЭТ И ЕГО ЭПОХА

Алла Марченко. С подорожной по казенной надобности. Лермонтов. Роман в документах и письмах. М. «Книга», 1984. 333 стр.

Книга Аллы Марченко — это не научная биография Лермонтова, не литературоведческое исследование, не роман в точном значении слова. Вместе с тем эти начала — и литературоведческое, и биографическое, и художественное — в книге присутствуют. Цель автора: показать историю духовного развития Лермонтова — человека и художника.

В 1906 году Александр Блок в статье «Педант о поэте», размышляя о трудностях изучения Лермонтова, подчеркнул: «Лермонтов — писатель, которому не посчастливилось ни в количестве монографий, ни в истинной любви потомства: исследователи немножко дичатся Лермонтова, он многим не по зубам...»

Прошли годы, лермонтоведение пополнилось серьезными статьями, монографиями, и тем не менее многое в жизни и творчестве Лермонтова остается загадочным: в биографии немало белых пятен, не ясна история создания большинства произведений, точные датировки редки, адресаты стихотворений во многих случаях установлены предположительно или вовсе не известны.

А. Марченко видит эти трудности и пытается их преодолеть. Опираясь на документ, мемуарные источники, письма, автор воссоздает атмосферу эпохи, особенности московской, петербургской, провинциальной жизни первых четырех десятилетий прошлого века. В сугубо писательском внимании к обстоятельствам, формирующим человеческий характер, проявляется жанровый синкретизм книги: автор пользуется прие-

мами «романного» повествования в рамках биографического исследования. «Романное» начало обнаруживает себя и в раскованности слога, свободе, с какой А. Марченко рассказывает о судьбе своего героя.

Однако авторская раскованность подчас оборачивается и рискованностью иных утверждений писательницы, которые либо недостаточно подтверждены фактами, либо находятся в разладе с ними. О шаткости некоторых догадок А. Марченко и неточностях, которые встречаются в книге, немало сказано участниками ее обсуждения на страницах «Литературной газеты» от 25 декабря 1985 года — Эммой Герштейн («В стороне от истины»), Мариэттой Чудаковой и Никитой Охотиным («Как жили поэты»). Тем не менее при всех издержках подобной раскованности знание эпохи, живой интерес к личности тех, кто был или мог быть причастен к лермонтовской судьбе, позволяют автору понять очень важное — характер творческой эволюции поэта.

Из неторопливого, обстоятельного рассказа о семье Столыпиных, предках Лермонтова по материнской линии, становится ясно, что в ранней драматургии Лермонтов подошел к оценке этих людей с юношеским максимализмом, что лишь впоследствии он преодолел некоторую предвзятость.

В центре главы о роде Столыпиных — образ Е. А. Арсеньевой, бабушки поэта. Этот образ — художественная удача автора. Создан он с опорой на фактический материал, однако не без доли домысла. Кстати, в главе о Столыпиных более всего сказывается

ориентация автора на традицию тыняновского биографического романа, где сливаются два пути познания человеческого характера — научный и художественный.

Обращаясь к своему главному герою — Лермонтову, А. Марченко поступает иначе: она редко и крайне осторожно пользуется художественными приемами создания образа и, как правило, не выходит за рамки научного исследования.

Пользуясь документальным материалом, автор относится к нему критически, не выходящая реальная вес документа. Так, о воспоминаниях Акима Шан-Гирея, троюродного брата Лермонтова, А. Марченко пишет, что по этим мемуарам можно судить лишь о поведении, поступках Лермонтова, о состоянии же его души — нет. В связи с воспоминаниями Шан-Гирея автор поднимает очень важную проблему несоответствия внешней, «мирской» жизни Лермонтова и его внутреннего, духовного развития. Эта проблема — одна из самых главных в книге. Выявить несовпадение внутреннего и явного, открыть за внешне незначительными, обыденными событиями наполненную борьбой и сомнениями духовную жизнь Лермонтова — вот в чем видит автор свою основную задачу.

В книге освещены сложные моменты жизни и творчества Лермонтова, не обойдены нерешенные вопросы. Аргументированным кажется предположение автора, что знаменитое «Предсказание» связано прежде всего с семейной трагедией — убийством в Севастополе во время чумного бунта военного генерал-губернатора Николая Алексеевича Столыпина, брата бабушки. В этом стихотворении А. Марченко видит и скрытую полемику с прекраснородушной, исполненной наивных представлений об отношениях между офицерами и солдатами книгой Н. А. Столыпина «Отрывки из записок военного человека». Правомерна также мысль, что «Последний сын вольности» и «Вадим» связаны не столько с событиями далекого прошлого, сколько с современными — восстаниями 1831 года в новгородских военных поселениях. Автор весьма убедительно доказывает, что и «Бородино» и «Герой нашего времени» свидетельствуют о знакомстве Лермонтова с книгой Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата».

Особое место в работе А. Марченко занимает гипотеза, связанная с историей создания «Маскарада». Автор считает, что в пьесе отразились драматические события личной жизни Пушкина. Эта догадка заслуживает самого серьезного к себе отношения. Хочется также отметить плодотворность са-

мой попытки показать, что и перед работой над «Смертью Поэта» Лермонтов вводил пушкинскую тему в свое творчество.

Выдвигая гипотезы, А. Марченко вовсе не исключает возможность иных толкований и выводов. Ее книга и по тону и по стилистике демократична. Читателю ясно, что он приглашен к раздумью, дискуссии. Дискуссионных, нередко дерзких предположений в книге А. Марченко немало. Остановимся на двух наиболее серьезных. Первое касается отъезда Лермонтова из Москвы в Петербург в 1832 году, второе — дуэли с Барантом в 1840 году.

Причины, заставившие Лермонтова выйти из университета и уехать в Петербург, до сих пор неясны. Были предприняты попытки объяснить этот поступок и конфликтом с университетскими профессорами и чисто личными мотивами (увлечение поэта В. А. Лопухиной). А. Марченко все же приходит к выводу, что главную причину надо искать в неудовлетворенности Лермонтова размеренным московским бытом, в стремлении к иной жизни, наполненной событиями, душевными бурями. Это настроение, по мнению А. Марченко, с наибольшей полнотой отразилось в стихотворении «Я жить хочу! Хочу печали...» и в «Парусе». Сама мысль о действенном, мятежном характере лермонтовской природы, конечно, не может быть оспорена. Но все-таки кажется, что уход из университета и связанный с ним переезд в Петербург должны иметь какую-то вполне конкретную причину, нам неизвестную.

Есть, на мой взгляд, некоторые натяжки в рассуждениях автора о поединке с Барантом. А. Марченко считает, что решиться на дуэль Лермонтова побудили крайне запутанные отношения между ним и Марией Алексеевной Щербатовой. Однако об этих взаимоотношениях мы, в сущности, знаем очень мало. Известно, что Щербатовой посвящено стихотворение «На светские цепи...», возможно, «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и «Отчего». По свидетельству современников, Лермонтов был увлечен Щербатовой, в дневнике А. И. Тургенева сохранилась запись о том, что Щербатова любила Лермонтова. Вот и все, что нам известно. В свое время, опираясь на эти факты, К. Г. Паустовский написал «Разливы рек» — один из лучших рассказов о Лермонтове. Однако для научной гипотезы таких свидетельств недостаточно. Очень спорно и утверждение автора, будто в строке «Или на вас тяготит преступление?..» («Гучи») Лермонтов говорит о своей вине перед оставленной женщиной. По мнению

А. Марченко, история княгини Щербатовой напоминает историю княжны Мери. Но все же согласимся: барышня, изображенная в романе Лермонтова, мало похожа на героиню стихотворения «На светские цепи...».

В своей книге А. Марченко затрагивает и ряд вопросов чисто литературоведческого характера. Она справедливо отмечает, что несколько скептическое отношение к творчеству Лермонтова до 1837 года, распространенное в читательской среде, внушено, по сути, литературоведами, которые зачастую подходят к оценке зрелых и юношеских, не предназначавшихся для печати произведений Лермонтова с одинаковыми критериями. Убедительны суждения автора о ранних лермонтовских поэмах. Вступая в поле-

мику с Б. М. Эйхенбаумом, который определил метод их создания как «склеивание готовых кусков», А. Марченко аргументированно доказывает, что ранние поэмы — не творчество в собственном смысле, а «форма самообучения стиховому ремеслу». Плодотворны суждения о творческих взаимоотношениях музы Лермонтова с пушкинской традицией в «Бородине», «Песне про царя Ивана Васильевича...», «Герое нашего времени», «Мцыри», «Родине»...

Эта книга написана поистине увлеченным человеком, она способна увлечь читателя глубиной постановки серьезных проблем, воссозданием самой атмосферы жизни великого русского поэта.

И. ЗАЙЦЕВА.



МОМЕНТ КРИТИКИ

В. Гусев. Герой и стиль. К теории характера и стиля. Советская литература на рубеже 60—70-х годов. М. «Художественная литература». 1983. 286 стр.

Владимир Гусев. Рождение стиля. Статьи. М. «Советская Россия». 1984. 364 стр.
А. Турков. Вечный огонь. М. «Современник». 1984. 270 стр.

О современной литературе оба автора судят смело, так, словно это уже история, классика, и хотя с иными их оценками я не согласен, самый подход поддерживаю.

Иногда думают, будто судить «с точки зрения вечности» — не дело критики, а между тем другого суда быть не может, и в настоящей критике никогда и не было. Совсем не обязательно по любому поводу произносить окончательный приговор, однако про себя критик должен держать шкалу литературных величин, а уж мы пойдем, на какую ступень решается он поместить рассматриваемое явление.

В данном случае не между строк и не за строкой — критики прямо в тексте говорят о заметном, значительном, великом и даже величайшем в нашей литературе последних десятилетий. «Один из величайших русских поэтов», — пишет А. Турков об Александре Твардовском. «Тургенев и Лев Толстой не могут в этом отношении тягаться с Беловым», — утверждает В. Гусев, имея в виду знание деревни автором «Привычного дела» и «Плотницких рассказов». О писателях прошлого и о писателях современности оба критика говорят как бы на одном дыхании. Непривычно, однако в принципе правильно. Ведь перечисления, встречающиеся теперь на каждом шагу — Толстой, Чехов, Бунин... — в свое время удивили бы многих.

Когда-то, лет триста назад, «великие» виделись как нечто далекое, классикой считалась одна античность, между древностью и новым временем лежала пропасть («мрак средневековья»). Но последующие эпохи все более сближались, преемственность становилась непосредственной, творческую скрижаль передавали как эстафету из рук в руки. Сложилось представление о классике новейшей, в которую писатели входили уже прямо при жизни. Толстой поставил Чехова рядом с Пушкиным — в прозе, и он же о собственном творении говорил: «Без ложной скромности, это как „Илиада“».

Стало быть, принцип историзма никоим образом не нарушен, когда в книге А. Туркова следом за Александром Блоком сразу идет Александр Твардовский. Это современники! Старший и младший. И если мы считаем классиком одного, почему же не судить о классическом статусе другого? И прав В. Гусев, когда рассматривает толстовское, чеховское, бунинское в нашей текущей прозе не как учебу у классиков, а как продолжение тех же линий. Учиться, то есть искать образцы, можно у кого угодно — даже у Гомера или у Шекспира, но между нашими классиками и современниками близость такая, что ограничиться учебой их контакты не могут. Василий Белов пробовал перо, когда еще писал Бунин, «Привычное дело» появилось

всего через тринадцать лет после смерти автора «Деревни». На взгляд завтрашних исследователей, они будут стоять почти рядом не только по алфавиту, но и по времени, таков уж закон исторической ретроспективы. И если мы сами не заметим сейчас этой очевидной близости, нам со временем на нее укажут. Какими же в самом деле незначительными простачками выглядели бы мы в будущем, если бы не появились у нас критические книги вроде тех, что сейчас перед нами...

Итак, «переходы из уровней высших на уровни текущей литературы», о которых говорит и которые совершает В. Гусев, оправданны и даже обязательны для того, чтобы разобраться в текущей литературе. А что же вызывает возражения? Оценочная щедрость? Нет, не это.

Александр Твардовский — оба автора пишут о нем. Каждый из них дает портрет выдающегося поэта, и при естественных отличиях в манере исполнения портреты совпадают. Но, как ни странно, Твардовский оказывается вдруг неузнаваем! Конечно, сохранено много знакомых черт — «яркая одаренность» (Турков), «частица общенародных радостей и бед, великих побед и грозных трагедий» (он же), «человек, живущий и з н у т р и заботами, интересами, жизнью разбуженного крестьянства... говорящий не только от имени, но и от лица народа» (Гусев), общественная деятельность поэта, руководство журналом «Новый мир», творческая требовательность... Так чего же недостает? Василия Теркина.

Читателю, знакомому с рецензируемыми работами, подобный упрек может показаться злонамеренным измышлением: авторы ведь пишут о «Книге про бойца!» «Настоящую славу Твардовскому принесла большая лиро-эпическая поэма „Василий Теркин“», — говорит В. Гусев. И далее о поэме следует целая страница — из пяти; разве этого мало? Шесть страниц из двадцати шести, отведенных Твардовскому, посвящает той же поэме А. Турков. И страницы эти написаны хорошо, очень квалифицированно. Но из-за неожиданных оценочных ударений, которые поставлены на лирике Твардовского с равной, а подчас с еще большей силой по сравнению с поэмой о Теркине, портрет поэта сделается неузнаваем и необидителен. Нарушены в его облике и, следовательно, в оценке пропорции.

Твардовский — творец «Теркина». Если исходить из этого, тогда, мне кажется, классическая мера будет соблюдена. По то-

му, как Теркин появился, как был воспринят и как со страниц книги вернулся в жизнь, есть основания думать, что нам посчастливилось быть свидетелями возникновения чего-то вечного или, по крайней мере, долговечного. Поэма большей частью, может, даже и забудется, пусть лишь отдельные строки из нее останутся в общей памяти, но будет жить облик бойца, и долго еще Теркин будет служить художественным ответом на вопрос об источниках и природе нашей стойкости.

Лирика Твардовского военных лет, в особенности «Я убит подо Ржевом», проникновенна, однако «Враги сожгли родную хату...» Михаила Исаковского, мне кажется, все-таки сильнее, и эти стихи будут занимать в системе литературных величин должное место, должную «клеточку», поскольку число «клеточек» ограничено и два сходных элемента в одной не уместятся. Много прекрасных стихов было у нас о 1812 годе, а за единственным исключением все они теперь имеют интерес только исторический: в нашей памяти больше чем на одно поэтическое Бородино места фактически нет. Ни одна из литературных фигур не «выживает» на протяжении веков целиком, но лишь за счет того, что оказывается в ее наследии металла тверже и выше пирамид, и если уж пользоваться такими оценками, как «величайший», употребляемыми действительно лишь в масштабах столетий, то подтверждать их следует соответствующими примерами.

«Мировая литература знает много любовных сцен. Абрамов пополнил эту галерею эпизодом, в котором удивительно сочетаются «низменная» проза жизни и высокая человечность», — пишет А. Турков, имея в виду эпизод из романа «Две зимы и три лета», и я перестаю его понимать. До этого, читая страницы, посвященные Федору Абрамову, я все понимал и соглашался. Да и как можно было не согласиться, когда прямо и точно критик обозначил, например, значение абрамовских «Братьев и сестер»: «...стремление донести до читателей всю безмерность человеческих подвигов и жертв, труда и горя — главное, что водило пером писателя и что определило успех его романа, несмотря на очевидную неопытность и неуверенность автора». Эта характеристика убеждает сейчас и убедит, я уверен, и в будущем. Но вот тот же критик пишет о «пополнении» мировой литературы эпизодом, безусловно, интересным, однако недостаточно выразительным. Напомню: на рынке Михаил Прыслин продает или, точ-

нее, пытается продать мясо своей единственной коровы, а Варвара Иняхина как бы покупает у него это мясо, привлекая других клиентов. Это их встреча после долгой разлуки и — какая встреча! Однако встреча, что называется, не сделана, не написана как следует, и все те низко-возвышенные мотивы, о которых говорит критик, лишь заявлены, но психологически не воплощены. Как же такая сцена может пополнить галерею любовных эпизодов в мировой литературе? Известно, как входят в мировую литературу отдельные эпизоды — при условии своей художественной осуществленности. Это вовсе не означает абсолютного совершенства, поскольку нет предела совершенству, но такая сцена должна стоять перед нашим умственным взором, чувства, в ней заложенные, должны быть наглядно развернуты. И должны быть слова, удивительные слова! «Сцена незабываемая», — уверяет нас А. Турков. А может ли критик вспомнить из этой сцены хотя бы одну фразу, которая запечатлелась в его памяти? Какой-нибудь момент: поворот головы, движение рук — что угодно, чему найдено неотражимо-забываемое воплощение? Эпизоды из классической галереи, которую, как кажется критику, наш автор «пополнил», содержат такие моменты, они ими держатся; иначе как же такие эпизоды могли бы существовать?

Споря с А. Турковым, воспользуюсь его собственным оружием — тем материалом, который он сам приводит. Критики вспоминают одного столетней давности писателя, который по совпадению рассказывал о тех же северных краях, что стали местом действия романов Федора Абрамова. А Турков цитирует этого забытого писателя: «Стояла зимняя пора, — стало быть, все было однообразно... Самые деревушки глядят каким-то бездодем и сиротливым видом»... Профессиональная проза. Если это стерлось из общей памяти, и стерлось без следа, то выдержит ли проверку временем описание из «Братьев и сестер», которым так восторгается А. Турков: «Тихо, так тихо, что слышно, как, осыпаясь белым цветом, вздыхает под окном черемуха. От деревянного днища ведра, поднятого над колодезем, отделится нехотя капля воды — гулким эхом откликнется земная глубь». Зимняя пора, точно — для конкретной задачи — обозначенная однообразием и бездодем, оказалась забыта, а цветастый набор из вздыхающей черемухи и земной глубины будут помнить?

Будут помнить Федора Абрамова и

его творческих единомышленников — я в этом так же, как А. Турков, нисколько не сомневаюсь, но хотелось бы обозначить поточнее, что именно заставит их помнить.

Могут ли Тургенев и Толстой тягаться с Василием Беловым в знании деревни, как предлагает об этом подумать В. Гусев, я судить не берусь: не имею на то полномочий. Но о литературной преемственности сказать попробую. У В. Гусева сказано, что писатели как бы «держат в уме» своих предшественников. На меня же наша деревенская проза при всех своих несомненных заслугах производит впечатление как раз «недержания в уме» того, что в русской литературе уже было написано о деревне. В. Гусев приводит целый список классических имен, которые, как он считает, предшествуют тому же Белову. А я этого «предшествования» у Белова не вижу. Он пишет так, словно не только Григоровича, но даже Глеба Успенского и В. Г. Короленко с его Тюлиным до Ивана Африканыча не было. В. Гусев готов вспомнить «Поликушку», но, по-моему, в «Поликушка» даже если «Привычному делу» действительно предшествовал, то предшествовал чисто хронологически — а в самом «Привычном деле» и Толстой не учитывается.

Для того чтобы обозначить свою литературную ориентацию, имеется множество способов. Помнить предшественников можно по-разному, повторяя или продолжая. Наша деревенская проза не дает, как мне кажется, ярких примеров ни того, ни другого. Говорю это не в упрек, а чтобы определить ее положение. А это положение было именно таково: наши писатели словно заново открыли то, что давно уже было литературой освоено. Теперь выстраивают их литературные родословные, делает это отчасти и В. Гусев, но все это конструируется задним числом. Во всяком случае, многое тут выглядит просто придуманным: так должно было происходить в плане литературной эволюции. А было все не так.

Лучше ли наших классиков знает деревню Василий Белов? Одно можно сказать с уверенностью: он, как и его сверстники-«деревенщики», знал деревню не по классике, когда принимался за «Привычное дело». И это дало ему первоначальную силу. Когда начинаешь читать «Привычное дело», то впечатление такое, будто буквально ожил тот непутевый мужичонка, который первым из крестьянских типов встречает нас во «Власти земли» Глеба Успенского. Но откуда же он взялся и как уцелел?

Современный автор не задает подобных вопросов, и поэтому у меня возникает подозрение об этом особом, вторичном первооткрытии уже известного.

Иногда наши современники пишут прямо «как Толстой» или «как Лесков» — в духе и стиле классиков, но ведь это еще не традиция. Что у В. Гусева называется «продолжением традиции», то мне кажется просто ненужным подражанием или же использованием, вполне законным и продуктивным, известных стилистических и композиционных ресурсов. И за гекзаметры сейчас можно взяться, но кто же назовет такого писателя современным Гомером? Определять традицию по признакам повествовательно-стилистического сходства между предшественником и последователем ошибочно. Традиция должна прослеживаться в постановке тех же творческих задач, но решаемых в новых условиях и, если поистине решаемых, то и на новом уровне.

В. Гусев напоминает: «Как известно, Толстой искал стиливых средств для выражения «сложных» характеров и вообще — сложного состояния психики. «Диалектика души» — из этой сферы». Толстой искал средства для выражения истины, как понимала «истину» пройденная им духовная школа: постижение жизни в ее целостности. Почему, когда тылы танцуют или в карты играют, передовые позиции все-таки держатся? На такие вопросы старался как художник ответить Толстой. Для этого, например, в «Севастопольских рассказах» ему нужно было найти такую повествовательную позицию, с которой удалось бы увидеть сразу оба Севастополя, светский и солдатский, штабной и окопный. Одновременного изображения фронта и тыла Толстой не дал, у него эти два плана повествования чередуются, но для той эпохи уже это было откровением.

Узнать больше того, что узнал (то есть жизненно освоил и творчески выразил) классик, уже невозможно — с той же позиции. Толстой видел силу внутренне противоречивой органики: там — одно, тут — совсем другое, а вот приходит беда и все в единстве дают супостату отпор. Хотите увидеть больше, дальше? — ищите новую позицию, которая обеспечивала бы иной охват. Никому, конечно, не возбраняется с уже известной позиции рассказать без претензий о достойных общего внимания жизненных ситуациях, и В. Гусев совершенно прав, приводя в качестве добротного следования за Толстым роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого...»

(«Момент истины»). А нанизывать тяжелые фразы с четырьмя «что» — разве это продолжение толстовской традиции?

«Много хорошего и разного можно сказать о нашей литературе 60-х годов», — пишет В. Гусев в более ранней своей книге и, судя по второй его книге, не отказывается от подобного мнения в дальнейшем — в применении к 70-м и началу 80-х годов. А. Турков настроен столь же благожелательно, подчеркивая при этом: «Давайте брать на передовую линию (критики. — Д. У.) порох, а не елей и фирмиам, чтобы, встретясь с посредственностью, серостью, прямой халтурой, драться, а не почтительно раскланиваться с ней».

Как не поддержать пафос такой благожелательной требовательности? Однако, будь то порох или фирмиам, это состав критического темперамента, которому необходима еще и организация. И принцип организующий авторы предложили — исторический, ориентацию на классику: зная, что было, можем мы судить о том, что есть.

Основательная опора на исторические прецеденты — надежное критическое средство. Только эти прецеденты необходимо учитывать как следует, зная обстоятельно, как все в самом деле было. Правда, иногда и при обращении даже к сравнительно недавнему прошлому может изменить память. А. Турков пишет о «неодобрительном» приеме, некогда оказанном нашей критикой авторитетнейшему сейчас Юрию Бондареву. Я попробовал кое-что проверить по старым журналам: сложнее была ситуация, не просто так — неодобрительно встретила его критика. Говорили, в частности, о некоторой модернизации психологии военных лет. Проблема действительно непростая, и обсуждать ее здесь походя невозможно, я только хочу отметить, что на прежнюю недооценку, на какое-либо прежнее непонимание литературных явлений, прочно вошедших в наш обиход, нужно ссылаться с осторожностью, учитывая, кто, что и как недооценил или не понял.

Кто со своими нынешними критериями, приехавши на карете времени обратно, скажем, в пушкинскую эпоху, сумел бы по достоинству оценить «Повести Белкина» и понять, что именно они, а не что-нибудь другое, являются подлинной прозой эпохи? Удалось бы угадать это критику, которому сегодня нравится вздыхающая под окном черемуха? Не кивая на других, скажу о себе: делая над собой умозрительный

опыт, переносясь мысленно в другие времена, я пришел к плачевному выводу, что ничего я не сумел бы угадать. Проглядел бы «Повести Белкина», а еще раньше о «Борисе Годунове» мог бы подумать: фрагментарно, что на языке той эпохи было выражено так: «Esquisse» (Катенин), то есть «слегка очерчено». Задним числом из истории, видя свою ошибку, принимаю как готовый другой вывод, но в числе исторических уроков для себя учитываю: своим умом, со своими критериями не пришел бы я к такому выводу.

Но что же, могут меня перебить вопросом, дает тебе право судить сейчас? Ведь

и сейчас есть явления, которых ты, уж наверное, точно так же не видишь и не понимаешь! Но я сужу в порядке гипотезы, пользуясь этим правом наряду с другими критиками, напрягая до предела свое критическое зрение. Помочь мы можем друг другу через как можно более прямой обмен мнениями, и чтобы самим не очутиться в историческом кювете, в стороне от уходящей в будущее литературно-критической магистрали, мы не будем гордиться пониманием, дарованным таким всемогущим арбитром, как время.

Дмитрий УРНОВ.



Политика и наука

СОКРОВИЩНИЦА ИДЕЙ

Ленин. Философия. Современность. М. Политиздат. 1985. 447 стр.

В арсенале современной буржуазной философии нет убедительных мировоззренческих альтернатив марксизму-ленинизму. Протаскивая лживую идейку о его «теоретической бедности», буржуазные авторы берут в качестве объекта критики не подлинное марксистско-ленинское учение как постоянно развивающуюся универсальную революционную науку, а созданную ими же самими крайне упрощенную конструкцию, которую они пытаются выдать за марксизм. Расчет здесь делается, очевидно, на недостаточно глубокие знания, неосведомленность аудитории.

В советской науке сложилась плодотворная традиция рассматривать идейно-теоретическое наследие Ленина комплексно, анализируя выдвинутые им идеи в их взаимной связи и в единстве с революционной практикой. К числу таких комплексных исследований принадлежит и книга «Ленин. Философия. Современность», созданная коллективом известных советских ученых, среди которых академики Д. М. Гвишиани, А. Г. Егоров, Л. Ф. Ильичев, Т. И. Ойзерман, член-корреспондент АН СССР Г. Л. Смирнов и другие.

Центральная тема книги — характеристика ленинского вклада в развитие марксистского учения, анализ творческой сущности ленинизма как марксизма нашей эпохи.

Ленину было присуще исключительно так

тичное отношение к наследию Маркса и Энгельса. Он никогда не допускал в этом вопросе оригинальничанья, диктуемого тщеславным стремлением любой ценой сказать что-то не похожее на высказывания предшественников. Но он был чужд и догматизма, смотрел на учение Маркса не как на свод застывших положений, а как на руководство к действию. Пересматривая отдельные старые выводы и формулировки, обогащая марксистскую теорию новыми мыслями, Ленин неизменно сохранял в своих работах то, что неизмеримо важнее скрупулезного следования букве доктрины: верность самому духу марксизма как революционной науки, теснейшим образом связанной с классовой борьбой пролетариата за освобождение человечества от эксплуатации.

Раскрывая выдающиеся заслуги Ленина в развитии марксистской философии, книга напоминает, что после Маркса и Энгельса он был первым, кто всесторонне обосновал огромную значимость диалектического и исторического материализма для успешного осуществления исторической миссии революционного пролетариата. В противовес недооценке философского учения марксизма, содержание которого представители тогдашней социал-демократии сводили в основном лишь к социально-экономическим проблемам, Ленин показал, что марксизм представляет собой цельное и стройное мировоззрение, опи-

рающееся на четкую систему философских принципов. Попытки отказаться хотя бы от некоторых из них неминуемо ведут к эклектике в теории и к оппортунизму в политике. Вот почему Ленин не считал философские убеждения членов революционной рабочей партии их «частным делом» и решительно боролся против подмены диалектического и исторического материализма модными в то время учениями махизма, эмпириокритицизма, неокантианства и так далее.

На первое место авторы справедливо ставят разработку Лениным материалистической диалектики: ведь мастерское владение диалектикой как инструментом анализа представляет собой, пожалуй, наиболее характерную черту философского мышления Ленина, с которой прямо связаны его открытия в философии и социальной теории. Ленинский вклад в марксистскую диалектику заключается прежде всего в фундаментальной разработке принципа развития. Именно через этот принцип Ленин раскрывал диалектическое понимание природы и общества. В книге особенно подчеркивается та ленинская мысль, что диалектические черты развития — это, по существу, такие универсальные характеристики изменяющейся действительности, из которых в конечном итоге складывается единый мировой процесс движения. Таким образом, ленинскому пониманию диалектики присуща идея взаимосвязи принципа развития с принципом единства мира. В эпоху все углубляющейся специализации научных знаний этот подход, отмечают авторы, является основой для согласования теорий развития, разрабатываемых различными науками применительно к исследуемым ими аспектам реальности. Бурно прогрессирующие науки подчас «бросают вызов» диалектике, испытывая ее теоретический потенциал в сложнейших познавательных ситуациях. Но сегодня, в полном соответствии с теоретическими прогнозами Ленина, они сами все чаще оказываются перед необходимостью воспринять высочайшую культуру диалектического мышления, для овладения которой, как указывал Владимир Ильич, ученый должен стать на позиции того материализма, который представлен Марксом, то есть материализма, вобравшего в себя все богатое содержание диалектической концепции развития и органически соединившегося с диалектикой.

Этот важный в мировоззренческом отношении тезис в книге подтверждается конкретными данными, в том числе анализом достижений современного этапа научно-технической революции (в частности, широкого

внедрения ЭВМ) и перспективных направлений познания (таких, как синергетика — наука, изучающая эффекты самоорганизации в неравновесных системах).

Рассматривая методологию ленинского анализа тех революционных процессов в естествознании, которые развернулись на рубеже XIX и XX столетия, авторы книги подчеркивают, что по сути своей она была нацелена на постижение глубинных внутренних закономерностей развития познания. Не ограничиваясь осмыслением отдельных выводов современной ему науки, Ленин стремился проникнуть в самую ее творческую лабораторию, понять характер «продуктивных механизмов», вырабатывающих новые научные идеи и новые подходы к действительности. Вот почему ленинский анализ революции в естествознании и прежде всего вывод о том, что, идя вперед в развитии знаний, необходимо постоянно совершенствовать их мировоззренческую основу, укрепляя союз марксистской философии и передовой науки, не сводятся к особенностям какой-то конкретной познавательной ситуации, а имеют всеобщее значение.

Исключительно актуальна сегодня (и это отмечается в книге) ленинская мысль, что материалистическое понимание истории неотделимо от диалектического материализма и образует его логическое продолжение и завершение. Ленин понимал марксизм как цельное мировоззрение и решительно выступал и против преувеличения относительной самостоятельности исторического материализма и против попыток рассматривать его вне материалистической диалектики в целом, сводя содержание марксизма лишь к социальной проблематике и механически совмещая исторический материализм с другими философскими доктринами вроде эмпириокритицизма или эмпириомонизма.

Философское мышление Ленина проникнуто духом единства теории и практики. Владимир Ильич высмеивал ходячее представление, согласно которому сначала теоретики, «гениальные философы», открывают «пути общественного развития», а затем уже практикам остается только реализовать их замыслы на деле. Для настоящих идейных руководителей рабочего класса, считал он, теоретическая и практическая работа сливаются вместе. Чтобы добиться такого слияния, необходимо постоянно сопоставлять теорию с потребностями живой развивающейся действительности.

Этот ленинский принцип — самая надежная гарантия от догматизма и окостенелости, пассивности и самоуспокоенности. И ав-

торы берут его на вооружение, тесно связывая теоретический анализ ленинских идей и планов с практикой социалистического строительства, в том числе с нерешенными и решенными не в полной мере задачами. Большой интерес, в частности, вызывают страницы книги, рассказывающие о подходе Владимира Ильича к таким исключительно актуальным сегодня для нас вопросам, как сущность научно-технического прогресса при социализме, роль человеческого фактора (в особенности — исторического творчества и инициативы масс) в созидании нового общественного строя, характер социалистической дисциплины и организованности. Привлекая внимание читательской аудитории к этой стороне ленинского идейного наследия, книга не только наглядно показывает его исключительную актуальность, но и способствует формированию той атмосферы требовательности, взыскательности и деловитости, в которой наша партия видит одно из важнейших условий активизации созидательной работы народа, ускорения социально-экономического развития страны.

Особое место в идейной сокровищнице ленинизма занимает разработка проблем войны и мира. Этому посвящена в книге специальная глава. В центре ее — ленинский подход к системе международных отношений, развитием которого применительно к современным условиям стала разработанная коллективным разумом КПСС философия мира.

Раскрывая идейное богатство ленинского учения как методологической и мировоззренческой основы для решения проблем, стоящих перед человечеством, как теории, глубоко проникшей в сущность социально-исторических процессов нашей эпохи и указавшей человечеству путь в будущее, книга убедительно показывает несостоятельность попыток буржуазных философов и современных ревизионистов представить ленинизм чисто «русским» явлением, объявить его «доктриной отсталости», выводы которой непримлемы для стран, находящихся на достаточно высокой ступени научно-технического прогресса.

Авторы обращают особое внимание читателя на связь между четкостью и последовательностью мировоззрения революционе-

ров-марксистов и сплоченностью тех социальных сил, которые составляют политическую армию социалистической революции, а в дальнейшем выступают в качестве опоры социалистического государства и субъекта социалистических преобразований. Твердость и ясность философской позиции революционной пролетарской партии обеспечивает «стойчивость» революционного процесса, его последовательный характер, способность направлять неизбежные отклонения «вправо» и «влево», увязывая текущие злободневные задачи со стратегическими целями и глубинными интересами рабочего класса и его союзников. Вот почему враги социализма неизменно начинают свои попытки дестабилизировать обстановку в социалистических странах и «дезинтегрировать» их общественный строй именно с атак на марксистско-ленинское учение, намереваясь толкнуть недостаточно стойкие в идеологическом отношении элементы общества в объятия национализма, потребительства и клерикализма. Всем своим содержанием книга утверждает интернациональную сущность ленинизма, его великое всемирно-историческое значение.

В освещении исключительно емкой, многогранной темы авторам удалось найти интересные подходы и ракурсы, делающие книгу не только научно содержательной, но и по-настоящему увлекательной. В немалой мере этому способствует то, что анализ идейного наследия Ленина как мыслителя и политического деятеля, давшего начало новому этапу в развитии марксизма, служит в книге не только сугубо теоретическим целям, но получает, так сказать, и «личностное измерение»: воссоздать живой облик Владимира Ильича, характерные черты его нравственного склада, обусловившие то, что мы называем сегодня ленинским стилем научной и практической деятельности.

XX век входит в историю с именем Ленина. Вот почему постоянное обращение к ленинскому наследию составляет важнейшее условие продвижения человечества вперед во всех сферах социалистического строительства и мировой политики.

А. АНДРЕЕВ,
доктор философских наук.



«...БУДЕМ ХРАНИТЬ ЭТУ КРАСОТУ...»

К 25-летию первого полета человека в космос

А. Т. Гагарина. Память сердца. М. Издательство АПН. 1985. 221 стр.
Ярослав Голованов. Архитектура невесомости. М. «Машиностроение». 1985. 144 стр.

Четверть столетия назад человек в оранжевом скафандре с буквами «СССР» на гермошлеме стал на 108 минут полноценным представителем человечества в космосе. Про тот исторический день хорошо сказал летчик-космонавт Виталий Севастьянов: «12 апреля произошло «смещение эпох». Позавтракали люди в одной эпохе, а обедали уже в другой. И это сказалось на всех. Я вышел из Центра управления, уже все свершилось. Но люди, которых я встретил на улице, еще не знали этого. Они спешили по своим делам, о чем-то переговаривались. Короче говоря, был будничнейший день большого города. И вдруг словно все взорвалось — праздник выхлестнулся на улицы, всеобщее ликование и радость. Это был удивительный день. Все сразу же полюбили парня, который летел над планетой».

Еще несколько часов назад старший лейтенант Юрий Гагарин, готовясь ко сну в маленьком деревянном домике неподалеку от одного из стартовых комплексов Байконура, аккуратно повесил форму. Больше он ею никогда не воспользовался — она осталась в комнате навсегда, как и многое другое, что было решено сохранить в таком виде, в каком это было последней ночью перед стартом Космонавта-1. Гагарин уже принадлежал истории...

Листаю подшивки газет двадцатипятилетней давности. Понятны отраженные прессой наше ликование, радость наших друзей. Объяснимо и удивление наших идеологических противников, их недоумение. Полет Гагарина стал важнейшей не только научнотехнической, но и политической победой.

С того памятного дня 12 апреля 1961 года достижения мировой космонавтики значительно умножились. Мирное освоение космоса может в будущем — даже сравнительно недалеко — принципиально изменить нашу жизнь. Поэтому естествен интерес людей к этой сложнейшей, перспективной и романтической области человеческой деятельности.

В литературе, посвященной освоению космоса, можно разглядеть сегодня два основных направления (конечно, деление чисто условное, направления эти часто сходятся и переплетаются): это книги о людях, работающих в космосе и для космоса — космонавтах, ученых, инженерах, — и книги об

истории, о поисках и проблемах космонавтики.

По-прежнему много продолжают писать, конечно, о Юрии Алексеевиче Гагарине. Известны книги о нем, созданные его коллегами-космонавтами, журналистами, теми, кто знал Гагарина в годы учебы, совместной службы, по многочисленным поездкам в разные страны мира. Но вот особая книга. Ее автор — Анна Тимофеевна Гагарина, женщина, подарившая жизнь будущему посланнику Земли во Вселенную. Татьяна Копылова, сделавшая литературную запись, отмечает, что Анна Тимофеевна до последних дней трудилась над книгой. Она считала, что рассказать о светлой личности сына — ее не только материнский, но и гражданский долг. В предисловии приводится отрывок из письма А. Т. Гагариной, написанного в канун 1984 года: «Лет мне немало, здоровья не прибавляется. Я спешу успеть сделать дело, сохранить все, что помню о сыне моем, о том, как он рос, как ему помогали люди стать героем».

Читатель найдет в воспоминаниях немало интересных деталей из жизни семьи Гагариных, узнает о детстве Юрия, его привязанностях, взаимоотношениях с друзьями и родными. Даже известные, в общем-то, факты жизни первого космонавта в устах его матери приобретают особую трогательность, заставляют еще раз задуматься над «феноменом» простого смоленского парня, имя которого с уважением и любовью произносятся во всем мире.

«Было это 14 апреля 1961 года. После торжеств, посвященных вручению Юрию высших наград Родины, пригласили его на большую пресс-конференцию. Вернулся сын, рассказал, что были советские, зарубежные журналисты, дипломаты, ученые, представители общественных организаций. Смеясь, сказал, что, оказывается, какие-то потомки князей Гагариных, находящиеся в эмиграции, претендуют на родство с нашей семьей.

— Почему это, думаешь? — настороженно спросил сына мой муж Алексей Иванович.

— Наверное, считают, что не рабочий, не колхозник, а только человек «голубой крови» может совершить что-то необычайное.

Как же рассердился Алексей Иванович! Что ж, мол, получается, что рабочие, крес-

тъяне — люди «второго сорта»? Разошелся не на шутку. Юра объяснил, что сразу же ответил: «Среди моих предков никаких князей и людей «знатного рода» не было, никогда о таких не слышал».

С волнением и одновременно с улыбкой рассказывает Анна Тимофеевна о том апрельском дне 1961 года. Вспоминает, как на пути в Москву, в электричке, не смогла сдержать слез радости. Как Алексею Ивановичу не верилось, что первый космонавт — его сын, думал, совпадение. Да и самой матери не всегда в это верилось: «Неужели это он — Герой Советского Союза?! Он — тот самый мальчик, который далеким мартовским днем в половине шестого дня впервые подал голос «у-а», тот, который спустя неделю лежал у меня на руках — крохотным, теплым и беззащитным кулечком — всю долгую дорогу, пока вез нас Алеша из Гжатска в Клушино. Картины, впечатления, воспоминания сменяли друг друга. Да, тот! Но поверить было не просто».

Анна Тимофеевна Гагарина, к сожалению, не дожила до двадцатипятилетия со дня первого космического полета. Но с нами теперь ее книга.

О космосе продолжают писать ученые, космонавты, писатели и журналисты. Расскажем вкратце еще о нескольких книгах издания 1985 года.

В. Авдуевский и Г. Успенский в книге «Народнохозяйственные и научные космические комплексы» анализируют результаты и перспективы освоения космоса в интересах науки и техники, народного хозяйства в целом. Авторы говорят об исследованиях окружающей среды, поисках сырьевых и энергетических ресурсов, о совершенствовании различных технологий, средств связи и о многом другом. В книге дан сравнительный анализ народнохозяйственных и научных космических комплексов, рассмотрены принципы их построения, методы проектирования.

О том, какая информация о нашей планете поступает со спутников и орбитальных космических станций, как полученные данные используются для определения состояния лесного, травяного, ледникового покровов, рассказывают в книге «Космическое земледелие» Ал. Григорьев и К. Кондратьев. Много внимания уделено здесь перспективам применения космических средств наблюдений для охраны природы, рационального использования ресурсов нашей планеты.

С малознакомыми проблемами знакомит широкого читателя книга В. Кубасова,

В. Тарана и С. Максимова «Профессиональная подготовка космонавтов». В ней изложены основы теории так называемых эргатических систем — сложных систем управления, составной элемент которых — человек-оператор или группа операторов. Из книги читатель узнает, какие требования предъявляются к космонавтам в полете: они должны в совершенстве управлять космическим аппаратом, уметь обращаться со сложной научной, технологической, медицинской аппаратурой, осуществлять радио- и телевизионную связь с Землей, проводить эксперименты с растениями...

Книга В. Лебедева и В. Крутова «Техническая эффективность пилотируемых космических аппаратов» рассказывает о применении системы количественных показателей и математического моделирования для оценки работы спутников, автоматических межпланетных станций, космических кораблей, орбитальных станций, научно-исследовательских комплексов.

В. Қозырев и С. Никитин посвятили свою книгу «Международные экипажи в космосе» совместным полетам советских летчиков-космонавтов с коллегами из других стран мира. Полетов таких, как известно, было 14. Авторы говорят о различных проблемах, связанных с полетами международных экипажей, об отборе кандидатов в космонавты, их подготовке, о разработке научных программ полетов, научно-исследовательской деятельности экипажей на орбите.

Несколько подробнее еще об одной книжной новинке. Ярослав Голованов, много лет занимающийся космическими темами, рассказывает в своей «Архитектуре невесомости» о проблемах индустриального и жилищного строительства в открытом космосе. Но начинает автор не с архитектуры, а, казалось бы, с предмета, от нее весьма далекого, — медицины. Если запуск первого в истории искусственного спутника Земли был задачей чисто инженерной, то уже полет Юрия Гагарина потребовал множества не только научно-технических решений. «Перед тем как послать человека в космос, требовалось ответить на очень простой и вместе с тем очень трудный вопрос: а не враждебен ли космос его физической и психологической природе? Питание, вода, свежий воздух, тепло, нормальное барометрическое давление — все, из чего складывается наше земное физиологическое благополучие, все это обеспечивалось как раз техникой. Но этот вопрос самый главный, самый важный, был уже не инженерным вопросом. На него должны были ответить медики, физиологи, специалисты по авиацион-

ной медицине, все те люди, которые и создали молодое ответвление древнейшего древа — космическую медицину. И они ответили: не враждебен. Они верили своим гипотезам и опытам. Они ручались за человека. Просили только, чтобы человек был покрепче, — их можно понять.

Главный фактор, замедляющий сегодня проникновение человека в космос, — невесомость. И хотя рекордные полеты экипажей «Салютов» отодвинули временные границы пребывания человека в космосе, по-прежнему неясно, как долго без ущерба для здоровья человек может переносить отсутствие силы тяжести. Видимо, строительные сооружения в космосе должны будут обеспечивать искусственную гравитацию (пусть даже и в ослабленном виде). Тогда появятся предпосылки к созданию «эфирных поселений», о которых мечтал еще К. Э. Циолковский.

Одна из глав книги называется «В космос за солнцем!». За Солнцем — надежным и практически неисчерпаемым источником энергии. Сегодня даже школьнику известно, что запасы угля, нефти, газа и другого топлива на Земле ограничены. Термоядерный синтез пока не «приручен». Поэтому в решении многих энергетических проблем землянам может помочь древнее светило. Одна из форм его использования — транспортировка солнечной энергии на Землю из космоса, где будут сооружаться гелиостанции. «И без всяких расчетов было ясно, — пишет Голованов, — что солнечные электростанции в космосе, в сравнении с земными, получают ряд принципиальных преимуществ. Они способны использовать излучение нашей звезды, не профильтрованное земной атмосферой, во всей его полноте. Для них не существует практически понятия дня и ночи: очень быстро подсчитали, что солнечная электростанция в космосе может находиться в тени Земли не более сотой части времени своей работы. Невесомость позволяет расположить поля солнечных батарей на беспредельных площадях и сделать чаши отражателей сколь угодно громоздкими; при этом можно не бояться, что они разрушатся под действием собственного веса, как это случилось бы на Земле».

Будущее принадлежит лазерной технике, которая лучше справится с передачей энергии Солнца на Землю, чем, допустим, микроволновый передатчик. Автор подчеркивает, что независимо от «заселения» космоса землянами такие гелиостанции могут стать реальностью уже в нашем веке.

В книге много и интересно рассказывает о насущной необходимости вынести в

будущем хотя бы часть промышленного производства за пределы Земли, создать внеземную индустрию. Это чрезвычайно перспективное дело. Невесомость дает, например, идеальные условия для получения новых видов биологических структур.

Что же будет представлять собой астроархитектура, каковы ее отличия от земной? В каких орбитальных городах будут жить «эфирные поселенцы»? Занимательно и популярно, но не сбиваясь на подчас обжигающую специалистов «доходчивость в расчете на первоклассника», Голованов рассказывает читателям о многих интереснейших проектах ученых разных стран. Немало страниц посвящено, например, завоевавшим широкую известность проектам американского специалиста по физике высоких энергий О'Нейла. Любопытно, что проектами космических сооружений ученых в свое время занялся шутки ради, но увлекся всерьез, и уже первые его публикации на эту тему в 1974 году становятся сенсацией; вскоре создаются даже «Общества космических поселений имени О'Нейла». Сам О'Нейл так видел город в космосе: «Конструкция каждого космического поселения почти полностью определяется при выполнении следующих условий: нормальная гравитация, привычный цикл дня и ночи, естественный солнечный свет, обстановка, близкая к земной, эффективное использование солнечной энергии. Конструкция, удовлетворяющая всем условиям, — это пара цилиндров, имеющих примерно 1—6 км в диаметре и длиной 3—30 км. В этих цилиндрических парах внутренняя поверхность отдавна паркам и лесам с озерами, реками, травой, деревьями, животными и птицами. Эти ландшафтные участки — «долины» — чередуются с участками окон — «солариями». Цилиндр довольно быстро вращается вокруг своей оси, и благодаря этому на его внутренней поверхности действует необходимая сила тяжести. Экономика заставляет думать о меньшем диаметре, желание создать ландшафт, максимально напоминающий земной, требует большего диаметра. Независимо от размера кажущаяся гравитация, состав воздуха и атмосферное давление должны быть такими же, как и на Земле на уровне моря».

По мнению этого ученого, «колонизация» космоса спасет людей от назревающих земных проблем: демографического взрыва, истощения природных ресурсов. Советские ученые придерживаются принципиально другой позиции: мудрое хозяйствование на Земле на социалистических и коммунистических началах, бережное отношение к при-

роде, изучение, поддержание и преобразование ее процессов и циклов, безотходная технология — вот путь к практически бесконечному развитию человечества на Земле.

Разумеется, дальнейшему прогрессу земной цивилизации будет способствовать и создание городов на орбите. Голованов описывает и другие проекты «эфирных поселений», может быть, менее эффективные, чем у О'Нейла, но более реальные в ближайшем будущем: «При всех циклопических размерах будущих сооружений свободного космического пространства эти сооружения всегда будут оставаться замкнутыми, лишеными того аромата простора, к которому мы привыкли в нашей земной жизни. Этот простор определяется самой формой Земли — ведь горизонт порожден ее кривизной. Даже если предположить, что в далеком будущем космические сооружения смогут приблизиться по своим размерам к размеру планет, то жить мы будем скорее всего все-таки не на поверхности этих рукотворных земных шаров, а внутри их. И детям, там рожденным, очень трудно будет объяснить, что такое горизонт». Автор приглашает читателя на воображаемую экскурсию: «Итак, давайте попытаемся оглядеться в нашем новом космическом доме. В комнате-шаре такая простая и привычная вещь, как, например, стол, становится сложной, неудобной, нефункциональной, как говорят дизайнеры. Согласитесь, если у комнаты нет пола и потолка, то у мебели не может быть верха и низа. Стол с тумбами или ножками логично перерождается в куб, а еще вероятнее, мне кажется, в многогранник. Летящий стол — это нехорошо. Его

можно закрепить с помощью каких-то жестких соединений или магнитного поля, это уже вопрос техники».

Станут ли нарисованные автором картины реальностью, воплотятся ли в жизнь интереснейшие проекты, о которых он пишет? Разумеется, это возможно лишь при одном условии — если космос будет мирным. К сожалению, в мире есть силы, препятствующие тому, чтобы исследование и освоение космоса служили благу и счастью людей. Одержимая навязчивой идеей «звездных войн», нынешняя вашингтонская администрация стремится превратить безвоздушное пространство в гигантский ринг. Программа милитаризации космоса поглотит огромные силы и средства, надолго отодвинет полеты человека на неизведанные планеты.

«Человечество находится на ответственном этапе новой космической эры, — говорит в заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. — И пора отказаться от мышления каменного века, когда главной заботой было обзавестись дубинкой побольше или камнем поувесистей. Мы против оружия в космосе».

Советские люди твердо убеждены: будущее за мирным космосом, а не за «звездными войнами». И наша голубая планета по-прежнему будет радовать нас своей красотой. Ведь любить ее нам завещал Юрий Гагарин: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!»

А. ЗНАТНОВ.



ТИРАНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ

Ф. М. Бурлацкий, А. А. Галкин. Современный Левиафан. Очерки политической социологии капитализма. М. «Мысль». 1985. 384 стр.

Имя Левиафана, библейского морского чудовища, прочно вошло в политический лексикон после того, как стало названием главного труда виднейшего представителя буржуазной философии и политической науки нового времени, английского материалиста XVII века Томаса Гоббса. Труд был посвящен возвеличению мощного государства, которое в обществе, где человек человеку — волк, должно было с помощью страха обуздать непрестанно идущую «войну всех против всех».

Философское и социально-политическое

исследование современного буржуазного государства (левиафана) — задача столь же важная, сколь многомерная и сложная. Его экономическая, социальная, политическая, правовая культурная функции органически переплетены и в совокупности представляют собой противоречивое единство.

Ф. М. Бурлацкий и А. А. Галкин рассматривают в своей книге политический аспект деятельности государства, пожалуй, самый динамичный, противоречивый, многослойный и поэтому ко многому обязывающий исследователя, требующий от него смелой

мысли. Ныне во всем мире происходит политизация самых разных сфер межчеловеческих и межгосударственных отношений. В периоды обострения международной обстановки особенно отчетливо видно, как множатся политические реалии; производственные, культурные, торгово-экономические и научно-технические связи, спорт, туризм — все начинает обретать политическую окраску, оцениваться в политической системе отсчета. Растет возможность конфронтации и конфликтов, но возрастает и позитивная роль политики как многогранного действенного инструмента урегулирования и разрешения различных противоречий.

Ключом к научному анализу государства как органа политической власти служит ленинское требование исходить из «материалистической теории политики», ибо «политика имеет свою объективную логику, независимую от предначертаний тех или иных лиц или партий». Прежде политика была областью, где приоритет отдавался искусству, творчеству и где элементы научного знания с трудом пробивали себе путь. Богатейшее философско-социологическое наследие В. И. Ленина, разработанная им политическая наука содержат основополагающие принципы рационального критического анализа различных сторон деятельности современного капиталистического государства и буржуазных политологических теорий.

В западной политологии, прежде всего американской, существуют по отношению к науке две основные тенденции. Одна из них — псевдорационалистическая, или сциентистская, — состоит в попытке построить политику по типу промышленной корпорации, а политическую теорию уподобить естественным наукам в надежде на то, что политике это придаст деловой характер, а политологии строгую научность. Другая — эмпирическая — основана на анализе отдельных сторон политической жизни (например, поведение индивида во время избирательной кампании) и отрицании каких-либо общих закономерностей, она сводится к мнению, что в политике господствует случайность, в ней невозможны долгосрочные предвидения, ибо это «сфера игры». Эти тенденции выражают стремление одних политологов понять движущие силы политического процесса, а других — разработать новые, более изощренные методы управления этим процессом, чтобы тем самым принести пользу властвующей элите. Движение между примитивным обобщением и мелочным детализированием представляет собой

сегодня основную форму буржуазного политического мышления.

Дело, однако, еще и в том, что западная политология с обеими ее тенденциями отстоит довольно далеко от той государственно-бюрократической сферы, где принимаются важнейшие политические решения. Процедура принятия решений и определение способа их осуществления являются главным в деятельности любого государства. На этом оселке проверяется научность проводимой политики. Если попытаться в одной фразе выразить сущность процедуры принятия решений на всех значимых уровнях государственного аппарата современного капиталистического общества, то можно сказать, что политики исходят не из объективных закономерностей политического процесса, а из субъективных, узкоклассовых буржуазных интересов, из произвольных оценок.

Сама оценка складывается в этом случае из множества противоборствующих индивидуальных, групповых и коллективных воль, желаний, установок. Нетрудно понять, что в практической политике это ведет к авантюризму, который в ядерный век может обернуться катастрофическими для человечества последствиями. Известный американский публицист Э. Тоффлер в книге «Третья волна» отмечает: «Слишком много решений, слишком быстрых, относительно слишком большого числа странных и незнакомых проблем... объясняют сегодня грубую некомпетентность политических и правительственных решений. Наши институты испытывают головокружение от внутреннего взрыва этой процедуры».

Современному буржуазному государству, подчеркивают авторы книги, глубоко чужды интересы народных масс, оно относится к народу не как к субъекту исторического творчества, а как к объекту политического манипулирования. Понятие «народ» в западной политологии фактически отсутствует. О нем вспоминают, как правило, в трех случаях: во время предвыборных кампаний; когда правительство выступает с новой общенациональной программой (нередко рассчитанной на привлечение внимания правительств и народов других стран), сам факт опубликования которой рекламируется как широкая народная «поддержка»; когда народ напоминает о себе массовыми политическими действиями — антивоенными, антиядерными движениями, забастовками и тому подобным.

Пресловутый принцип буржуазного индивидуализма лишь усиливает политичес-

кое отчуждение капиталистического государства, выступающего в виде стоящей над народными массами и господствующей над ними неконтролируемой демонической силы, которая одних лишает человеческих прав, других — работы, третьих — крова, возможности получить образование, медицинское обслуживание и тому подобное. Отчуждение глубоко затрагивает и духовную сферу. Крайне ограничен доступ народа к культурным ценностям. Навязываемые массовой пропагандой политические мифы и иллюзии рассчитаны на то, чтобы оболванить человека, сделать его послушным орудием агрессивной империалистической политики, в корне противоречащей жизненным интересам народа. Экономическое, политическое и культурное отчуждение современного левиафана тиранизирует миллионы людей, предоставляя возможность единицам вести борьбу за лучшую часть пирога.

Недавно в США вышел солидный труд известного американского политолога и историка Джеймса Бэрна «Способность управлять. Кризис американского президентства». Автор убедительно рассказывает о «войне всех против всех» в государственном аппарате Соединенных Штатов. Взаимоотношения между чиновниками различных рангов, включая президента, напоминают Бэрну детскую игру, когда на высокий, с покатою гладкой поверхностью валун взбирается один из ребят, изображающий «короля скалы», и, осыпая других насмешками, старается удержаться как можно дольше, причем каждый норовит его сбросить и стать новым «королем». «Этот конкурирующий индивидуализм уже давно институционализирован в структуре конгресса», — пишет Бэрнс.

Сложнее обстоит дело, когда взаимодействуют монополии и государство, хотя принцип буржуазного индивидуализма, преломленный в групповых или классовых интересах, и здесь остается в силе. Не следует упрощать роль современного буржуазного государства, видя в нем либо основной регулирующий рычаг, либо механизм, полностью и безусловно подчиненный монополиям. Диалектика состоит в том, что государство неуклонно расширяет и усиливает свои функции не без всесторонней помощи монополий, которые пользуются этим, извлекая максимальную прибыль из заказов на производство продукции, прежде всего военной. Монополии заинтересованы в усилении как государства, так и личной власти президента. Современное буржуазное государство развитого капиталистического общества предстает в виде единого военно-

промышленно-политического комплекса, который в конечном счете и управляет процессом принятия решений.

Властвующие индивиды независимо от степени осознания ими важности своей политической роли являются, в сущности, лишь проводниками коллективной классовой воли. Буржуазное государство уже давно расходует на борьбу с марксистско-ленинским учением и реальным социализмом значительно больше интеллектуальных, моральных, психических и финансовых ресурсов, чем на конструктивные исследования и положительную разработку собственно политических проблем. Антикоммунизм, антисоветизм превратились в золотonosную жилу для многих политиков и политологов, не сумевших проявить каких-либо иных способностей в практической политике или теоретических исследованиях. Вот почему короны высокой политической ответственности часто возлагаются на совершенно неподходящие для этого головы — таково объективное требование, вырастающее из классовой сущности стихийно функционирующего капиталистического государства.

Неудивительно, что в этих условиях могут появиться теории, утверждающие, что политика — игра случая. Наличие веских оснований для подобного утверждения при капитализме не должно служить поводом для его распространения на политику любого государства. К тому же случайность в принципе нельзя исключать ни из какой области человеческой деятельности, так же как нельзя сводить ни одну из них только к случайности.

Научный, марксистско-ленинский подход к политике требует раскрытия объективных закономерностей политического процесса и осуществления практической политики в строгом соответствии с ними. Искусство политического деятеля состоит в том, чтобы уметь применять общие закономерности политических отношений с учетом конкретных форм их проявления к любой ситуации, определять способ и направление политического действия — индивидуального, группового, массового.

В разных общественно-экономических системах политические закономерности действуют по-разному. В условиях капитализма — стихийно, как результирующая сила, которая складывается из множества противоречивых тенденций, взаимоисключающих интересов, стремлений, воли; при социализме — преломляясь через сознательную целеустремленную массовую деятельность людей. По мысли Ленина, «политика

начинается там, где миллионы; не там, где тысячи, а там, где миллионы, там только начинается серьезная политика...».

Разумеется, сама по себе возможность проведения научно обоснованной политики отнюдь не предохраняет от политических ошибок. Эта возможность должна быть корректно реализована, то есть превращена в действительность. Если на страже соблюдения правовых норм в обществе стоит (или должно стоять) государство, обладающее карательными органами и другими средствами пресечения нарушений, то такого органа, который стоял бы над господствующим классом и наказывал его за политические ошибки, нет. В. И. Ленин отмечал: «...никакой закон не может связать выражения воли господствующих классов». В этом случае карает сама жизнь: в обществе наступает политический кризис. Субъективизм, волюнтаризм, игнорирование объективных закономерностей политического процесса особенно пагубно действуют на социальное развитие. Именно это имел в виду В. И. Ленин, требуя «полного подчинения аппарата политике». Политическая наука не может нести ответственность за ошибки, допускаемые незадачливыми политиками.

Вот уже много десятилетий капиталистическое общество находится в тисках нескончаемого политического кризиса, который то несколько утихает, то разгорается с новой силой. Неспособные совладать с раздражающими их внутренними противоречиями, буржуазные государства создают напряженность во внешнеполитической сфере,

ставя под угрозу жизненные интересы народов социалистических стран. Буржуазное политическое сознание, взращенное на принципах господства и подчинения (в особенности его крайне правая, консервативная форма), не приемлет отношений, основанных на равенстве и свободе. Современный левиафан с ярлыком «Сделано в США» пытается навязать всему миру свои нормы общественной жизнедеятельности.

В отношениях между государствами с различным общественным и политическим строем уже действуют открытые политической наукой объективные закономерности. Одна из них — необходимость мирного сосуществования двух систем. Полнокровному проявлению этой закономерности способствует курс на разрядку международной напряженности. Чем раньше это поймут находящиеся у власти буржуазные политические деятели, тем будет лучше для дела мира во всем мире.

Выиграть мир не менее важно, чем выиграть войну. В нынешних условиях политика стала глобальным явлением; локальные на первый взгляд события быстро приобретают международную значимость, способны оказать воздействие на ход мировой истории. Поэтому с особой силой встает вопрос о поиске новых средств для предотвращения нежелательных политических случайностей, могущих обернуться роковыми для человечества последствиями.

В. МШВЕНИЕРАДЗЕ,
член-корреспондент АН СССР.

КОРОТКО О КНИГАХ



ПАВЕЛ СТЕПОВОЙ. Гатов. Роман в двух книгах. М. «Художественная литература». 1985. 680 стр.

Роман Павла Степового «Гатов» — живой отклик нашей литературы на те новые задачи политической, экономической, идейной жизни страны, о которых мы много думаем и говорим в последнее время, которые сегодня, особенно серьезно после XXVII съезда КПСС, решает наш народ.

Роман посвящен партийным работникам, рассказывает об их высокой ответственности за все то, с чем сталкивает их повседневность. В нем рассматриваются вопросы политического и социально-экономического развития крупнейших районов страны, проблемы гражданского воспитания, нравственности и справедливости.

Несомненно, к лучшим страницам романа относятся драматические в полном смысле этого слова сцены пленума обкома партии, собрания в колхозе «Искра», заседания Комитета партийного контроля, обсуждавшего вопрос об ошибках секретаря Морянского обкома Лучина. Главный герой романа, старый коммунист Петр Семенович Гатов, выступает на бюро с бескомпромиссной речью о партийной работе, обращаясь прежде всего к опытному председателю облисполкома Ивану Карповичу Гуртьеву. Он хочет открыть ему глаза на происходящее, спасти его, коммуниста и человека, несущего ответственность перед партией и народом.

«Ответственность перед Родиной, партией, перед обществом, коллективом, перед семьей, матерью, перед сыном или дочерью и особенно перед самим собой, — утверждает Гатов, — высшая мера поступков и поведения человека. Именно в этом кроется великое, до конца еще не разгаданное начало движения души человека, его мобилирующий и сдерживающий духовный побудитель, способный во много крат умножить силу воздействия великих идеалов общественного развития».

Павлу Степовому присуща публицистическая смелость, в этом смысле он хочет следовать лучшим традициям советской литературы. Используя ленинские слова, можно сказать, что автор пишет историю современности и старается писать ее так, чтобы его бытописание приносило посильную помощь непосредственным участникам революционной борьбы и коммунистического строительства.

Особенно много внимания в романе уделено судьбам и деятельности партийных ра-

ботников первого послевоенного десятилетия. И читатели, думается, по достоинству оценят стремление автора откликнуться на важнейшие события времени, раскрыть духовную гармонию советского общества.

Запоминаются лирические и публицистические отступления, живописные картины природы Сибири и причерноморского юга. Автор умеет приметить яркую зелень ясеневой кроны и позолоту кряжистых дубов в Подмоскovie. Его радуют скошенные хлеба и тучные стада на бескрайних полях и лугах Причерноморья. Он слышит, как шуршит за окном тихий и сонный дождь, а на бурой земле зябка дрожат лужи. Природа наполняет его героя чудодейственной свежестью, снимает усталость. Остропублицистические, а то и лирические авторские отступления не нарушают композиционной стройности произведения. П. Степовой словно бы дает нам возможность глубоко вздохнуть, оглянуться на события, оставшиеся позади, задуматься над породившими их жизненными обстоятельствами.

Ал. Романов.



МИХАИЛ БУЛГАКОВ. Самоцветный быт. Рассказы и фельетоны. М. «Правда». 1985. 48 стр.

Habent sua fata libelli — книги имеют свою судьбу. Это древнее выражение не раз вспоминается в разговорах о «Мастере и Маргарите». Но своя судьба не только у больших романов. Собственно, *libellus* в переводе с латыни означает книжечка, небольшое сочинение. Короткие рассказы и фельетоны Михаила Афанасьевича Булгакова также имеют свою судьбу, сложную и поучительную. Публиковавшиеся в газетах и журналах 20-х годов, они десятилетиями оставались (а в большинстве и остаются) несобранными, неизученными, просто-напросто неперечитанными.

Правда, известны жесткие самооценки автором этой его работы на злобу дня. Но разве вечные темы «Мастера и Маргариты» прозвучали бы столь мощно, не будь у бытового бытового фона: с жилтовариществом дома № 302-бис, МАССОЛИТом, театром Варьете, с клинкой профессора Стравинского — со всем тем бытом, который писатель называл самоцветным?

Генеральная для литературы идея связи

времен нераздельна в произведениях Булгакова с проблемой наследия и наследников, с проблемой культурных ценностей. Во владикавказской газете «Коммунист» разместила Л. Яновская рассказ «Неделя просвещения», самое раннее из известных нам выступлений Булгакова в печати. Это не только колоритная сценка нравов первых лет советской власти — дебютный «простодушный рассказ» (таков подзаголовок) совсем не прост. Комическое в истории приобщения неграмотных красноармейцев к серьезному искусству не раз испытывается на разрыв социально обостренной авторской мыслью. Напряжение велико — и вот за смешным обнаруживается драматическое, одним только смехом не излечиваемое. Трудно красноармейцу Сидорову, у которого сегодня вечером — посещение «Травиаты», завтра — вторая рапсодия в исполнении «товарища Блоха со своим оркестром», затем драмтеатр, опять опера — и никакого цирка, в котором ему «больно занято». Трудно военкому с таким «несознательным элементом». Не забывается и барышня, которую не пустили в театр, потому что, как сказал контролер, «пускаем только неграмотных».

Забота о просвещении (не о «неделе просвещения», но о времени просвещения, просвещенном времени!) оказывается в творчестве Булгакова совсем не случайной. Через несколько лет в цикле гудковских фельетонов «Самоцветный быт» (два из них в одноименной книжке опубликованы) — тот же смех сквозь слезы. «Молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете», едва не доходит до умопомрачения, читая насквозь, по совету дежуря библиотекарка, словарь Брокгауза. «Профессиональный знаменитый работник 20-го века Ванькин Исидор», подвизающийся в рабочем клубе, устраивает такие в отмену крестин октябрьные, что, по мнению очевидцев, новорожденную «похоронным маршем задавил наповал». И вот что примечательно: невежество, доставшееся народу от старого режима, Булгаков изображает юмористически. И напротив, становится беспощадным сатириком, обнаруживая новоявленных культуртрегеров, полунинтеллигентов, суесловных «интеллектуалов», восклицающих: «Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие ксюшки!»

Спириты, прорицатели, медиумисты, высмешанные классиками в «Плодах просвещения» и в «Полунощниках», оказались живучими — их настигает булгаковский сарказм («Спиритический сеанс», «Мадмазель Жанна»). Весьма актуальны сегодня и рассказы «Самогонное озеро», «„Вода жизни“», миниатюра «Белая горячка». А так ли уж фельетонен и безвозвратно архаичен «Залог любви», умещающийся на двух страничках булгаковский «роман», возникший на основе читательского письма в «Гудок»?

Новое издание произведений Булгакова невелико по объему, но все же, собранное под мягкой обложкой, весомо. И 13 «малых сатир», среди которых не могут не вызвать восхищения реалистические гротески «Площадь на колесах», «Торговый дом на колесах». И прежде неизвестный фотопортрет писателя. И темпераментно написанное предисловие Евгения Сидорова, где отмечен ряд

мотивов «Мастера и Маргариты», перешедших в роман из фельетонов, а их автор по справедливости назван сатирическим летописцем. И библиографический комментарий составителя книги Бориса Мягкова. И даже десяток рисунков В. Мочалова, вызывающих, впрочем, крамольную мысль о том, что занятого ими места хватило бы еще для двух-трех рассказов. Но, с другой стороны, кажется, впервые у нас в руках Булгаков «иллюстрированный»...

Да, книги имеют свою судьбу. Хочется верить, что судьба «малых созданий» Булгакова только начинается и обращена в будущее.

Сергей Дмитренко.



РОСТИСЛАВ АРТАМОНОВ. Руки. Стихи. М. «Советский писатель». 1984. 71 стр.

В своих отношениях с миром, установленных в стихах, поэт Ростислав Артамонов прежде всего активен: далекий от позиции отстраненного созерцания, он чутко откликается на стремительно обновляющиеся приметы текущей нашей жизни. Это и в названии его первой книги — «Руки». Руки могут быть ласковыми, добрыми, могут напрягаться в труде, сжимать кулаки перед боем; пластика их — зримое отражение настроений и чувств:

Но,
почувствовав мир по-новому,
Руку радостно протяну
Я,
навстречу листку дубовому.
Растопырившему пятерню.
(«Вспоминаю снова и снова я...»)

Эмоционально насыщенной лирике Р. Артамонова свойственна обнаженность душевных порывов. И в этом тоже характерная черта его творчества.

И еще поэт убежден, что все новое, созданное человеком, «рождает совместный форум новых рифм и новых формул...». За всем, о чем он пишет, и это чувствуется, присутствуют прочные, устоявшиеся нравственные понятия. Однако это не мешает поэзии Ростислава Артамонова ощущать жизнь в ее напряженном движении: его герои живут в современном мире, где шумят доменные печи («На Верх-Исетском металлургическом...»), движутся скоростные поезда дальнего следования («Вагоны вздрогнули, беспокоясь...»), где в экспедиционных буднях проверяются человеческие характеры («Вспоминаю снова и снова я...», «Проверка»). Излюбленным образом поэта становится образ дороги как символа движения. Образ этот приобретает у него в известном смысле определяющее звучание:

Эх, дорога, дорога!
Вот она:
То в грязи, то в густой пыли.
Нервущейся нитью
Намотана
На огромный клубок Земли..
(«Дорога»)

Публицистический пафос этих строк, стремление поэта к масштабным образам

по-своему делает необходимым и органичным появление в его книге колоритных сцен и зарисовок, в которых перед читателем предстают современники в своей обычной, но отнюдь не обыденной жизни. Здесь и зарисовки из жизни коммунальной квартиры («Начало всех начал»), и рассказ о первом серьезном столкновении с жизнью шестилетнего мальчика («Вовка»), и с улыбкой нарисованные фигуры мужчин, дружно спешащих по утрам к молочной кухне детского питания: «И шутит дворник дядя Петя: „Видал? Кормящие отцы...“» («Чуть рассвет — и мимо дома...»), — и, наконец, сложности и противоречия той сферы жизни, которую принято называть личной, интимной («Как много смысла в каждом тосте...»), «Мы друзьями были, и разве мы...»).

Есть своя закономерность в том, что сборник, содержащий и любовную лирику, и стихи о творчестве, дружбе, природе, заканчивается на высокой ноте гражданского звучания — поэмой «Присяга сердца», посвященной нелегкой судьбе и подвигу бывшего курсанта школы милиции офицера-героя Евгения Иванова.

Можно сказать, что во всем этом многообразии тем и задач, которые Р. Артамонов ставит перед собой, поэт остается верен себе, своей активной наступательной установке. Даже в пейзажной лирике, которая по природе своей традиционно тяготеет к поэтическим медитациям, он остается остросовременным и публицистичным: «Я его убедить не смог, что, полдня простоявший в комнате, будет комнатой пахнуть цветов. А цветы, что под солнцем и грозами в первоизданной своей красе, все, конечно, не пахнут розами, но имеют свой запах все!»

Знакомство с взволнованной и вместе с тем выверенной мыслью лирикой Ростислава Артамонова позволяет надеяться, что приход его в поэзию не случаен, что читатель вправе ожидать от него плодотворного развития тех мыслей и чувств, с которыми познакомил нас его первая книга.

Вс. Троицкий,
кандидат филологических наук.



ГЕОРГИЙ ГУЛИА. Рембрандт. Роман. «Звезда», 1985, № 7.

Творчество Георгия Гулиа многообразно. Известность ему принесли абхазские рассказы, полные тепла, тонкого лукавства, искрометного юмора. Он выпустил десятки книг, добрая половина которых — историческая проза.

Вопреки собственным веселым советам не увлекаться архивными раскопками и «не ходить» далее года рождения Гулиа относится к истории весьма серьезно и старается с непоколебимой точностью воспроизвести все детали исследуемой эпохи, воссоздать историческую атмосферу, в которой живут герои его произведений.

Жизнь Рембрандта в изображении Георгия Гулиа предстает перед нами как неминуемая цепь чередующихся обретений и утрат, всепоглощающей работы, кратких минут прозрения и столь же кратких минут

счастья. Судьба Рембрандта была тяжелой, но не сломила его. Сказалось суровое воспитание в семье простого мельника, где всем невзгодам противопоставлялся труд. И будучи художником, Рембрандт тоже считал главным в своем творчестве труд. Он тер краски, травил кислотой офортные доски, часами стоял у мольберта как гранитная глыба, не зная усталости. Талант живописца и постоянное внимание к «технологии» мастерства превращали его картины в высокохудожественные произведения. Рембрандт у Гулиа, несмотря на самозабвенное и, казалось, угрюмо-сосредоточенное увлечение трудом, общительный и веселый человек, «такой — как хороший напиток в хорошем бокале, который держит в руке» художник на автопортрете с Саскией на коленях.

В Рембрандте сочетались реалист, стремящийся точно изобразить модель, и поэт, выражающий идеальную ее сущность. Он не оставил писем, раскрывающих потаенные глубины его души. Но есть многочисленные офорты, картины «Ночной дозор», «Урок анатомии доктора Тюлпа», «Даная», бесценные портреты современников — шедевры, говорящие тем неповторимым языком линий и цвета, которые великие художники комбинируют присущим им одним способом. Пристально всматриваясь в полотно, можно понять его таинственное обращение к потомкам. Живописный язык Рембрандта внятен и близок тысячам людей, а его творческая фантазия обладает почти магической силой.

Сегодняшняя притягательность искусства Рембрандта далеко не музейного свойства. Отношение к художнику теперь — это отношение к актуальному, способному влиять на вкусы наших современников явлению искусства, иными словами — явлению живому и близкому.

По мнению Гулиа, художник оставил нам как образ свой неподражаемый рембрандтовский свет, придающий особый драматический колорит картинам. Озаренные рембрандтовские лица словно выхвачены из мрака вечности. Один из его учеников в романе Гулиа говорит о художнике: «...возможности его почти безграничны. Он чертовски владеет светом... Какая-то огненная кисть в его руках». Рембрандт заставляет свет звучать победоносно, передавать тепло и человечность.

На слово писателя несомненно воздействовала идея торжества правды, лежащая в основе живописи Рембрандта. Не случайно поэтому в романе приведены документальные высказывания о художнике наших современников, записанные в разные годы в разных городах Европы. Факт и вымысел, сменяя друг друга и переплетаясь, удачно организуют материал романа, подобно музыкальной теме, приводимой в движение посредством вариаций, которые — виток за витком — раскрывают содержание. Документальные вставки придают роману-портрету особый психологический рисунок, я бы сказала, какую-то торжественную строгость, лишенную, однако, скучной парадности. Торжественной, строгой, великой и будничной одновременно была и судьба Рембрандта.

Александра Баженова,

Саратов.



АЛЕКСАНДР МУЛЯРЧИК. Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века. М. «Советский писатель». 1985. 359 стр.

Пятнадцать лет назад известный советский литературовед-американист М. Мендельсон писал в послесловии к двухтомному собранию статей американского литературоведа и критика Ван Вик Брукса: «Советские люди более или менее хорошо знакомы — может быть, знакомы лучше, чем американцы в массе своей, — с наиболее значительными произведениями американских писателей XX столетия». Это несомненно так. И большая заслуга здесь помимо переводчиков принадлежит советским исследователям, посвятившим себя изучению современной литературы США. Достаточно сказать, что только в 80-х годах вышло в свет более десятка монографий, принадлежавших перу Н. Анастасьева, Я. Засурского, А. Зверева, М. Мендельсона, А. Мулярчика, а также коллективных сборников, анализирующих современный литературный процесс в США. Если сюда прибавить многочисленные статьи и рецензии в периодике, предисловия к переведенным на русский язык книгам американских писателей, то картина получится впечатляющая. Невольно приходит мысль: имей американцы такую же возможность знакомиться с советской литературой и через нее с жизнью, делами, заботами и чаяниями советского народа, отношения между нашими странами могли бы складываться более благоприятно. Неведение порождает страх, а страх, как известно, плохой советчик.

Новая книга А. Мулярчика тематически примыкает к его предыдущей работе «Послевоенные американские романисты» (М. 1980), развивая содержащиеся в ней, а также в статьях 80-х годов идеи и выводы с привлечением дополнительного материала. Автор сосредоточил свое внимание на романе, ведущем жанре современной американской литературы, сделал только два исключения — для новеллистики Дж. Чивера и Б. Маламуда. В поле зрения А. Мулярчика попали буквально сотни романов, опубликованных в США за последние три с лишним десятилетия. Все они рассматриваются автором в контексте социальных и политических событий, происходивших в американском обществе на том или ином историческом этапе (маккартизм, период лево-радикалистского «бунта» 60-х годов, война во Вьетнаме...).

При анализе конкретных произведений автор не упускает из виду прямую и обратную связь между жизнью и литературой. Вот только один пример. Политические романы убежденного пропагандиста американского образа жизни и внешнеполитической доктрины США Аллена Друри, в том числе и роман о «сильном» президенте Оррине Ноксе («Обещание радости», 1975), как пишет А. Мулярчик, «вне всякого сомнения, в какой-то мере содействовали «поправлению» Америки, нашедшему выражение в избрании осенью 1980 года на пост президента Р. Рейгана, предвыборные декларации которого были словно позаимствова-

ны у созданного воображением Друри Оррина Нокса». Это пример негативного влияния литературы. Но творчество честных и талантливых американских писателей-реалистов действует оздоравливающе на духовную жизнь в США.

В одной из своих статей А. Мулярчик отмечал, что «реализм представляет собой важнейший фактор современного литературного развития на Западе». В полной мере это относится и к литературе США. Современная американская реалистическая проза утверждает себя в постоянной борьбе с охранительной литературой, громко прославляющей «незыблемые ценности» капиталистической системы, с экспансией бизнеса, стремящегося подчинить литературный процесс законам прибыли, с соблазнами модернизма, представители которого (даже наиболее талантливые) ради сомнительной «эстетике» отрекаются от гуманизма. Это борьба за место литературы в сердцах читателей, за ее право на духовное руководство. Автор монографии убедительно показал, что в большинстве своем писатели-реалисты в США отвергают и охранительные тенденции так называемого нового консерватизма, и коммерческий успех, если за него нужно платить отказом от своих принципов, и данайские дары контркультуры, «делая выбор в пользу твердых понятий, опирающихся на здравый смысл трудовой Америки», хотя и понимают всю сложность их приложения к существующей практике.

Новая книга А. Мулярчика, написанная живым языком и содержащая обширную информацию, несомненно привлечет внимание не только специалистов, но и всех, кто интересуется литературой США.

Аркадий Гаврилов.



ДМ. ХРЕНКОВ. День за днем. Лирический дневник критика. Л. «Советский писатель». 1984. 263 стр.

Жанр этой книги определил сам автор. Мы найдем здесь элементы и литературно-критического очерка, и мемуаров, и эссе, но прежде всего это дневниковые записи (по горячим следам) о встречах и общении критика и издателя Дмитрия Хренкова с деятелями литературы и искусства. С ними сводили его профессия и общие интересы, а затем сближала дружба соратников и единомышленников. Их портреты и составляют основу книги.

В центре фрагмента, посвященного Николаю Тихонову, пожалуй, одна, но едва ли не главная черта его характера — воистину вулканическая жажда деятельности. Она проявлялась и в творчестве и в повседневном быту. Ежегодное количество писем, намного превышающее число дней в году! До 20 поздравительных стихотворений друзьям в один предновогодний вечер! И это при напряженной работе над стихами и прозой, многочисленных командировках и общественных обязанностях. Частные факты? Но не они ли выразительно раскры-

вают облик романтика до седых волос, неисправимого жизнелюба, переполненного бьющей через край энергией, вечно что-то пробивающего, отстаивающего, защищающего?..

Анна Ахматова. Человек с характером по житейским меркам тяжелым. Автор книги на собственном опыте познал, что значит попасть под гнев Анны Андреевны. Но вчитываясь в строки книги, осмысляя приводимые в ней события, осознаешь: и гнев, и сочувствие, и участие поэта (слово «поэтесса» Ахматова не допускала) порождены достоинством сознающего ответственность за свое дело литератора. В самые трудные для себя дни Анна Андреевна не терпела сострадания людей, не понимавших этой ответственности, хотя сама умела искренне страдать. Она умела и любить, и презирать, и пренебрегать тем, что не стоило внимания, и гордиться духовными ценностями русского человека, как немногие могли это делать. Личность во всем, в том числе и в общении с людьми, — такой она предстает и со страниц книги «День за днем».

Сергей Орлов. Друг, нежная (не побоимся этого определения) привязанность не склонного к излишней сентиментальности автора книги. Дар творческого предвидения — вот что подчеркивает Дм. Хренков в поэтической палитре литератора-воина. Орлов писал стихи о космических полетах тогда, когда лишь немногие теоретики космоплавания могли знать их реальные перспективы. В тяжелейшие военные и первые послевоенные годы поэт с уверенностью говорил о возвращении в недалеком будущем таких простых, но в войну для многих недостижимых радостей, как кружка молока, свежий хлеб, мытье полов, вечер стихов в колхозе, запах сосновых стружек, выбегающих изпод фуганка, и тяжелое дыхание бетона, уложенного в тело плотины. Это радостное, порожденное социальным оптимизмом провидение критик подмечает и в стихах и в дружеских беседах.

Портреты, зарисовки... Одни более доказательны и аналитичны, другие скорее образительны (к ним в первую очередь относятся фрагменты о художниках — А. Мыльникове, Е. Моисеенко, В. Звонцове). Но все согреты сердечным теплом, дружеским участием. Нет, дружба вовсе не исключает требовательности. Критик не упускает случая высказать нелюбезные замечания о произведениях своих давних и высоко ценимых соратников по профессии, по совместной работе в писательской и журналистской организациях — Д. Гранина, А. Чепурова, рабочего-публициста Е. Морякова; остро подмечает просчеты в творчестве В. Пикчуля или одаренного поэта-сатирика А. Иванова, а разговор о сборниках «День поэзии» ведет не без саркастического юда. С иными замечаниями можно и поспорить, но эта острота и пристрастность — свидетельство заинтересованности критика в судьбе таланта.

Лейтмотив книги — связь творческого потенциала писателя с его индивидуальностью. Конечно, некоторые глубинные закономерности литературного процесса уходят при этом в тень, но для нас не менее интересны и живые черточки характера, лич-

ности художников, искусство которых составляет неотъемлемую часть нашей жизни.

А. Ходоров.

Ленинград.

★

ЮРИЙ АДРИАНОВ. Нижегородская отчина. Книга вторая. Литературные портреты. Страницы лирического дневника. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 1984. 254 стр.

Прозаическая книга поэта-волгара обращена к истории родного края. В «Нижегородской отчине» воссоздаются судьбы земляков автора, среди которых летописец Лаврентий, протопоп Аввакум, великий Пушкин, застигнутый благодатной болдинской осенью, обстоятельно-фундаментальный Даль, обладатель колдовского стиля Мельников-Печерский, буревирик революции Максим Горький...

Вместе с автором, который постигает прошлое, чтобы понять день нынешний и проникнуть мысленным взором в грядущее, читатель как бы совершает увлекательное и полезное путешествие во времени. Это одна из главных удач книги, воскрешающей и передающей безобманчиво точные приметы эпохи, штрихи быта, нравы, воспитывающей любовь к родине. Поэтично и точно рассказывает Ю. Адрианов о судьбе своих героев, о кровной причастности их к судьбе России.

Поэтическое видение автора находит выражение в своеобразии и плотности его прозаического языка. Вот, к примеру, отрывок из новеллы «Осенняя соната»: «Осенние ночи — бессонная тревога рождающихся строк. Если давние образы будут тревожить тебя все больше и больше, то ночной город заговорит опустевшими улицами, наполнится шорохом шагов, и оживет одноэтажный ветхий домик, где жил Карамзин, заскрипит дверь короленьковской квартиры, а из дома Киршбаума, из комнат Максима Горького, зазвучит могучий шалашинский бас, за окнами музыковеда и страстного театрала Александра Дмитриевича Улыбышева прольются звуки Моцарта. Может, это играет совсем еще юный Балакирев? Но образы и звуки угасают. Они уходят постепенно, как далекая зоря...»

За частными, казалось бы, эпизодами, за глубоко личными фактами предстает перед читателем характер искреннего, интеллигентного, думающего человека, нашего современника. Главное же, что привлекает в прозе Ю. Адрианова, — точность и несуетность мысли, любовь к родному краю, к его истории, стремление активно участвовать в его сегодняшней жизни.

Тепло, проникновенно, с чувством искреннего уважения написаны портреты современных литераторов-горьковчан. Особенно удались страницы, где говорится о Николае Кочине, Александре Люкине, Борисе Пильнике, Ниле Бирюковой, Антоне Бринском. Каждый из них раскрывается Ю. Адриановым достаточно полно — как человек и как художник. Автор рассказывает, как он учится у них самому главному — быть на земле человеком, учиться совестливости, чувст-

ву долга. А единственно возможная его оплата — работа и честно прожитая жизнь..

Нижегородская отчина стала для Юрия Адрианова судьбой. Новая книга писателя — это признание в любви к родине, любви почтительной и высокой. Страницы лирического дневника написал человек, который понимает силу и необоримость русской земли, который видит закономерности движения от прошлого к настоящему, который ощущает себя необходимым в этой живой связи.

Виктор Ильин.



Ф. ПОТТЕШЕР. Знаменитые судебные процессы. Перевод с французского. М. «Прогресс». 1985. 300 стр.

В 1946 году Кассационный суд Парижа по инициативе прогрессивной общественности Франции пересмотрел «дело» Бодлера, которое слушалось в прошлом столетии, и установил, что поэт не превысил свобод, данных художнику. А почти сто лет назад газета «Фигаро» призывала похоронить сборник стихов Шарля Бодлера «Цветы зла» в «преисподней» Национальной библиотеки. При Луи Бонапарте был проведен не один процесс над писателями. Бодлер и издатели его книги тоже предстали перед судом, обвиненные в оскорблении общественной и религиозной морали. В Париже на острове Сите зазвучали стихи Бодлера. Но зазвучали они в речи прокурора — строки, выдернутые из контекста, небольшие фрагменты, смысл которых толковался произвольно и извращался. И не литературный критик решал судьбу поэтических творений, а судья шестой палаты исправительного суда. Это были те же самые судья и прокурор, которые полгода назад безуспешно пытались осудить Флобера за «безнравственность» «Госпожи Бовари». Теперь они жаждали взять реванш.

Когда Гюго, изгнанный на остров Гернси за свои убеждения, узнал о решении суда, он написал Бодлеру: «Вы только что получили одну из редких наград, которые дают наши власти. То, что у них называется правосудием, осудило вас во имя того, что они называют своей моралью. Вы получили еще один венок. Поэт, я жму вашу руку».

Процесс по делу Бодлера вскрыл зависимость должностных лиц от господствующей элиты, от ее правовых воззрений и взглядов на мораль, другие пороки судопроизводства того времени — пороки, прослеживаемые во многих процессах, о которых пишет Фредерик Поттешер. Книга показывает, что наибольшие беды приключаются с правосудием тогда, когда оно оказывается во власти злого умысла или бесчестной политики. Это имело место и в античную эпоху, и во времена средневековой инквизиции, и при буржуазном суде присяжных.

13 октября 1307 года во Франции без каких-либо объяснений арестовали членов богатого и могущественного ордена тамплиеров (рыцарей-храмовников). Пародия на правосудие длилась несколько лет. В интересах Филиппа Красивого орден (15 тысяч

человек) был уничтожен, даже не будучи осужден..

1431 год — сожжение Жанны д'Арк как колдуньи. Через двадцать пять лет дело пересмотрено, признана судебная ошибка. Дева объявлена национальной героиней..

1919 год. Во Дворце правосудия оправдан убийца Жана Жореса — лидера социалистической партии Франции, редактора газеты «Юманите». Оплата судебных издержек возложена на вдову — госпожу Жорес..

«Доктор Сатана» безнаказанно действовал во Франции, оккупированной гитлеровцами. Процесс, происходивший в 1946 году, установил, что доктор Петиво, выдавая себя за участника движения Сопротивления и обещая переправить за границу желающих спастись от нацистов, убивал доверившихся ему и присваивал их деньги и ценности.

А вот процесс, который вызвал у парижан не ужас, а смех: малообразованный самоучка Врэн-Люка восемь лет пополнял коллекцию исторических автографов профессора Шаля собственноручно изготовленными «сокровищами» якобы из библиотеки разорившегося аристократа. За это время почтенный ученый стал обладателем «писем» Цезаря, Клеопатры, Жанны д'Арк, Карла Великого и даже... Марии Магдалины и апостолов. А «письма» Паскаля Ньютона стали предметом обсуждения во французской Академии, в результате чего на свет появился четырехстраничный опус, над которым потешалась просвещенная Европа: во время этой «переписки» Ньютоном было двенадцать лет, а Паскаль «пользовался» математическими формулами, открытыми лишь через столетие..

Поттешер вдохнул художественную жизнь в документы криминальной юстиции, его историко-юридические миниатюры — это целая галерея портретов со своими социальными и психологическими характеристиками. Служители Фемиды разных эпох продемонстрировали приемы обвинения и защиты, многочисленные свидетели и зрители судебных заседаний и казней не скрывали осуждения или одобрения происходящего, а исполнители действий, названных в свое время преступными, явили черты характера, амплитуда которых — от низости до величия духа.

Книгу завершает очерк о Сократе, которому двадцать четыре столетия назад палач подал чашу с ядом: этот философ и мудрец был осужден на смерть за свой образ мыслей. Как мрачно перекликаются события, происходившие до нашей эры, с тем, что мы по сей день наблюдаем в разных уголках земного шара — везде, где суд, а то и жестокая расправа без суда и следствия, угрожают борцам за свободу, демократию и прогресс.

М. Вашкевич.



Д. С. ДАВИДОВИЧ. Гамбург на баррикадах. М. «Наука». 1985. 172 стр.

К началу гамбургского восстания Эрнсту Тельману исполнилось тридцать семь лет. Позади остались работа докером, проф-

союзная борьба, антивоенные выступления в армии кайзера, надежды, тревоги и разочарования преданной правыми лидерами СДПГ Ноябрьской революции, встреча с Лениным на III конгрессе Коминтерна. С опытом пришли зоркость и выдержка.

Теперь самому популярному из местных руководителей КППГ, любимцу гамбургского пролетариата предстояло серьезное испытание. ЦК партии пришел к выводу, что истерзанная милитаризмом, ограбленная репарациями и биржевыми аферами страна созрела для коренных перемен. В повестку дня поставлено свержение диктатуры капитала. Сигнал должен подать Гамбург. Тельман не считал, что восстание окажется победоносным, однако, строго соблюдая партийную дисциплину, взялся за его подготовку.

В книге Д. С. Давидовича дан широкий социально-политический анализ гамбургских баррикадных боев в октябре 1923 года. Рассказывается в ней о многих людях и событиях. И все же настолько велико обаяние имени Тельмана, что эпизоды с его участием вызывают наибольший интерес.

Тельман сделал все мыслимое для подготовки восстания, а гамбургский пролетариат проявил в баррикадных боях чудеса героизма. Но пример Гамбурга не был подхвачен в Германии. Сказалась слабость тогдашнего руководства КППГ, поглощенного фракционными распрями и поочередно попадавшего то в руки леваков, то под влияние правых оппортунистов.

В гамбургских боях Тельман участвовал лично. Пешком и на велосипеде передвигался по городу, ставшему полем сражения между вооруженными формированиями повстанцев и полицейскими отрядами, с утра до позднего вечера был там, где свистели пули.

Автор цитирует советского участника баррикадных боев в Гамбурге — одного из первых грузинских комсомольцев, Д. В. Ломадзе. Направленный на учебу в Венский университет, он решил присоединиться к пролетариям Гамбурга. В городе на Эльбе он познакомился с Тельманом. «Я верю в неизбежность победы идей Ленина, верю, что коммунисты обязательно победят в Гер-

мании», — говорил Тельман после завершения боев.

Гамбургское восстание потерпело поражение, но многому научило германский пролетариат и его коммунистический авангард. В 1925 году к руководству партией пришла группа ленинцев во главе с Тельманом. КППГ взяла курс на завоевание масс и сумела преодолеть как левый уклон, так и правое примиренчество с классовым противником. Именно тогда была заложена основа ее крупных успехов в начале 30-х годов, открывавших перспективу отпора милитаризму, реакции и фашизму. Перспективу, не реализованную до конца в результате отступничества социал-демократического руководства, которое отклонило протянутую Тельманом и его единомышленниками руку, отказалось от единства действий в борьбе за мирную Германию.

В книге мы встречаем немало хорошо известных ныне имен, так или иначе связанных с именем Тельмана. В то время в Германии находилась Лариса Рейснер. В одном из ее репортажей обрисована «жестокая схватка» на конференции докеров между «покрытым мохом и плесенью» функционером СДПГ и Эрнстом Тельманом — «квадратным, костистым, лобастым, стиснутым в кулаках...». А Рихард Зорге, впоследствии замечательный советский разведчик, был связанным между Тельманом и ЦК КППГ. Пост обер-бургомистра Кельна занимал в период гамбургского восстания будущий канцлер ФРГ К. Аденауэр, к деятельности которого восходят реваншистские традиции в политике Бонна. Он возглавлял группировку рейнских сепаратистов, стремившихся в то время к расколу страны, чтобы разобщить ее революционные силы.

Неоднократно упоминает автор и еще одно имя — Гитлера. В 1923 году фюрер еще пребывал в своей баварской вотчине. Десять лет спустя нацистские причники обрадуют его сообщением об аресте Тельмана, а еще через одиннадцать лет маньяк, почувший приближение конца, отдаст распоряжение об убийстве одного из самых замечательных немцев нашего века..

В. Острогорский,
кандидат исторических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

М. С. Горбачев. Избранные речи и статьи. 383 стр. Цена 90 к.

Вчера Вьетнам, Лаос, Кампучия. Сегодня Гренада, Ливан. Завтра... Составитель Д. Погорельский. 416 стр. Цена 1 р.

Я. Иоффе. Мы и планета. Цифры и факты. 224 стр. Цена 55 к.

А. Попов. Государство «всеобщего благосостояния»? Мифы и реальности современной Америки. 256 стр. Цена 1 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Вергелис. Избранные произведения. В 2-х тт. Авторизованный перевод с еврейского. Т. 1. Стихотворения. 295 стр. Цена 1 р. 70 к. Т. 2. 16 стран, включая Монако. Путевые очерки. 464 стр. Цена 1 р. 30 к.

Е. Мальцев. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. 463 стр. Цена 2 р.

А. Франс. Остров пингвинов. Повести и рассказы. Перевод с французского. 415 стр. Цена 2 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Бурсов. Судьба Пушкина. 512 стр. Цена 2 р. 20 к.

М. Галлай. С человеком на борту. Документальная повесть. Послесловие Г. Титова. 304 стр. Цена 1 р. 70 к.

Е. Парнов. Проснись в Фамагусте. Повесть, рассказы, очерки. 416 стр. Цена 1 р. 50 к.

Писатель и время. Сборник документальной прозы. Составитель В. П. Стеценко. 495 стр. Цена 1 р. 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Р. Кутуй. И слезы первые любви. Рассказы, повесть. 295 стр. Цена 1 р.

Мир профессий. Человек — природа. 383 стр. Цена 2 р. 20 к.

М. Отеро Силва. Избранное. Перевод с испанского («Современная зарубежная лирика») 63 стр. Цена 20 к.

В. Явориский. Портрет по воображению. Роман. Перевод с украинского. 239 стр. Цена 70 к.

«РАДУГА»

Т. Бреза. Стены Иерихона. Лабиринт. Романы. Перевод с польского. 476 стр. Цена 3 р. 80 к.

А. Ивасюк. Половодье. Роман. Перевод с румынского. 282 стр. Цена 1 р. 90 к.

О. Штайгер. Портрет уважаемого человека. Роман. Держите вора. Повесть. Рассказы. Перевод с немецкого. 384 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ПРОГРЕСС»

Над Сенной и Узой: Франция глазами французских писателей. Художественная публицистика. Перевод с французского. 528 стр. Цена 1 р. 90 к.

Ч. Сноу. Портреты и размышления. Художественная публицистика. Перевод с английского. 368 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВРЕМЕННОЕ»

А. Бочаров. Экзаменует жизнь. 239 стр. Цена 85 к.

Т. Земскова. Писатель в нашем доме. Записки тележурналиста. 271 стр. Цена 85 к.

С. Марнов. Стихотворения. («Библиотека поэзии «Россия») 317 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Шугаев. Дождь на радуницу. Помолвка в Боготоле. Рассказы. 79 стр. Цена 25 к.

«НАУКА»

Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения. («Литературный памятник») 380 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Пронников. Икэбана, или Вселенная, запечатленная в цветке. 174 стр. Цена 1 р. 20 к.

«Слово о полку Игореве» и его время. 415 стр. Цена 2 р. 70 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Дружба зверей. Русские народные сказки. Пересказал И. Соколов-Микитов. 16 стр. Цена 20 к.

Калевала. Карело-финский эпос. Пересказала А. Любарская. 206 стр. Цена 80 к.

Ю. Олеша. Три Толстяк. Роман для детей. 223 стр. Цена 55 к.

А. Островский. Бесприданница. Без вины виноватые. 190 стр. Цена 50 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Валентин Серов в переписке, документах и интервью. В 2-х тт. Составление, вступительная статья, примечания И. С. Зильберштейна, В. А. Самкова. Т. 1. М. «Художник РСФСР». 487 стр. Цена 3 р.

Звездный час. Рассказы о героях БАМа. («Писатель и Сибирь») Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 285 стр. Цена 65 к.

Махабхарата. Выпуск III. Эпизоды из книг III, IV. Перевод, введение, примечания, толковый словарь Б. Л. Смирнова. Ашхабад. «Ылым». 487 стр. Цена 3 р. 45 к.

Орион. Сборник научно-фантастических повестей и рассказов. Составление Н. М. Беркова. «Московский рабочий». 349 стр. Цена 1 р. 50 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 21. 01. 86 г. Подписано к печати 11. 03. 86 г. А 11610.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,14 уч.-изд. л.

Тираж 423 000 экз. Зак. 0410.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна».
252047, Киев-47, проспект Победы, 50.

Цена 1 р. 20к.

70636

Новый мир, 1986, № 4, 1—272.